

Genre

sci_history

Author Info

Илья Альтман

Неизвестная «Черная книга»

В 1947 году в Москве должна была выйти из печати «Черная книга» – уникальный сборник документов и рассказов о Холокосте, подготовленный известнейшими советскими литераторами и журналистами (Маргаритой Алигер, Вениамином Каверинным, Рувимом Фраерманом, Виктором Шкловским и другими) под руководством Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга. Однако этого не случилось: по политическим причинам публикация была запрещена, набор «Черной книги» рассыпан, гранки и рукопись изъяты, а многие из тех, кто работал над книгой, репрессированы. Настоящее издание включает воспоминания, письма и дневники, собранные в 40-х годах редакторами «Черной книги» и по разным причинам не включенные в ее окончательный текст либо использованные частично.

v 1.0 – создание fb2 – (nys23)

Неизвестная «Черная книга»

сост. Илья Альтман

© А. Гельман, предисловие, 2015

© И. Альтман, составление, примечания, биографии авторов очерков и свидетельств, текст от составителя, 1993, 2015

© Ш. Краковский, составление, 1993

© И. Лемпертас, примечания, 2015

© Г. Смирин, примечания, 2015

© Государственный архив Российской Федерации, архивные материалы

© Национальный институт памяти жертв нацизма и героев Сопротивления «Яд ва-Шем», архивные материалы

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Издательство CORPUS ®

Предисловие

Я читал эту книгу, страницу за страницей, от начала до конца без перерыва. Семилетним мальчиком, вместе с родителями я находился в гетто, потерял почти всех близких, но никогда не испытывал такого глубокого отчаяния, такого буквально библейского чувства скорби, как во время и после чтения этой книги свидетельств Катастрофы. Спасшиеся, чудом выжившие рассказывают, как это было – и я читал и содрогался от ужаса, читал и своими словами, на русском языке молился Всевышнему, просил Его, требовал от Него дать клятву, что Он никогда больше подобного человеконенавистничества не допустит. Надеюсь, Он простит мне эту наглость.

Десятки тысяч людей в течение почти десяти лет по всей Европе были заняты этой работой: убивали евреев. Это были не только немцы. После работы они приходили домой, целовали детей, помогали женам по хозяйству, занимались любовью. Я нигде не читал, чтобы хоть один палач сошел с ума. Если бы их не остановили, они убили бы не шесть миллионов, а всех, всех до единого. Осталось бы только слово – «еврей». Выжившие узники концлагерей и гетто никогда не забудут своих

освободителей – бойцов и офицеров Красной Армии.

Самое страшное, что до войны, развязанной Гитлером, большинство из тех, кто прямо или косвенно оказался причастен к «окончательному решению еврейского вопроса», были обыкновенные, нормальные люди. Когда вдумываешься в это, невозможно без тревоги смотреть в будущее. Мы уже никогда не будем уверены, что подобное не повторится. Несмотря на клятвы и молитвы.

Чувство тревоги вызывает и сама история этой книги. Она была готова к печати и частично набрана семьдесят лет назад, сразу после войны, но лишь сейчас опубликована в России. Сначала фашисты убили евреев, потом вожди СССР убили память об убиенных. Если бы «Черная книга» была опубликована семьдесят лет назад, если бы все эти годы она присутствовала в каждой библиотеке, в каждой школе, если бы чтение «Черной книги» входило в программу по современной истории, то сегодня мы, может быть, не встречали бы в городах России толпы молодых людей, празднующих день рождения Адольфа Гитлера.

Я пишу эти заметки накануне великого еврейского праздника освобождения – Песах. В праздничные дни, следуя издревле сложившейся традиции, каждый еврей настраивает свою душу, свое воображение таким образом, чтобы ощутить себя одним из тех, кого Всевышний под предводительством Моисея вывел из египетского рабства. Хотелось бы, чтобы в день скорби по погибшим в Катастрофе не только евреи, но и человек любой национальности хотя бы на несколько минут ощутил себя в одной из колонн, шедших в газовые камеры. Один за другим входили люди в небольшое здание, а выходили оттуда через трубу на крыше в виде белесого кудрявого дыма. Заходили люди – выходил дым. Фабрики по переработке людей в дым исправно работали несколько лет...

Слава богу, «Черная книга», книга скорбных свидетельств Катастрофы, будет, наконец, прочитана в России. Лучше поздно, чем никогда.

От составителя

Сборник «Неизвестная «Черная книга» – продолжение «Черной книги» под редакцией Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга.

Многочисленные первоисточники (воспоминания, свидетельства, письма, дневники), собранные в 1942–1947 годах в Еврейском антифашистском комитете в СССР (ЕАК), лишь частично вошли в состав «канонической» «Черной книги». Они включались в состав литературных очерков, подготовленных известными советскими литераторами и журналистами, либо публиковались с существенными сокращениями и исправлениями. В результате одни ценнейшие свидетельства современников остались за рамками «Черной книги», а иные были использованы лишь фрагментарно.

Значительное влияние на отбор материалов для «Черной книги» оказали идеологические мотивы. Из текста исключались важные детали, указывающие на случаи отказа советского населения помогать евреям, их выдачи оккупантам и прямого участия в расправе.

После выхода Румынии из войны в августе 1944 года был минимизирован отбор свидетельств о преступлениях румынских оккупантов. Не были включены в «Черную книгу» сведения о судьбе венгерских евреев, оказавшихся на Восточном фронте в составе трудовых батальонов.

Некоторые свидетельства поступили в ЕАК уже после подготовки соответствующих литературных очерков и поэтому остались неиспользованными. Другие были «забракованы» Литературной

комиссией, готовившей к печати «Черную книгу», – чаще всего как не подходящие по жанру. Поэтому жизнь и судьба евреев на оккупированной территории СССР не могли быть всесторонне отражены в «Черной книге», главными целями которой были показ злодеяний (прежде всего гитлеровцев) и помощь евреям со стороны людей других национальностей.

Еще в годы войны выдвигалась идея издать два тома «Черной книги»: второй том состоял бы из документов и свидетельств. Именно этот подход и был реализован в 1993 году в виде сборника, подготовленного научными сотрудниками Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ, Москва) и Национального института памяти жертв Холокоста и героев Сопротивления («Яд ва-Шем», Иерусалим)[1].

«Неизвестная «Черная книга» содержит воспоминания жертв и очевидцев Холокоста. Эти материалы были получены в результате переписки с авторами членов ЕАК и руководителей Литературной комиссии, прежде всего И. Г. Эренбурга, либо записаны путем стенографирования (опроса) в Москве и на месте событий. Среди тех, кто фиксировал эти рассказы – офицеры и солдаты Красной Армии, журналисты фронтовых и местных газет, корреспонденты издававшейся на идише газеты «Эйникайт» («Единение»), печатного органа ЕАК, а также родственники погибших и бывшие узники гетто. В ряде случаев информаторы ЕАК пересылали эти свидетельства в форме статей, рассчитывая на их публикацию либо непосредственно в «Черной книге», либо в газете «Эйникайт» (откуда материалы также передавали редакторам «Черной книги»).

При отборе материалов для настоящего издания в первую очередь учитывалось их авторство: в большинстве случаев авторы – непосредственные свидетели и участники событий. Другой критерий – видовой. Мы отбирали, как правило, письма, дневники, свидетельства, написанные или зафиксированные в годы войны. Опосредованные источники (чаще всего газетные корреспонденции с цитированием или пересказом свидетельств и указанием на их авторство) привлекались, как правило, тогда, когда они содержали сведения о судьбе евреев в населенных пунктах, о которых не говорилось в «Черной книге».

В основу сборника легла коллекция документов, хранящихся в фонде ЕАК в ГА РФ[2]. При подготовке издания привлекались также документы из личного фонда Ильи Эренбурга в архиве «Яд ва-Шем»[3]. Подлинники показаний немецких военнопленных и свидетельства очевидцев хранятся в фонде Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников (ЧГК)[4].

Тексты опубликованных в 1993 году документов заново сверены с материалами указанных фондов. Это позволило восстановить ряд вычеркнутых при перепечатке и редактировании фрагментов. Были уточнены номера дел в архиве И. Г. Эренбурга.

Структура сборника в основном соответствует структуре «Черной книги»: в отличие от издания 1993 года, уточнена последовательность материалов по республикам СССР в соответствии с ее текстом. Документы и очерки расположены по географическому принципу (учтены границы административно-территориального деления СССР на начало Великой Отечественной войны). Это касается и раздела «РСФСР», который в настоящем издании, как и в «Черной книге», включает документы о Крыме. Сюда же помещены документы о Любавичах (ранее входили в раздел «Белоруссия»).

Выделены отсутствовавшие в предыдущих изданиях разделы «Эстония», «Спасение» (аналог раздела

«Черной книги» под названием «Советские люди едины») и «Убийство иностранных евреев на территории СССР» (поскольку в тексте есть свидетельства о судьбах венгерских жертв Холокоста). Сохранены подразделы «Киев» и «Одесса и Транснистрия» (в последнем изменена последовательность расположения материала). Для удобства читателя выделены подразделы «В городах и местечках Центральной Украины», «Восточная Украина» (вместо «Харьков» – включает Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую область), «Западная Украина» (вместо «Львов»). Эти изменения, на наш взгляд, позволяют более последовательно изложить хронологию и географию событий.

Публикуемые свидетельства присутствуют в фонде ЕАК, как правило, в виде машинописных копий. Оригиналы писем и дневников перепечатывались в Литературной комиссии и передавались писателям, работавшим над очерками о соответствующих регионах. Видимо, подлинники также иногда оказывались у авторов очерков, и далеко не все они были возвращены ЕАК. Многие корреспонденты «Черной книги» просили вернуть дорогие им реликвии, что и было сделано. Однако некоторые оригиналы документов оказались в архиве «Яд ва-Шем» в фонде первого редактора «Черной книги» И. Г. Эренбурга и теперь сверены с машинописными копиями.

Сохранены, как правило, авторские заголовки машинописных материалов, предназначавшихся для публикации в «Черной книге». Указаны: вид публикуемого документа, автор (по возможности, с указанием имени, отчества, профессии), место событий, источники информации, дата составления. Если представлялось возможным датировать текст по содержанию либо на основе первоисточника, дата указывается в квадратных скобках.

Оговорены также случаи, когда публикуемые первоначальные тексты свидетельств были записаны в ЕАК или его корреспондентами. Если информация поступала в ЕАК как обобщенный рассказ ряда свидетелей, указывалась фамилия того, кто готовил эти материалы для «Черной книги». Когда автор записи рассказа или обзора не был указан в документах, но установлен по косвенным источникам, его фамилия приводится в квадратных скобках. Сведения, дополняющие или уточняющие издание 1993 года, также даются в квадратных скобках, но с выделением курсивом.

Указаны свидетельства, которые в сокращенном или измененном виде были использованы в «Черной книге» (Израиля Адесмана, Сарры Глейх, Евсея Гопштейна, Михаила Гричаника, Анны Моргулис, Льва Рожецкого, Хаима Ройтмана, Людмилы Слипченко).

При публикации документов, оригиналы которых были написаны на идише, как правило, указаны авторы переводов. Имеются также указания на подлинность (копийность) и язык (кроме русского) публикуемых документов. Полное указание архивных шифров (включая номера фондов и описей) документов ГА РФ и «Яд ва-Шем» даны при публикации первого из них.

При передаче текста сохранен авторский стиль и особенности первоисточника. Документы публикуются, как правило, полностью. Все сокращения, сделанные при подготовке издания, указаны отточиями в квадратных скобках. Авторские отточия не оговариваются. Без комментариев исправлялись явные описки. Все неразобранные части текста (ввиду плохой сохранности, прежде всего рукописных свидетельств) оговорены.

В ряде случаев восстановлены (на основе фонда Эренбурга) или уточнены заголовки документов: «Письмо Иохима Шенфельда»; авторское название документа «Давид и Надя» (в издании 1993 года – «Он мой муж. Письма Надежды Терещенко»). Скорректирована датировка текстов: письма

Б. Бронфин из Хмельника, материала Л. Лагина, свидетельства Л. М. Слипченко (Козман), письма А. Розена, очерка «Город Новозыбков». Указаны источники информации либо корреспонденты авторов и редакторов «Черной книги», вид документа: свидетельство С. Шенфельда о Яновском лагере; биографические данные С. Грутмана, П. Зозули, Р. Л. Зеленковой; инициал отчества адресата в письме Ольги Супрун; имя и фамилия автора свидетельства в записи Н. Г. Кона.

Уточнены даты жизни В. Куторги; адресат в очерке «Город Новозыбков»; географические названия (Ашевский район Калининской области); фамилии (Гильман в «Гибель моего отца») и т. п.

Вставки фрагментов текстов на основе рукописных первоисточников («Страницы из Данте. Из дневника жительницы Харькова Н. Ф. Белоножко», «Дневник Сарры Глейх», «Гибель моего отца», «Рассказ бухгалтера Юровского», письмо А. Розена) даны в квадратных скобках либо цитируются в примечаниях.

На основе новейшей исторической литературы существенно переработаны примечания и комментарии. Уточнялись прежде всего упоминаемые даты и факты, а также статистические данные; приводятся биографические данные об авторах или упоминаемых лицах. Они подготовлены, в частности, по материалам энциклопедии «Холокост на территории СССР» (М.: РОССПЭН, 2011).

Некоторые уточнения нам удалось получить в результате встреч и переписки с авторами сообщений (Сарра Глейх), упоминаемыми в тексте лицами (Л. Е. Калика, В. Дудник, Б. А. Розенфельдом), родственниками авторов очерков (Н. Л. Железновой и Л. Д. Стоновым).

Для настоящего издания отбор материалов и уточнение структуры сборника, сверка документов и подготовка списка авторов свидетельств и корреспонденций (он отсутствовал в издании 1993 года), а также ряда комментариев проведены составителем. Примечания в разделе «Латвия» подготовлены при участии рижского историка Григория Смириня, в разделе «Литва» – при участии историка Ильи Лемпертаса. Отдельные факты уточнены директором Музея Холокоста (Харьков) Ларисой Воловик и заместителем директора Института иудаики (Киев) Юлией Смилянкой.

Украина

Киев

Жизнь в оккупированном Киеве

Воспоминания И. С. Белозовской

[5]

Говорить о причине – почему я оставалась в оккупированном Киеве – трудно, а может быть, излишне. Прежде, до оккупации – это была общая причина, теперь она является ничтожной и незначительной. Все не верилось, что этот кошмар наступит, мы, как утопающие, хватающиеся за соломинку, жадно ловили по радио: «Киев никогда не будет сдан», верили и надеялись... 17 сентября 1941 года, когда наши войска в массовом характере начали отступать, гул преследующих немецких снарядов, огонь и дым от горевших зданий все еще меня целиком не убедили, что наступил крах, что прекращается жизнь. Слово «жизнь» тогда имело свое значение. Впоследствии это значение притупилось.

Слишком часто или даже постоянно она была близка к смерти и потому потеряла свою обычную окраску.

19 сентября, когда немцы начали заходить в город и когда по обе стороны тротуаров (по Красноармейской, возле Владимирского базара) стояли люди с льстиво-радостными,

подобострастно-угодливыми лицами, встречая «освободителей» своих – немцев, которые несли им «большую жизнь», тогда я уже чувствовала, что жизнь от нас уходит, наступает мучение. Мы все были в мышеловке. Куда деться? Пути все были закрыты.

Я ушла на Подол к своему пятилетнему сыну, который был у родных мужа. Мои родные: две младшие сестры с тремя детьми – у одной двое – пять с половиной и три с половиной года, мальчики, у другой один – три с половиной года. Мать и отец мотались из одной квартиры в другую, то у сестры на улице Гершуни[6], то в моей квартире на Тверской, 13. Муж мой был с ними на Тверской. Они сидели вокруг него, им казалось, что он их спасет от неминуемого (он русский)[7]. Через несколько дней отец мой вышел зачем-то на улицу и не вернулся – начали уже ловить на улице мужчин-евреев, будто бы на работу. На следующий день, когда был издан приказ о сконцентрировании евреев всех в один пункт для отправки куда-то, сестры моего мужа пошли и забрали его силой к себе, они боялись за его жизнь. Можно себе представить картину, когда мои сестры, трое маленьких мальчиков, мать (отца уже не было) громким плачем молили о спасении моего мужа: от них уходила последняя соломинка, и он ничем не мог им помочь. Он ушел на Подол. Когда он пришел, и мне тоже казалось, что от них ушло последнее спасение... Наступила кошмарная, неизвестная смерть. Я в древнем веке не жила и в нашем веке не видела, что люди делали в глубоком неисходном горе. Но меня потянуло к земле, сесть на низком табурете, я ярко ощутила желание посыпать пеплом голову, всю себя, ничего не слышать, превратиться в прах... Но нет, я была жива, я даже в состоянии была слышать и отметить, что люди живут вокруг меня, что они имеют право на жизнь, и почему, почему часть людей, которые имеют несчастье быть другой нации, должны умереть насильственной смертью – дети, невинные, маленькие, не знающие, за что, не понимающие, что такое жизнь и что такое смерть? Почему мой ребенок, у которого отец русский, имеет своих защитников на жизнь?

28 сентября мой муж и его сестра, русская, пошли провожать моих несчастных в дальний путь. Им казалось, и мы все хотели верить, что немцы-варвары вышлют их, и четыре, пять дней подряд люди двигались целыми вереницами к «спасению». Не успевали всех принять, велели приходить на следующий день (не перегружали себя работой). И так люди приходили по нескольку дней, и их все не успевали отправить на тот свет, пока их очередь наконец-то приходила. Мой муж недалеко от места общего приема – исторического Бабьего Яра – оставил моих родных, сам ушел посмотреть все-таки, как принимают людей. И увидел: за высоким забором (щелочка была) сортируют – мужчин в одну сторону, женщин, детей отдельно. Голые (вещи отнимались в другое место), из автоматов и пулеметов их укладывают, крики и вой ужаса заглушались.

Муж вернулся к моим сестрам и матери и сказал: «Уходите куда глаза глядят». Что там было и как все произошло, не знаю, но он вернулся на Подол к своим родным, где я была с нашим сыном, и привел троих маленьких мальчиков обреченных. Ему казалось, что он их спасет. Мать его сказала, чтоб мы все ушли, так как всех спасти нет никакой возможности и будет только то, что всех расстреляют. Я не имела права их обвинять, ведь отец и мать, сестры мужа имели право на жизнь, и они тоже хотели жить...

Дети прибыли, остались-таки со мной еще шесть дней, на шесть дней продлили им жизнь. Все эти шесть дней они не отходили от меня, держась по обе стороны за мое платье, они не играли, их ничто не занимало. Они смотрели большими невинными глазами, не понимающими, что такое жизнь и что

такое смерть, и спрашивали: «Тетя Ида, но скажите, мама ведь придет, придет, скажите! Когда она придет?» Молча глаза наполнялись слезами, придушенно плакали. Громко нельзя было плакать, люди могли услышать, и это была гибель для всех. Я не плакала, автоматически двигалась, как деревянная, успокаивала, уговаривала, что вот, все кончится и мама их придет.

Мысли кошмарные роились, почему мой ребенок имеет право жить наполовину. Я могу пока жить, потому что хотят сохранить мать для моего сына Игоря и их внука, и меня, взрослого человека, легче укрыть. Чем же виноваты эти непонимающие дети, где взять для них жизнь? Муж ходил ко всем нашим знакомым – русским, кому можно было говорить, умолял о спасении хотя бы одного ребенка, но поиски были тщетны, все боялись за свою жизнь. Пришла ко мне (по моему приглашению) моя бывшая работница – препаратор, работали вместе в лаборатории. Это была простая женщина, но с прекрасной душой. В ответ на мою просьбу взять хотя бы одного ребенка пока временно (нам казалось, что все это временно, что свет и жизнь скоро вернуться) она рассказала про жизнь в их дворе, где она жила, в дни прихода немцев. Пришел сосед этого двора с плена – еврей, весь распухший от голода, страшный, просил жильцов двора впустить его в свою бывшую квартиру (семьи его уже там не было): он у себя в квартире повесится на глазах у всех, он не хочет прятаться и спасать свою жизнь, но жильцы-активисты его не пустили. Он ушел, не дошел до конца квартала, и его сдали немцам.

«Как видите, – говорит моя работница, – они выдадут меня, моих детей вместе с вашим ребенком». И вот и эта надежда рушилась. Накануне шестого дня муж мой был у себя на квартире на Тверской и застал там мою маму. Она вместе с моими сестрами ушла из-под Бабьего Яра, пошла куда глаза глядят по направлению Сталинки[8], но мать была сердечная больная, склероз сердца, поспеть за молодыми дочками она не могла и осталась сидеть в скверике на Сталинке, там ее подобрали «добрые люди» и отвели в немецкую комендатуру, но комендатура, принимая во внимание старость матери, отпустила ее домой. И она пришла домой, влезла через окно и сидела ни жива ни мертва. Одна соседка заносила ей кушать, тихонько через окно, когда никто не видел, протягивалась рука подающего лепешку. Она не зажигала свет, но все-таки узнали про ее незаконное существование во дворе и начали судить, должна ли она жить или нет.

На шестой день решили отвести детей на Тверскую к бабушке. На Подоле их боялись держать. Я знала, что появление их на Тверской приблизит конец мамы и деток. Я всю ночь ходила перед этим взад и вперед по комнате. Тот же самый вопрос: «Что делать? Почему я должна жить? Имею ли я право жить, а кругом меня самые близкие, дорогие должны умереть такой страшной, насильственной смертью». Я ничем не могла им помочь, разве своей солидарной смертью. Но как же Игорь, который имеет право жить, и я сознательно должна лишить его матери? Ведь ему только пять лет! И я осталась жить, жить...

Три дня и три ночи я ходила по маленькой комнатке и считала часы. В какой же час их смерть наступила? Я не замечала голода и усталости. Я старалась запечатлеть погоду через занавешенные окна, все – как их вели на смерть.

Я умоляла родных мужа, чтобы они пошли посмотреть, чтобы я знала – в агонии ли они еще или уже наступил конец на Тверской. Они боялись идти, на третий день наконец-то пошли и увидели.

Накануне этого дня хозяева двора (частный дом) пригласили немцев в нашу квартиру, и маму с детками повели к концу человеческой жизни. Мама моя при уходе из квартиры еще заперла квартиру

и ключи отдала той же хозяйке. Она знала, что мой муж есть и, может быть, я останусь жива и то, что в квартире, нам пригодится. Хозяйка же ключ отдала, но в квартире уже ничего не было. Я не могла видеть лицо матери, когда она шла на смерть, но мне кажется, что я присутствовала, и я никогда не забуду ее выражения лица. В тот день был ветер, снежные хлопья лепили в глаза, она держала по обе стороны детей и сознательно шла без крика и возмущения в мир небытия. Я одна из нашей семьи осталась жить. Сколько раз в течение двух с лишним лет безнадежной неволи я проклинала обстоятельства, из-за которых я должна жить, пока не наступит насильственная смерть. Сколько раз я жалела, что я не ушла с Игорем туда, куда моя мать ушла, где нет жизненных мучений. Я осталась жить и бороться за эту странную жизнь.

Я была погребена для жизни, меня не существовало, я исчезла для живых. Два года я не была на улице, не видела солнца, не дышала чистым воздухом. Окна квартиры были занавешены. При появлении чужого человека во дворе надо было прятаться в место, где при облаве нельзя обнаружить. Каждый час за окном, за дверью ждала смерть, смерть для всех, для всей семьи, которая меня скрывала.

Я не могу жаловаться на отношение моего мужа ко мне в первый год. На нем также отразилась смерть моих родных. Он старался достать для меня другой паспорт, чтобы мы могли где-нибудь жить хотя бы полулегально, но эти старания ни к чему не привели. Когда стоял остро вопрос, что я должна уходить оттуда, потому что всем грозит расстрел, он говорил моим родным, что и он уйдет со мной вместе, дорога же была лишь одна. Стоило мне открыть дверь и выйти на площадку лестницы, как уже смерть спешила к нам. Все соседи были заинтересованы открыть местопребывание мое. О том, что я где-то есть, они знали, так как видели меня в день прихода немцев, но где я нахожусь, для них было неизвестно. Они только предполагали и следили безустанно.

Когда прошло некоторое время, когда надежды на легальную жизнь не было, надежда на то, что скоро придет нам освобождение Красной Армией, также не была близка, стоял вопрос у нас о том, что мы втроем – я, мой сын Игорь и муж – покончим жизнь самоубийством через повешение. Вопрос только стоял, как технически это провести: повесить ли сначала ребенка, а потом самим, и кому последнему. Муж говорил это вполне серьезно и продуманно. Он чувствовал себя виновным в том, что мы не эвакуировались, и поэтому жертвовал и своей жизнью.

Я же, обладая большей силой воли, нежели муж, настаивала, что если вопрос стоит о жизни Игоря, надо еще бороться, и мы остались живы и снова боролись. Дворник ставил вопрос о жизни Игоря, ведь мать его еврейка была (я не существовала), и надо его сдать немцам. Родные же мужа доказывали всякой правдой и неправдой, что Игорь крещен, и спасли его. Ребенку дома внушили, что матери у него нет, что она уехала. Каждый во дворе старался застать его врасплох, и вдруг спросят: «А где твоя мама?» Слово «мама» ему было запрещено произносить вне квартиры, а дома тихонько, чтобы никто не слышал. Он спрашивал меня: «Мама, скажи, что такое еврейка, жидовка, и почему Борю и Марика (дети моей сестры) убили немцы». Но он без особых пояснений почувствовал, что это такое. Во дворе дети дворника называли его жидом, и он выходил только со старшими на улицу. Он все время ждал Красную Армию, которая принесет волю, и он сможет громко произнести «мама» и идти с ней вместе.

Я жила, но это была горькая жизнь, безнадежная, меня губило одиночество, несмотря на то, что был

муж. Я должна была сознавать, что живое все имеет право на жизнь, но я, как видно, плохо это сознавала. Я была для жизни погребена, но сама-то я была жива. И вот получилось так, что муж жил, он имел право жить и, как все живое, должен был пользоваться жизнью. Я же не в состоянии была подняться выше всего обыденного и не реагировать на окружающее. И я больно реагировала, и жизнь стала адом. Я старалась загружать себя разной домашней работой, той, которой я никогда не делала, но все равно оставалась много времени свободной. Я спала скверно и очень мало. Я боялась заснуть. Смерть близких и окружающих меня постоянно преследовала, особенно дети. Я считаю себя косвенно виновной в их смерти. Если б меня не было в городе, то они никогда бы в Киеве не остались.

Я читала много, но книг негде было взять, и я ужасно страдала от этого. В свободное время, когда мне нечего было абсолютно делать и читать нечего было, я не находила места, куда от себя спрятаться (часто никого не было дома, уходили и запирали квартиру). Я подходила к печке кафельной в маленькой комнатке и стучалась головой об нее, чтобы заглушить внутреннюю боль, ведь кричать нельзя было! Казалось, от физической боли легче. Сколько раз я подходила к этой самой печке, где висела по ней веревочная лестница, по которой я взбиралась в случае облавы на самый верх, под потолком там было сделано углубление, и я там сворачивалась в комочек, лестница убиралась наверх, и было желание покончить эту бессмысленную жизнь. Но Игорь... Я заставляла себя силой воли черпать надежду и снова жить.

Мысль о том, что Игорь вырастет и будет смотреть на жизнь людей, как многие во время оккупации и вообще, меня останавливала и заставляла жить. Я хочу воспитать его так, чтобы для него все люди были одинаковы и не было различия и отличия.

Единственный человек из внешнего мира меня посещал во время моей невольной тюрьмы, муж моей приятельницы (и она редко приходила). Он меня снабжал книгами. Когда он приходил, я только тогда хорошо понимала ощущение узников, когда к ним в камеру заглядывало пятно солнца. Я дышала воздухом по ту сторону мира, который он приносил, мы судили и рядили успехи Красной Армии по прессе немецкой. Что советская власть будет, что Красная Армия придет, я не теряла надежды, но что я этого дождусь, я не надеялась никогда. Слишком было тяжело.

Но я дождалась. За полтора месяца до прихода Красной Армии немец выгнал всех из своих жилищ. Подол был объявлен запрещенной зоной, и родные мужа должны были уйти. Мы ушли последней семьей со двора. Когда я вышла на улицу, мне казалось, что воздух валит меня с ног, такая сила движения его была. Мы жили на окраине полтора месяца, прятались в яме. (Продолжение пришло по почте)[9].

Список еврейской интеллигенции, погибшей в Бабьем Яру (со своими семьями)

Врачи

1. Заливанский – уролог
2. Гимельфарб Исаак – гинеколог
3. Радбиль – венеролог
4. Маркович – гинеколог
5. Салтанов – невропатолог
6. Райхер – венеролог
7. Рабинович Семен – хирург

8. Ротенберг (проф.) – ларинголог
9. Иоселевич Давид – эпидемиолог
10. Френкель (проф.) – ларинголог
11. Звоницкий – терапевт
12. Айзин Сигизмунд – терапевт
13. Боярский Семен – физиотерапевт
14. Таберовский – терапевт
15. Боскис (доктор медицины) – стоматолог
16. Шапиро Николай (проф.) – стоматолог
17. Могилянский – стоматолог
18. Беренштейн – стоматолог
19. Кодинский – стоматолог
20. Шморгинский – стоматолог
21. Майдан – стоматолог
22. Плинер – стоматолог
23. Товбин – хирург
24. Дукельский Владимир – педиатр
25. Вайсбрейт Аркадий – терапевт
26. Рыбаков Семен – туберкулезник
27. Шейнис-Рыбакова Софья – стоматолог
28. Беньяш Мойсей (проф.) – бактериолог
29. Вайсблат Арон – стоматолог
30. Скловский Григорий – педиатр
31. Митницкий Давид (доц.) – невропатолог
32. Турок – терапевт
33. Каплинская Екатерина – терапевт
34. Подгаец Сарра – невропатолог
35. Дольберг – терапевт
36. Каневский Лев – терапевт
37. Дейч Яков – терапевт
38. Рабинович – инфекционист
39. Бурштейн Лидия – стоматолог
40. Черкасский – терапевт
41. Рейдерман Исаак – педиатр
42. Шампанер (женщина) – терапевт
43. Ихельзон – терапевт
44. Гимельфарб – терапевт (зав. Киевским горздравом)

Юристы

1. Бабат
2. Лейтман
3. Коган Я.

4. Коган Е.

5. Шах

6. Циперович

7. Горенштейн

8. Цейтлин

Инженеры

1. Горенштейн

2. Левин

3. Полонский (проф. Индустриального ин-та)

Разные

1. Левит – композитор

2. Беренштейн Софья – библиотекарь

3. Вольман Рахиль – педагог

4. Сатановский – пианист (с семьей в 14 человек)

Все погибли со своими семьями.

Пришелец с того света

Рассказ художника Феликса Зиновьевича Гитермана

[11]

Тов. Гитерман Феликс (Ефим) Зиновьевич родился в 1906 году. По профессии он художник-декоратор. Он, между прочим, занимался оформлением зданий по улице Крещатик, по улице Свердлова[12] и др.

С начала войны с немцами тов. Гитерман принимал участие в оборонных работах Ленинского райисполкома. Жена его, украинка, Гусак Людмила Филипповна, родилась в 1906 году, у них двое детей: дочка Лариса – 1932 года рождения и мальчик Олег, рождения 1940 года. Мальчик в начале войны заболел, что помешало семье тов. Гитермана эвакуироваться. Сам же тов. Феликс Гитерман выехал 16 сентября 1941 года из Киева на машине вместе с группой других работников Ленинского райисполкома. Немцы стояли тогда уже весьма близко, и все дороги из Киева находились под непрерывным обстрелом вражеской авиации. Пробраться из города можно было только ночью, и притом – с большими трудностями.

Лишь 19 сентября машина прибыла в Борисполь, попав тут же под жестокую бомбардировку. Одна бомба угодила прямо в машину. Тов. Гитерман очутился метрах в десяти от машины; в руках его оказалась чья-то шляпа вместе с оторванной головой...

Многие из работников, ехавших вместе с ним, погибли. Оставшиеся в живых раздобыли другую машину и попытались вырваться из Борисполя, но было уже поздно. Их окружили немцы и заключили в концлагерь. Некоторые стали потихоньку уничтожать свои документы. Тов. Гитерман решил оставить документы при себе.

Первый вопрос, с которым немцы обратились к пленным, был: Jude? Следователь Лорман и еврей-прокурор, оказавшиеся среди пленных, тут же застрелились. Третий работник – еврей Зильберштейн ответил на этот вопрос отрицательно. Товарищ Гитерман сразу же ответил: «Да, еврей». Его отвели в сторону.

Вскоре составила большая группа пленных. Всех погнали в Бровары. Через несколько дней там

скопилось свыше тридцати тысяч человек, среди них – около двух тысяч евреев, которых отделили от остальных. Их оградили густой проволочной сетью, а кругом расставили пулеметы. Есть им не давали (украинцев кормили сырой картошкой). Все были охвачены ужасом и о еде не помышляли. Ужас усиливался с наступлением ночи. Немцы забавлялись тем, что перед самым лагерем разводили костры, сжигая на них портреты вождей советского народа. Зрелище это производило ужасающее впечатление на пленных. Всех одолевало чувство страха и сознание своей беспомощности. Никто не надеялся на спасение.

На второй день пригнали новую партию пленных. Опять отделили евреев. Некоторые пленные из украинцев стали снимать с евреев сапоги, часы, пиджаки и т. п. Полунагих пленников-евреев согнали в особый лагерь.

Вечером немцы отобрали на работу тридцать человек, которые утром вернулись. Тогда же в лагере появились корреспондент и фотограф, фотографировали преимущественно голодных и полунагих пленных с целью использовать снимки как материал, иллюстрирующий, как выглядит армия Советов... После ухода фотографа опять отобрали большую группу пленных. Оказалось, что вблизи лагеря роят широкие рвы... Работа эта заняла три дня.

На четвертый день утром выстроили всех евреев у лесной опушки вблизи выкопанных рвов, на дне которых уже виднелись трупы, и стали стрелять в них из пулеметов. Устоявших на ногах ударяли прикладами и сваливали в яму. Тов. Гитерман также попал в яму полуживой. Весь день он лежал в забытьи. Когда он очнулся, было уже темно. Ямы оставались открытыми. Раздавались крики, стоны и тихий предсмертный хрип. У тов. Гитермана сочилась кровь из ноги. Куском от своей рубахи он кое-как перевязал себе рану и стал осторожно карабкаться через тела мертвых и полуживых. Но вдруг он споткнулся; ему показалось, что среди груды тел кто-то тащит его за ноги...

Проснулся он на рассвете. Он надел припрятанный им под брюками свитер и пустился в дорогу. Шел он лесом в противоположную от лагерей сторону. Издали тов. Гитерман заметил крестьянок, копающих картофель. Он подошел к одной из них и стал ее расспрашивать о том, как пробраться в Киев. Та, испуганно оглянувшись, молча ударила его по руке, указав на картофель: копай, мол, вместе со мною и молчи... Гитерман повинился. Спустя некоторое время она наполнила довольно большой мешок картофелем и, подвязав, взвалила ему на спину, затем, с опаской оглянувшись, показала ему на дорогу. Он поплелся и вскоре нагнал других бежавших из лагеря пленных, украинцев. Те в испуге шарахнулись от него. Гитерман вынужден был отойти. Не выпуская их из глаз и соблюдая определенную дистанцию, он следовал за ними. Вскоре он заметил, что гестаповцы проверяют документы. Он спрятался в лесу и стал выжидать. Кое-как он наконец пробрался на Труханов Остров. Минувя немецкие посты у комендатуры, охранявшейся пулеметчиками, он столкнулся с одним рыбаком, и тот за мешок картофеля доставил его в город.

Таким образом, Гитерман снова очутился в родном городе, оставленном им десять дней тому назад. Но, увы, Гитерман почувствовал себя как в совершенно чужом городе. На улице Кирова[13] он заметил группу евреев, которых гестаповцы гнали куда-то и били по головам резиновыми дубинками. Прохожих почти не видно было. Кое-где встречались старики и женщины, с опаской и торопливой походкой перебегавшие улицу. Тов. Гитерман кое-как добрался до Крещатика. Оглядываясь, он издали заметил еврейскую женщину с ребенком. Он подошел и заговорил с ней. Она ему рассказала, что в городе часто убивают совершенно ни в чем не провинившихся евреев и что

евреям, в особенности мужчинам, не следует ходить по улицам, что в лучшем случае их гонят на тяжелые и грязные работы. Гитерман пошел дальше.

Он подошел к тому месту, где совсем недавно стоял дом, в котором он жил (Свердлова 13/25), – от него остались одни лишь дымящиеся голые стены. Что предпринять? Где искать убежища? И вдруг он встречает одного знакомого, Михайленко, который рассказал ему, что его, Гитермана, жена живет на Соломенке[14] у своего отца. Дом, где жил Михайленко, тоже сгорел, и потому Михайленко повел Гитермана во двор, где лежали его вещи. Михайленко снабдил его сухарями, напоил его чаем. Такое угощение после стольких дней голода показалось Гитерману изысканным. Неимоверно усталый, он прилег отдохнуть. Вечером Михайленко укрыл его ковром.

Около часу ночи заговорило радио. Всем жителям предложено было оставить город. При этом не умолчали о евреях, против которых велась погромная агитация. Гитерман решил немедленно пробраться на Соломенку. Тестя его, у которого теперь жила его жена, – старый железнодорожный служащий, член партии, сын его на фронте, остальные члены семьи эвакуировались; сам он был на окопных работах и выехать не успел. И вот Гитерман идет к тестю на квартиру. Кругом ни живой души. Глеют то тут, то там остатки некоторых домов. Вот дотлевет и Дом ученых. Редко встречается на пути прохожий. Но вот показались гестаповцы. Они останавливали прохожих и сгоняли их на большой двор по Караваевской улице, где стали проверять документы. Это продолжалось свыше двух часов. Те, у которых на руках были «хорошие» украинские документы, – а их среди задержанных было большинство, – торопились скорее протиснуться к воротам; такие же, как Гитерман, задерживались, оставаясь где-либо поодаль. Немцам наконец надоела эта история, и они широко раскрыли ворота и выгнали всех на улицу. Гитерман пошел дальше и благополучно добрался до Соломенки. Но войти в дом тестя было ему нелегко: шофер машины, на которой Гитерман выехал из Киева, сам видел, как его вели на расстрел, и он сообщил об этом жене Гитермана. Встретили его поэтому как пришельца с того света.

Дня через два в газетах[15] оповестили всех евреев, что они должны явиться на улицу Мельника, захватив с собою пищу на пять дней[16] и теплые вещи. «Значит, – рассуждал Гитерман, – нас собираются выслать». И он уже было решил явиться по приказу... Но жена его категорически воспротивилась этому. Она сама отправилась туда на Лукьяновку и к вечеру ввалилась в дом в истерике. Оказывается, людей гонят на убой... На следующий день она опять пошла в город, чтобы точнее разузнать о судьбе евреев, согнанных на ул. Мельника. Гитерман, оставшись один, от нечего делать решил побриться. Сидя лицом к зеркалу, он замечает, как в открывшуюся дверь входит немец. Он оцепенел.

Немец оглянул комнату. На его вопрос: Jude? Гитерман еле мог качнуть головой в знак отрицания. Немец ушел. Так Гитерман в третий раз избежал смерти, казавшейся неминуемой.

О том, чтобы дальше оставаться в доме тестя, не могло быть и речи. Жена Гитермана вырыла вблизи Байкова кладбища глубокую яму, положила туда теплый кожаный мех, сухари и зарыла туда мужа, оставив место для подачи пищи.

За полтора месяца жизни в этой яме Гитерман весь распух. Остаться там дальше было равносильно гибели. Людмила Филипповна решила подыскать какую-нибудь квартиру. В то время в городе было много пустовавших роскошно меблированных квартир. Но не это нужно было Гитерману. Выбор пал на один полуподвал по Красноармейской улице, имевший черный ход, так что в случае опасности

можно было спастись где-либо в глубине двора. Гитермана побрили, нарядили старушкой и привели на эту квартиру.

Тут он ожил. Днем все уходит, квартиру запирают снаружи на замок: никого, мол, дома нет.

Гитерман остается внутри. Вечером же все сходятся, делятся новостями. Гитерман забавляет детей.

Слово «папа» изгоняется из употребления, чтобы во время возможного обыска ребенок нечаянно не выдал отца. Гитермана домашние называют «бабусей». По знакомым мать и дочь собирают необходимую пищу. Мать занимается стиркой и кое-как раздобывает хлеб и картофель. Стужа стоит невероятная, ибо окна остаются незакрытыми, чтобы в случае надобности их можно было бы легко открыть. Но, страдая от холода и голода, они как-то живут. Однако вскоре наступает период частых облав и обысков. Что делать теперь? Людмиле Филипповне удастся через знакомых добиться согласия главного врача Кирилловской больницы поместить туда мужа как умалишенного. Но этот план не был осуществлен: немцы пришли в больницу и всех умалишенных расстреляли. Гитерман вынужден пока остаться дома. И вот однажды нагрянули немцы с полицией. Дочь заблаговременно успела выпустить отца через черный ход на двор. «Мужчины есть?» – допытывается полицией.

«Нет, – отвечает Ларочка, – отца убили на фронте». Немцы и полиция уходят. Гитерман

возвращается в дом, и тут он с ужасом замечает, что на подушке он оставил свои документы.

Облавы между тем становятся все чаще. По улицам водят оставшихся евреев к расстрелу; вместе с ними расстреливают и украинцев, скрывающих у себя евреев. Однажды во время стирки белья жена Гитермана услышала стук в дверь. Облава и на этот раз ничего не обнаружила: Гитерман догадался унести все белье на чердак, иначе по наличию мужского белья можно было догадаться о присутствии в доме мужчины. Но опасность усиливалась, облавы участились. Тогда пригласили тестя, и на чердаке был устроен огороженный угол, замаскированный так искусно, что обнаружить его было почти невозможно. Вниз Гитерман спускался в очень редких случаях, предпочитая все время оставаться в своем укрытии.

Так прошло двадцать месяцев. Но вот немцы объявили Красноармейскую улицу «запретной зоной».

Населению дают сорок восемь часов на переселение за пределы этой зоны.

Пришлось переехать на Соломенку, опять в дом тестя, хотя там было далеко неблагоприятно: кто-то донес на старого железнодорожника, что он член партии, и его расстреляли вместе с восемью другими украинцами. Жена Гитермана замуровала мужа в погребе, где, правда, были мыши и крысы, но был и достаточный доступ воздуха. Здесь было сравнительно безопасно. Но вскоре немцы приказали оставить Соломенку. Куда было теперь деваться?

У Людмилы Филипповны была знакомая – жена полковника Пичугина, участвовавшая в партизанском движении. Она прятала в разрушенных домах на Крещатике партизан. В одной из развалин у нее был запас картофеля и воды. Туда-то она предложила переехать семье Гитермана. Не так-то легко было пробраться туда из Соломенки. Гитермана опять одели «бабусей». С маленьким Олегом на руках он пустился в этот рискованный путь вместе с женой и дочкой. По дороге, при виде первого немца, он выронил ребенка из рук; малыша подняли и снова передали в дрожащие руки «бабуси». Так пришли наконец на «новую квартиру».

К часу ночи на 6 ноября 1943 года на Крещатике показались наши танки. В одиннадцать часов утра тов. Гитерман вышел на улицу, где встретился с сотрудником НКВД тов. Мазуром. 7 ноября он встретил тов. Бажана[17]. Тот расцеловался с ним и представил его Никите Сергеевичу Хрущеву[18].

Тов. Гитерман еле держался на ногах, он дрожал и не мог ни слова выговорить. Никита Сергеевич, поддерживая его, успокаивал: «Ничего, дружок, скоро опять будете оформлять Крещатик».

Гитермана скоро обеспечили работой, и ему был выдан ордер № 1 на квартиру (Львовская 6, кв. 51). Оттуда открывается прекрасный вид на Днепр, что особенно привлекло художника-декоратора тов. Гитермана.

Как я спаслась от Гитлера

Воспоминания учительницы Эмилии Борисовны Котловой

[19]

Дорогой и родной наш Илья Эренбург!

12 января получила Ваше письмо, за которое очень благодарна. Я ждала его круглый год.

Вчера был мой второй счастливый день в моей жизни, когда читала от Вас письмо. Первый счастливый день в моей жизни был 25 декабря 1943 года, когда на улицах нашей деревни увидела нашу доблестную Красную Армию. Третий радостный день в моей жизни был бы тогда, когда бы с Вами поговорила лично.

Я могла б передать очень ценный материал для «Черной книги», а на бумаге все не напишешь. Хотя я не обладаю даром слова, но я надеюсь, что Вы меня поймете. Я уже стара, имею сорок три года.

Дети еще маленькие. Старшая дочь Мери – десятый годик, младшая Светлана восьмой годик. Муж находится в рядах Красной Армии с 23 июня 1941 года. Известий о нем никаких нет.

Сперва напишу свои личные переживания, а потом людские. Начала писать книжку о гитлеризме, но прекратила.

Книга делится на три части: 1) Автобиография моя. 2) Как я спаслась от Гитлера. 3) Я снова живу.

Я за три года скитания по свету с двумя крошками (одной было шесть лет, а другой четыре годика) видела и пережила такое горе, что мне кажется, что человеческий язык не в состоянии рассказать и написать. Что делалось в Бабьем Яру, это уму непостижимо. Когда я вспоминаю о прошлом, мне становится страшно, жутко и холодно, как будто нахожусь в темном бору одна ночью. Только одно видеть, как шли невинные евреи к назначенному месту гибели (сознательно). А потом, как вели евреев этапным порядком из Харькова, успевших удрать из Бабьего Яра (как били их!); окровавленные, изнуренные, голодные, раздетые, истощенные, босые, измученные шли колоннами: молодежь, старухи, мужчины в цвете лет тридцати пяти – тридцати шести, дети разных возрастов, даже грудные. (Я пишу и в то же время обливаюсь горькими слезами.) На всех столбах были наклейки, что Гитлер убил шестьдесят две тысячи евреев по просьбе других национальностей[20], но это неправда, это его личная инициатива. В Киеве я была при немцах один месяц, потом меня выдали соседи, с которыми прожила в одном доме много лет. За день до прихода Гитлера мы были ярыми друзьями, а через десять дней выдали меня и привели мне гестапо в дом.

Вот какие корни пустил Гитлер. Эти корни остались еще на пятилетия. Потом я ушла с детьми в Житомир, а там меня арестовали и повели в гестапо. Вкратце опишу мой допрос. По дороге в гестапо тайный агент ударил Светлану в спину сапогом (ей четыре годика и после болезни корью). Она медленно шла, и ребенок сильно заплакал от боли. «Иди! Скорее, жидовская морда, сейчас пойдешь в расход». Я отвечаю: «Неизвестно, кто из вас пойдет в расход, ты или она». Привели и закрыли нас в темный чулан с цементным полом. Моросил осенний, мелкий, холодный дождичек. Как Пушкин писал: «Приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора». Так было и у нас. Я ушла

из Киева в одном летнем пальто и в одних туфельках, не успела ничего взять с собой, так как гестаповцы пришли за мной по указаниям соседней. (А добро осталось для кого-то.) Я и дети были измучены дорогой, потом в Житомире узнала, что сестра моя со своей семьей заживо засыпана[21]. И от всех переживаний упала на пол и задремала с детьми на голом, холодном цементе. И вдруг слышу, открывается камера и зовут меня и детей на допрос. Сидит гестаповец и рядом переводчик (дословно):

– Вас обвиняют в том, что вы еврейка.

Мой ответ:

– Кто меня обвиняет?

Переводчик:

– Немецкое правительство.

Мой вопрос:

– Больше ни в чем? А в воровстве? – Нет. – А в убийстве? – Нет. – Тогда я не еврейка. Улики у вас есть? Докажите.

Меня временно оставляют. Переводчик обращается к Мери (старшая девочка):

– Скажи, девочка, твоя мама любит немцев?

Ответ Мери:

– Моя мама ненавидит фашистов, но она боится вам сказать.

Допрашивают младшую:

– Ты еврейка? – Ай, не хочу кушать. (Она думала, что это такая еда.)

Потом опять обращается к Мери:

– Ты еврейка? – Нет. – Русская? – Нет. – Польшка? – Нет. – Немка? – Нет. – Чешка? – Нет. – Украинка? – Нет.

Тогда вскрикнул:

– А кто же ты? – Я Мери, – услышался ответ девочки. Допрос мой был мучительный, долгий и томительный. Не дознавшись, кто я, допросили нас в гестапо (фотографировали меня несколько раз). В эти же дни, что находилась в гестапо, я узнала, где находятся партизаны и в каком лесу (от людей приходящих). Опишу страшную картину из гестапо. Расстрелы евреев происходили на моих глазах. Открывается дверь, и высыпается толпа мужчин и одна девушка лет семнадцати-восемнадцати. Я посмотрела на них, сейчас узнала, что евреи. Спросила девушку:

– Откуда вас ведут?

Отвечает она мне:

– Из Коростишева в тридцати пяти километрах от Житомира. Мужчин нашли в лесу, а меня забрали сегодня. Спрашиваю опять: «За что?».

Тихий, отрывистый ответ девушки. Она находилась у одной старой крестьянки в селе. Тайный сыщик приставал к ней и хотел с ней жить, но она отказалась.

– Лучше меня убьют, но не отдамся я ему.

Толпа евреев спрашивала у арестованных по-еврейски: «Зукт, хаверим, вус кен зайн мит унз»[22].

Как вдруг, откуда ни возьмись, выбегает палач, я его уже хорошо знала, ибо все время заглядывал в мою сторону и считал, сколько нужно пуль для меня. «Ах! жидовские морды, и тут по-жидовски». И начинает прикладом бить этих евреев куда попало: в зубы, в лицо, в живот, в нос и даже по ногам. Я

обмерла на месте, а дети так визжали и кричали – что-то страшное. Жалко, что я не художник, нарисовала бы их лица. Допрос был короткий. Долго не думал палач. Вижу, взял винтовку, пули и черную шаль. В этой шали он приносил одежду с убитых обратно в гестапо. И погнал толпу евреев, как стадо смирных овец, вдоль длинного гестаповского двора.

Слышны были выстрелы, и через минут двадцать пять вернулся он веселый и довольный, что в его черной шали было много окровавленного еврейского барахла. Скромная, юная девушка просталась со мной и сказала мне: «Будьте живы с детьми, а мне так хочется жить и жить, мне лишь восемнадцатый год». И так, ее нет. Я даже не спросила, как ее зовут. На следующий день привели одну коммунистку-еврейку. Она спала рядом со мной и дала детям хлеб. Ночью я спросила ее, за что взяли и где. В Житомире она где-то работала, и один мерзавец захотел, чтобы она ему отдала свое единственное пальто (оно было мужское). Девушка отказалась, ибо была глубокая, холодная осень и без пальто не могла остаться. За это он ее выдал. И когда вели ее на допрос, то ей пели: «Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети, не расстанемся с тобой никогда на свете». Больше не видала ее. Куда делась, неизвестно мне, но догадываюсь... Из всех арестованных встретила только одну девушку Чарну в Житомире в 1942 году летом (случайно живую). Она меня узнала, и я ее узнала. Она мне не призналась, что еврейка, и я тоже нет. Она боялась меня, и я боялась ее. И сколько еще видела таких картинок там, не рассказать и не описать. Не только раз была арестована, я была еще два раза арестована без детей. Третий раз уже приехала за мной машина гестаповская в село Покостивка Житомирского района Житомирской области в августе 1943 года (я снята[23] у гестаповцев). О жизни моей, о муках еще не писала. Там еще страшнее. Уже два часа ночи. Пишу при копилке, когда-нибудь напишу. Если бы было тепло и было бы у меня зимнее пальто, то поехала б в Москву, Там у меня живет брат по ул. Фридриха Энгельса, дом 3/5, кв. 4. А. Б. Котлов. На днях приехала дочь моей бывшей няни из Фастова (крестьянка). Рассказывает нам такой случай. В 1941 году, когда немцы убили в Фастове всех евреев, то детей еврейских оставили. Было их восемьсот детей. Был дан приказ, что все селяне обязаны взять по ребенку, хорошо питать и ухаживать. И если будет убито хоть одно дитя, то отвечает целая селянская семья. Три месяца кормили этих детей. По окончании срока, когда дети поправились, то немцы издали такой приказ: «Вернуть всех детей еврейских к назначенному месту. За отказ – смерть». Дети были привезены, и их отвезли в госпиталь. Там привязали к кроватям и высасывали у них кровь для раненых немцев. И судьба детей была закончена[24].

Моя личная просьба к Вам. В Киеве живу с 28 апреля 1944 года. Вообще в Киеве прожила четверть века и проработала в школах двадцать четыре года. Сейчас в данное время работаю в детсадике воспитательницей из-за квартиры. Ночую сегодня на двух коечках в детсадике, ибо пишу. Квартиру свою еще не получила. Валяемся семь человек в чужом, мокро подвале и спим на голом полу. Прекратила писать по таким причинам: нет угла, нет стола, на чем писать, нет стула, на чем сидеть. Мое дело за № 8985 находится на рассмотрении городского прокурора тов. Лозина. Уже зима, а квартира моя занята другими людьми, хотя по закону 5 августа 1941 года я должна была получить свою площадь как семья военнослужащего. Та соседка, которая меня выдала гестапо, вселилась в мою квартиру и забрала все мое имущество. Она роскошествует моим добром, что нажито честным трудом, а я валяюсь без кровати. Судимся с мая 1944 года. Дело уже перешло в уголовное, как похищение чужого имущества. Все обещают, что скоро будет суд. Дело мое находится в Ленинской

районной прокуратуре у тов. Самсоновой долго и неподвижно. Я сама беззащитна, хотелось бы Вашей помощи в этом отношении. Казалось бы, что после таких мук и переживаний должна на старости лет иметь угол, и дети красного командира тоже заслужили это. А соседка, враг народа, преспокойнейшим образом живет и торгует на базаре керосином. Если будет малейшая возможность, помогите.

А теперь хочу просить Вас, дорогой Илья Эренбург, в отношении задуманной мной книжки. Ваши указания и направление. Пишу первый раз в жизни. В молодости любила писать о природе. У меня есть сильное желание написать такую книгу, но настроение у меня плохое, последние дни я начала чувствовать, как у меня отнимается левая рука от сырости. При Гитлере я два года не видела хлеба, и зимою в самые сильные холода моя комната не отапливалась. У детей и теперь отморожены руки и ноги.

Будьте здоровы!

Почему я должна и теперь страдать?

Мой племянник Абраша Костовецкий посылает свои стихи для «Черной книги» о еврейском народе.

Парень еще молодой, двадцать три года ему. Часто пишет и любит писать.

Всего хорошего.

Соседка – враг народа, что все забрала у меня, пишет на меня всякие небылицы и обливает меня всякой грязью незаслуженно. Пройденный путь мой прошел в честном труде. Она мне говорит, что если она захочет, то советская власть расстреляет меня, как собаку.

Прошу ответить.

Дорогой писатель И. Эренбург!

Посылаю материал для «Черной книги».

Некоторые факты не пишу, будет возможность, лично расскажу.

Как я осталась в Киеве и почему? Было время, что не было возможности выехать из Киева, а когда настала эта возможность, то у меня заболела младшая девочка, и везти больную невозможно было.

Не успела освободиться от одной болезни, как заболели обе на корь. Как раз заболели в дни прихода людоеда Гитлера. Писать о приходе Гитлера в город не приходится, всем известно. Черная хмара^[25] нависла над городом. На всех перекрестках и витринах были наклейки и приказы о смерти или «смертная казнь». Народ говорил: «За все смерть, тогда за что жизнь дана?» Через три дня горел Киев. Это был страшный суд над людом. В это страшное время, когда рушились дома, в воздухе летали обгорелые брусья, обломки камня и щебня засыпали живых людей, стекла сыпались из окон, как мелкий дождичек. Как люди метались, как обгорелые крысы в клетке, когда везде и всюду слышны были крики и вопли людей. В это самое время в дыму, в огне гитлеровцы грабили квартиры и тащили патефоны, машины, одежду и о спасении людей не думали. В эти же дни Гитлер показал свое настоящее лицо перед народом (свою гнусность, наглость, но зверства еще не показал, оно было пока крыто-шиито). Много еврейской молодежи убил, обвиняя их в поджоге. Ровно через десять дней, в день Йом-Кипур – Судный день по еврейским обычаям, 29 сентября 1941 года совершилось гнусное злодеяние Гитлера. Он принес жертвоприношение своему идеалу «фашизму». Он проглотил шестьдесят две тысячи евреев – невинных жителей. Он напился еврейской кровью, что его жилы лопаются. И этот памятный день войдет в историю человечества. Ранней зарей красовался «гитлеровский приказ», никем не подписанный, о небывалой гибели евреев (пишу дословно). Приказ

был напечатан на двух языках: на немецком и украинском.

Наказується всім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок дня 29 вересня 1941 року до 8 години ранку при вул. Мельника – Доктерівській (коло кладовища). Всі повині забрати з собою документи, гроші, білизну та інше...[26]

Еще накануне Судного дня, то есть 28 сентября 1941 года[27], Гитлер собрал всех евреев-мужчин города Киева и погнал в Бабий Яр копать ямы, а к вечеру всех расстрелял. Все евреи были уверены в том, что Гитлер везет их в гетто, но никто не мог подумать, что им там будет конец. Что стоило посмотреть на несчастных, беззащитных евреев и на их шествие к месту назначения их гибели? Страх и ужас! Волной шли – молодые, старые, женщины, мужчины и дети всех возрастов, и всякий спешил занять более удобное место в вагоне. Везли на подводах и повозочках свой скарб (одежда, посуда и продукты). Некоторые везли балии[28], ночевки[29], самовары. Шествие началось в восемь часов утра 29 сентября 1941 года, и три дня подряд шли и ехали евреи. Но куда? Сами не знали. Бабий Яр расположен близ еврейского кладбища, одна его стена упирается почти в Бабий Яр. Заранее были приготовлены ямы. Становились вокруг ям, и расстреливали из пулеметов, а те падали в ямы. Детей отбирали и отдельно убивали, брали на штыки, рвали на половины новорожденных. Не хватало ям, так землю взрывали минами, и от этого в то же самое время засыпало заживо евреев и образовались новые ямы. Земля шаталась от движения людей в одной яме, а из другой образовалась щель, и оттуда сочилась еврейская кровь. Место было окружено гестаповцами. У входа отбирали документы, одежду, драгоценности, продукты, а дальше в Яре раздевали и бросали все на кучи. Вопли, крики, плачи, мольбы и раздирающие крики детей и женщин не трогали звериных душ мерзких палачей-фашистов. Все делалось «по приказу» Гитлера. Старые евреи молились Богу и кричали: «Шма Исраэл адонай...»[30]. Молодежь боролась с палачами и кричала: «Народ отомстит за нас». Перед убийством они еще успевали изнасиловать женщин. Стоя на расстоянии, можно было умереть со страха, но человек сильнее железа и не умирает прежде времени, живет и все переносит. (Пишу сокращенно.) Некоторые евреи не пошли в Бабий Яр, они кончали жизнь самоубийством. Врачи отравляли себя и детей морфием, были случаи, когда обливали керосином себя и своих детей и не сдавались палачам в руки. Такой смертью скончалась одна наша ученица пятого класса 47-й школы Рива Хазан, жили по Короленко[31], 43, кв. 13. Мать и дочь облились керосином и сгорели, и все с ними сгорело. В нашем доме на Ленина[32], 12, они убили старика Столярова, и когда жильцы его выбросили во двор, они, гитлеровцы, наступали грязными чоботами с гвоздями на лицо убитого еврея, злорадствовали и кричали: «Капут юда!» Лицо убитого покрылось дырками, а потом еще два раза выстрелили в рот и глаза и ушли. Какая месть была у меня тогда, видя все это? Но увы! И как я проклинала эту минуту, что дождалась ее. Через пять дней после Бабьего Яра был издан другой приказ: что все еврейские квартиры должны быть опечатаны и все еврейское добро передано домоуправами в указанное место. Цель какая? Окончательно изгнать евреев из квартир и покончить с ними. Свою намеченную цель Гитлер выполнил. Евреи были изгнаны, а добро забрано. У Гитлера еще остались евреи в плену. Восемьсот тысяч пленных взял под Киевом[33]. Они пока находились [в лагерях] (Борисполь, Нежин, Переяслав). Среди них было четыре тысячи евреев (и мой муж был среди них). Гнали пленных почти две недели на Киев. Была осень, и по вечерам уже было холодно. Впереди шагала колонна евреев: раздетые и разутые, изнуренные, тощие, подвязанные и

окровавленные. По дороге они отставали, гитлеровцы сильно их били. Лагерь пленных был на Керосинной улице. Во дворе ямы, и в этих ямах находились пленные евреи. Кушать не давали по три дня, они умирали голодной смертью. Раз указали на еврея, что он комиссар. Его вытащили из ямы в одних трусах, поставили посередине двора и начали пытаться: окружили его четыре гитлеровца с кинжалами с четырех сторон. «Ты комиссар?» И ножом в спину. Другой: «Ты юде?» Ножом в живот. Третий: «Ты коммунист?» Ножом в правый бок. Четвертый: «Ты НКВД?» Ножом в левый бок. И так казнь совершилась прилюдно. Еврей два раза успел крикнуть: «Палачи! Отомстят за меня и за нас всех!».

Остальные евреи были расстреляны также в Бабьем Яру. В 1942 году летом я видела много западных евреев-мужчин четырнадцати-шестидесяти лет, работали на грабарках[34] за Житомиром. Целое лето проработали, а к зиме всех расстреляли, а многие умерли голодной смертью. И такой была судьба всех евреев.

Вкратце опишу свою жизнь при Гитлере. Меня после этого приказа уже не впустили в свою квартиру наши же соседи, с которыми прожила в одной квартире восемь лет в большой дружбе. Активное участие принимала все время жена партийца Артеменко Христина Степановна в моей смерти. Она меня выдала и переселилась в мою квартиру и забрала все мое имущество, и она пользуется и сейчас им. Она преспокойнейшим образом живет в столице городе Киеве по ул. Ленина, 10/3, как будто где-то работает и является сейчас честной советской гражданкой. Она знала, что я еще жива и буду ей мешать, как видно, так она думала. И на моем несчастье она строила свое благополучие. Занимается явно грабежом и мародерством и чувствует себя прекрасно (бездетная, бывшая кулачка). А я валяюсь с двумя детьми на голом, холодном полу в подвале, где льется вода со стен ручьями, как у Гитлера лилась еврейская кровь (без кровати, без стола, без стула), ибо не имею средств на то, чтоб новое приобрести, а эта хулиганка, враг народа, роскошествует моим добром, что годами нажито в честном, тяжелом труде. Где же тогда человеческая справедливость? Может быть, мой ум еще до этого не дошел? История об этом умалчивает (пишу о прошлом).

Имея таких соседей, я должна была с больными детьми перейти в другой дом по ул. Ленина, 29, так как там никто не знал, что я еврейка. Потом ежедневно ходила на базар, чтобы что-нибудь достать для больных детей (одной было шесть лет, а другой четыре года). Однажды на Еврейском базаре меня встретила знакомая продавщица и говорит мне вслух: «Как она не боится шляться по базару?! Сидела бы дома та не рыпалась». С продуктами было очень трудно, ибо немцы отбирали все у селян без денег, и селяне перестали возить в город. Были дни, что почти умирали с голоду больные дети, и никто не хотел помочь (хотя бы корочку хлеба), а в квартире все осталось. И так в страхе и голоде прожила месяц в Киеве при немцах. Соседи зорко следили за мной, они не знали, куда я делась. В одно прекрасное утро меня настиг сосед и он же наш истопник школы Баран и следил за мной, и узнал, где нахожусь, и передал соседке Артеменко. Хулиганка Артеменко явилась к нам, на парадном агитировала всех соседей – зачем они меня укрывают в такое опасное для них время, ведь я еврейка. Переведу на украинский язык: «На що ви укриваєте цю жидовку? Нехай вона іде до своєї хати, бо вона живе по вулиці Ленина, 12». Одна соседка была жена профессора, и ее внук у меня учился, ответила: «Эмилия Борисовна не еврейка, это неправда». А другая соседка ответила: «Хиба вона жидівка? Вона людина, як треба»[35]. (Выходит, что евреи не люди.) Но мои соседи на этом не успокоились. Баран меня встретил вторично утром, он шел благополучно на работу к Гитлеру, а я с

базара. И тут он уже не стерпел. Узнал, в какую квартиру вошла, и через минут тридцать привел мне гестапо на дом. Он им говорил, что я еврейка-юда, что я здесь скрываюсь. Кричал на меня, топал ногами и со всякой руганью: «Жидовка, покажи пашпорт!» Я показала бумажку, о которой будет идти речь дальше. И конечно, отрицала все, что говорил Баран. Они ушли с тем, что придут еще раз, так как дети лежали больные, то думали: «Куда ж денуть с ними?» Спустя немного слышу, как в коридоре спрашивают, где живет юда. Соседи в ужасе, что в их квартире оказалась юда-еврейка. Крик на всю квартиру, и когда этот крик дошел до меня, я схватила двух больных детей и выскочила черным ходом на бульвар Шевченко вниз по Тургеневской к одной знакомой учительнице, с которой знакома была только десять дней. Была тогда суббота, а в воскресенье ушла из города Киева. Баран и Артеменко привели ко мне жандармерию, но я спасла жизнь бегством. В Киеве остались еще некоторые врачи-профессора. Рабинович – хирург, профессор по детским болезням. Дукельский – еврей. Они были убиты в 1942 году, через год. Много мне рассказывала жена старого Дукельского (ему было семьдесят два года), а жена у него русская, как она его спасала, но не помогло. Как я оставляю г. Киев и беру маршрут на Житомир? Дорога на Житомир – начинаются мои новые мытарства. Почему избрала Житомир? А вот почему. За месяц пребывания немцев в Киеве я была очевидцем многих страшных, мучительных картин над евреями, которых вернули с дороги обратно в Киев этапным порядком. Они бежали в Харьков или ближе к фронту, чтобы перейти к нашим. Часто не удавалось. На еврейском кладбище была «контора смерти». Когда просила нашего управдома еще «советского» Полонского зайти со мною в мою квартиру, забрать свидетельство по окончании института, то ответил, чтоб я принесла ему справку из «конторы смерти», что я безопасный человек для немцев, но когда я предложила пальто мужа, то пошел без справки. Раз иду по улице Короленко близ памятника Богдана Хмельницкого, вижу, ведут этап евреев откуда-то. Они чернее черного. Представьте себе мое состояние, когда я увидела знакомую учительницу. На мне лица не было. Выступил холодный пот от испуга. Я за ними вслед пошла, но держалась в стороне. Учительница была еще одета в синем осеннем пальто, знакомом мне, с головы спал платок, а в руках держала маленький словарик по обыкновению (как видно, с ним спала). Она меня заметила. Как эта учительница просила у меня пощады жизни, думая, что я русская, не забыть мне никогда. Разница между нами была та, что я была еще на воле, а ее вели в «контору смерти». Я тогда думала про себя: «Дорогой мой друг! Завтра же я с тобой встречусь там же, ибо мне этот путь неминуем». Каждый раз полицаи ударяли прикладом старых женщин за медленный шаг их к месту смерти. Одна еврейка очень стонала и кричала: «Ой вей из мир, вус об их зих дерлебт»[36]. Зять взял ее на руки и нес недолго, ибо сам был уже бессильный. Довели до полиции (Короленко, 15). Вышел старший. Полицаи докладывают: «Что сделать с жидами?» Старший отвечает (он был не немец): «В «контору смерти» на расстрел!» И так я шла за ними до Лукьяновки. Как я считала часы жизни. Каждый стук в дверь думала, что уже идут за мной. Мне только было жалко своих двух малышей, ведь они еще не знали жизни, притом недавно вышли из болезни. Я представляла себе смерть детей перед своими глазами. Ведь разбойники убивали детей в присутствии матери. Ах, как тяжела материнская мука видеть, как убивают ее детей. (Горько плачу.) Я часто меняла базары, чтоб не узнали меня люди. Иду на базар Бессарабка. В будке, где когда-то продавали газеты, сидит старуха-еврейка и не может уже подняться. Прохожие дают: кто деньги, кто хлеб, кто сало. Пишу не принимает и кричит: «Иден, бней рахмунес, ратывет мих фун дем тейт»[37].

Ее выгнали из квартиры, все забрали, она в одних лохмотьях. А на дворе глубокая, холодная осень. Слякоть, брызжет мелкий холодный дождик, и она трясется от холода. Она рассказывает всем, что дочки и внуки ее уехали в гетто, а ее, одну старуху, оставили, и сильно на них обижалась. Назавтра я опять пошла посмотреть, что стало со старухой, но она уже была мертвая. Окоченела от холода. Одна старуха скрывалась на чердаке целый месяц, запаслась сухарями и водой. Когда ее нашли и повели в «контору смерти», то всем говорила, что прожила лишний месяц. Осень. Холод. Вижу, сидит в Золотоворотском садике женщина лет тридцати восьми. Конечно, изгнана. Я за ней следила два дня, а потом ее не стало. Не дожить до такого времени, как мне пришлось видеть и переживать...

Мой уход из Киева. Все учителя после приказа боялись меня как огня. Боялись проходить по улице со мной, даже просили не встречаться с ними. Как было мне тяжело и обидно, что лишь вчерашние друзья, с которыми я проработала десять лет в одной школе, где вместе творили чудеса, а сегодня не хотят тебя видеть и помочь тебе в трудную минуту. Только одна русская учительница Вера Петровна Сухозанет, и теперь она работает в Киеве учительницей, с которой я много лет дружила, спасла мне жизнь. Она мне дала справку, где была другая национальность, русская, а все остальное осталось по-прежнему. (Все документы гитлеровской эпохи сохранились.)

Кроме этой бумаги, что дала, она же советовала немедленно оставить Киев, потому что сама боялась за себя. Я с особой болью в душе оставила Киев, любимую школу и свой родной дом. С двумя крошками в ужасную погоду пустилась в дорогу без куска хлеба и без вещей. На мне было летнее пальто и туфельки, ибо не успела ничего захватить с собой (соседи постарались). Ведь в Киеве я много лет училась, работала и растила чужих детей и своих. В Киеве прожила четверть века, а в школах проработала двадцать четыре года. Я отдала детям свою молодость и свою душу. Я всегда работала на двух сменах, только ночь заставляла расстаться со школой. Летом работала в лагерях. Детский звонкий голос был всегда мне приятен. Я никогда не уставала и не чувствовала усталости. Меня всегда можно было найти среди детей. Дети – это вся моя жизнь. К восемнадцати годам я уже заведовала большим коллективом детей. И вдруг я должна все оставить и идти искать себе пристанище. Но куда? Сама не знаю...

Дети мои шатались еще от болезни, и красные пятна были еще на лице. И рано утром в воскресенье мы тронулись пешком в путь. Светочка захватила свою любимую куколку, так было ей жалко с ней расстаться, а когда ручки замерзли, то мне отдала и сказала: «Мама, держи и не потеряй!» И думала тогда я: «Все это наделал враг человечества – людоед Гитлер». (Как больно вспоминать прошлое плохое.)

Что было со мной в дороге? Торбочка с кусочком хлеба, мой новый документ и двое малышей. По пути встретили подводу, и довели нас до хутора «Мыло» в двадцати пяти километрах от Киева. На дворе слякоть, моросил мелкий дождичек. По пути очень смерзли и проголодались. На хуторе было несколько разбросанных хат. Зашли в первую. Нагрелись, и угостили нас печеной картошкой. Первый вопрос был: «Кто я? И куда путь держу?» Ответ: «Я погорела и направляюсь к себе на родину». А где эта родина, сама не знаю... Остаться ночевать было невозможно, ибо было тесно для его личной семьи, тем паче и для нас. В эту ужасную погоду поплелась я с детьми в село Спитки, но ни одна селянская хата не хотела принять нас на ночлег. В селах был приказ не принимать чужих, ибо это партизаны. Стою с детьми посреди поля, и коченею. Куда идти ночевать? А тут надвигается темная, холодная ночь. Этот момент был хуже смерти. Наконец я зашла к бывшему председателю

колхоза, женщина (горбатая). Просила продать молоко для детей – обещала позже, а пока у нас была возможность нагреться. Дети от усталости, холода и голода уснули, сидя на лавках. Вечером голова колхоза заявила мне освободить ей хату. И сколько я ее ни умоляла оставить нас на ночь, то не соглашалась. Бужу детей, но они не встают – спят очень крепко. Мой плач и просьбу услышал старик-отец, который лежал на печке, а я сначала его не заметила. И он крикнул на дочь: «Нехай вона залишиться с дітьми на ніч. Ничого Гитлеру не стане»[38]. Тогда молодая принесла солому в кухню, и мы переночевали. Наутро дождь, а в селе непроходимая грязь, а я в одних туфельках. Выпроводили нас с богом, и пошли дальше. Почти все село прошла, и никто не желал впустить чужого человека, особенно с детьми. Все смотрели с каким-то недоверием на меня. Одна селянка мне сказала: «Мабуть жидівка? Из Киева, бо ти одягнена в длинному пальті, а діти в шапочках. Хоч розмовляєш як наші жінки»[39] (вот ее заключение). Только в одну хату нас пустили, но я должна была предъявить свой паспорт старосте, а паспорт мой остался Гитлеру на память. Вижу, староста неграмотный, показала членскую книжку с фотокарточкой вместо паспорта. Староста нацарапал разрешение (дозвіл), что чесна людина и можно находиться в селе. Принесла эту бумажку хозяйке, и мы остались на пару дней, пока установится погода. В этот же вечер заболела старшая девочка ангиной. Валяемся на голой земле, а потом дали солому. Хозяйка не хотела держать меня с больным ребенком и выгнала нас на улицу. Из этого села шла дальше. Мы проходили необозримые советские поля, леса, луга и сотни сел, оккупированных фашистами. Сколько горя и муки я извела в пути с детьми (не рассказать и не описать). И через несколько дней мы добрались до Житомира. По дороге встретила с одним киевлянином, который жил в Киеве на Глубочице. Он шел в Житомир, чтобы выкупить из плена двух сыновей. Он мне рассказал, какое горячее участие он принимал в убийстве евреев в Бабьем Яру. Ежедневно приходил в Бабий Яр на помощь немцам, за это немцы давали ему барахло еврейское и харчи, что оставили евреи целыми кучами. Даже собрал там 43 тысячи советских денег, а теперь хочет выкупить своих сыновей. Я его спросила: «Вы довольны, что убили столько евреев?» Он так приятно улыбнулся и скоро ответил: «Очень рад этому случаю!» Я уже поняла, с кем хожу... Несколько километров ехали машиной. В Житомир приехали под вечер и пока дошли до квартиры моей сестры, уже было темно (Маловильская, 11). В квартире сестры переночевали, и там соседи рассказали, что ее заживо засыпали с ее семьей за сопротивление. С нами ночевал мой «хороший» спутник. Наутро зашла я напротив к соседке в номер двенадцать, к одной польке, сварить картошку для детей. У этой польки сын оказался тайным агентом, и он нас арестовал и свел в гестапо. О первом аресте я уже писала. В гестапо я узнала у арестованных, что в Покостовском лесу близ станции Коростеня находятся партизаны. Вышла из гестапо на улицу, мне было темно в глазах от непривычного света. Стою и думаю: «Куда идти?» Решила пойти в Наробраз[40], узнать, есть ли детские дома. Решила отдать детей в детдом, а сама пойти к партизанам в Покостовский лес. Так и сделала. В Наробразе узнала, что есть сиротский будинок[41] на Курбатовке. Когда я зашла в общую канцелярию, мне бросилась в глаза старая, закоптевшая икона и знаменитый портрет людоеда Гитлера. Так и сердце екнуло при виде работника с фашистскими флажками. Думаю, здесь нужно держать фасон. Низовые работники – украинцы. Главный начальник – немец. Детей моих не приняли, а ответили: «Если есть мать, то пусть мать и кормит». Там узнала адрес сиротного будинка. Взяла голодных ребят, и поплелась в конец города. Привела в сиротский будинок и просила заведующую переночевать, а завтра принесу справку о

принятии их. Дом этот произвел на меня удручающее впечатление. Детей избивали, правда, там был настоящий сброд. От четырех до восемнадцати лет. При мне закрыли в погреб селянского мальчика за то, что украл деньги у воспитательницы. Он переночевал, закрытый на замок, и сильно испугался. Когда утром выпустили, то был как помешанный, от испуга. Дети мне рассказали, что немцы недавно забрали всех еврейских детей, увели и убили, а четырех еврейских мальчиков, лет по десять-одиннадцать, два дня тому назад повесили в саду сиротского будинка. Выдала их врач, которая работала там в доме. Я с ней познакомилась, и действительно, настоящая хулиганка. Она мне сказала, что жидов очень много и всех не перебьешь. На другой день просила заведующую принять детей, хоть оставить на пару дней, пока сама устроюсь, а тем временем ушла в Покостовский лес к партизанам. Этот лес находился в пятидесяти девяти километрах от Житомира. В одном летнем пальто, в одних туфельках в сильный холод пошла. Детей своих дорогих оставила на верную гибель, но другого исхода у меня не было. Как я жалела, что не погибла в Бабьем Яру.

Дорога была мне незнакома, я все время блуждала. Наконец я попала в село Покостивка, а за селом, пройдя четыре километра, начинается лес. В селе остановилась и отдохнула. Пришла в лес и никаких партизан не видела. Долго я бродила по лесу, и уже при выходе под большим деревом сидели двое мужчин. Один совсем молодой, а второй постарше. Я их боялась. У меня сильно болела левая нога, ибо сидела в гестапо на цементном полу и простудила ногу.

Один меня спрашивает: «Що, бабка, кулигаеш?»[42] Я стала смелее и подошла к ним, так как услышала голос наших людей. Когда они спросили меня: «Чи є діти?», то я так сильно заплакала, что они сразу поняли, кто я... Они мне рассказали, что собираются уходить в Коростеньские леса, так как там находятся партизаны, а я далеко не уйду с больной ногой, и советовали вернуться к детям. Возвратилась обратно в Житомир. В селе Покостивка я увидела школу. Селяне мне рассказали, что школа не работает из-за того, что нет учительницы. Поговорила с заведующим школой, он мне рассказал, что нужна учительница 1-го класса, и условия для учителя. Узнала все и через семь дней вернулась обратно к детям. Дети успели заболеть чесоткой, и покрылось все тело фурункулами у них от грязи и голода. В сиротском доме детей не оставляют. В школу боялась поступить, заведующий – сын попа, и кроме того, буду всем бросаться в глаза. Передо мною стал вопрос – что делать мне сейчас? Ведь зима приближается, и угла нет. Никто не впускал в хату. Хотела поступить в колхоз работать, но не принимали на работу. И решила уйти совершенно в противоположную сторону на Бердичев, там находится совхоз «Рея». Ушла. Долго я путешествовала пешком. Я проходила сотни сел (где дневовала, там уже не ночевала), но устроиться не могла. Время шло к зиме, и рабочая сила сокращалась. Наконец добрела до совхоза «Рея», он расположен в десяти километрах от Бердичева. Хотели принять меня на работу в контору и направили меня к главному агроному (узнаю, немец). Я ни слова и возвращаюсь обратно в Житомир, ибо боялась попасться ему на глаза. На обратную дорогу опять потратила неделю. Заведующий сиротским будинком страшно был недоволен тем, что каждый раз бросаю детей. Встречу с детьми не описать. Как они меня умоляли и плакали, чтоб забрать их обратно из этого сиротского дома. «Мамочка, ты не уйдешь без нас?» И следили за мной целый день. Я решила, если умереть, то все вместе. Взяла ребят и пустилась в путь-дорогу. В Житомире получила назначение в школу. Хоть имела назначение, но все-таки в школу не хотела идти – боялась. И думала, где будет возможность остаться, то останусь с детьми. Но никакое село не хотело нас принять, как будто мы пораженные. Сколько я выплакала, идя с малышами без куска

хлеба из села в село (если бы собрать мои слезы, можно было в них выкупать человека). И так мы пришли в село Покостивка, как будто мне знакомое село. Во имя спасения детей я пошла работать в сельскую школу за учительницу 1-го класса. Мне дали комнату без печки с разбитым окном. Узкую железную кровать. Солому достала. Через месяц мне сделали плиту, обещала сама уплатить. Были школьные дрова, приготовленные еще нашей властью на 1941/42 учебный год, но заведующий забрал их себе и не хотел давать, а спорить с ним не посмела. В 1941 году были страшные холода, и в этом холоде моя комнатка не отапливалась, так как не было топлива. У детей и теперь отморожены руки и ноги. Хлеба мы не видели более двух лет.

Причина была та, что Гитлер вывез весь хлеб, и села сами голодали. Целую зиму жили на одной картошке без соли. Не было горшка, в чем сварить эту картошку. Вода замерзала в колотке. Не было, чем укрываться. Мы спали в пальто шесть месяцев, не раздеваясь, ибо ничего не было из вещей. Я покрылась вся чиряками, нас заедала нужда. Моя жизнь – это один кошмар. Не в силах человеческий язык передать все то, что обрушилось на всех евреев, особенно на меня. Небывалое в истории человечества: муки и страдания, причиненные Гитлером мне и всему еврейскому народу. Школа не работала. Не было учеников, книг и топлива, а я блаженствовала по такому случаю. Гитлер отвечал селянам, что ему не нужны ученые, ему нужны рабы, скот и рабочая сила. Он все писал, что Европа побеждает. После Нового 1942 года в школах был введен закон божий как обязательный предмет. Откуда во мне закон божий? Разве я когда-нибудь обучала? И сын попа (заведующий школой) сразу узнал, что я не русская (по-ихнему, православная). Была дана анкета, где нужно было ответить на некоторые вопросы. Главное, у Гитлера фигурировала и выпячивалась национальность. В сельуправе меня спросили, какого я вероисповедания. Чуть не ответила – иудейского, вместо православного. Аж было противно до слез, но надо было молчать. И сын попа – большой хулиган – начинает за мной следить. Кто я? Почему не признаю никаких праздников и даже не знаю их названия? Почему не хожу в церковь и не учу детей молиться? Все село уже знает, что я не православная. В воскресенье в последних числах мая 1942 года заведующий школой, сын попа (хромой на одну ногу), узнает в сельуправе, что есть новый гитлеровский «приказ»: кто выдаст жида, коммуниста, партизана и депутата Верховной Рады[43] – вознаграждение тысяча рублей, выдача продуктами по дешевой цене. И в этот же день является ко мне заведующий с полной уверенностью, что я еврейка и за мою голову получит тысячу рублей. Он мне начинает рассказывать, что так сильно любит евреев, что даже чуть не женился на одной еврейской учительнице. И тут же предлагает мне дать ему тысячу рублей, чтоб скрыть мое жидовство. В душе скребут кошки, а вида не подаю. Отвечаю: «Пусть беспокоится тот, кто относится к данной рубрике». Только обещала, что если пойду на родину, то принесу кое-что из вещей. Сколько подлостей я видела со стороны его по отношению ко мне, но должна была все молчать. Ведь наша жизнь была на волоске, а я все-таки не теряла надежды на то, что я скоро опять увижу наших и переживу еще Гитлера (и так оно и есть). Жена его всегда мне твердила, что ее муж, то есть заведующий школой, никогда не был советским педагогом, а работал в школах Советского Союза двадцать лет и все под маской. А когда пришел Гитлер к власти, то показал свое настоящее лицо. Как было больно видеть, что такие люди благополучно жили и живут (мало пишу о селе). Долго, скучно, сумрачно тянулись гитлеровские дни. Он не стерпел, что так долго не иду на родину, – пошел в Житомир и заявил, что в селе живет жидовка. Причина была та, что староста обещал дать мне справку, что проживаю в этом селе. А без печати эта справка недействительна, а

печати еще не было у старосты. Настал наконец счастливый момент, и я получила от старосты бумажку с печатью. Был июнь 1942 года. Заведующий пошел в Житомир и принес мне отношение из Наробраза, что меня туда требуют. Сдал мне под расписку. Пошла в Житомир по вызову. Прохожу пешком пятьдесят пять километров, оказывается, это не Наробраз, а гестапо. Явилась, а уйти уже невозможно. Допрос мой длительный, мучительный и страшный. Гитлер все время обвинял меня в том, что родилась еврейкой. Но, живя сорок лет еврейкой, было гораздо легче, чем два с половиной года русской. Я, конечно, все отрицала, как в первый раз. Меня опять снимают и печатают в газетах и подают на розыск (сохранилась фотокарточка). Меня спросили, когда мой день рождения и когда мой ангел. Я ответила, что я Мария Магдалина, а не Мария Египетская. И еще другие глупые вопросы. В этот раз я была особенно спокойна и выдержана как никогда. Меня освобождают условно под расписку и личную ответственность, что должна представить им паспорт. Из Житомира босая, без куска хлеба, направляюсь в Киев к Вере Петровне Сухозанет за советом. От боли, досады и волнения мое сердце сжималось, как лимонная корка на раскаленной мостовой. Шла пешком долго и томительно. Не видела даже света перед собой. Была довольно знойная пора, а мне хотелось лечь и больше не встать. Беспokoюсь сильно за детей. Перед моим уходом, еще в Житомире, я написала записку и адрес брата, который живет в Москве, и зашила в пальто старшей девочки. Просила ее: «Дочечка, когда придут наши, красные, то попросите кого-нибудь отправить эту бумажку в Москву, чтоб брат забрал детей, если останутся в живых. А я, быть может, не вернусь больше к вам. Будете жить без мамы и папы». Долго стояла и смотрела на них и горько плакала. Старшая девочка говорила мне: «Мамочка, вернешься и будешь жить с нами». А младшая все ласкала меня и не отпускала меня. Вырвалась от них и ушла. В селе Покостивка были также и друзья. Семья Мушинских, докторша, одна бабушка, сына ее забрали в Германию (глухой был и забрали). И эта бабушка приходила ко мне ежедневно с внучкой, шестимесячный ребенок, узнавать, когда будет конец Гитлеру. Им я и доверила своих детей. В Киев пришла утром и застала Веру Петровну дома. Жила она на улице Рейтерская, 25, кв. 3. Она не верила, что я жива. Осталась на ночь. В этот вечер я все ей рассказала и советовалась с ней, что делать и куда идти? После наших разговоров мне казалось, что она изменилась и как будто боялась меня. Ни до каких результатов не дошли. Вера Петровна в этот раз не могла ничем мне помочь. Рано встала, взяла некоторые вещи и ушла в село.

Город Киев в гитлеровское время. Грязный, унылый, безлюдный. Вместо роскошных цветов на улице везде картошка росла.

Одни зеленые шинели бродят с высокими кокардами. Угрюмые, скучные, голодные люди рыскали по Святошинскому шоссе с мешками, клумками[44] и повозочками по направлению к селам на обмен. Город плакал. Хотя я была одета, как селянка, и трудно было меня узнать, но все-таки одна мать моей ученицы узнала меня и остановила (немцы по фамилии Цоль – девочка ее училась у меня три года). Я, правда, боялась ее. На улице я дрожала, мне казалось, что следят за мной. Все люди казались мне врагами. Как я хотела видеть мой дом! Не пошла – боялась. В Святошине в доме отдыха когда-то жили, теперь немцы с семьями. Каждый имел отдельный особняк или дачу. С какой жгучей ненавистью я смотрела на них. Мне был противен их голос. На костях наших они строили свое благополучие. Они напились нашей кровью. Весь мир плакал, а они, палачи, злорадствовали. (Думала, скоро вам конец будет.)

Долго я смотрела на дом отдыха, в котором лишь недавно там отдыхала. В 1940 году меня

премировали за хорошую работу, а теперь я нищая, бесправная, беззащитная.

Я – живой труп. Идя, я задавала себе вопрос: «И когда уже наши придут?» Мне как будто кто-то в душе отвечал: «Скоро-скоро». И я подбавляла шагу. Через семь дней я вернулась обратно в село. В селе за время моего отсутствия решили, что я настоящая жидовка и меня повесили в Житомире за обман. А детей моих собираются вести в город. Они плачут, рыдают и не соглашаются идти. Всем говорят: «Наша мама скоро вернется. Непременно придет к нам» (и детское сердце не обмануло детей). И вдруг я являюсь в село. Все выбежали смотреть повешенную, лишь тогда убедились, что действительно русская. Трудно описать нашу встречу. Мы плакали от радости, что опять вместе. Всю ночь не спала, хотя была очень усталая. Я думала только, на что Гитлер тратит свою культуру, свой ум, свое время и чем он занят? На поиски одной беззащитной еврейки. Село успокоилось, а я работала на полевых работах. Школу оставила – не хотела больше работать. Настроение ужасное, предчувствие плохое. На сердце лежит тяжелый камень. После работы я и дети собирали колосья пшеницы. Мелю на зерна и варю детям галушки с водой без соли вместо хлеба и картошек – нет денег, чтоб купить пуд картошек (150–200 р. за пуд). После уборки урожая в последних числах августа (во вторник утром) приходит ко мне заведующий и предлагает мне ехать в какой-то район за вапном[45] для побелки школы. Я отказываюсь, так как уже не буду работать. Последнее время начал заискивать за кожаное пальто мужа, что одолжил у меня навсегда. Иду по селу собирать щепки, чтоб детям кое-что сварить, уже одиннадцать часов утра, а дети еще не завтракали. Вижу, едет большая, прекрасная немецкая машина и подъезжает к сельуправе. Я так и поняла, что за мной. И действительно, три гестаповца и один переводчик. Переводчик чехословак. Староста был тогда в Житомире, а в управе только один писарь из начальства. Гестаповцы потребовали меня и заведующего школой. Писарь указал на меня, что вот она идет. Слышу, зовут меня: «Котлова! Котлова!» (я бросаю щепки и направляюсь к ним). Первое, что мне бросилось в глаза, их значки на грудях (череп и две кости). Два раза была арестована и просиживала на допросах дни и ни разу не заметила этих значков. Один гестаповец вытащил мою фотокарточку и показывает остальным и говорит: «Да, это она! Зараз ей капут». Пробует винтовку – хорошо ли стреляет. Вся эта картина происходит на улице около управы. Все село сбегалось смотреть, как будут меня казнить. Я держусь стойко, но селяне говорили мне потом, что была бледна, как смерть. Один гестаповец говорит мне: «Садись в машину». И хотели увезти меня на поле и там убить. Собираюсь садиться. А первый все твердит: «Капут!» (мол, зачем с ней возиться). А мое сердце предсказывает: «Нет, сволочи! Палачи, изверги, не убьете меня! Буду жить и еще долго жить». Переводчик настаивает на том, чтоб меня опросили в присутствии заведующего школой. Первый все кричит: «Капут!» Он же велел сделать мне несколько шагов и два раза выстрелил. От близкого звука я прямо оглохла. «Будешь говорить правду. А если нет, то сейчас уьем». Я спокойно отвечаю: «Я вам все время говорила правду». Про себя думаю: «А вы живете правдой?» Все обман. Так обман за обман. Кровь за кровь. Смерть за смерть. И вспомнила мудрые слова нашего великого Сталина. Только была рада, что дети не увидят смерть матери. Долго они разговаривали и решили сделать допрос в сельуправе в присутствии заведующего и людей села. Зашли все и я. Все сели, а я стою. «Покажите документы!» Я показываю. «Покажите свидетельство по окончании педагогического института в 1930 году». Там указано, где я родилась, кто я такая. Переводчик посмотрел на фотокарточку, что была на свидетельстве, и показывает гестаповцам и говорит: «Смотри, какая ты была здесь, а теперь ты настоящая старуха». Я

думаю про себя: «Это вы сделали меня такой, мерзавцы!».

«Сколько мне лет?» Ответ: «Тридцать девять». Тогда третий наконец, еще молодой, все время молчал, а теперь сказал: «Моей матери пятьдесят два года, но она не такая старая, как ты» (то есть я). Я молчу. Потом показала свой новый документ вместо паспорта. На справке было написано: 1938 года выдано и по национальности русская. И тут они остановились и долго размышляли. Ведь в 1938 году была советская власть, и зачем мне было менять национальность? В то время все евреи жили очень хорошо, и, по-ихнему, советская власть – это власть жидов.

Спрашивают заведующего, знает ли хорошо, что я юда? Он отвечает:

«Может быть, другой национальности, но не православная». Почему он так уверен? Заведующий отвечает: «Она не знает закона божьего, названия праздников, не ходит в церковь, не учит детей молитвам». Переводчик отвечает: «Это пустяки, если не знает или не хочет!» Потом начали спрашивать общину, что я за женщина? Голова I колгоспу пан Шевченко ответил, что я не еврейка (что я звичайна людина – ну, наша людина – православная). Одна старуха дала такое определение: «Разве евреи люди? Хіба така, як вона жидівка? Вона же звичайна жінка»[46]. Одним словом, моя жизнь была на весах, и думалось: «Какая же чашка весов перевесит?» Потом был задан вопрос с упреком: «Почему у меня нет паспорта в течение двух лет?» Я ответила, что в селе все живут без паспортов. А про себя думаю: «Не хочу вам, разбойникам, показаться на глаза. Ваш паспорт мне противен, как вы, немцы! Я со дня на день жду наших мужей и братьев». Они мне сказали, что должна поехать в Житомир к райбургомистру за паспортом. Если еще раз попадусь к ним без паспорта, то убьют. Я говорю: «Зачем убивать? Ведь я всегда у них в руках и никуда не уйду». (Куда спрячешься от палачей?) Я просила выдать мне справку, что три раза арестована, но гестаповец отвечает: «Достаточно то, что возвратили мне документы и жизнь». А переводчик добавляет: «Особенно жизнь...».

К вечеру уехали. Я вышла от них не своя. Вернулась домой, дети уже спали на знаменитой кровати. Сначала уснула от переутомления и волнения, а потом думала, как оставить это село? И какие меры принять? Пошла к Мушинским и узнала, в каких местах находятся сахарные заводы. Разузнала. Назавтра под предлогом, что надо ехать в Житомир за паспортом, ухожу в м. Андрушовку (Андрушовского р-на Житомирской области). Прихожу, заводы там не работают. Направляют в Червоное, еще дальше (и все время надо ходить без куска хлеба). За неделю ходьбы – стала чернее черного. Чувствую, что нет уже сил бороться (безвыходное положение опять у меня). Первый месяц осени. Тепло. В Червоном на сахарном заводе принимают, но общежития не дают. Квартир нет, не принимают чужих, боятся. И, поступая на завод, необходим паспорт, а у меня его нет. Опять плохо. Куда ни положишь больного, все ему плохо. Нет, не решаюсь. Лучше в совхоз среди селян. Я уже к ним привыкла, лучше панов. Совхоз этого завода (свекловичный) находится в селе Яроповичи Андрушовского р-на Житомирской области. Иду туда. Работы очень много, и нужна рабочая сила. Принимают, но общежития совсем нет. Проработала два дня в совхозе. Условия ужасные. Кушать нечего, жить негде. Ночую в сарае. Работа с утра до темного вечера на поле, скирдовать высадки буряка. Для меня непосильный труд, ибо сама бессильна, едва ноги тащу. Расчет за работу зимой по двадцать килограммов зерна за трудодни. Селяне имели свое хозяйство и свою хату, и то не могли существовать, а я? Ни кола, ни двора. Как же я могла с детьми существовать? Это такая гитлеровская плата за человеческий труд. Гитлер бросал прокламации в начале войны: «Вы, селяне, служите

советской власти за кило полумы». Ему невыгодно было видеть зажиточную жизнь села при советской власти, он, Гитлер, тянул из села все готовое заранее. Сознательное селянство боролось против Гитлера, как мы. За детей сильно волновалась. Мне казалось, что гестапо придет в село и заберет детей вместо меня. И решила определить детей в киевский сиротский дом, там работала моя бывшая заведующая детдомом. Когда была студенткой, то работали вместе. (Звали ее Александра Гнатьевна Ершова.) Мы когда-то были хорошими друзьями, и думала, что в трудное время выручит, и считала, что она вполне советский человек, но оказалось совсем другое. Когда пришла в Киев, исключительно к ней в сиротский будинок (Белицкая, 3), там сейчас специальный детдом для детей фронтовиков, конечно, ее уже там нет. Захожу к ней в комнату, вижу, на кровати висит икона (Божья мать). В столовой висели иконы, и дети стояли на коленях, молились Богу, а она впереди и тоже молилась. В этот момент мне стало что-то страшно при виде ее в таком положении. Мелькнула мысль, быть может, и она была двадцать три года под маской? Не ошиблась я. Когда я ей задала вопрос: «Александра Гнатьевна! Я вас не узнаю» (недавно собиралась вступить в партию). Она мне с насмешкой отвечает: «Эмилия Борисовна! Какая власть, такая масть». Очень жалела, что пришла в Киев к ней за помощью. Даже боялась остаться у нее ночевать и пошла к Вере Петровне. В этот раз ходила по улицам смелее. Прошла по улице Ленина, даже остановилась возле Академии наук и смотрела на свой дом, в котором прожила столько лет. Думала про себя, что буду опять жить в Киеве. Была на ул. Кирова напротив Первомайского парка, там, где жила моя сестра. Эвакуировалась в 1941 года с детдомом (счастливая она). Пошла на Подол, там смотрела квартиру второй сестры, тоже эвакуировалась с учреждением (вторая счастливица). На минутку ожила при виде своего любимого города. Скоро вечер, и нельзя будет ходить (движение до девяти часов вечера). Пospешила к Вере Петровне на ночлег. Впустила меня и заперла меня, так как там жила наша бывшая учительница английского языка, а муж ее работал в управе, то Вера Петровна не хотела, чтоб они знали, что ночью у нее. Всю ночь советовались из-за паспорта, ничего не выходило. На рассвете ушла обратно к себе в село. На четвертые сутки была у детей. Много приключений имела в дороге. Что я видела, что я слышала, что я пережила, не напишу. (Не способна все изложить на бумаге, если бы родилась бы талантом или каким-нибудь гением, то тогда было бы иначе.) Придя в село, я спешила обратно уехать с детьми, ибо остаться в селе невозможно уже было. На мое счастье, из Житомира приехали спекулянты с машиною. Упросилась, и нас взяли в Житомир. Детей опять сдала в сиротский будинок, так как заведующий был уже знакомый. А сама пошла в село Яроповичи нанять хату для детей и поселиться на зиму. С большим трудом я наняла хату у одной старушки. Пошла опять в Житомир за детьми. От Житомира до села Яроповичи пятьдесят километров. Из Житомира шли пешком, по дороге встретила машину, и доехали до села. Первые дни пошла на полевые работы к селянам (копала картошку). Через две недели нас выбросили на улицу. Причина была та, что старшая девочка заболела на свинку, и бабушка требовала у меня пятьдесят рублей на дрова, а денег у меня не было. Начинаю ходить по хатам. Бывали дни, что нас не хотели впускать даже в сарай. Положение ужасное. Идет к зиме. Наконец поселились к одной молодой женщине, вторая хата от церкви (Анна Перепечева), обещала ей золотые горы. Анна эта – настоящая Вера Чибиряк (дело Бейлиса). Там я все уже почувствовала. Моему горю не было конца. От голода, холода, нужды заболели обе девочки и должны умереть. Сколько бессонных ночей выплакала, сидя возле них. Скоро являются ко мне староста и комендант села и требуют меня в сельуправу. Староста

добивается все время, где работал мой муж. Отвечаю, что на бойне. Он мне отвечает, что все жида работали на бойне. А комендант говорит: «Ларчик просто открывается». Значит, мы жида. (Муж мой военный был почти всю жизнь.) Через некоторое время выздоровели дети. Я объявила всем, что я известная портниха. Все селяне боятся меня, чтоб не украла то тряпье, которое дают перешивать, ибо очень нуждаюсь. Шью руками, все грубое, на вате. Шью долго, с терпением. Через некоторое время убедились, что очень честная жинка, даже возвращаю грубые крестьянские нитки, которые остаются на клубке после шитья. За труд принимала все, что давали, лишь бы накормить голодных детей. И так прожила целую зиму 1943 года у этой Анны. Я вся была опухшая от голода. Дети до того иссохли, что на них лица не было. Они светились, как восковая свечка. Настала весна, опять пошла на полевые работы к селянам (садила картошку). Потом староста заставил пойти садить картошку под плуг. Работала мало на колхозном поле, ибо за труд не оплачивалось. У крестьян, когда работала, то давали хоть покушать, и домой для детей принесу похлебку. На мое несчастье приезжают к хозяйке Анне гости из Киева, и я должна была оставить эту хату. Заставили освободить опять угол, что занимала. Опять плохо, нет угла, но не страшно было, ибо шло уже к весне. Долго валялась с детьми на земле, где попало. В прекрасный день меня впустила другая селянка, Марина Машталер. Там моя чаша горечи переполнилась. Восьмилетнюю Мери послала в пастушки. Она пасла пять свиней и двенадцать поросят. Уходила в пять утра в поле и приходила в девять часов вечера. Селяне ее кормили. Младшая завидовала старшей, но никто из селян не хотел принять на работу шестилетнюю Светлану. Светлана горько плакала, что Мери ест, а она голодает. Как было отрадно видеть, что Мери делилась последним. Что даст ей хозяйка, спрячет и вечером принесет домой и отдаст Свете. Часто предлагала и мне: «Бери, мама!» Я чувствовала, что растет мне защита. Недаром я столько намучилась, чтоб спасти им жизнь пока. И так проработали мы целое лето (я с детьми на поле от зари до зари). Света белого не видела. Староста и комендант зорко следили за нами. Продолжение следует[47]. Пишу поздно ночью при коптилке.

Города и местечки Украины

Мальчик из Бердичева

Рассказ Хаима Ройтмана

[48]

Меня называли Митя Остапчук. А я Хаим Ройтман. Я из Бердичева. Мне теперь тринадцать лет. Отца убили немцы, маму убили. У меня был младший братишка Боря. Немец его убил из автомата, у меня на глазах убил... Страшное дело, земля двигалась!

Я стоял на краю ямы, ждал – сейчас застрелят. Подошел ко мне немец, щурится. А я ему показываю: «Смотрите – часики». Там, на земле, стекляшка блестела. Немец пошел, чтобы поднять, а я кинулся бежать. Он за мной и строчит из автомата, картуз продырявил. Бежал я, бежал и свалился. Потом не помню, что было. Подобрал меня старик, Герасим Прокофьевич Остапчук. Сказал мне: «Ты теперь Митя, сын мой». У него семеро своих, я стал восьмым.

Пришли как-то немцы пьяные, стали кричать. Заметили, что я черный. Спрашивают Герасима Прокофьевича: «Чей?» Он говорит: «Мий». Они ругаются, что он врет, потому что я черный. А он им спокойно отвечает: «А потому, що вин вид моей першой жинки. Вона цыганка була».

Когда освободили Бердичев, я пошел в город. Нашел моего старшего брата Яшу. Он тоже спасся. Яша большой – ему шестнадцать лет, он воюет. Когда немцы уходили, Яша нашел подлеца, который

убил нашу мать, и застрелил его.

У могилы родных

Судьба евреев местечка Чуднов Житомирской области

Пять тысяч пятьсот человек местечкового населения, преимущественно стариков, женщин и детей, зверски замученных и истребленных, зарыты в ямах на территории Старого и Нового нашего родного Чуднова и его окрестностей[49].

Из рассказов очевидцев я узнал: первой жертвой был духовный раввин местечка восьмидесятилетний старик Иосиф Яковлевич Мосук, это было 8 сентября 1941 года перед вечером (кажется, в пятницу). Над этим божественным стариком издевались таким порядком. Заставили надеть богомолье, предложили двум соседкам-старушкам водить его по улице об руку, со свечами в руках, как к венцу, и под аккомпанемент резиновой нагайки немецкого палача Запевайло старушки были вынуждены петь, проходя по всему местечку до садика, где после так называемых церемониальных издевательств первая указанная выше тройка была убита и зарыта в одну яму там же в садике, над ямой поставили деревянный крест. Осмелившись, одна девушка, кажется, по фамилии Чирашнер, тайком сняла крест, за что все же немедленно поплатилась молодой жизнью. Первое массовое истребление населения, учиненное немецкими извергами, было 9 сентября 1941 года. Через так называемых специальных посыльных Эли Шермана и Нуты Зильбермана было созвано и гестаповцами согнано в помещение кинотеатра будто для отправки на работу до девятисот человек, а оттуда битком набитыми на грузовых машинах отвозили в парк. На первой машине едет Лазарь Харитонович (никто еще не знал путь следования машины), а он, размахивая шапкой и кланяясь, кричал: «Еду на верную смерть, но за идею!» Что он этим думал, конечно, как умалишенного не поймешь. Машина сделала не менее сорока оборотов из кинотеатра в парк, а там люди строились в очередь к заранее приготовленным ямам. Над каждой ямой лежала узкая доска, к этой доске длинной очередью не менее пятисот человек медленно, еле удерживаясь на ногах, продвигались окаменевшие люди. В одной из этих очередей в тот день стояли рядом моя любимая мать, тетя Сура, ее дочь и, прижавшись к ним, брат жены Янкель с узелком хлеба, ведь он собирался на работу. По приказу палача люди ступали по одному на доску, каждому была вслед послана в затылок разрывная пуля, после чего летели черепа с волосами и цеплялись на ветвях сосен и брызгами разлетались мозги, а туловища быстро проваливались в яму. В ожидании своей очереди Лиза Гнип (дочь сапожника Янкеля-Симхес), не доходя до ямы, разрешилась от беременности, немецкий палач грязными своими руками отрывает ребенка из утробы матери со всеми ее внутренностями, хватает новорожденного за ножку, ударяет его головкой о ствол старой сосны, так пробуждая жизнь новорожденного, бросает младенца к расстрелянной матери в общую яму. Так была истреблена первая партия, притом для большего коварного издеательства на сей раз истреблялись не полностью семьи, а обязательно муж или жена или часть членов семьи. Издевательству над оставшимися временно живыми не было предела, в плену у коварных фашистов бродили черные, заросшие, исхудалые тени от непосильной работы и голода. Заставили мастеровых ремесленников шить, перешивать, изготавливать из награбленного для нужд палачей. Изверги издали приказ, что мастеровые не будут убиты как необходимая рабочая сила, и предложили оставшимся вдовам, желающим сохранить себе жизнь, выходить замуж за мастеровых. Все это делалось, конечно, насильно. И, примерно, жена Фуки Ульмана тут же после того, как его убили,

расписывается с Нусей Британ, так как его жена была уже убита, и тому подобные принужденные связи. Вест Мойше-Мейер, оставшись один после убийства семьи, не выдержал и сошел с ума. Вот он бегаёт по Чуднову чёрный, заросший, как зверь, исхудалый и всё что-то разыскивает. Он не один с ума тронулся, такому примеру последовала жена Либова. Невестка Арона Килуп красиво наряжается и идёт к эшафоту с громкими песнями и пляской. Старик Шмил-Дувид из Гуральни надевает богомолье и, не ожидая вызова, идёт сам в парк к яме и тому подобные случаи.

Второе массовое убийство было примерно 15 или 16 октября 1941 года[50]. На сей раз убит мой отец, он всё время прятался от этих разъяренных зверей, три дня стоял в воде, лежал в ямах и погребках и полуживой уже был подобран комендатурой, его ещё заставили обслуживать несколько дней немецкую комендантскую прислугу, а потом был прибит. Сапожник Лизогуб из выгона долго его поддерживал питанием. Я специально к нему ходил и отблагодарил за предсмертные услуги моему отцу. Тогда же была убита жена Янкеля Фрейдл с тремя невинными детками. Рассказывали мне, что Фрейдл, окутанная в белый платок, несёт на руках малышку, за руку ведёт пятилетнюю девочку, а за подол юбки её держит восьмилетний Фима. Палач толкает её в плечо, чтобы быстрее шла, а она говорит: «Ну, я ж иду». И так она с детьми пошла в последний путь. В тот день на машине ехали в парк Янкель Баршман, держа на руках Димку, мальчика Сарры, рядом с ним стоит его жена Шейндл и держит закутанного трехнедельного ребенка – мальчика Сарры, а сама Сарра или, вернее, скелет её, стоит, прислонившись к ним, и так они поехали на убой. Палач берет трехнедельного малыша, подбрасывает его ногой, наподобие футбольного мяча, и в воздухе расстреливает его. Такие трюки и подобные даже фотографировались немецкими извергами. К яме подводят девятнадцатилетнюю красавицу-девушку, учительницу, дочь Блюдога Ицыка – Ханыс. Солдаты заставляют её раздеться наголо, распустить её длинный волос. Сами не могут налюбоваться такой красотой, выводят её из очереди, предлагают ей одеться и уйти, оставляя её в живых. «Цурюк!»[51] – кричит немецкий хищник. Она же упорно отказывается, требует немедленной смерти, чтобы успеть занять место рядом с родными, тогда разрывная пуля отбивает ей верхнюю часть черепа, которая вместе с пушистым золотистым длинным волосом летит в воздух и попадает на ветви сосны и долго там висит, пока не была унесена куда-то бурей.

Третье массовое убийство, завершающее, так сказать, было в середине ноября 1941 года[52]. На сей раз были уничтожены восьмидесятитрехлетний любимый всем населением врач Либов с его маленькой дочкой, доктор Френкель с семьёй. Вот ведут этого красивого старика Либова, который на своём веку спас тысячи жизней, он бросает по всей дороге записки «спасайте, спасать», но его спасла от немецкого рабства та же разрывная пуля, и мозги этого ученого человека, как и остальных врачей, разлетелись на сучьях сосен и долго там сушились, пока их развеяло ветром. Доктор Либов в ожидании своей очереди, не доходя до ямы, произносит речь на русском и немецком языках. Он сказал: «Я был большевиком и умираю большевиком». Первая пуля, посланная ему в затылок, не попадает в цель, он ещё успеваёт обернуться и говорит: «Ну так что, коль стрелять, так стреляйте прямо».

С населением закончено почти, подбираются остатки, даже горбатая Хума, Янкель Элис с ребенком и муж её калека, неплохой сельский парень, говорит: «Если убиваете мою любимую жену и ребенка, убейте и меня». И вслед за ними бросается в яму, где его убивают. Двенадцать больших ям я насчитал в парке, но их там ещё больше, – которые заглажены землей и снегом, и уже не определить

места. Но не только здесь зарыты эти несчастные. Они лежат на территории старо-нового местечка и его окрестностей. Семьдесят восемь человек Нового Чуднова лежат там же, недалеко от центра, на скале лежит Мойше-пампушка, который с криком: «Слушайте, слушайте, у меня десять детей» – выскочил на ходу из машины, удрал до скалы и на бегу был убит. Лежал долго труп Арки Тутиныкера на тютюновской дороге. Он в 1942 году пал мертвый, заеденный нуждой. Зарыт под Красногуркой убитый лишь осенью 1943 года Мошко-Ханыс, он бродил по полям и был замечен этими хищниками. Сидит в Гвоздяренском лесу над потухшим костром замерзший и заросший, как зверь, Гоендек. Не доходя гуральни[53], на мостике были убиты в конце ноября месяца 1943 года Арон, который возил брагу, его жена и мальчик.

А Рузя Фурман, эта славная девица, Рузя не далась в руки немцам, она в компании с Пупой Баршман в погребе дома Барштмана повесились и долго, долго там висели, пока жильцы дома не заглянули в погреб, там же найден мертвый мальчик, должно быть, Пупы Барштман. Рузю закопали возле дома, среди местечка. Вечный ей покой. Ука Гильштейн со своим прекрасным ребенком долго бродила по полям Янушпольского района и там погибла. А Люся, дочь ее, осталась каким-то чудом жива. И так, они погибли все, нет больше этих хороших еврейских сапожников и портных [нрзб.], которые по субботам отдыхали в этом самом парке, где лежат они и сейчас.

Я был у могил всех родных, близких и знакомых. В тот день была ужасная вьюга. Я припал к одной из ям, я слушал маму свою, которая шептала: «Киндер майне, киндер майне»[54]. Этому шепоту вторили вечнозеленые сосны, все ниже и ниже наклоняя свои ветви, сосны рассказывали, как на их ветвях долго висели черепа и сушились мозги. Да, не сомневайтесь, в этом случае эти сосны, как живые свидетели, говорят. Несмотря на зимнюю пору, и Тетерев не замерзал почему-то в этом году, в нем еще клокочут потоки крови, которые стекали ручьями с камней парка и не дают ему замерзнуть. За эти два с половиной года скалы по обеим сторонам Тетерева сильно поднялись и заросли мхом. Уже темнело, когда я быстро продвигался из парка к тому месту, где когда-то было жилье всех этих убитых, но, увы, двести сорок восемь домов убитых немцы совсем разобрали, а теперь представьте себе эту местность, все улицы слились вместе, и трудно мне было установить дом моих родителей, одни груды камней и глины.

Да, мои дорогие все!

Это не легенда про царя Ахашвероша и его министра Амана, я Вам описал краткую быль о злодеяниях и зверствах гитлеровцев в одном только небольшом местечке. Так наводил Гитлер новый порядок в Европе, то есть в нашем Чуднове.

Местные петлюровцы перебили всех евреев

В местечке Медведин Киевской области

[56]

Уважаемый т. Эренбург!

Я слышал, Вы пишете книгу об убийстве евреев во время оккупации немцами нашей территории. Я хотел бы Вам сообщить об одном факте избиения евреев, о котором мне написал отец. В одном маленьком местечке Медведине Киевской обл. (в 35 км от Корсунь-Шевченковского) осталось несколько еврейских семейств. За несколько дней до прихода немцев местные петлюровцы[57] перебили всех евреев до одного, предварительно невероятно поиздевавшись над ними и разграбив, конечно, все их имущество. Когда немцы пришли и узнали об этом, они главарей избиения...

расстреляли (очевидно, за то, что они осмелились сделать это «неорганизованно», и за то, что они забрали себе все, а не оставили им), а остальные удрали. Я боюсь, что вот эти бандиты, которые вынуждены были неожиданно для самих себя удрать от немцев, которых они, вероятно, ожидали и встречали с радостью, теперь будут считаться борцами за родину. Петлюровцы Медведина имеют солидный стаж избиения евреев. В 1918 году там был чуть ли не первый погром на Украине, в 1920 году там было восстание против советской власти, и тогда там убили мою сестру, случайно приехавшую туда в гости.

Было бы неплохо о вышеизложенном факте сообщить куда следует.

Простите, если отвлек Вас от Вашей работы, но хотелось поделиться с человеком, который принимает близко к сердцу человеческое горе, а Вас я считаю таким человеком.

Всего хорошего. Желаю много здоровья и сил.

В местечке Пятигоры Киевской области

Воспоминания Раисы Зеленковой

[58]

Погода была солнечная. Я, как и каждый день, сижу за работой и сортирую книги по алфавиту в библиотеке. Вдруг слышу испуганный голос молодого читателя, Вани Клебанского: «Ты ничего не знаешь? Бомбят Киев! Всем нужно явиться на митинг!» Его слова были сказаны дрожащим, испуганным голосом. Как-то не верилось, я все же решила закрыть библиотеку. Через десять минут я очутилась на Загребенке, где происходил митинг. После митинга молодежь пошла в клуб. Это было последнее наше гулянье; по вечерам было уже запрещено ходить. Через недельку началась эвакуация других районов области. Днем и ночью двигались сотни, тысячи людей, и все успокаивали нас, что фронт от нас еще очень далеко. Я решила обратиться к директору совхоза, чтобы он обеспечил выезд. Директор оказал нам всем помощь. Я, как и остальные семьи, получила пару быков. К этим быкам были прикреплены еще десять душ. Мы начали готовиться к отъезду. У меня были четыре метра мануфактуры, я продала их и стала собираться в дорогу. Каждому хотелось забрать необходимое. С нами, взрослыми, были и маленькие дети. А это значило, что быками вообще нечего пытаться вырваться в такую даль. Мой отец совсем отказался от поездки.

– Мне, – говорил он, – шестьдесят семь лет. Работаю с одиннадцати лет. Чего мне бояться? Ты, – обратился ко мне отец, – ты – комсомолка, ты спасай свою жизнь, а мне бояться нечего.

Но я решила остаться с отцом. Мой брат Воля также стал большим хозяином; у него тоже пара быков. Но между братом и соседями вышла драка. Они решили также отставить поездку. Время настало очень тяжелое. С каждым днем мы ожидали чего-то серьезного. Тем временем эвакуированные двигались машинами и лошадьми, нас же они все успокаивали, что фронт еще далеко.

Но ждать «гостя» было недолго. 16 июля 1941 года появились две немецкие танкетки. Быстро проехали через центр местечка с криком: «Бефрейт ди Украине!» («Украина освобождена»). Все замерло, как будто в местечке не было живого существа.

Через несколько минут обе танкетки промчались обратно. И вот 19 июля началось немецкое движение. Немцев встречали бывшие жены и дети участников банд 1918 года. Например: Матрена Тасевич – жена бандита, Мария Кравченко – жена врага народа; Гордий Ищенко с радостью кричал во всю глотку: «Я вас, братцы, ждал двадцать три года». Таковы были и другие немецкие

подхвостники. Через несколько дней появились гестаповцы. Началось наведение внутреннего порядка в селе. Был издан приказ сдать оружие. Закотынский, заведующий мельницей, не сдав оружия, скрылся. Комендант издал приказ: встречающихся на улице евреев арестовывать. Были арестованы: Аврам Стрижевский, Буня Клоцман и жена Закотынского. 31 июля их расстреляли как заложников, а жена Закотынского спаслась.

После этого староста села, Мазурак, объявил: всем евреям немедленно носить повязки – шестикутную^[59] звезду на правом рукаве, на видном месте. Со слезами мы принялись за рукодельную работу – вышивать звезды. Я решила лучше умереть, чем носить презренную ленту. Так как мой муж был русский, я обратилась к старосте. Староста дал мне справку, освобождающую от ношения ленты. Я была счастлива этим документом. Спустя некоторое время все еврейское население было забрано на работу, в совхоз, для уборки хлеба. Месячный заработок – шесть килограмм. Работали со страхом, не зная дней отдыха. На правой руке – лента, которая доказывала за километр, что работают евреи. Среди этой работы полиция Тетиевского района приезжала нас грабить. В то время я работала на поле. Я набралась смелости, бросила работу и пошла прямо в местечко. Подхожу к машине, стоит высокий блондин – мерзавец – это был комендант. Я ему подала свой документ. Он меня ударил по плечу и говорит: «Бери себе кое-что из вещей». Я проговорила: «Данке шон» («Спасибо»). Он велел мне на дверях поставить крест с надписью: «Бефрейт фон бетрайбунг» («От реквизиции освобождена»). Я его поблагодарила и продолжала смотреть на эту трагедию: все абсолютно выносят из квартир. Машина тронулась. Я пошла на работу.

После тяжелой работы шли домой к голым стенкам. Нечего надеть, и нечем укрыться. И вместо того чтобы дать отдохнуть, нас заставляли картошку чистить, мыть полы для офицеров.

28 августа, придя с работы, получили приказ из сельской управы: мужчинам, с четырнадцати лет, явиться к девяти часам в школу на собрание. Я стала уговаривать отца, чтобы он скрылся, ибо предчувствовался какой-то обман. Всю ночь мы не спали и толковали все об одном, что надо куда-то уходить. Папа не соглашался. Утречком на дворе был большой туман. Папа встал, помолился Богу и говорит: «Ну, Рая, дай мне чистое белье. Если суждена смерть, так пойду чистым на тот свет».

Я с ребенком также начала собираться в путь.

– Куда ты собираешься? Скажи хотя бы, где ты будешь?

У меня сердце сжалось от жалости к отцу, и я ответила:

– У меня два пути. А, между прочим, если кто-нибудь примет, то побуду там до вечера, пока выяснится.

Я сделала шаг вперед и хотела уже уйти, но в эту минуту папа открыл шкаф и говорит:

– Вернись, вот здесь, в черном чулке лежит семьсот рублей, заработанных моими старыми руками.

Если возвратишься живой с ребенком, бери их себе.

Я заплакала и вышла из квартиры. Иду – и так жалко стало: почему не поцеловала отца? Но возвратиться уже было нельзя, начало рассветать. И я ушла. В это туманное утро я в последний раз видела своего старенького седого отца.

В этот день были убиты семнадцать душ, в том числе и мой любимый отец. Трудно было думать, что этот старенький ударник сапожной артели пошел на такую страшную смерть.

Помчались тяжелые месяцы, мы продолжали работать. Настала глубокая осень. Солнце стало меньше обогревать всех этих несчастных, оборванных, голых людей. Начали готовиться к зиме. По

несколько семей жили в одной квартире. В это время у меня на квартире были две девушки, которые спаслись от немцев в Черкассах. Соня Островская писалась Надей Иванченко, Таня – Ильенко. Работали они вместе с украинским народом и не подавали виду, что они еврейки. После работы собирались мы вместе и разговаривали, как обычно, по-еврейски. Но враг не спит. Однажды вечером мы собрались у моего брата Зали. Были тут и Надя и Таня. Фанас, сельский полицей, узнал весь секрет. В эту ночь стучит к нам в дверь. Покуда я открыла дверь, он ее уже высадил и все кричит: «Ты сама скрываешься под этим крестом, так еще будешь скрывать жидов!» И давай бить посуду и мебель. Была зимняя, холодная ночь. Мы выскочили, голые и босые, убежали к моему брату. Наутро я заявила начальнику полиции. За хулиганские выходки Фанаса отправили в жандармерию. Там ему всыпали двадцать пять шомполов, и он еще заплатил сто рублей штрафа за то, что Гохман, начальник жандармерии, утомился. Но Фанас на этом не успокоился и продолжал свою работу. Мы решили, все три, уходить из местечка. Разговоры кругом были очень плохие. Мы все ожидали, что будет что-то серьезное. Но уходить с ребенком было невозможно. Я решила окрестить свою дочь, поскольку муж мой русский, и оставить ребенка крестной матери. Мой план был принят девушками. Таня и Надя принялись мазать, а я стирать. Вдруг заходит ко мне один хороший знакомый Иван Павлович Гречаный.

– Раечка, этими днями вам надо скрыться, ибо будут убивать всех остальных. Есть такие разговоры. Мы бросили работу, собрали некоторое барахло, поменяли на продукты и начали большими темпами готовиться к крестинам. Я взяла пшеницу и пошла на гитлеровскую мельницу.

Вечером наша тройка начала думать, кто ж будет крестным отцом и кто крестной матерью.

– На мою думку, – говорю я, – крестным отцом будет староста села, ибо у него немецкая печать, а крестной – жена доктора – она бездетная. Итак, мои дорогие, вы можете меня поздравить. Дочь у меня крещеная. Носит на шее большой крест, который подарил ей сам поп. Теперь нам остается только достать хорошие документы.

Долго мы мучились, пока дождались гостя, моего крестного. Таня водку подливает, Надя закуску prepares.

А я крестного обнимаю и тихонько печать вытаскиваю.

И вот крестный повалился, храпит на всю квартиру. Тут двери на крючок, канцелярия работает вовсю. Таня секретарем, а я, как староста села, ставлю только печать.

Написали шесть справок с копиями – откуда, год рождения, национальность. Ну, известно, по национальности все – украинки.

Крестный проснулся, когда дело было сделано.

25 апреля 1942 года полицаи окружили село. Пригнали евреев к сельской управе. Дивчата были на работе и успели скрыться. Я с ребенком тоже скрылась. Пошла к своей крестной, чтобы оставить дочку, а сама решила отправиться в свет.

Вечером я узнала о том, что бездетных и молодежь забрали в концлагерь в местечко Буки. Не успела я дома отдохнуть, как заходит ко мне начальник полиции – В. Шепута. «Почему удрала, – кричит, – немедленно явиться к восьми часам вечера в полицию». В эту ночь я была арестована с ребенком.

Утром пришел начальник полиции и стал меня допрашивать, куда я дела Надю и Таню и по какой дороге они ушли. Я указала другой путь, по какому им не пришлось идти. Начальник звонил по всем полициям, чтобы арестовать таких проходящих. Долго он меня мучил: «Имеешь ты счастье, –

говорит, – что у тебя ребенок, а то бы я тебя послал в Буки».

И вот я снова на воле, продолжаю работу в совхозе. Жизнь моя была очень тревожная, я как-то предчувствовала большое горе, но никак не могла решиться покинуть ребенка и скрыться. Все успокаивала себя тем, что еще успею побродить по свету. Разговоры шли очень плохие, говорили, что везде уничтожают евреев. Но уходить никто не решился, ибо в чужом селе было бы еще хуже. 14 ноября 1942 года к нам наехали полицаи. Остановились ночевать в школе. В местечке стало очень тревожно. Я над этим крепко задумалась. Вечером зашла к брату, там собрались еще соседи, все были тревожные. Мы разошлись по домам. Но разве кто мог спать в такую ночь? Прижимаюсь к ребенку все ближе и думаю: «Неужели нашей жизни конец? Неужели для того, чтобы нас расстрелять, надо шестьдесят полицаев. По-моему, хватит своих двенадцати собак?» Уставшая, я крепко уснула. «Мама, – слышу я голос ребенка, – кто-то стучит!» И правда, кто-то тихонько стучал. Я открыла дверь. Передо мной стоит Ваня Правук – полицай: «Ну, Рая, бери свою дочку, и пойдем со мной». – «А что, уже все есть?» (догадалась я сразу). – «Никого нет, тебя только вызывают». – «Ванечка! Будь товарищем, иди скажи, что меня нет дома, а я пойду в свет». – «Нет, – говорит, – меня послали, я должен привести!» – Я проговорила:

В воскресенье очень рано

Колокольчики все бьют,

А меня с дочкою

На смерть уже ведут!

– Почему ты так думаешь? – спросил полицай. Я ничего не думаю, я просто предчувствую. Не доходя до полиции, я открыла портфель и порвала справку. Захожу в полицию – сидит вся жандармерия, открывает мне камеру, где были уже евреи. Маня Алетка – моя душевная подруга, очень мне обрадовалась. Так же и я ей. Погибнем вместе! «Да, – ответила Маня, – только вместе!» Я вынула свои стихи и стала читать вслух. Вдруг открывается камера: нас вызывают по семьям и куда-то отправляют. «Зеленкова», – слышу вызов. Я беру дочку и выхожу. Полицаи куда-то меня ведут. Заводят в большой дом Гребенюка. Там я уже застала несколько семейств. Был тихий солнечный мороз. День пришелся базарный. Я сижу у окошка и смотрю: у меня с квартиры все выносят и тащат скорей на базар.

К нам прибавляются евреи. Приблизительно в четыре часа дня открывается дверь и вводят переводчика Юнга, который работал у Шефера. Юнг отличался от нас всех. Его сапоги блестели, как зеркало. На нем была хорошая шинель, на левой руке часы. Он ничего не говорил, шагал по камере, часто смотрел вниз и курил душистые папиросы. Медленно шагая по комнате, он взялся рукой за черный свой чуб и тихо прошептал: «Все!» Мы его поняли. Поднялся плач в камере, как когда-то в праздник Йом Кипур в синагоге. Полицай открыл дверь и позвал Юнга в коридор.

Долго они его там мучили. Разговор Юнга был слышен нам в камере: «Шинель свою я вам не отдам! Я отдам там, где нужно будет!» С этими словами он вошел в камеру.

– Да, – говорит нам Юнг, – завтра нас поведут на расстрел! Давайте, девушки, пойдем на расстрел вместе! Мы должны погибнуть героической смертью! Не надо ждать!

Мы согласились. Вечер был лунный. Луна освещала всех этих бедных замученных людей. Кругом была тишь, и эту тишину боялись нарушить. Все, как заколдованные, молчали. Эта красивая погода была не для нас. Для нас это были последние минуты наслаждения и только... А там – там сырая

могила. Ночь показалась очень длинной, спать никак нельзя было, только был слышен плач маленькой девочки, которая просила воды. Она кричала всю ночь. На ее крики паразиты не обратили внимания.

– Пан полицейай, – кричала мать, – дайте, пожалуйста, немного снега, жара невыносима!

Ее слова звучали попусту. Разбойники не сочувствовали сердцу бедной матери.

Вот уже рассветает. Гохман подал команду полицейаям: стать в два ряда. Открыли камеру, мы попали в окружение. Маня Алетка держала меня и мою дочь за руку. Маня все толкает мою дочечку, чтобы она одна хотя бы спаслась. Но только успела моя дочечка проскочить, как один мерзавец вернул ее обратно. Я слышу голос моей девочки: «Мамочка! Подожди меня! Где моя мама?» Снова идем все трое. А впереди нас идут брат с семьей и Манина мать с четырьмя братиками. Привели нас в парк, в МТС, в длинный сарай, где подали команду: «Раздевайся до нижнего белья!» Юнг моргает нам, Маня толкает меня, мол, пора идти. «Еще успеем, Маня. Каждая минута дорога». «Нет, – кричит Маня, – если от нас уходит такой цветок, как Юнг, мы должны вместе погибать! Ведь как ты будешь смотреть на братскую кровь?» Я не согласилась. Юнг вынул свои права и фото, снял шинель, вынул расческу, расчесал чуб. Дал себе команду: «Раз, два, три, – выставил ногу и крикнул, – стреляй, я готов!» Грохнуло пять выстрелов, и Юнга не стало. Маня крикнула:

– Рая! Матери моей уже нет.

Братики взяли за ручки, подошли к Мане, поцеловались и, сказавши: «Прощай», – ушли. Рядом со мной стоит моя шестилетняя девочка и просится на руки. Я беру ее на руки, но быстро опускаю – сил нет.

Очередь подходит к нам. Я стою перед [пропуск в тексте]. В кармане у меня было пятьсот рублей. Я кинула их полицейаям и крикнула: «Пейте нашу кровь!» В это время снимаю платье, стою в черной рубашке. Моя дочь стоит от меня в нескольких метрах и кричит: «Пан Гохман, я не жидовка, я не умею разговаривать по-жидовски!».

Идем, дочка, вдвоем погибнем, вместе! Я начала сбрасывать туфли. В то время мелькнула мысль: Надо проситься! Не верится мне, что я должна погибнуть. Ведь я еще молодая, и впереди еще очень многое. Я начала просить: «Я хочу жить, я молодая, мой отец украинец, я не еврейка» (*Ich will leben, ich bin jung. Mein Vater ist Ukrainer, und ich bin keine Judin*).

– Кто у тебя здесь есть? – спрашивает Гохман. Я показала рукой на бедную свою девочку, которая непрерывно кричала. Он велел нас отправить в полицию. Я взяла ребенка, в глазах все чернело. Я попросила немного снега. В это время Гохман крикнул: *Zuruck!* (Назад!) Я очень испугалась. – Бери свое пальто! – приказал он. Я поблагодарила, и меня увезли в полицию. По дороге я думала только об одном: кого я поставлю в свидетели и кто пойдет на такую ложь!

Ведь свои собаки знают, что я неправду говорила. Но ничего, успокоила сердце. Двадцать минут буду жить, покуда доведут до полиции, а там, покуда еще начнется допрос, я все же еще хоть немножко поживу на белом свете, подышу свежим зимним воздухом еще немножко, услышу хоть голос вот этой маленькой крошки, которая склонилась на материнскую грудь и крепко спит и все всхлипывает.

Вы слышите выстрелы? Мани уже нет! В полиции сидели две маленькие девочки. Обе блондинки. Голубыми глазками смотрели на меня, как будто бы разыскивали своих погибших матерей. Их тоже оставили потому, что их отцы были русские. Вот так бы и сидела беспомощная, никому ненужная

моя девочка, – мелькнула у меня мысль. В это время открывается дверь и вводят Маню.

– Маня, неужели ты еще жива? Неужели это ты? Ты же была совсем раздета!

– Постой, Рая, еще не все... Если бы не свои собаки, можно было бы крутить, а так не удастся. Но все же мы дышим свежим воздухом, а наши братья и сестры в это время кончаются!

– Встать! – крикнул полицай. – Жандармерия идет!

Показался Гохман. Шинель его была в крови и в мясе. У полицаяев сапоги были красные от крови, как будто кожа красная. Тарацанский – обер-лейтенант, Побыл – член жандармерии, Куравский – районный начальник полиции – сели за стол.

Я вела себя спокойно, держалась вольно, временами улыбалась своей дочке, которая проснулась от большого шума. План был у меня давно уже намечен. Обер-лейтенант подозвал меня к себе, к столу, на котором стояла пишущая машинка, и говорит мне: «Если у тебя есть три четверти юде и одна часть украинка, сейчас тебе будет капут, а если наоборот, ты будешь жить».

Начался допрос: «Чем вы можете доказать нам, что ваш отец украинец?».

– Я, Зеленкова Раиса, родилась в 1912 году. Мать моя была жидовка. Ее муж также был жид, но он в 1907 году поехал в Америку. В нашей квартире была сапожная мастерская, где работали украинские люди. В то время пока мамин муж был в Америке, мама жила с одним украинским работником этой мастерской. Мамин муж, Лейба Клетер, узнавши, что мама ему изменила и имеет ребенка от украинца – то есть меня, – не хотел даже приезжать домой. Мать говорила мне об этом, когда я была уже взрослая. Лейба Клетер воспитывал меня очень плохо. Мать старалась отдать меня замуж за украинца, я и сама стремилась. В 1934 году я вышла замуж за украинца, но от тяжелой болезни мой муж, Зеленков Василий Иванович, умер и оставил меня с дочкой.

Обер-лейтенант говорит: «Об этом есть у вас свидетели?».

– Свидетели будут! – сказала я.

Вызывают Маню Алетку. Она начала как-то крутить. Немцы сделали перерыв и вышли курить.

Маню кто-то выдал. Гохман велел Мане выйти на двор. Там была приготовлена подвода. Он сажает ее на сани, кладет лопату и заходит за мной. «Ну, – говорит он ребенку, – ты *zuruk* (назад), а ты *komm* (иди)!» Лида начала кричать. Я выпросила еще полчаса, пока вызову свидетелей. Гохман согласился.

Когда Маню привезли к свежей могиле, которая была еще свежая, чуть засыпана, кровь выступала поверх земли, а земля все еще поднималась от живых засыпанных людей. Мане сделали маленькую ямочку поверх этой могилы. Лежа в этой ямке, Маня обратилась к Гохману, чтобы он ей дал прожить еще пять минут. Гохман вынул часы и говорит: «Ну, что, нажилась?» Тогда Маня стала просить еще десять минут, но когда Гохман услышал это, он озверел и взялся за карман. Маня крикнула: «Пусть живет товарищ Сталин!».

Гохман дал Мане разрывную пулю, и Манин череп разлетелся на кусочки. Как зверь возвратился Гохман ко мне и спрашивает, есть ли у меня свидетель. «Скоро будет», – говорю. Боже, – думаю я, – почему меня сразу не убили? К чему мне столько горя перенести? Но кто ж пойдет ради меня на смерть? Если бы не свои собаки, можно было бы выдумать еще кое-что.

– Ладно, – говорит Гохман, – мы пойдем обедать, а ты вызывай свидетеля!

Все же думаю – может быть, я еще буду жить! Немцы ушли на обед. Я осталась с Лидой. Заходит ко мне писарь сельской управы Михайлова Галя, бывшая комсомолка, учительница.

– Галя, – обратилась я к ней, – надо сделать так, чтобы хотя бы одну меня спасти! – Галя согласилась.

Действовать надо очень быстро, притом – незаметно. Я вызываю Гречаного Ивана Павловича, надо с ним поговорить толково, чтобы наши слова сошлись. Запрягли лошадей. Молодой полицейский поехал за Гречаным. – Надо спасти одного человека. Вы ее знаете. Вы работаете в ихней квартире, в мастерской.

– Раечку? – крикнул Иван Павлович. – Готов. Пойду на смерть или на жизнь! – Быстро кони помчались, навстречу появилась Галя, попросила к себе в кабинет Гречаного. Она все ему пояснила. Когда Гречаный показался в дверях моей комнаты, я стояла на коленях над своей сонной дочкой и горько плакала. Гречаный мигнул мне, и по его сморщенным щекам покатились слезы. Он вышел. Я быстро сделала веселый вид. Жандармерия вошла.

– Ну что, есть свидетель? – спрашивает... – Скоро будет! Через минут пятнадцать заходит Иван Петрович. Я не смотрю на него. Гречаный повторяет все мои слова и добавляет очень ценный для меня материал: «Я работал в Америке с Клинером Лейбой, на одной фабрике, и когда я обратился к нему, предложил поехать вместе домой, он мне ответил: «Как мне ехать домой, если моя жена от какого-то украинца имеет байстрюка[60]...».

Все присутствующие засмеялись. Я тоже засмеялась. Обер-лейтенант, который печатал эти слова, принял серьезный вид, не понимая эту фразу. Галя постаралась ему пояснить. Гречаный вышел. Вызывают писаря сельской управы, Ситника З. И. Он говорит: «Ее отца совсем не знаю». Вызвали Слободяника Ф. К., который работал также в сельской управе. Он повторил те же самые слова. Тогда меня спрашивает, где я училась, в какой школе, украинской или еврейской? Я вызвала свидетеля, Бачиньскую Одарку, которая подтвердила, что мы вместе учились в украинской школе. Вызвали коменданта полиции. Комендант тоже подтвердил, что моего отца он совсем не знает. Он только крепко знает, что я была замужем за украинцем.

Лишь тогда я почувствовала, что буду жить. «Ну, – говорит Гохман, – пойдем к тебе на квартиру». Побыл и Гохман пошли со мною. У меня в квартире ничего не было. Все забрали жандармерия и полиция. Гохман приказал прийти мне в половине третьего в полицию. Я стала гадать: убежать или же пойти? Начала советоваться с соседями – и решила пойти. Прихожу туда. Гохман говорит, что я опоздала на час: «Мы хотели отдать тебе вещи, придется тебе ехать в жандармерию». Приезжаю я в жандармерию. «А ну, идите за мной, только быстро, по-немецки надо шагать!» – крикнул полицейский. Все, – думаю, – попалась! Ноги совсем не идут. Заводит он меня в кладовую, где лежат все еврейские вещи: «Ну, – говорит Побыл, – собирай свои вещи!» Если бы я не была испугана, я бы могла выбрать свои вещи, а я попросила отдать мне только постель. С этим я уехала домой.

Привыкать к новой жизни было очень тяжело: близких никого нет, а кругом враги издеваются. Одни ихние разговоры не дали мне спокойно прожить: «Ее оставили, чтобы она еще погуляла недельку». Не раз приходилось проклинать свою жизнь. Уж лучше было бы мне перенести тот страшный момент, когда вели к расстрелу, чем сейчас мучиться, переживать холод, голод и страх. Прошло десять дней со смерти всего еврейского народа. Я решила взять на квартиру одну женщину с ребенком, чтобы было не так страшно, – Поганенко Марию. В двенадцать часов дня 28 ноября заходят ко мне Фанас Коробков и начальник полиции Шепута В. Проверяют документы и арестовывают нас обеих с детьми. Фанас ведет меня и кричит: «Ты уже больше не будешь просить

по-немецки, – сегодня я тебя сам убью. В двенадцать часов дня я у тебя нашел жидовку». Зашли в управу, нас посадили в камеру. Шепута позвонил в жандармерию. Заходит в камеру Фанас и спрашивает, как самочувствие? и все хвалится, что сегодня он меня сам цокнет.

Вечером Шепута пришел, открыл камеру и велел мне идти домой. Дома ночевать я не решалась. Пошла ночевать к одной знакомой. Встала утром и, проходя мимо комендатуры, где работал мой знакомый, постучала в дверь.

– Ты, Рая, девайся куда хочешь, всю ночь тебя искали! Даже там, где ты ступала ногой год тому назад, и там были. У меня в погребе и на чердаке искали, говорили: найдем, на месте расстреляем, – сказал Гриша Шуляк.

Куда идти, что делать! Пошла я в совхоз. Вижу – стоит управляющий, Кондрат Иванович Дяченко. Я обо всем ему рассказала. Он повел меня в контору и позвонил к Шепуте. Я стою и вся дрожу.

Рабочие все спешат на работу.

– Да, да, я, Кондрат Иванович. Слушай, Шепута, мне говорят, что как будто ищут снова Раю... Нет, я не знаю, где она. Я просто заинтересовался, кто вызывает? Жандармерия! На когда? На двенадцать? Ну, всего хорошего, Шепута! – И Кондрат Иванович положил трубку. – Так вот, Рая, ты не спеши уходить на чужие села – спасайся здесь.

Я пожала ему руку и пошла к той же самой хозяйке, где ночевала. Хозяйка приняла меня и велела мне лезть на печку. У этой хозяйки я побыла две недели. Дальше жить у хозяйки было невозможно, ибо материально жила она очень плохо. Я решила написать к моей знакомой, которая работала в комендатуре. Я очень обрадовалась, когда вечером Нина принесла мне кое-какие продукты. Вечером Нина попросила меня к себе ввиду того, что Германа нет. Я пошла. «Хочешь видеть Люсю Безналенко? – говорит Нина, – она здесь у меня; сегодня ночью ее берут в Германию, она пришла ночевать ко мне». Увидев Люсю, я очень обрадовалась. «Вот где, – говорю, – батраки встречаются!» В это время Нина куда-то вышла. «Уходите быстро! – открывши двери, крикнул кучер. – Полиция идет сюда!» Не успели выскочить с квартиры, как раздались выстрелы. И когда очутились мы на квартире, хозяйка не могла у нас ничего узнать. Я упала на постель, где лежала моя бедная девчонка, и обливала ее горячими слезами. Люся стояла недвижима, как смерть. Мы поняли, что это проделка Нины. Никакой полиции не было. Страх, голод и грязноту терпеть было невозможно. Завтра пойду в жандармерию и скажу: «Делайте, что хотите».

– Дочь я еще оставлю у вас. Если я не вернусь, приручите ее к ее крестным! – обратилась я к хозяйке. Долго мы еще лежали вдвоем и дрожали.

Утром на рассвете Люся меня проводила в районную жандармерию. Прихожу во двор жандармерии, стою и думаю, идти или не надо? Как страшно!.. Нет! Пойду – не могу я больше мучиться! Я постучала в дверь. – Вы до кого? – спрашивает меня девочка. – Я к Побылу. – Подождите здесь. – Через десять минут Побыл меня позвал к себе.

– Пан Побыл, я была в гостях в соседнем селе. Прихожу вчера домой, и мне говорят, что жандармерия меня вызывала. Вот я и пришла.

– Вы теперь нам не нужны. Мы вызвали вашу квартирантку и узнали, что она не жидовка.

Я сказала: Auf wiedersehen (до свиданья) и вышла из комендатуры. Быстро и бодро шагая, я шла домой. Ведь кого мне сейчас бояться? – Самую жандармерию обманула! – думаю себе. С радостью встретила я свою дочь, которая скрывалась еще на печке. Прихожу домой – моя квартирантка меня

не пускает. На дворе глубокая осень. Дождь идет, холодно. Я стою с ребенком и вся дрожу. Позвала меня соседка к себе. Не успела я обогреться, заходит туда мой «друг», Фанас Коробков. «Ты чего здесь сидишь? А ну, пойдем со мной, я тебе покажу, где твоя квартира!» И с этими словами закладывает патроны в винтовку. Я иду и слышу крик соседки: «Фанас, голубчик, не стреляй ее у нас!» Заводит он меня в мою квартиру и говорит: «Вот здесь будешь пока ночевать. А завтра видно будет». И все еще старается меня пугать. В квартире я ничего не застала. То, что жандармерия мне отдала, Нина уже забрала.

Настала зима. Топлива нет. Укрыться нечем. Кушать нечего. Днем я хожу по чужим квартирам греться. Я в одну квартиру, а Лида во вторую. Есть люди хорошие, дадут покушать; есть такие, что даже не пустят в квартиру. Вечером иду искать свою дочку, и мы возвращаемся в холодную квартиру, где стены усыпаны брильянтами от мороза. Много горя было пережито в эту холодную зиму.

В эту злосчастную пору я имела возможность встретиться со своими близкими соседями – Ханой Шварц, с девушкой Хаей Каган, с дочкой Шурой у моего спасителя, Гречаного Ивана Павловича. Это была не встреча, а прощанье, ибо каждую минуту я находилась в руках фашистских разбойников. Так вот с евреями виделась я несколько раз.

Настала весна. Снег тает. Солнышко поднимается выше, на душе стало веселее. 5 апреля, в воскресенье, в три часа дня, заходит ко мне полицейский Яремич Иван и поздравляет меня, что я осталась жива. Я его поблагодарила. Он посидел немножко и ушел. Через час заходит он снова в пьяном виде и арестовывает меня, говорит, что меня ожидает новый допрос: «Тебя вызывает жандармерия». – Ваня, золотко, идите, скажите, что вы меня не застали дома, а я пойду куда глаза глядят. Ох, боже! Неужели я должна проститься со светом? Неужели я в последний день вижу солнышко? Один Бог и люди знают, как пережила вот холодную и голодную зиму, и вдруг снова допрос. Пан Яремич! Неужели вы не отец своим детям, как вы можете терпеть крик вот этой маленькой измученной девочки?

Он вложил патрон и крикнул: «Два шага вперед!».

Он привел меня в полицию, запер в камеру, а сам звонит в жандармерию. Через пять минут он открывает камеру: «А ну, бери свою дочку, идем со мной на улицу. Только знай, если убежишь, я буду стрелять!» Я упала и больше ничего не слыхала, а когда пришла в себя, вижу рядом свою бедную девочку, которая сильно кричала: «Мама, мама!».

Пришел начальник полиции, начал допрашивать, кто арестовал. Я указала на Яремича. Яремич занял мое место в камере. – Эх, так это за политуру ты хотел уничтожить мою жизнь?! – проговорила я Яремичу. Я ушла домой.

На второй день вызвали Яремича в жандармерию, сняли с должности полицейский, дали двадцать пять шомполов за то, что самоуправно арестовал меня. Долго я не могла успокоиться после этого ареста. 15 апреля я пошла на работу в совхоз, на высадки. Я разбрасывала бурьяки. Бригадир стоит с каким-то незнакомым человеком, который, прикуривая, смотрит на меня. Где-то далеко раздается эхо песни, а работа кипит. Я стараюсь набрать побольше бурьяков и все обращаю внимание на этого молодого парня, а он не спускает глаз с меня. Вот и звонок. Работа кончилась. Ко мне подходит молодой незнакомец и говорит: «Если хотите, идите медленно, я вас нагоню». «Хорошо, – ответила я, – я жду вас!» Я начала думать: «Неужели бригадир ему сообщил, кто я? А вдруг он какой-нибудь фашист и

может меня выдать». Но все же я решила его ждать. Быстро он меня догнал. Подает мне руку и говорит: «Меня зовут Петя Богуслав». – Очень приятно! Меня звать Рая, – отвечаю ему. По дороге он ничего серьезного не сказал, только спросил, откуда я и можно ли ему зайти вечером. – Вы семейный? – спрашиваю я. «Да, – говорит Петя, – у меня жена здесь живет». Что за откровенность, – думаю, – ведь все мужчины обычно при встрече с молодыми девушками – холостяки? Я крепко задумалась. Он ничего больше не говорил. Нас разделяла дорога. Ему надо было [пропуск в тексте].

«Так что можно к вам зайти вечером?» – «Пожалуйста!».

Я хотела уже было уйти. Он продолжал мне жать руку и говорить: «У нас с тобой, Рая, один путь в жизни – при встрече будем говорить».

Иду и думаю – никак не могу понять его! Вечером он пришел, но ненадолго, куда-то спешил. Он мне сказал, что работает объездчиком в совхозе и ему предстоит работа.

«Завтра встретимся!» На другой день мы встретились. После работы он зашел ко мне. Я начала рассказывать, как я спасла свою жизнь, но еще скрывалась от него.

«Да, – говорит он, – вы пережили очень много, я о вас уже слышал кое-что. Наконец, не стесняйтесь меня, говорите откровенно, как я вам уже говорил, у нас один жизненный путь». При этих словах он меня поцеловал. «Рая! Мне надо секретаря!» Я все поняла. «Хорошо, – говорю я, – поскольку я не пишу красиво, я вас познакомлю со своей подругой. Она работала пионервожатым при школе, это Фаня Курсанивська».

– Хорошо, собираться будем у тебя после работы.

Парень этот был командир партизанского отряда – Петр Волков. Первые прокламации под названием «Воззвание» писали у меня на квартире. Были они вывешены в совхозе и по Топтевской дороге.

Наутро мы пошли на работу. Все узнали, что есть новости, и когда мы подошли ближе к совхозу, мы увидели, что Петр Богуслав стоял и читал вслух листовку. Работу продолжали у меня – готовили листовки на три села: Пятигоры, Ралайки, Ненадыха. А когда жена Волкова Богуслава стала следить за ним, мы решили перенести работу в лесок, за совхозом Азаровец. Там работа продолжалась.

1 августа началась чистка оставшихся евреев по всему району. Подбирали до единого всех, даже выкрестов. Для меня настало время тяжелое, но все же я себя успокаивала, что успею еще скрыться.

1 августа я была арестована Яремичем и отправлена в пятигорскую полицию. Завели в темную комнату. В потемках я нащупала какой-то ящик. Я села, взяла ребенка на руки и горько, горько плакала: «В эту темную ночь я прощалась с тобой, моя доченька; я больше не увижу тебя. Меня убьют, меня больше не будет в живых. В последний раз я слышу голос твой, ты зовешь меня. Идут...

Слышишь, доня, идут! Прощай, прощай, меня уже нет! Ох, как страшно, как хочется жить?!» Шаги остановились. Уморенная, я склонилась на ребенка и крепко уснула... Ох, мамочка, ты? Родная! Ох, как хорошо, что ты со мной! Мне приснился сон: снова я за решеткой, жду смертную кару. А почему, мамочка, у тебя такой праздничный вид? – Сегодня, доня, большой праздник, а ты не знаешь? Дай мне твою руку, я тебя поцелую. Не плачь, не плачь, я приду! Я не забуду тебя, нет, не забуду!

– Проснитесь, ребенок плачет, а вы спите.

Я открыла глаза, передо мной солдат. – Ох! Какой приятный сон, видеть свою мать. – А где ваша мать? – спрашивает солдат. Я ему передала разговор. – Солдат! Смотрите, вон кошка, она вольно ходит по улице, ее никто не презирает, а я сижу и жду подводу к Гохману. Ох! Если б я могла быть

кошкой! – Ну, – открывает камеру полицай Черненко, – собирайся, есть подвода!

Дорога к жандармерии промчалась очень быстро. И быстро я очутилась в камере.

– Пан полицай, – обратилась я к Черненко, – доложите переводчику, что я прибыла и прошу сделать допрос. – Переночуешь, и так узнают! – ответил мерзавец.

Очень долгий был день, а еще длиннее была ночь. Все арестованные говорили, что меня ожидает машина в Белую Церковь. Были случаи, что арестованных евреев отправляли туда на расстрел.

Наутро полицай открыл камеру, вслед за ним пришла переводчица Рита Литке:

– Ты чего здесь, Рая? Что с тобой? – Еще один раз, – говорю, – делай допрос! Я вызову свидетеля, может быть, я спасусь?! – Что за допрос? Говори, как попала сюда? – Жандармерия позвонила: «Как, я? Сейчас иду к Гохману!».

Через минут двадцать приходит она обратно: «Бери ребенка, иди домой!».

Неужели это правда? Я иду домой...

И вот я снова спокойна, проверена жандармерией.

20 августа ко мне зашел Фанас Коробков и два немца, присланные женой Волкова по поводу розысков его, Петра, который скрылся. Жена Волкова направила полицаю с немцами ко мне как к жидовке, которая была связана с ним.

– Ну, ладно, если надо будет, мы еще придем.

Настали дни тяжелые. Уходить с села не решалась. 25 августа я пошла к Нине в комендатуру – узнать кое-какие новости о себе. Вдруг заходит комендант: «А ну, komm mit mir (идем со мной)», и показал на низ, чтобы я его подождала. Через двадцать минут я уже была дома. Моя маленькая дочка была как раз дома. «Быстро, доня, собирайся, нам надо уходить. Нас хотят расстрелять... Бежим куда глаза глядят!» Я быстро открыла свой секрет, вынула все стихи и листовки и подалась на Буденновку. Солнце садилось за горизонт. Погода стояла очень хмурая. На дворе темнело, и слегка накрапывал маленький дождик. В такую погоду я подалась в дорогу, не зная, что ожидает меня в следующем селе. Дорога была незнакомая. Я начала волноваться. Благодаря лаю собаки я узнала, что недалеко село. Когда я пришла в село, был уже совсем вечер. Переночевала я у одной знакомой. «Скажите, – обратилась я к хозяйке, – не знаете вы, где работает кузнец Василий Кравец?» «Он у нас работает, в колхозе № 2. Утречком я вам покажу». Утречком, чуть на рассвете, я подалась к Васе. Вася был мой хороший знакомый. При встречах с Васей мы делились мнениями. Вася не раз говорил, что мне грозит опасность и мне надо будет уйти из нашего села. Поэтому я решила обратиться к Васе. Когда я с ребенком появилась на пороге у Васи, он понял, в чем дело. «Сегодня после обеда мы с тобой уйдем. Мы пойдем, как одна семья. По дороге отвечать встречающимся буду я». Мы сделали большой крюк, пришли в село Ключки, когда стало совсем темно. Дальше идти было невозможно.

Мы попросились к одной хозяйке на квартиру. «Ну, заходите, – сказала хозяйка, – у нас вечером запрещено ходить». Я думала, что это полиция запрещает и что я опять попала. Но хозяйка продолжает: «Днем они в соятниках, а ночью ходят по улице с гармошкой и едут по каким-то заданиям, а утром отдыхают». Вася сидит рядом со мной и меня подталкивает. Мне стало ясно, что это есть партизанское село. Я почувствовала, что я снова народилась на свет, что я лишь начинаю жить. Какое надо иметь счастье попасть в партизанское село. Наутро мы пошли в следующее село. Вася знал, куда вести бедную Раю.

Жизнь моя изменилась. Если вам когда-нибудь приходилось выскочить из горячей бани, так вот и я выскочила из опасности. Здесь, в маленьком совхозе Балка, в котором я остановилась с Васей, жили партизанские семьи, пленные, а остальные были исключительно евреи. Как вам нравится такое общество?!

Вася познакомил меня со своим знакомым Семеновым. Тот провел по мне глазами, и видно было, что он все понял: «Здесь у нас все в порядке. В нашем маленьком совхозе можно отлично жить».

«Да, – говорит Вася, – но мне надо бы твою рекомендацию насчет устройства».

– Да. Как раз и нам надо кузнеца. Где наши остальные ребята? – спросил Вася. – А там, в лесу. Крепко работают ребята. Почти что ежедневно приезжают к нам. И сегодня должны быть. – Вася посмотрел на меня. Я сидела вся покрасневшая. – Да. Надо будет ехать к вашему директору. – Вася и Семенов ушли, я почувствовала себя дома. Здесь я смогу отдохнуть.

Вася взял нас всех на учет. Я как жена кузнеца Кравцова стала помощником магазинера. Ребенок ходил в ясли. Вечером молодежь, приходя с работы, собиралась на улице гулять. Наша дочь тоже пела и плясала. Я и Вася с большим удовольствием смотрели на нашу дочь. «Ох, какая красивая девочка. Она совсем не похожа на вас: папка черный и мамка». «Потому что сосед был рыжий». Все смеялись и были довольны моим ответом. «Едут, едут...» – крикнул маленький мальчик, и все побежали в общежитие. И правда, был слышен стук колес, звуки гармонии, и раздалась песня: «Человек проходит, как хозяин...» Я стояла недвижимо, слушала слова этой песни, которая приближалась все ближе и ближе. Подвода остановилась. Я продолжала стоять. Мимо меня прошел маленький, черненький, в длинной кожанке, вооруженный партизан. Он ничего не сказал. Когда он вышел обратно из общежития, я тихо проговорила: «Ох, соколы родимы». Он остановился: «Почему вы не заходите в квартиру? И почему вы плачете, разве я вас обидел?» Я, опершись на забор, горько рыдала: «Позовите сюда Волкова, ребята», – крикнул маленький. Ох, и Волков здесь. Я еще сильнее заплакала. «Что с ней? Берите ее в квартиру. Здесь ничего не видать». И когда Волков повел меня в квартиру, он долго держал меня в объятиях и крепко целовал. – Рая. Неужели это ты. Неужели ты жива. – Да, Петя, друзья встречаются вновь. – Волков познакомил меня со своими ребятами, которых я еще не знала. Его товарищ Федя подарил мне черную рубаху.

Я поблагодарила, немножко повеселились. «Здесь, Рая, уже не пропадешь. Мы будем приезжать очень часто. Материально будем тебя обеспечивать. Связь будем иметь». Гармонь заиграла. Хлопцы удалились от совхоза по заданиям. Поработавши в кузне три дня, Вася мне заявляет: «Ну, Рая, мне пора идти на свою работу. Тебя я спас. Ребята будут наезжать, и ты будешь с ребенком обеспечена. На фронтах все благополучно. Наши перешли уже Днепр, и дела улучшаются». Вася взял справку, что отправляется за вещами, и ушел. Жалко было мне расстаться с таким другом, как Вася. Так началась у меня новая жизнь. Директор совхоза товарищ Гурский относился к рабочим неплохо. Товарищ Гурский скрывал от немецко-фашистских разбойников только евреев 44 души, много пленных и партизанских семей. И когда нам грозила опасность, он нам всегда наперед заявлял. А когда настал тяжелый час для врага, Гурский нам сказал: «Дорогие мои, если нам с вами удалось спасти свою жизнь от немецко-фашистской руки, это не значит, что мы не можем пострадать в последние минуты отступления немцев. Нам надо разойтись по селам». Гурский всем оказал помощь. Особое внимание уделил пострадавшим, обеспечил продуктами, топливом, в том числе и обеспечил меня. Я выехала в Хмелевку, где обычно делали дневки партизаны. 25 ноября партизан

Данько Дудник пригласил меня на похороны одного партизана в Белобонивку. Дочку я оставила у хозяйки. Сама уехала с ним. И до прихода наших войск была в отряде. В Хмелевке я имела счастье увидеть первую красную разведку, которая остановилась около церкви. «Здравствуйте! – проговорила я дрожащим голосом и подала всем руку. – Скажите, правда ли это, что в Ценгофове красные? Неужели мой район освобожден?».

«Хочешь удостовериться, – сказал мне киргиз, начальник красной разведки, – поезжай с нами». Я хоть не видела долго свою дочку, решила поехать с ними. Грудь моя наполнилась счастьем, когда я увидела, что реет красный флаг на сахарном заводе. Привезли меня в штаб армии, там я рассказала все свои переживания и попросилась добровольно в армию. Начальник штаба пожал мне руку и сказал: «Тебе надо вернуться к своей дочке и дать ей воспитание, как требует от нас Родина. Ты должна работать и жить вместе со своей дочерью». И я возвратилась с разведкой в Хмелевку. В связи со скверной погодой я прожила в Хмелевке до 9 февраля. 9 февраля я сталинским трактором выехала домой.

В городе Шпола и его окрестностях

Рассказы местных жителей

[...] 3 и 9 сентября [1941 года] гестапо отобрало в Шполе[61] 160 человек по списку и расстреляло их. Это были врачи, адвокаты, лучшие мастера...[62] Затем евреев загнали в гетто, а эти кварталы огородили проволокой[63]. Гетто немцы называли издевательски «Палестина». Евреям надели повязки. Их не выпускали на базар. Хлеб им не выдавали, а население вне гетто получало по двести грамм ежедневно. Люди платили по двести рублей за двести грамм хлеба. В гетто начался голод, и ежедневно умирали десять-двенадцать человек. Им не давали электричества. Так мучили людей в гетто до 15 апреля 1942 года. После этой даты в Шполе остались тринадцать евреев-специалистов (бондарь, несколько портных и несколько кузнецов), которые были оставлены в силу необходимости, по просьбе населения. Но в 1943 году и их расстреляли. Остальных разместили в концлагерях.

В четырех километрах от Шполы в Дарьевской чаще был концлагерь, где людей продержали месяц. 15 мая 1942 года в одной яме здесь расстреляли 760 детей, женщин и стариков. До расстрела над ними всячески издевались. Расстрел производили украинские полицейские, руководимые немцами. Перед расстрелом дочь доктора Гольдберга подняла на руки своих двух детей и сказала, что кровь невинных детей немцам не простят.

Группу трудоспособных евреев погнали на строительство шоссейной дороги Кировоград – Одесса. В Звенигородском районе было несколько лагерей по строительству дороги (дорожных лагерей).

В Брадецкий концлагерь пригнали 255 трудоспособных евреев, которые работали несколько месяцев, а 15 декабря 1942 года их расстреляли. 15 декабря 1942 года расстреляли 105 человек, работавших в Шостаковском концлагере. После 15 декабря 1942 года сюда привели 250 румынских евреев и расстреляли их.

К тридцатипятилетней женщине Мане Глейзер пришел немец и велел приготовить себе поесть. Ночью он пришел с приятелем. Они хотели изнасиловать ее. Женщина сопротивлялась. За это ее закололи, закололи старушку-мать, отрубили голову четырнадцатилетнему братишке. (Это рассказала шестнадцатилетняя племянница Мани Глейзер, девушка пряталась с украинским паспортом. Муж Мани на фронте.)

Если температура у человека повышалась до тридцати восьми градусов, его расстреливали. За это расстреляли четырех девушек и одного двадцатилетнего паренька. Температуру проверяли украинский доктор и немецкий комендант. Больные девушки и юноши сказали, что здоровы и пойдут работать.

– Молчать, тебя не спрашивают, – сказал им врач. Больным сказали, что их ведут в Звенигородскую больницу, но привезли к приготовленной яме. Пока комендант закуривал папиросу, полицейский расстрелял трех девушек.

Когда увозили больных, восемнадцатилетний Кучер (сын слесаря, закончил восьмой класс школы) заметил, что кто-то взял его котелок, а если нет котелка, не получишь пищи... Он бросился вдогонку. За это «преступление» комендант заставил отца Кучера выкопать яму для сына. Отец плакал, просил, чтобы его убили вместо сына, но ничего не помогло. Отца заставили засыпать сына живьем. Через несколько дней отец умер от разрыва сердца.

В лагере находились доктор Кофман и ее четырнадцатилетний сын. У сына повысилась температура до тридцати восьми градусов. Мать поняла, что сына хотят расстрелять, и сказала врачу, что сын завтра выйдет на работу. Но забрали и мать и сына. Перед смертью доктор сказала, подняв сына: «За невинно пролитую кровь расплатится Гитлер и тысячи гитлеровцев».

В Умани

Воспоминания Мани Файнгольд

[65]

Первого августа 1941 года Умань была занята немцами. В городе после мобилизации и эвакуации было больше пятнадцати тысяч евреев[66]. Над жителями повисла черная хмара. Больше всего тревожило евреев, что везде и повсюду были надписи: «Вход жидам запрещен!» Еврейские дети, не понимая этого, неоднократно спрашивали: «Что это за жида, как можно видеть их?» Но родители им на это должны были признаться и сказать, что мы жида и нас подразумевают. В это время было приказано немедленно выбрать общину из еврейской интеллигенции и явиться в горуправу для выяснений некоторых вопросов. 13 августа 1941 года община в составе восемьдесят человек мужчин явилась в горуправу. Фашистские варвары жестоко расправились с ними, причем заставляли их физкультуру делать и при каждом движении рубили то руки, то ноги, пока насмерть не замучили. Единичных случаев убийств было очень много, и систематически нападали на еврейские квартиры, где грабили, издевались, убивали. Тут объявляют перерегистрацию всего еврейского населения. «Регистрировали» каждого еврея большой палкой, прикладом и плеткой, проходящие «регистрацию» все были избиты, окровавлены. Для отличия евреев от других народов все, независимо от возраста, должны были носить на правой руке белые повязки с шестиконечными звездами, в отсутствие этих знаков избивали и налагали штраф в неограниченном количестве денег. В убийстве и издевательствах над евреями принимают участие не только полицаи немецкие, но с большим удовольствием помогает им украинская полиция с целью ограбить людей и заслужить авторитет у немцев.

Утром 21 сентября 1941 года всех евреев собирают на работу, в процессе работы они узнают, что часть этих людей погнало яму копать. Больше тысячи людей бросают в погреб, и до утра все были задушены. Другие евреи, попавшиеся в тюрьму, сидели до вечера, вечером пришли зрители смотреть на этих жалких людей, которых заставляли танцевать и петь. Конечно, не по собственному

желанию танцевали евреи: их заставляли и при этом же били, избивали до смерти. Когда люди просили пулю, им такого удовольствия предоставить не хотели, самое лучшее для развлечения было убивать прикладом. К утру был приказ женщин с детьми выпустить, а мужчин убивать. Несколько дней подряд продолжался погром, где большей частью убивали мужчин[67]. До первого октября все евреи должны были переселиться на старый базар, то есть жить все на одной улице для того, чтобы легче было собирать их и уничтожать. Несмотря на то что был установлен срок для переселения, украинская полиция нападала и не давала переносить свое имущество, требуя немедленного ухода с квартиры. В этом погроме с целью грабежа активное участие брали больше пятидесяти процентов украинцев города Умань. Меня встретила обыкновенная женщина, которая раздевала, забирала одежду и вместе с тем заявила: «Вот еще одна жидовка, забирайте ее, а то из-за них жить невозможно». Сiju в одном украинском доме, где я пряталась, приходит соседский мальчик, сыночек полиция, и рассказывает об успехах своей матери, сколько вещей она набрала, и при выходе он говорит: «Мама достала себе только зимнее пальто, но она говорит, что как только будут еще раз бить жидов, она себе достанет и летнее пальто». Еврейскому народу деваться некуда было и бежать нельзя было, кругом нас были германские фашисты, а также украинская полиция. Многие представители Умани помогали немцам разыскивать и уничтожать евреев. Украинцы, которые старались скрывать еврея, были уничтожены. Кончилось переселение. Гоняют евреев на работу. Прежде всего их сгоняют в полицию, где полицаи бьют и избивают беспощадно и мужчин, и женщин, и детей. Тут они показывают и проявляют свою храбрость бить, издеваться над беспомощными, жалкими людьми. Эти изверги получают от этого море удовольствия, ведь они уже отправляют на работу побитых людей. После этого «концерта» евреев табунами отправляли на самую тяжелую работу. Не раз собирали молодых девушек и заставляли чистить уборные руками, были и другие работы наподобие этой.

Недолго пришлось работать. 8 октября 1941 года с четырех часов утра начинается второй погром. Жандармерия для того, чтобы не рвать свою глотку, решила взять с собою украинскую полицию, а также желающих участвовать в погроме. Еще темно было на дворе, как в наш дом с выстрелами, стуком и визгом ворвались трое. Мы решили, что идут грабить. Не успели еще засветить лампу и встать с постели, как в дом зашли трое. Двое из них были как бешеные тигры со страшными глазами, которые наводили страх с первого же взгляда на них. Это обыкновенные немецкие варвары-эсэсовцы, третий гражданский, с палкой в руках бил окна и двери, только кричал: «Давай, давай!». По-видимому, это был украинец и даже не полицай, что давать ему, мы не знали, и расспрашивать его было невозможно. Нас было в доме тридцать четыре человека взято вместе с детьми. Дети начали плакать и перепугались, а мы все растерялись, не зная, что происходит. Наконец гражданский, который шел с палкой, крикнул: «Всем выходить!» Не понимая, что происходит, все стали выходить на улицу. За нами вышли два бандита с ружьями в руках и указали дорогу, по какой нам идти. Мы поняли, в чем дело, обороняться нечем было. Через десять минут эту маленькую группку людей пригнали на базарную площадь, где со всех сторон была усиленная охрана, и с каждой минутой людей становилось больше. В семь часов утра на базарной площади насчитывали больше десяти тысяч евреев, тут же стояли пять грузовых машин, на которые бросали маленьких детей и старых, всех остальных гнали пешком. Старый еврей взял под руку свою жену, с которой прожил пятьдесят лет, и со слезами на глазах он прощается с ней, зная, что через полчаса их убьют и

больше не увидят друг друга. Последнее их слово было обращено к своим сыновьям, которые дерутся с проклятыми немцами, защищая свою Родину: «Дети мои родные, прощайте! Никогда не увидите больше своих родителей, мы жалкие жертвы, расправляйтесь за нас». Маленькая Саррочка обнимала свою мать и крепко целовала, шестилетняя девочка поняла все, что тут происходит. Она еще попросила пить у мамы, но мама ей сказала, что сейчас напьешься навсегда. Саррочка в прошлом году болела и не умерла, ей суждено, как и тысячам других, погибать от подлой руки фашистских бандитов. Заплаканные голубые глазки Саррочки жалостно смотрели, но у бандитов жалости нет, они били, стреляли в толпу для того, чтобы навести на людей больше страха. Отправляя женщин, вырывали детей из рук родителей, а стариков били палками, прикладами. Бандиты заставляли остальных евреев идти в направлении к тюрьме. В тюрьме этих людей недолго держали, их раздевали, забирали деньги и всякие ценности, а потом гнали всех за город. Людей, потерявших сознание и силы идти дальше, убивали на месте, все остальные шли к яме. Инвалидов бросали со второго этажа на машины, так же были вывезены все детские дома и больные из больниц. Пока этих людей пригнали к яме, весь город был завален трупами людей, убитых палками, и тех, которые пытались уйти. Евреи увидели тут три глубокие ямы и лишь теперь поверили, что их привели на расстрел. Испуганная Саррочка смотрела в лицо матери, будто просила помощи. Мама обнимала ее, поцеловала в последний раз, она не плакала и ничего больше говорить не могла, она была беспомощна и ничем не могла помочь своей маленькой дочке. Она пошла с ребенком первая, стояла над ямой и просила немедленной расправы, ее желание удовлетворили. Страшный бандит штыком проколол и бросил Саррочку в яму, через пару минут грянул выстрел, и бедная мать свалилась в яму, где уже лежала ее Саррочка. Они уже успокоились навеки, им уже легче, чем тем людям, которые стоят в пятидесяти метрах от ямы. Они подходят по пять человек, становятся над ямой и получают свою пулю. На дне ямы лежали живые евреи – старики, калеки, для них жалели пулю, на них падали убитые и раненые евреи, и благодаря этому старики и калеки задохнулись. Евреев становилось все меньше, они по пять подходили, и их стреляли, но каждый из этой толпы старался стать задним, чтобы прожить еще несколько минут, другие не могли переживать это все и бежали прежде, чем подходила их очередь. Тут же стояли немцы, смеясь, фотографировали эту картину.

Таких Саррочек было немало. Десятилетняя Маечка даже успокаивала свою мать, она старалась объяснить ей, что нас не убьют, мы будем жить. Конечно, маме было жалко свою дочь и также своей жизни, она даже просила свою дочь, чтобы она попробовала удрать, девочка отказалась. Маечка сказала: «Не хочу уйти, если бы даже меня и пустили, мамочка, я буду с тобою, где ты будешь, там и я. Никогда я тебя не оставлю, если тебя убьют, пусть меня убивают вместе с тобою, но не плачь, мамочка, нас не убьют!» Такими словами Маечка успокаивала свою мать, но сама она прекрасно понимала, что успокаиваться нечего и беспокоиться тоже, ничего не поможет, песенка была спета. Маю убили вместе со своей мамой, последнее ее слово было: «Мамочка! Я счастлива, что буду лежать вместе с тобою, папочка рассчитается за нашу кровь. Папочка! В последний раз вспоминаю твое имя, не забывай нас и бей подлых фашистов!».

Сначала дети обращались к варварам, спрашивали: «Дядя, где ваше сердце, как можете нас, маленьких детей, бить?» В ответ им бандиты показали, что у них сердца нет, показывая на винтовку. Подрастающее поколение было очень умное, они поняли, что просить не надо и ничего не поможет. Некоторые плакали, прощались с родными и знакомыми, другие шли смело, в последний раз пели

«Интернационал». Мальчики двенадцати лет смело смотрели смерти в лицо и кричали: «Расплата будет! Прольется кровь за кровь!» Последняя женщина, которую убили, сошла с ума, и со смехом она подошла к яме, и, не успев произнести последние слова, она пошатнулась и упала на десять тысяч трупов только что убитых людей[68].

Кровь их еще не застыла, некоторые еще подымали то руки, то ноги, многие, по-видимому, были тяжело ранены, их быстро засыпали землей, но три дня после этого земля еще подымалась. Этим людям помочь никто не мог, они быстро кончались.

Как ни обидно, но среди них попала одна украинка. Она обращалась к немецкому офицеру, показывала документы, что она украинка. Офицер ей ответил только два слова: «Вшистко едно»[69]. И вместе с тем выстрелил, и она упала, как падали все евреи. Немецкий офицер со смехом обратился к своему другу: «Пусть украинцы не думают, что мы их любим, им также капут, неужели этой украинке не все равно, убью ли я ее теперь или позже? Вшистко едно». Только маленькому Володе удалось на этот раз вырваться из рук фашистов и скрыться, благодаря тому, что он был похож на украинца, хорошо владел украинским языком, и никто его не мог узнать – ни немецкая жандармерия, ни украинская полиция, которая старалась разыскивать всех евреев. Полиция два дня подряд искала, рылась, где возможно и невозможно было. Полицей Поламарчук вывел с погребка одного старика еврея, который лежал целый день, старик испуганно и жалостно просился у Поламарчука отпустить его, полицей требовал у старика тысячу рублей, старик дал ему, он оставил его и сейчас же нашел своего товарища, полицей, указал ему, где находится старик, чтобы забрать его. Товарищ Поламарчука решил, что возиться нечего со стариком, но просил еще денег. У старика больше денег не было. Полицей убил его тут же и ушел к соседям искать добычи.

Двенадцатилетний Володька ухитрился, стоя над ямой со своей пятеркой, по которой начали стрелять, броситься в яму живым. Через полчаса окончен был «сеанс». Подлые бандиты кончили свою работу и ушли. В это время Володя помалу вылез из ямы, посмотрел кругом и быстро скрылся. Своих родителей он не шел разыскивать, он их больше не найдет, они были убиты тут же при нем. Он хорошо видел, как убили его мать, старшую сестру и двух маленьких братиков. Володька распрощался с ними, он не ожидал, что еще будет жить после такого погрома, но суждено было ему еще немного прожить. Трудно представить и описать такую картину, трудно передать мысли Володьки, когда он ушел сам, один, без рода, и нигде больше не найдет он своих родных и даже близких знакомых. Бедный мальчик не плакал, он старался найти причину всему тому, что происходит, и так задумчиво шел он по городу, видел, что полиция бегает, как бешеные собаки, ведут еще поодиночке евреев, которых только что нашли. Полиция торжествует! Володька прошел мимо них, ушел дальше, ближе к своей улице, где украинские мальчишки, девчонки и взрослые таскали мешками всевозможные вещи с квартир евреев. Во всех домах окна и двери были выбиты, квартиры пустые. Люди выносили кастрюли, всякую посуду и прочее. Володька тоже поднял торбу, собрал ненужное тряпье и постарался подойти поближе к своей квартире. Мешок с тряпками весом в два килограмма для него весил три пуда, он от ужаса сам не мог держаться на ногах, но носил он для того, чтобы его не узнали. Володька вошел в свою квартиру, жуткую картину он увидел – бабушка лежала убитая на полу. Она была сильно побита, наверное, побили ее, потому что не могла идти со всеми, она была старая и слепая. Володька быстро повернулся и вышел, он всеми силами сдерживался, чтобы не заплакать, ибо тут же его могли узнать и уничтожить. Он взял свой мешочек с

тряпками и быстрыми шагами отходил от родного дома. Навстречу ему шла молодая женщина-украинка, она спросила его, где он брал вещи, просила показать ту квартиру, где он брал: «Может быть, еще есть. Я тоже возьму». Володька говорить не мог, он только рукой показал, сам не зная куда. Пришел он к своему товарищу, с которым учился пять лет. Товарищ, украинец, мальчик Сенька, пионер, ласково[70] принял его и предложил ему спрятаться у себя до завтра. «А завтра увидим», – сказал он. Володька плакал. Сенька успокаивал его. Вечером друзья легли вместе спать и почти до утра не заснули. Все говорили, советовались. Сенька всеми силами старался помочь своему другу.

Утром 9 октября еще ходят полицаи, ищут евреев, но никто не предполагал, что евреев, которых найдут девятого, не убьют. И действительно, всех найденных на второй день погрома не убивали (их насчиталось восемьсот человек). И перед вечером 9 октября их отпускают, приказывают занять дома по указанию полиции, всем объявляют прийти десятого на работу и обещают, что больше убивать не будут. Люди измученные, голодные, холодные, после двухдневного гонения над ними, приходят в квартиры, где только следы есть, что тут были люди, но их уже нет. Они спят вечным сном, им уже лучше живых, которые остались, чтобы дальше издеваться над ними. Не было ни одной целой семьи. Остались дети без родных или родные без детей. Каждый человек был разбит, расстроен и завидовал мертвым.

Люди как-нибудь пересидели эту ночь, они ждали, что завтра их убьют, нет, завтра их еще не убивали, они еще прожили до 22 апреля 1942 года. Но как они жили! Конечно, они были правы, завидуя мертвым. Как издевались и мучили их, пером не написать, в сказках не рассказать. Нет таких слов, которые описали бы их жизнь. Людей стало еще больше после того, как пронесся слух, что не будут убивать: многие вылезли из подвалов, чердаков, с сел многие поприходили. Через две недели после погрома уже в гетто (улица, на которой жили евреи) находилось полторы тысячи человек вместе с детьми. При втором погроме убили больше десяти тысяч евреев. Долго их оплакивали их родственники, знакомые, которые остались жить, но вместе с тем завидовали тому, что больше их мучить не будут, а живых еще мучили, и каждый день они ждали третьего погрома.

Жизнь протекает по-прежнему. Опять единичные случаи ареста и расстрела, опять нападение со стороны немцев и полиции на еврейские квартиры, опять грабеж и издевательство. 1 января 1942 года арестовали троих, среди них была одна довольно привлекательная женщина-еврейка Яцус. Следователь полиции хотел быть в близких отношениях с ней, она отказалась, поэтому решили повесить всех троих. 5 января 1942 года их прилюдно повесили. Яцус подошла к виселице, сбросила платок и сама накинула петлю. Палач Воропаев потянул ее за ноги, и секретарь полиции Тонкошкур произнес речь, где он отметил, что двадцать три года советская власть издевалась и мучила украинцев и тут виноваты евреи. 8 января объявили, что все евреи должны носить желтые нашивки на груди спереди и сзади, нашивки круглые диаметром семь сантиметров. Тут уж было за что издеваться! Одного били за то, что нашивка больше, чем указано, других били за то, что нашивки меньше или темно-желтые, у третьих нашивки были светло-желтые. Нельзя было город пройти, кругом полицаи, как бешеные собаки, гоняются с палками и бьют безжалостно кого попало. Вместе с тем было приказано, что каждый еврей должен шапку снять перед немцами и полициями, за это тоже не одному попало. Снимая шапку, еврей должен иметь большое счастье благополучно пройти. Обыкновенно город был полон всякими чертями, перед каждым снимать невозможно было. В

случае, как не снимешь быстро, получишь палкой по голове так, что голова слетит вместе с шапкой. Пятилетний Мишка сказал своему деду: «Дедушка, ну и что, что холодно, идите лучше совсем без шапки, а то рука заболит перед каждым шапку снимать». Не раз колотили дедушку, немало палок он схватил от полиции, но никогда он дома ничего не рассказывал. Очень спокойно он перенес все это, зная, что никто ему ничем не поможет.

В гетто насчитывали тысячу восемьсот евреев после второго погрома. Всех гоняли на работу. Причем каждый день всех людей пригоняли в полицию, тут полицаи стояли с палками в руках и встречали евреев, собирающихся на работу. Каждого еврея хорошо избивали палками, а потом отправляли на работу чистить снег или переносить камни и прочее. Табунами гнали евреев на работу, и каждую колонну сопровождали полицаи. Однажды, когда гнали на работу, мы встретили одну уманскую учительницу. Она улыбнулась полицаям: «[нрзб.] ведете, ха-ха-ха!» Поработав целый день, люди возвращались домой вечером голодные, холодные, и за работу им ничего не платили. Никому даже кушать не хотелось, только отдохнуть до утра, ибо завтра опять в полицию, опять палки хватать, опять то же самое. Вечером все думают отдыхать. Но тут уж сам Бог вмешивается и думает: «Зачем евреям отдыхать, ведь я и ночью найду работу для них?» И только с десяти или девяти часов вечером начинается другая комедия. Пожар. Горит какой-то дом от сильного отопления. Вся полиция уже на ногах, выгоняют всех евреев, и мужчин, и женщин, и детей тушить пожар. Все взволнованы, бегут с ведрами в руках к речке. Ночью. Темно [нрзб.]. Подойдя к речке, полицаи бросают этих людей в воду и одновременно заставляют их вылезать, набирать воды и идти тушить пожар. Люди, которые вылезают с речки, получают по несколько раз прикладом, бегом с ведрами идут к пожару, всех заставляют забраться на крышу и одновременно стреляют. Тут же люди падают на землю. Стоит полиция и хохочет. Так проходит ночь. Утром можно увидеть десять-пятнадцать человек, повешенных за то, что плохо тушили, кроме того, все возвращаются домой окровавленные, избитые, измученные, обиженные и людьми и Богом. Тут наступает утро, и опять вчерашний день и то же самое. Кроме того, после каждого пожара накладываются налоги на евреев. После первого пожара наложили 80 тысяч рублей, во второй раз 170 тысяч, третий раз 360 тысяч. За неуплату этих налогов угрожают расстрелом всех евреев. Но когда уже нечего было платить, позабирали имущество, мебель и разобрали дома. Это еще не все. Люди могут, как видно, больше перенести. Однажды вечером старик Фридман, оборванный и разбитый, возвращается домой с работы. Он идет и думает, что день уже прошел, наступает страшная ночь, как пережить эту ночь. Но тут навстречу идет полицай, известный палач Воропаев. Фридман снял шапку и прошел, но Воропаев не так пропускает еврея, он его позвал обратно и спрашивает: «Ты мне чего дулю дал?» Не успел Фридман ответить на вопрос, как Воропаев начал его бить прикладом. Всего побитого он отправил Фридмана в полицию, где бросили его в камеру. Через полчаса секретарь полиции Тонкошкур вызывает Фридмана на допрос. Ничего не спрашивали его, но обступила его «веселая компания полицаев». Все начали бить его палками, прикладами, заставляли танцевать и петь. При этом Фридман весь истекает кровью, уже на ногах не держится. Тонкошкур кричит, чтобы он не испачкал пол кровью, и заставляет подставить шапку. Почти мертвого Фридмана бросили в камеру, тут какой-то человек привел его в чувство. Открывая глаза, он обиделся на человека и сказал: «Лучше мне умереть, зачем вы это делаете? Разве возможно так жить? Не хочу больше этой проклятой жизни!» Человек его успокаивал и объяснял, что его

положение не лучше. Его [текст обрывается].

Что я пережил в фашистском плену

Письмо девятилетнего Бори Гершензона из Умани в Еврейский антифашистский комитет [71]

Дорогие дяди, я сейчас опишу вам, как я мучился у фашистских извергов. Как только прибыли немцы к нам в город Умань, нас всех загнали в гетто. Среди нас были старики, женщины и дети, а также больные. Всех сразу повели в лес на расстрел. Там же расстреляли мою бабушку и тетю Зину с детьми, а мне удалось удрать. Долго я прятался в лесу Софиевка, пока меня снова поймали и загнали в здание Дворца пионеров. Там нас было очень много. Нас там били, душили, раздели наголо и бросили в погреб. Многие из нас не могли выдержать пыток и здесь погибли. Потом оставшихся в живых отправили в лагерь. Несмотря на то что я здесь был самый маленький, меня заставили делать очень тяжелую работу. Кроме того, нас раздели и начали избивать до потери сознания. Морили нас голодом. Верхнюю одежду с нас сняли. Кушать давали шелуху из проса и макухи и пятьдесят граммов хлеба. Спали мы в разломанных конюшнях. Снег падал прямо на нас, а для того, чтобы нам было теплее, мы ложились один мальчик на другого. В этом лагере я пробыл около восьми месяцев, а потом убежал к папе в лес, в партизанский отряд. Будучи вместе с папой, я помогал разносить листовки по селам. Но через некоторое время меня опять поймали и отправили в г. Бер шадь, в румынский лагерь. Румыны нас мучили так же, как и немцы. Каждое воскресенье из лагеря брали сотни советских людей, одних вешали, других расстреливали. Папу тоже поймали. Его вместе с группой партизан расстреляли незадолго до прихода Красной Армии.

Как только освободили Умань, я сразу уехал туда. Но там я прожил недолго. Тетя Рива, которая находится в Красной Армии и работает врачом в госпитале, узнала про меня и забрала меня к себе. Я живу теперь в госпитале с тетей Ривой. Здесь я учусь на киномеханика. Мне девять лет. Думаю поступить в Суворовскую школу. Когда вырасту, стану офицером Красной Армии.

Если захотите мне написать, пишите по адресу:

Полевая почта, № 23336-А, Боре Гершензону.

Рассказ партизанки Раисы Дудник, спасшейся из Умани

На днях в Еврейский антифашистский комитет пришла молодая партизанка Раиса Дудник, бежавшая в свое время из Умани. Вот что она нам рассказала.

Когда немцы вступили в Умань – это было 1 августа 1941 года, – мой отец Лейб Дудник предложил мне и моей сестренке Хае бежать из города. Но мы отказались оставить родителей одних.

Первый погром немцы устроили в Умани 23 сентября. В этот день я на рассвете ушла в соседнюю деревню. Возвратившись, я никого дома не нашла. Квартира была разгромлена. Я бросилась к городской тюрьме. Из-за ограды доносились крики «Шма Исроэль», рыдания женщин, плач детей...

Вдруг ворота тюрьмы распахнулись. Немцы вывели на улицу мужчин-евреев.

В руках у каждого была лопата. Я увидела отца и бросилась к нему...

– Прощай, Рая! – сказал отец. – Мать и Хая в тюрьме. Нас ведут на расстрел.

Немцы отшвырнули меня, а всех мужчин погнали к кладбищу...

Женщин и детей – до трех тысяч человек – загнали в жарко натопленный подвал тюрьмы, наглухо закупорив двери и все отверстия. Многие задохлись.

Трупы издавали ужасное зловоние. И лишь когда вонь стала разноситься по всей тюрьме, немцы

открыли дверь. Все эти дни я не отходила от ограды. Я видела, как из тюрьмы выезжали подводы, груженные голыми телами. Это были задохнувшиеся женщины и дети. Немцы без стеснения, среди белого дня возили эти сваленные в беспорядке трупы. Я увидела среди них курчавые головки трех моих двоюродных сестренок...

Когда в тюремных подвалах осталось человек триста, немцы совершенно голыми выгнали их на улицу.

Среди этих обезумевших людей, которые никого не видели, ничего не понимали, я нашла мать, сестру, тетю Соню и ее уцелевшего сына.

Через два дня на Раковке было создано гетто[72]. Каждую ночь пьяные бандиты врываются в наши домишки. Насиловали девушек. Избивали старух, забирали последнее. 7 октября по гетто разнеслись зловещие слухи. Говорили, что в Умань приехал новый карательный отряд. Для того чтобы проверить это, я с сестренкой отправилась на Софиевку к нашим русским друзьям. Бухгалтер Ларжевский тепло принял нас и предложил переночевать.

Я проснулась утром с тяжелым чувством страха за мать. Вышла на улицу – вижу, соседка рыдает: – Ох, доченька, ховайся! Евреев из гетто повели убивать!

Я решила оставить сестренку у Ларжевских, которые обещали ее спасти, а сама направилась искать мать[73].

По дороге в гетто меня задержал полицейский, который заявил мне:

– Иди перед смертью помы в полиции мыть.

Там я увидела еще двух евреек-девушек. Целый день мы убрали помещение, а вечером нам всем трем удалось незаметно скрыться.

В этот день немцы расстреляли в Умани десять тысяч евреев[74]. В их числе была и моя мать.

Бежав из полиции, я обратилась к Николаю Васильевичу Рудкевичу, который дал мне паспорт на имя украинки Лукии Коротенко. С этим документом я пошла куда глаза глядят.

Я прошла более двух тысяч километров. Была в Кировоградской, Кременчугской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях. И нигде не встречала евреев. Я заходила в деревни.

Работала на огородах, нянчила детей, стирала. Добрые люди кормили меня. Многие знали, что я еврейка, и, рискуя жизнью, давали кров, делились последним куском хлеба. Я искала партизан, часто видела взорванные ими переправы, искалеченные рельсы, сожженные дома бургомистров. Добралась до Белоруссии, по пути встретила семнадцатилетнюю белорусскую девушку Марию Чик, которая бежала из Донбасса. Она пробиралась к себе на родину в Костюковичский район. Этот район был центром партизанской борьбы. В бессильной ярости немцы сожгли тут девятнадцать деревень, но так и не нашли народных мстителей. Отец Марии, Сильвестр Чик, указал мне путь к партизанам. Начальник отряда Василий Костюков принял меня как родную. Впервые за два с половиной года я почувствовала себя полноправным человеком.

В этом отряде я нашла старуху-еврейку Фаню Гибхину, которая находилась в нем с первого же дня. Она стала мне второй матерью. Немцы расстреляли ее дочь и мужа. Чудом уцелевшая Фаня вместе со своим шестнадцатилетним сыном Борухом ушла к партизанам. В отряде было еще несколько евреев. Я встретила здесь старика-сапожника Хаима Лезнера, медицинскую сестру Басю Пивченко. Я рвалась в бой. Командир назначил меня в диверсионный отряд и снабдил трофейным ружьем. В моей боевой жизни всякое бывало. Чаще всего налетали на немцев, переправлявшихся через реку

Безеть. Перебьем всех гитлеровцев, увезем их лошадей и, отдохнув немного, отправляемся на новые дела. Наш отряд контролировал железную дорогу Унеча – Кричев. Мы налетали на охрану, стоявшую у железнодорожного полотна, уничтожали немцев и затем уже беспрепятственно взрывали железнодорожную линию.

Осенью 1943 года фронт стал приближаться к нам. 22 сентября 1943 года к нам в отряд пришли первые разведчики-красноармейцы. Вечером в деревне был большой праздник.

Большинство партизан влились в регулярные части Красной Армии и шли дальше на Запад. По настоянию командира отряда женщин и детей отправили в тыл на отдых.

Сейчас Раиса Дудник уехала в Умань в надежде найти там свою сестренку Хаю[75].

Мама, спасай меня!

Письмо Блюмы Исааковны Бронфин из г. Хмельника Винницкой области

[77]

Многоуважаемый товарищ Илья Эренбург!

Ваше письмо, в котором просите меня написать, что я пережила во время немецкой оккупации, я получила. Тов. Эренбург, трудно будет мне все описать пережитое мною, ибо все ужасы, которые я видела своими глазами, не передать. Начну с 9 января 1942 года. 9 января, рано утром, нас, евреев, окружила украинская полиция и отряд СС[78]. Началась паника, никто не мог понять, что нас ожидает. Около восьми утра полицаи и немцы начали громить: били окна, стреляли и наконец начали выгонять из квартир. Собирали партиями и гнали в сосновый лес. Я не знала, что делать, куда деваться с детьми. Старшего сына Мишу я спрятала. Меня с трехлетним сыном Изей избили и выгнали на улицу, где я увидела ужасную картину. Трупы валялись везде, снег был красный от крови, варвары бегали, как дикие звери, и кричали: «Бей жидов, юд капут!» – и стреляли в толпу. Стоило только им заметить маленького ребенка, они сразу набрасывались на него и кинжалом резали на куски. Крики детей: «Мама, боюсь, мама, спрячь меня!» – до сих пор звенят у меня в ушах. Когда собрали человек двести, нас погнали в сосновый лес. Всю дорогу избивали, расстреливали всех, кто только вздумал выйти из толпы. В лесу была вырыта большая яма, в стороне лежала куча одежды; людей по очереди заставляли раздеваться и стать над ямой, их ждала очередь пулемета. Жуткая картина: дикие крики детей, стоны расстрелянных из ямы, заставили меня подумать о побеге, и я схватила моего перепуганного сына на руки и пустилась бежать, думая, что вот-вот меня убьют. Но мне помог сильный снегопад. Я бежала, не зная куда, и чувствовала, что вот-вот меня покинут силы и я упаду с ребенком и замерзну на чистом поле, так как был сильный мороз. Но вдруг недалеко я увидела разбитый, пустой сарай. Я забралась в сарай на чердак, укутала ребенка платком и так просидела там до 11-го числа до вечера. Вечером я решила пойти в город проверить, остался ли мой старший сын в живых. Мне удалось с большими трудностями перейти через речку не замеченной варварами, которые дежурили на мосту. Поздно вечером я очутилась в своей квартире. Окна, как везде, были разбиты, двери открыты, все до мелочи разграблено. Сына я не нашла. Утром 12 января меня в доме заметила женщина Курта, которая ходила грабить, и выдала меня полицаям. Меня с ребенком повели в полицию. По дороге меня встретила знакомая русская женщина Лунина, которая несла на плечах большой мешок с вещами, и спросила меня: «Куда тебя ведут, в женотдел?» И громко рассмеялась, мигнув при этом полицая Жуку, который сопровождал меня, после чего последовало два сильных удара прикладом по затылку, и кровь полилась у меня носом и ртом. Мой

бедный мальчик посмотрел на меня и спросил: «Мамуся, тебе больно?» И заплакал. Между прочим, Лунина сейчас находится в Хмельнике, работает в Райпотребсоюзе в закрытом распределителе (тридцатке). Во время немецкой оккупации Лунина обслуживала жандармерию. Меня, всю залитую кровью, бросили в камеру. Встретилась с такими же несчастными, как я. В полиции я была с 12 по 15 января, что я там видела и пережила, не передается словами, вряд ли кто-либо может это издевательство описать. Сидеть не давали, через каждые десять минут приходили полицаи и немцы, брали людей на работу с криками: «Выходи, жидова!» Водили в камеру, где стоял патефон, ставили пластинку «Еврейский фрейлахс», и под эту музыку надо было бегать вокруг стола, где стояли полицаи с резиновыми плетками и избивали до потери сознания, после чего обливали водой и бросали обратно в камеру. Крики, стоны слышно было кругом. Дети плакали, просили кушать. Немцы приходили с хлебом и спрашивали: «Кто хочет кушать?» Дети, конечно, бросились к ним просить хлеба, но вместо хлеба они получили побои дубинками. Вечером приходили немцы и полицаи, выбирали молодых женщин и уводили их с собою, потом бросали их обратно в камеру, измученных, истерзанных. 15 января мне удалось бежать с ребенком из полиции. 16 января расстреляли всех измученных евреев, которые находились в полиции[79]. С 16 января 1942 года до 12 июня я жила на еврейской улице, отведенной специалистам. Весь этот промежуток времени мы жили в большой панике. 12 июня отряд СС и полиции окружили гетто, в этот день убили 320 человек, по большей части стариков, женщин и детей. Я с ребенком была спрятана в секрете, вырытом под землей. После этого погрома я большей частью ночевала на поле, но когда наступили холода, я вынуждена была вернуться домой, т. е. в гетто, где находилась до марта месяца 1943 года. 8 марта начался погром, который продолжался целый месяц. Варвары этим погромом хотели истребить всех евреев, находившихся в Хмельнике. Я с ребенком ночью бежала через речку, вся мокрая скрылась в скирде соломы на поле, где пролежала без еды три дня. На четвертый день ночью я чувствовала, что силы меня покидают, и ребенок начал просить меня: «Мама, спасай меня, я кушать хочу!» – я решила пойти, куда сама не знала. Я шла без всякой надежды найти где-либо приют. На первом переезде встретил меня человек, посмотрел на меня и говорит: «Я все понял, идемте со мною, но незаметно». Я крепко испугалась, но другого исхода у меня не было, и я пошла за ним.

Он меня привел к маленькому домику, постучался, дверь открыла женщина, которая с удивлением посмотрела на меня, мол, кто ты, мученица? Нас пустили в дом, обогрели, накормили и разрешили переночевать. У этого человека, то есть у Барткевича Ивана Александровича, я жила с ребенком до 20 апреля, а потом я вынуждена была уйти, так как по соседству жил полицай Альвинский, который очень придирался и следил за моими хозяевами. Ушла я на территорию, временно оккупированную румынами, в город Жмеринку. В Жмеринке я жила в еврейском рабочем лагере, работала я в немецкой фирме Вальтер-Шифлер. Кормили один раз на день, терпела голод и холод, но жила надеждой, что придет час расплаты с фашистами, и, наконец, настал долгожданный день освобождения. Красная Армия освободила нас, измученных евреев, из-под гнета фашизма. Я вернулась в родной город Хмельник[80].

25 июля 1944 года к моему соседу Войнеру приехал сын-капитан, которого считали давно убитым. Я пошла повидаться с ним. Стоя там, я подумала: «Как хорошо потерять, а потом найти». В это время вбежала девочка моей соседки и говорит мне: «Тетя Блюма, идите домой, ваш мальчик пришел!» Я

не поняла, какой мальчик, и побежала домой. И что я увидела? В кухне стоял мальчик, мой сын Миша, которого я потеряла 9 января 1942 года, оборванный, босой пастушок. Когда он меня увидел, он успел только сказать: «Мама, счастье мое!» – и упал без чувств. Вообще, нашу встречу не могу передать на бумаге, и вряд ли найдутся такие краски в мире, чтобы нарисовать такую картину. Через несколько дней, когда он немного успокоился, он мне рассказал следующее. 9 января, после того, как он увидел, что меня с ребенком выгнали на улицу, он вышел вслед за нами на улицу и решил уйти, куда он сам не знал. Так как ему тогда было десять лет, перебрался через речку, где по нему стреляли. Он упал, притворился мертвым. Когда немцы ушли, он поднялся и пошел дальше в неизвестную дорогу. На второй день он очутился в селе Старой Гуте. Оттуда на следующий день пошел в село Рошкивцы, где три месяца бродяжничал, пока староста села не начал преследовать его. Он вынужден был уйти дальше. Пришел он в село Дашковцы, где приютил его тракторист Коваленко, у которого жил целый год. После он перешел на хутор того же села, так как его хозяина Коваленко обвиняли в связи с партизанами, и он боялся, чтобы не узнали, что он еврей. На хуторе мой мальчик нанялся к одному хозяину пастушком и жил там до прихода Красной Армии. Когда Красная Армия освободила Хмельник, он сразу боялся идти в Хмельник, так как знал, что мамы и братика нет. Ибо он видел, как вывели нас на расстрел. 25 июня он все-таки решил проверить свое счастье и пошел в Хмельник, где нашел меня и братика и письма от папы с фронта. Вот где настоящее еврейское счастье. Товарищ Илья Эренбург, все, что я Вам пишу в этом письме, тысячная доля пережитого мною и моим сыном. Писать обо всем никак невозможно.

Теперь я работаю завпроизводством индпошива, стараюсь работать продуктивно на благо нашей родины. Дети посещают школу, муж на фронте, от которого получаю письма, с надеждой скоро прийти домой с полной победой над злейшим нашим врагом человечества и культуры.

Жду от Вас ответа. В следующем письме[81] постараюсь Вам, дорогой Илья Эренбург, описать поведение и ответ работников по отношению к евреям.

Бегство двадцати пяти еврейских девушек из Тульчинского гетто.

Воспоминания партизанки Голды Вассерман

[82]

Осенью 1942 года в Тульчинском гетто находилось свыше трех тысяч еврейских семей из Украины, Буковины и Бессарабии[83]. Каждое утро на рассвете всех их, стар и млад, всякого, кто стоял на ногах, гоняли на работу. За работу бандиты Антонеску ничего не платили и не выдавали никакой пищи[84]. Добывать пищу приходилось самому. При этом выходить из гетто евреям было строго воспрещено. Когда же румынские жандармы накроют, бывало, в гетто крестьянина, то, жестоко избив, отнимали у него продукты. Лишь по пути на работу и с работы евреям удавалось приобретать что-либо у крестьян или выменивать последнюю одежду на продукты и тайком приносить их в гетто. Каждый день в гетто доставлялись новые партии евреев. Это были частью люди, долгое время скрывавшиеся в лесах, пробиравшиеся к партизанам и попавшие в лапы фашистских головорезов, частью евреи из разных стран Европы, оккупированных гитлеровцами[85].

Каждый день в гетто умирали пятнадцать-двадцать человек от голода, тифа, тяжелых язв и прочих болезней. Сверх этого разбойники Антонеску изо дня в день расстреливали на работе всякого, кто, вследствие крайнего истощения, еле волочил ноги. Трупы лежали, неубранные, часто в течение целой недели – не успевали просто этого сделать. Что касается издевательств и избиений, даже

детей, – то это было в порядке вещей.

Километрах в пятнадцати от гетто находились итальянские и венгерские резервные части. По требованию интендантов этих частей румынский жандармский комендант Тульчина отбирал в гетто здоровых молодых девушек и отправлял их, как гласила официальная версия, на кухни и в пекарни итальянских и венгерских частей. Оттуда девушки возвращались обычно изнасилованными и зараженными разного рода венерическими болезнями. Большинство девушек кончали самоубийством будучи еще в казармах или по возвращении домой, некоторых расстреливали при сопротивлении насильникам или при попытке к бегству.

Каждый раз комендант отбирал новых девушек на «работу». Из гетто их водили к жандармскому коменданту, и там они передавались на руки венгерским и итальянским канальям.

Отбор происходил почти каждые пятнадцать-двадцать дней. Что творилось в гетто – эти отчаянные вопли девушек, родителей – не поддается описанию. С пути девушки, рискуя жизнью, пытались при малейшей возможности спастись бегством. Фашистские подлецы стреляли им вслед, и кого пуля не достигала, та рано или поздно все же попадалась в руки палачей и расстреливалась. Лишь единицам удавалось скрываться в деревнях под видом деревенских девчат или же после долгих блужданий в лесах оказаться спасенной партизанами.

К последней категории принадлежу и я.

Я в числе двадцати пяти еврейских девушек была отобрана для отсылки на «работу» в венгерских и итальянских резервных частях. Нас вели два солдата, венгерец и итальянец. Дорогой пришлось пройти болотом по узеньким мосткам. Скорее взглядом, чем словом Женя Фукс, Соре Витал, Клара Мейдлер и я приняли единогласно решение спихнуть обоих негодяев в болото и бежать. План этот удался, к сожалению, лишь частично. Одного солдата сразу засосало болото, другому же удалось выкарабкаться: он зацепился за гнилой пень и стал стрелять по нам, убегающим. Одна из девушек, Блюме Кригер, была сражена пулей, когда она переходила по мосткам. Она упала в болото, и ее засосало. Солдат выпустил все пули. Когда он принялся снова заряжать ружье, мы забросали его градом камней. Он потерял равновесие, упал, но ухватиться опять за пень на этот раз не смог – слишком далек уж был от него пень, и завяз в болоте.

Две недели мы блуждали по лесам Тульчинской округи, питались ягодами и прочими лесными растениями. Вслед за этим мы добрались до какой-то деревушки, но зайти в деревню не решились: там слышен был гул автомобилей и танков. На полях, примыкавших к лесу, мы собирали ползком картофель и кукурузу и тем временем все более углублялись в лес. Нас, еле живых, нашли разведчики партизанского отряда и спасли от верной голодной смерти. Из раненых девушек осталась в живых одна – Берта Кимельман. Соня Фукс и Регина Залкинд погибли от потери крови.

Геройски погибли в рядах сражающихся партизан Сима Хабад из Сикурен, Роза Гринберг из Черновиц и Лея Куперман из Кишинева. Все три были дважды представлены к наградам. Регина Котесман, Хана Бекер, Лили Шехтер, Соня Курц и Голда Вассерман были также представлены к высшей награде и ныне находятся в различных центрах Советского Союза, где продолжают учебу в советских вузах.

Восточная Украина

Рассказ спасшегося из Харьковского гетто

Воспоминания инженера С. С. Криворучко

[86]

Я, житель г. Харькова, по национальности еврей, по специальности инженер, по случаю болезни не смог эвакуироваться из города в октябре 1941 года. С первых же часов занятия города немецкими оккупантами евреи почувствовали особое отношение к ним со стороны немцев. Началось с индивидуальных убийств, выселения из квартир и частых посещений еврейских жилищ немцами, бравшими оттуда, что им заблагорассудится. Кроме неорганизованного грабежа, они занялись грабежом, так сказать, в плановом порядке. Для этого ими был назначен так называемый еврейский староста, престарелый доктор Гуревич[87], обязанностью которого являлся сбор контрибуций, налагавшихся на еврейское население. Контрибуции следовали одна за другой, во все возрастающем количестве.

14 декабря с утра по городу были развешаны объявления немецкого коменданта города Харькова с приказом всем «жидам» переселиться в двухдневный срок в бараки на территории тракторного завода; лица, обнаруженные в городе после 16 декабря, будут расстреливаться на месте.

С утра 15 декабря из города потянулись целые вереницы евреев, переселявшихся за город. Многие шли пешком с узелками в руках, другие катили тачки, ручные тележки с незначительным скарбом, который успели захватить с собой. Ехали также на частных подводах. В спешке выселения почти все имущество осталось на месте.

Дорога от города до барачных тракторного завода для многих стариков и инвалидов оказалась последней в их жизни. Не менее тридцати трупов стариков лежали на дороге. Часов с двенадцати дня по дороге начался погром и грабежи переселявшихся евреев. Таким образом, очень многие евреи прибыли в бараки без всяких вещей, а главное, почти без продовольствия, что дало себя почувствовать на второй же день.

Бараки, в которых нам предложили поселиться, были одноэтажные, полуразрушенные, с разбитыми окнами, сорванными полами, пробитыми крышами. Площадь их была в восемь-десять раз меньше того, что требовалось бы по санитарному минимуму. В той комнате, где я поселился, к вечеру набилось свыше семидесяти человек, между тем как нормально в ней проживали не более шести-восьми человек. Люди стояли, приткнувшись один к другому. С трудом на второй день мы установили штук десять железных кроватей, найденных на свалке. На каждой кровати спали три-четыре человека. Несмотря на холодную погоду и разбитые окна, в комнате от духоты было тепло. На третий день бараки были оцеплены немецкими часовыми, не допускавшими никакого общения между нами и внешним миром.

Питания никакого не предоставлялось. Люди ели те запасы, которые успели захватить с собой и привезти из города. Начался голод. На почве голода ежедневно умирали двадцать-тридцать человек. Мы страдали также и от отсутствия воды. С двенадцати до часу дня разрешалось женщинам, и то ограниченному количеству, под охраной идти к вблизи расположенному колодцу и черпать оттуда воду, вернее, не воду, а грязную мутную жидкость. Мужчинам ходить по воду не разрешалось. Вода стала очень дефицитной и продавалась по сто рублей за бутылку. К нашему счастью, выпал снег, и мы употребляли его вместо воды.

От ужасающей скученности, голода, отсутствия воды начались массовые кишечно-желудочные заболевания, которые привели к еще большей антисанитарии. Из барачных во двор разрешалось выходить с восьми утра до четырех дня. Всякий, выходивший в другое время, расстреливался на

месте. К утру коридоры в бараках были загажены до невозможности. Тогда начиналась уборка коридора руками, так как лопат или веников не было, а немцы угрожали расстрелом, если не будет убрано в течение часа. Утром же производилась уборка трупов, умерших за ночь. Трупы стаскивались в противотанковые рвы, расположенные рядом. Эти рвы через неделю уже были заполнены.

Грабежи и убийства были повседневными явлением. Обычно немцы врываются в комнаты под предлогом поисков оружия и грабили, что им вздумается. При сопротивлении людей вытаскивали во двор и расстреливали. За день до Рождества и Нового года от нас потребовали, чтобы мы собрали для охранявшего нас караула продукты для устройства вечеринок, деньги на покупку водки. Нищие, полуголодные люди отрывали от своих детей последний кусок сахара или сала и отдавали грабителям на устройство вечеринок. Мало этого. Почти ежедневно гитлеровские негодяи требовали, чтобы им доставляли то часы, то отрезки дорогой мануфактуры. Требования эти выполнялись, так как подкреплялись угрозой расстрела.

Было много случаев убийств, например, за переход из барака в барак, за отправление естественной потребности у стенки, а не в уборной, за то, что подобрал щепку, лежавшую за зоной охраны.

Ежедневно отмечалось пятнадцать-двадцать подобных убийств невинных людей.

В обстановке голода, холода, грязи, тесноты, абсолютного беспорядка и диких убийств прожил я до 2 января 1942 года. Дней за пять до этого [88] немцы объявили запись на добровольную эвакуацию в Полтаву. Люди были еще до того наивны, что поверили немцам. Записались человек пятьсот, которых погрузили на машины и отправили в неизвестном направлении. При погрузке вещи были уложены в отдельную машину. Когда на последнюю машину не хватило пассажиров, то немцы начали хватать людей из числа провожавших, насильно посадили их в машину и увезли. Судьба «эвакуированных» ясна – их истребили.

2 января 1942 года, в семь часов утра, в коридоре барака, где я жил, раздался крик немецкого часового, приказавшего за десять минут собрать все свои вещи и выйти во двор. Собрав вещи в мешок и вложив в карманы несколько лепешек, я вышел во двор, куда собрались не менее 1000–1200 человек из нескольких бараков. Последовала команда сложить все вещи и мешки во дворе на землю. Затем нас плотным кольцом окружили немецкие часовые и полицаи и повели, объясняя, что эвакуируют в Полтаву. Вышли на шоссе Чугуев – Харьков и пошли в направлении, обратном к городу, между тем как дорога на Полтаву идет через город. Было ясно, что нас ведут не в Полтаву, но куда именно, никто не знал. По дороге мы встречали много немцев, выбегавших из домов и провожавших нас смехом или ехидными улыбками. В двух километрах за последними домами Тракторного поселка нас завернули к яру (оврагу). Весь овраг был усеян обрывками тряпок, остатками рваной одежды. Стало ясно, для чего нас сюда привели. Овраг был оцеплен двойной цепью часовых. У края оврага стояла машина с пулеметами. Когда люди увидели, что их привезли сюда на убой, начались ужасные сцены. Дикие крики оглашали воздух. Некоторые матери душили детей, не желая отдавать их в руки палачей. Появились сошедшие с ума. Были случаи самоотравления. Многие прощались друг с другом, обнимались, целовались, угощали друг друга последними запасами. Иные вынимали из карманов ценности, ломали их, втапывали в снег, деньги рвали, ножами резали на себе верхнюю одежду, лишь бы она не досталась убийцам.

От стоявшей колонны немцы стали палками отгонять вперед шагов на сто группы по пятьдесят-

семьдесят человек и принуждали их раздеваться до белья. Стоял мороз в двадцать – двадцать пять градусов. Раздетых гнали в глубину оврага, откуда время от времени раздавались взрывы и слышалась трескотня пулеметов[89].

Я стоял в полном оцепении и не заметил, как за мною раздались крики и немцы палками стали гнать вперед на раздевание ту группу, где находился я. Я пошел вперед, готовый через несколько минут умереть. Но тут оказалось следующее: стариков и инвалидов немцы привозили на место казни в машинах. В эти машины грузились вещи убитых, которые отвозились в город. Я проходил сзади одной из таких машин. В машине находилось два молодых еврея, которых немцы поставили на погрузку вещей. Я мигом вскочил в машину и попросил ребят забросать меня вещами. Сами они затем тоже спрятались среди вещей. Когда машина была загружена, немецкие шоферы завели ее, и таким образом меня и двух ребят вывезли из ужасного оврага. Через час езды нас привезли во двор гестапо, где при разгрузке машины нас обнаружили.

Во дворе вещи складывались под новопостроенный навес. Впоследствии я узнал, что вещи были рассортированы и отправлены в Германию.

После разгрузки нас заперли в машине и повезли обратно в овраг. В пути нам удалось бесшумно вынуть оконную раму. Первым выпрыгнул из машины я. Падение оказалось удачным. Я получил очень сильные ушибы, но кости оказались целыми. При падении потерял сознание, но, очевидно, кто-то оттянул меня с дороги и привел в чувство. Я отправился к жене (она не еврейка и оставалась с приемной дочерью в городе), которая спрятала меня у своей подруги, у которой я прожил шесть с половиной месяцев[90]. Четыре месяца я блуждал затем по деревням по подложному паспорту и, таким образом, дождался 16 февраля 1943 года, когда Харьков был в первый раз освобожден Красной Армией от оккупантов.

Страницы из Данте

Из дневника жительницы Харькова Н. Ф. Белоножко

[...] 15 декабря 1941 года свыше десяти тысяч евреев были согнаны в район харьковского Тракторного завода; в январе все они были расстреляны возле Рогани. Уцелели только те, кто успел убежать или скрывался под чужими фамилиями. Одна из жительниц Харькова, Н. Ф. Белоножко[91], вела краткие записи. Мы сохраняем их во всех подробностях трагической документальности. «Я увожу туда к отверженным селеньям, я увожу туда, где вечный стон, я увожу к погибшим поколениям». Эти слова из Дантова «Ада» могли бы стать эпитафией к приводимым записям скорби[92].

По улицам города носится сердитый ветер. Он раскачивает трупы повешенных, срывает с домов обрывки грозных приказов... «За оказание помощи партизанам – смертная казнь»... Смерть, смерть. Всюду смерть.

В эти страшные дни по пустынным улицам переезжаем мы из разбитого дома в новую квартиру по Сумской улице. В нем живет много народа, но я его еще не знаю. Все сидят по квартирам напуганные. По комнатам бродят немцы и забирают все, что понравится. У нас в комнате собрались жильцы, их было много, и все женщины. Вот сидит красивая девушка Рива с большими черными глазами, цвет лица ее матовый, волосы изящно уложены на голове, голос приятный, гортанный. Возле нее маленький кругленький мальчишечка двух с половиной лет, это Шурик. У нее еще две сестры – Софа, девочка, и Маргарита, постарше, лет двенадцати, со строгим лицом и такими же

большими глазами, как у сестры. Их мать умерла. Рассказывают о брате, он в Красной Армии. Окончил в Москве Академию. Где-то он сейчас? Пугливо прислушиваются к стукам. Лучшие вещи у них уже забрали немцы, что же будет дальше? В квартире живет еще семья Гершельман. Мать и две дочки. Мать – прекрасная пианистка, работала в консерватории. По вечерам, при коптилке, она читает, а девушки шьют. Дочери, Шура и Соня, с высшим образованием. Соня приехала из Львова, где заведовала библиотекой. Я живу с мамой. Муж мой в Саратове, на военных курсах. Мне уехать не удалось, все ждали, что он за мной приедет... Зима в этом году началась люто. Печек ни у кого не было. Дров тоже. Я уже работаю в столовой. Сегодня борщ из мерзлых бураков без хлеба, затем пошел казеин, что-то белое, клейкое, противное, вроде резины. Для чего он – не знаю до сих пор. Говорят, использовался в самолетостроении. Целый день мерзну в столовой, крики; казеина не хватает. Люди мрут у дверей. Я пока живу: могу съесть несколько порций казеина и еще принести немного домой, а дома с каждым днем все хуже. Печка в кухне еще тлеет, рубят на топливо мебель. Печка облеплена жильцами.

Люба и Вера делают спичечные коробки. Сто коробок – стакан отрубей. Коптилка едва тлеет. Девочки Мордухаевы сидят на полу у печи. Они молчат. Вечеру нет конца. На другой день работница Надя, забрав с собой вещи, идет на «менялку». Возвращается через пять дней вся избитая. Немцы все отняли, остался лишь мешочек с горохом. Надя без конца рассказывала, как в деревне она ела борщ с хлебом. И вот все молодые решают идти с нею. На дворе – стужа, идти не в чем. Рива идет в босоножках и старых галошах. Ушли... Тихо. Я занимаю лучшее место – на плите. На улицах появились новые приказы – все евреи в двадцать четыре часа должны оставить город. Тянутся страшные процессии. В четыре часа прибегаю домой. В квартире – паника, плач. Дворник заявил, что Мордухаевы должны немедленно очистить квартиру, так как они евреи. Девочки только что вернулись из села, ничего не принесли, все у них отняли, а Шурик требует лепешку. Что делать? Бегу с Маргаритой на Сумскую, 100, в комендатуру, говорю, что знаю Мордухаевых много лет и что они – армяне (знаю немного немецкий язык, так как недавно окончила институт). Удалось. Разрешили остаться, пока достанут поруку. Они остаются, но у них уже нет сил. На работу их не хотят брать, так как они евреи, вслед им кричат «иуд», жить не на что. В их большой комнате, с окнами на север, холоднее, чем на дворе.

Первой в нашей комнате слегла мать Шуры и Сони. Соня ходила в южный поселок, чтобы достать ей молока. Она медленно угасает. И вот в нашей квартире стоит первый гроб из шифоньера. Вечерами на кухне все со страхом смотрят на свои ноги, давят их пальцами – не опухли ли? У Сони и Нюры ноги сильно опухли, а девочки Мордухаевы просто тают. Они совсем как восковые. Не причесываются, не умываются, варят что-то из картофельных очисток и снега и тут же едят еще сырое. Люди живут продажей вещей, у них же продавать нечего. По квартире ползают вши, они всюду. Софа и Нюра слегли. Лежит и Шурик. Он уже не плачет и даже не хочет есть суп, который я приношу из столовой. В квартире – второй труп, умерла Нюра, а затем через неделю не стало Ривы. Маргарита ходит просить милостыню, она шатается от слабости, глаза у нее дикие, я не могу без ужаса вспоминать эти глаза. Она падает, поднимается и снова падает. Ей надо кормить Шурика и Софу. Она – старшая, ей двенадцать лет. Софа и Шурик громко кричат из комнаты, они требуют у нее есть. В комнате вонь и грязь, жутко зайти. Все еще работаю в столовой. Холод адский, суп замерзает в тарелках. Терплю – жить надо.

У нас – новый покойник. Умерла в больнице Соня. У нее потрескались ноги. Инфекция, и она умерла от заражения крови. Похоронили в братской могиле. Больше не с кем вечерами вспоминать прошлое, жизнь до немцев. Не о ком мечтать. Слегла и Маргарита.

Вчера Шурик попросил лепешку. «Мама дала», – говорит, улыбнулся, а к вечеру умер. Маргарита встала через силу и сказала, что Шурика надо отнести к родственникам хоронить. Ходит рваная, страшная. Мороз все крепчает. Шуры нет, ушла в Люботин. Надя тоже ушла в село и не вернулась. Очевидно, погибла. Софа и Маргарита лежат, принесла им суп, но есть не захотели. Просят чая. Какие они страшные. Кожа, кости и огромные черные глаза. Утром заглянула к ним в комнату. Мертвые. Обе мертвые. Софа – на кровати. Маргарита – на полу. Как хоронить? Ходила к бургомистру – говорит: «Евреев не хороним». Они лежат вот уже десять дней. Хорошо, что холодно, но все равно пахнет трупами. Лежат еще двенадцать дней. Наконец забрали их. Надо прибраться в комнате. Пришла женщина Петровна, хочет поднять перину, слышу жуткий, раздирающий душу крик. Под периной, где спала Маргарита, лежит Шурик. Умер ли он тогда, или она его нарочно туда положила, чтобы кончить мучения? Кто скажет? Он пролежал там полтора месяца. Когда же это кончится? Когда?

Так кончаются эти записки.

Гибель евреев Харькова

Воспоминания Нины Могилевской, жены рабочего-автогенщика

[...] Трудно, мучительно вспоминать Харьков... 14 декабря 1941 года... Я и муж мой Яловский, рабочий-автогенщик, шли на рынок: необходимо было обменять что-либо из вещей на еду.

На улице стояла толпа. Люди в тяжком молчании читали объявление, которым немцы сообщали, что все жида, независимо от пола, возраста, вероисповедания и состояния здоровья обязаны до 16 декабря переселиться в район Лосево за ХТЗ[94]. Обнаруженные вне этой территории будут расстреляны на месте.

На следующий день, вместе с мужем, мы пошли к Тракторному заводу. По улицам тянулась огромная шестнадцатитысячная толпа евреев. Шли молодые, шли старики и старухи, подростки, маленькие дети. Здоровые несли на руках больных.

Рядом с нами пожилая женщина несла на спине парализованную старуху-мать. Впереди нас шла семья: муж, жена и двое маленьких детей. У мужчины была нога в гипсе, он шел на костылях. Было скользко, он несколько раз падал. У ХЭМЗа[95] его пристрелили.

Было очень холодно. Замерзающие отставали, и, если они оказывались в поле зрения немцев, их убивали.

Еще в самом центре города начались грабежи. Грабили у каждого моста и у каждого места, где колонна идущих замедляла движение. Мало кто донес до Тракторного то немного, что разрешалось и было под силу взять с собой!

За тракторным заводом нас ожидали бараки. Окна были выбиты, печи разломаны. В комнату размером двадцать – двадцать пять [квадратных] метров набивалось пятьдесят-шестьдесят человек. Бараки запирали. Двери открывались, когда немцы под предлогом поисков оружия приходили грабить. Забирали все: ценности, одежду, еду.

Люди умирали от голода и холода; раньше других – старики и дети. Но все это известно от других очевидцев.

Я расскажу о себе, о своем горе.

25 декабря 1941 года, когда уже было ясно, что нас ждет только смерть, я сказала мужу (он – русский), что ему не следует гибнуть из-за меня, он должен уйти домой. Муж не согласился, и я обещала ему, что убегу.

В одном бараке со мной находилась девушка по имени Маруся. Ее муж, тоже русский, был на фронте. Я уговорила бежать и ее.

На территории барачков не было воды. В воде нуждались и немцы. Они посылали женщин по воду к колонке, находившейся на расстоянии трех километров от барачков.

27 декабря, уйдя по воду, мы не вернулись в бараки. Убедившись, что за нами не следят, мы пошли в сторону деревни Каплиневки, где жили родители мужа моей новой подруги. Сто десять километров в холод и стужу, плохо одетые (все теплые вещи забрали немцы) шли мы, нигде не останавливаясь.

В деревнях нам подавали, но оставаться ночевать – мы боялись. Так шли мы днем и ночью... все шли и шли...

Родители мужа Маруси – Сердюковы, нас хорошо встретили, накормили. Сердюков сказал, что если у нас есть деньги, то у коменданта можно купить документы и тогда жить безбоязненно.

Но денег у нас не было. На следующий день по приходе в Каплиневку я вспомнила, что в семи километрах от этой деревни живет дядя моего мужа. Я решила у него попросить помощи и предложила Марусе пойти со мной. Но она, измученная нашими скитаниями, решила остаться у тестя.

Я ушла. Денег я не получила и в тот же день вернулась в Каплиневку. Подходя к деревне, я увидела толпу. Я сделала еще несколько шагов и увидела Марусю, висящую на перекладине. На ней висела табличка с надписью «Большевичка та жидовка».

Как потом выяснилось, ее выдал свекор – Сердюков.

Я вернулась к родным мужа. И хотя меня искали, дядя меня не выдал. Его вызывали в комендатуру, избивали, требовали, чтобы он сказал, куда я делась, но он молчал. А я по целым дням сидела в погребе и только ночью приходила в хату.

Я была беременна. Приближалось время родов. Рожать здесь было невыносимо. Крик ребенка мог быть услышан случайно зашедшей соседкой. Я не хотела быть причиной гибели людей, так мужественно приютивших меня. Ночью я ушла в Харьков.

Трудна была дорога до Харькова, но в Харькове – еще труднее. Почти на каждом углу стояли полицаи, проверявшие документы. Я пряталась в подъездах зданий и три дня пробиралась через город на Холодную гору, где жили родители моего мужа.

Мне сказали, что муж мой ушел в партизанский отряд. Старики, зная, что это угрожает им смертью, все же приняли меня. Через несколько часов я родила мальчика.

Соседи догадывались, что я вернулась, и хотя среди них не было негодяев, могущих выдать меня и моего ребенка, – оставаться было опасно. Через две недели с ребенком и метрическим свидетельством на имя Яловского Валентина, на которое в нужных местах я налила несколько капель чернил, – я ушла из Харькова искать работы и пристанища.

Я была с ребенком: меня везде пускали ночевать. Иногда разрешали искупать ребенка, но утром надо было уходить, и конца моим скитаниям не было видно.

Я была уже близка к отчаянию, когда мне сказали, что в Пархомовке в свеклосовхоз «Экономию»

принимают рабочих. Но надо обращаться к «пану», а «пан» бывает ежедневно на станции у мотовозов.

Весь день ждала «пана» – не дождалась. А на другой день, уже плохо соображая, я подошла к линии, чтобы броситься с ребенком под мотовоз. Вдруг меня кто-то дернул за плечо: «Стоп, ты куда?» – спросил меня по-городскому одетый человек. «Я голодна, ребенок погибает, работу не могу найти». Последовали вопросы – откуда я, где муж и так далее. Все это уже было привычным, и я отвечала, как всегда.

– Ты – городская, а работа у нас тяжелая.

– Я справляюсь со всякой работой.

«Пан» посадил меня в бричку, и мы поехали. Нас встретила «пани».

– Смотри, – сказал ей пан, – какую Катарину с котомкой за плечами и ребенком на руках я подобрал.

Пани процедила:

– Ты вечно со своими фантазиями.

Пан посмотрел на меня и смущенно сказал:

– Она, кажется, под мотовоз хотела броситься. В страдании лицо ее было прекрасным.

Этой фантазии пана я обязана тем, что, несмотря на неясность моих документов, я получила работу и пристанище.

Работа была очень тяжелая, а мне, горожанке, она казалась еще тяжелее.

Ребенок был все время со мной. Лежит на тряпье неподалеку от меня, а я не могу оторваться от работы, подойти накормить его.

Умер у меня сын. Я продолжала работать машинально и тупо, вызывая нелюбовь и раздражение окружающих.

К концу лета пришел мой муж. Он попросился на работу, и его приняли. Через несколько дней у одного из немцев на огороде выкопали несколько кустов картошки. Кто-то сказал, что это я для мужа. Нас вызвали к коменданту. Меня избили до потери сознания. Рубцы на теле останутся навсегда. Потом нас повели на расстрел.

Не удивляйтесь: за катушку ниток, за папиросу, украденную у немцев, убивали и старых и малых.

Идем мы, а я думаю – видно судьба моя умереть от руки немецкого палача. И зачем я столько боролась за свою жизнь! Хорошо, что сын умер, и ему легче.

Вдруг видим – к коменданту подошла женщина – молодая, красивая, жившая у него уже несколько дней. Она о чем-то с ним говорила, и мы услышали:

– Ну, конечно, это не они. Я их хорошо знаю. Это очень честные люди.

Что потом было, не помню. Знаю только, что нас отпустили. Я бросилась на колени перед этой женщиной, а она погладила меня по голове и шепнула:

– Успокойся, я такая же, как и вы.

Я думаю, что она была партизанка.

Как хотели бы мы с мужем увидеть нашу спасительницу, даже имени которой мы не знаем!

Муж вскоре ушел обратно в отряд, а я пробыла в «Экономии» до первого прихода наших войск.

Мне теперь двадцать два года, но горя в жизни я повидала столько, что его с избытком хватило бы на несколько человеческих жизней.

Впрочем, я ведь не одна!

Танки давили людей

Расправа с евреями – мирным населением и военнопленными – в городе Дебальцево

Гитлеровцы в своих жестокостях дошли до предела бесчеловечности. Они зверски умерщвляют народы временно оккупированных советских районов.

Ужасом веют рассказы людей, случайно вырвавшихся из фашистского ада.

Не без содрогания, с неудержимым гневом в сердце к фашистским выродкам, я слушал рассказ выбравшегося из оккупированного немцами украинского города Дебальцево[97] советского гражданина Каца М. Ю.

Вступив в город, эта разбойничья банда, учинила поголовное ограбление населения. Отбирали все, что попадалось под руку. Не гнушались даже детскими игрушками и старым тряпьем.

Все еврейское население взяли на учет и под угрозой расстрела заставили носить белую повязку на левом рукаве. Вскоре началась кровавая расправа с беззащитными стариками, детьми и женщинами – евреями. Однажды ночью пьяная банда немцев в тех домах, где проживало еврейское население, устроила страшный погром. Они врвались в дома мирных людей, избивали и убивали. Стон, предсмертные крики долго стояли в ту ночь в воздухе.

Оставшихся от расправы евреев они погрузили на машины и, как потом стало известно, их за городом расстреляли.

В другой раз немцы, после очередного погрома, на грузовых автомашинах свезли большую группу евреев в противотанковый ров, где начали с ними зверски расправляться. Мужчин, женщин и детей раздевали догола, избивали и полуживых бросали в ров, засыпали их соломой и поджигали.

Грудных детей отнимали от матерей и живыми бросали в огонь. Молодежь подвергали медленным пыткам. Вначале им отрезали нос, пальцы, руки, ноги. Другую большую группу евреев под видом заключения в концентрационный лагерь загнали на площадку, огороженную колючей проволокой. Люди, не понимая, что с ними хотят сделать, с ужасом смотрели на кровавые приготовления палачей. Немцы с тупым хладнокровием убийц на всем ходу пустили в обезумевшую от страха толпу людей танки. Танки своими гусеницами давили людей, стреляли из пушек, пулеметов.

Другой советский гражданин, бывший в плену у немцев, очевидец их зверств, товарищ Никулин мне рассказал:

Гитлеровские охранники с пленными красноармейцами творят неслыханные издевательства. Как правило, они евреев-бойцов отделяют от других красноармейцев. Тот каторжный режим постепенной смерти, который они установили для пленных, к евреям они применяют в полном объеме.

Мне приходилось наблюдать ужасную сцену зверского отношения к евреям-бойцам.

Однажды, ради потехи, пьяные гитлеровские тюремщики вывели двух евреев и под угрозой оружия заставили их ползать на четвереньках и лаять по-собачьи и мяукать по-кошачьи. Немцы тут же стояли и цинично смеялись, заставляя наблюдать эту нечеловеческую сцену и других пленных.

В следующий раз они заставили двух истощенных и измученных чуть живых евреев драться друг с другом, и, когда они стали сопротивляться, палачи избили и пристрелили их.

Так гитлеровские мерзавцы расправляются с еврейским населением.

Братская могила десяти сирот в степи

У самой железнодорожной станции Купянск, на пути из Харькова в Донбасс, возвышается

небольшой «курган». Под ним покоятся останки десяти еврейских сирот, погибших от немецко-фашистских снарядов два с половиной года назад во время эвакуации их полтавского детского дома. В течение всего времени пребывания здесь немцев местные жители обманывали их, говоря, что это – «курган» издавна. Оккупанты поэтому не разрыли горку. Когда Красная Армия освободила Харьков и Донбасс, из далекой Алма-Аты, где находится эвакуированный полтавский детский дом, прибыла делегация от воспитателей и детей детдома и с помощью органов восстановленной советской власти поставила на братской могиле превосходный памятник с начертанными именами погибших детей. Вот их имена: Иосл Лернер, родился в Люблине, двенадцати лет; Рива Ридерман, родилась в Люблине, десяти лет; Велвл Моргенштейн, родился в Хрубишове, двенадцати лет; Мотл Хайкин, родился в Варшаве, девяти лет; Мойше Вайнберн, родился в Кельцах, десяти лет; Гершл Фишбейн, родился в Кельцах, двенадцати лет; Монек Гершман, родился в Варшаве, двенадцати лет; Малка Типовицкая, родилась в Холме, девяти лет; Мойше Гроссман, родился в Кракове, одиннадцати лет; Исаак Айзиксон, родился в Кракове, десяти лет...

Все они дети польских евреев. В конце 1939 года родители их бежали из разрушенной Польши на восток. Родители погибли в пути, а детей приютила советская власть. Вместе с сотнями других детей беженцев их отправили в Полтаву в хорошо организованный детский дом. Но и здесь кровавый враг – немецкий фашизм настиг их. Детский дом в полном составе и полном порядке был эвакуирован специальным поездом на восток. На пути, у станции Купянск, поезд атаковали гитлеровские аэропланы, которые снизились и обрушили на поезд с детьми смертоносный огонь. Десять[99] детей пали мертвыми; многие были ранены. Мертвых спешно похоронили у станции. Детские руки засыпали могилу и образовали «курган». Поезд пошел дальше под специальной охраной советских самолетов. Полтавский детский дом нашел приют в Алма-Ате. В делегации, прибывшей из далекого Казахстана в Купянск, находятся также две сироты, получившие тогда ранения, – двенадцатилетняя Рива Бернштейн из Бриска и тринадцатилетний Мотеле Зальцман из Варшавы. От имени своих сотен товарищей, воспитывающихся сейчас в Алма-Ате, Рива Бернштейн и Мотеле Зальцман почтили братскую могилу детей и возложили на нее венок.

У края степи, у самой станции Купянск возвышается курган-могила. Он будет вечно напоминать о зверствах гитлеровских бандитов, немецко-фашистских детоубийц.

Уничтожение евреев Мариуполя

Дневник Сарры Глейх

[101]

17 сентября. Наконец, через месяц после приезда из Харькова я начинаю работать в Мариупольской конторе связи. Дома все время разговор об отъезде. Старики не хотят ехать. Фаня записала нас всех в эшелон завода, но нет уверенности, что возьмут всю семью. Самое главное, как посадить стариков. Я смогу выехать с конторой, которая, безусловно, будет эвакуироваться.

25 сентября. В Мариуполе тихо, не бомбят, люди успокаиваются, это очень многих толкает на мысль, что отъезд необязателен, тем более что вид одесситов, эвакуированных в Мариуполь и не имеющих пристанища, наводит на мысль, что лучше сидеть на месте, чем ехать куда-то голодать и сидеть в холоде. Кажданы колеблются, ехать ли им в Новосибирск. Маничка против поездки, Гдана настаивает на отъезде. Хотят отправить Катюшу с Ганочкой и М. Ф., а самим оставаться в Мариуполе.

1 октября. Фаня, Рая и Фира – жены военнослужащих – ходили в военкомат, им ответили, что никакой эвакуации нет, могут выдать посадочный талон без эваколиста, а вообще считают, что ехать не нужно, до весны в Мариуполе эвакуации не будет.

6 октября. Сегодня в одиннадцать часов утра Кажданы выехали в Новосибирск. Маша оплакивает их отъезд, она уверена, что они не доедут, их убьют по дороге, так как поезда бомбят.

7 октября. Ночью с 6-го на 7-е налет немецких самолетов, бомбы сброшены в порту. Тревога была непродолжительная.

Утром опять налет самолетов. Вывозят войска и раненых из госпиталей. Очень много убежавших от бомбежек из Бердянска и Мелитополя.

Вечером Фира Штернштейн получила извещение о гибели мужа в боях под Осипенко. Завтра утром Штернштейн уезжают с эшеленом «Азовстали». Завтра же отправляется эшелон завода Ильича. Но Фаня говорит, что мы попадаем в следующий.

8 октября. Ночь прошла тихо, все разошлись на работу, магазины торгуют, но в городе чувствуется какая-то напряженность.

Начальник конторы Мельников вызвал меня, сообщил, что 10 октября эвакуируемся, что нужно подготовить документы, можно взять семью, значит, так или иначе отъезд обеспечен. В десять утра началась беспорядочная стрельба, кто-то пришел и сказал, что в городе немцы. Все бросились бежать. Бегу домой. Самолет на бреющем полете обстреливает из пулемета город, пули цокают у самых ног. Толпа призывников с котомками за спиной кинулась врассыпную по домам.

8 двенадцать часов дня 8 октября немцы в городе. Дома – все, кроме Фани, которая на заводе, куда пошла утром на работу. Жива ли она? А если жива, как доберется сюда, ведь трамваи не ходят. Бася у Гани, которая больна брюшным тифом. В шесть часов вечера Фаня пришла с завода пешком, на заводе немцы с двух часов дня, а рабочие и служащие завода сидели в бомбоубежище, артиллерийскую стрельбу приняли за зенитки. Случайно кто-то узнал о приходе немцев в город. Директор завода пытался организовать отряд, раздавали оружие, но, кажется, ничего не вышло. Говорят, что секретаря Молотовского райсовета Гербера немцы убили в кабинете райсовета. Председатель горсовета Ушкац успел уйти.

9 октября. Дома абсолютно нечего есть. Пекарни в городе разрушены, нет света, воды. Работает пекарня в порту, но хлеб только для немецкой армии. Немцы расклеили вчера объявления, обязывающие всех евреев носить отличительные знаки – белую шестиконечную звезду на левой стороне, – без этого выходить из дому строго воспрещается. Евреям нельзя переселяться с квартиры на квартиру, Фаня с работницей Таней все же переносят свои вещи с заводской квартиры к маме. Часть вещей она отдала Рояновой, матери Васи. Поселилась Фаня у нас, хотя папа считает, что она должна быть с Рояновыми.

11 октября. Приход немцев сразу сорвал маски. По городу расклеены объявления, написанные от руки, – призывающие к погромам. Черносотенцы ожили. [Теперь, когда население разграбило все, немцы издали приказ, карающий за грабеж расстрелом, и предлагают населению нести все обратно, но этого, конечно, никто не делает. Немцы возвращают радиоприемники, но с ограничением – имеют право получить приемники обратно только украинцы.]

12 октября. По приказу, еврейское население должно избрать общину в количестве тридцати человек, община отвечает жизнью за «хорошее поведение еврейского населения», так гласит приказ;

глава общины – доктор Эрбер. Кроме Файна никого из членов общины я не знаю.

Кроме того, еврейское население должно регистрироваться в пунктах общины (всего зарегистрировано девять тысяч евреев), каждый пункт объединяет несколько улиц, наш пункт – ул. Пушкина, 64, – этим пунктом ведают Бору, бухгалтер, юрист Зегельман и Томшинский. Фаня должна специально идти на завод регистрироваться, председатель общины завода – доктор Белопольский, Спиваков – член общины. Головой города назначен Демченко, кажется, он работал в коммунальном отделе горкомхоза. На заводе голова Будневич, живет по соседству с Рояновыми. Фаня была у них – Шура и Лева (муж Ани) и сосед их Каюда 10 октября ушли из города. Массовых репрессий пока нет, наш сосед Траевский говорит, что еще не прибыл отряд гестапо, потом будет иначе.

13 октября. Ночью у нас были немцы. В девять часов вечера началась зенитная стрельба. Мы все были одеты. Владя спал, папа вышел во двор посмотреть, есть ли кто-нибудь в бомбоубежище, и наткнулся на трех немцев, они были во дворе, искали евреев, соседи стояли в нерешительности, не зная, что делать – указать или не указать на нашу квартиру. Появление папы решило вопрос – папа привел их в квартиру. Тыча в лицо наганом, спрашивали, где масло и сахар, потом стали ломать дверцы шифоньера, хотя шифоньер был открыт, забрали все у Баси, она была у Гани, Ганя – одна, Бася там день и ночь, потом перешли к нашим вещам, к двенадцати часам [ночи] мы остались буквально в чем стояли, двое грабили без передышки, взяли все, вплоть до мясорубки.

[Один из них никого не трогал, только наблюдал, пытался не пускать их в мамину спальню, где спал Владя, и незаметно от них прятал вещи и передавал их мне, указывая жестом, чтобы я их спрятала; он был трезв, а двое пьяны совершенно.]

Увязав все в скатерть, ушли. В доме все разбросано, раскидано, разбито. Решили не убирать, если придут еще, пусть видят сразу, что у нас уже им делать нечего. Утром узнаем, что в городе – повальные грабежи. Грабеж продолжается, и днем забирают все – подушки, одеяла, продукты, одежду. Поодиночке не ходят – три-четыре человека, их слышно издали – сапоги гремят [по тротуарам].

Есть приказ явиться всем по месту работы, неявка рассматривается как саботаж. Была в конторе – Мельников удрал, начальником объявлен старик Вернигора, его заместителем Михайлов. Со мной бояться не только разговаривать, но даже стоять рядом – ведь я еврейка. Фаня на завод не пошла. Бася была в банке, и начальник Каравай встретил ее не очень любезно и посоветовал идти домой – евреи работать не будут.

Папа ходил к магазину, там все цело, по дороге его остановил немец и велел ему нести большое витринное стекло; увидев, что ему это не под силу, подзвал более молодого, а папу отпустил домой. Ходили с Фаней к Кондатским, оказывается, 8 октября они грузились на баржу, но уехать не успели. Таня ходила в порт и достала хлеб, теперь есть, чем кормить Владика, так как кусок хлеба немцы посыпали нафталином, а этот хлеб мы берегли для Влади.

После ухода немцев мама плакала, она говорила: «Нас не считают за людей, мы погибли».

14 октября. Ночью опять приходили мародеры. Таня, работница Фани, спасла остатки вещей, выдав их за свои, немцы ушли ни с чем. Зашли к Шварцам, забрали одеяла и подушки. [Кажется, отобрали у них деньги.]

Гестапо уже в городе, в полиции работает [много русских] из местных жителей, [секретарем] гестапо

[работает] Арихбаев, [муж Н. Суцкиной], говорят, он был секретарем горисполкома[102].

Общине дан приказ – собрать за два часа с еврейского населения 2 кг горского перца, 2500 коробок черной мази, 70 кг сахара, по домам ходят и собирают, все дают, что у кого есть, ведь община отвечает за «хорошее поведение еврейского населения».

15 октября. Грабежи продолжаются. Ежедневно налеты советской авиации. К Гане немцы боятся входить, дальше порога не идут, узнав, что в квартире лежит больной тифом.

Бася говорит, что у нее стал бывать какой-то гражданин Кульпе Иван Дмитриевич, служащий отдела снабжения завода «Азовсталь», предлагает ей свою помощь, в чем должна заключаться его помощь – не знаю.

В то время как Файн занимался делами общины, немцы среди бела дня вскрыли его квартиру и поселились там, когда он к вечеру пришел домой, его не впустили и ничего из вещей не дали, он остался, в чем вышел из дому. [Файн пытался жаловаться коменданту города. Результатов никаких.]

По городу начались слухи, что расстреливают коммунистов, оставшихся в городе.

Ночью их забирают [из квартир]. Объявлена регистрация членов партии и комсомола в обязательном порядке. На пунктах общины зарегистрировано девять тысяч человек евреев, остальное еврейское население [или] ушло из города, или спряталось.

16 октября. Фаня была у Рояновых с Таней. Каюда вернулся, говорит, что идти некуда, немцы по дороге уничтожают все и всех, но Шура и Лева не пожелали вернуться и пошли дальше. Каюда считает, что они пошли на смерть. По-моему, Рояновы не предлагают Фане переехать к ним. А сама она просить их об этом не хочет. Неужели они не понимают серьезности положения? Ульяна приходила узнать, живы ли мы [или, может быть, она один из претендентов на наши вещи – возможно, но у нас уже ничего не осталось. Более ценные вещи из уцелевших отданы Стеценко Ульяне, А. В. Траевским, Г. Даниловой, Л. Лейтунской.]

17 октября. Сегодня объявили, что завтра утром все зарегистрировавшиеся должны явиться на пункты и принести все ценности. [Сколько в семье человек, столько ценных вещей должна сдать семья – серебра и золота.]

Немцы расклеили объявление, что в подвалах НКВД найдено двадцать шесть трупов, [зверски замученных работниками НКВД] – евреями. На сегодня назначены похороны, евреев заставили рыть могилы на еврейском кладбище и там хоронить, все население должно явиться на похороны, приглашаются на опознание трупов. Ульяна говорит, что она ходила смотреть, узнать, конечно, никого нельзя. Черносотенцы жаждут погрома.

18 октября. Сегодня утром пошли на пункт – я, мама, папа, Бася, сдали три серебряных столовых ложки и кольцо, после сдачи нас не выпускали со двора. Когда все население района сдало, объявили, что в течение двух часов мы должны оставить город, нас всех поселят в ближайшем колхозе – идти будем пешком, продуктов взять на четыре дня и теплые вещи. Через два часа собраться всем здесь с вещами. Для стариков и женщин с детьми будут машины.

Еврейки, у которых мужья русские или украинцы, могут оставаться в городе в том случае, если муж с ней; если муж в армии или вообще по какой-либо причине отсутствует, жена и дети должны оставить город; если русская замужем за евреем, ей предоставлено право выбирать – или оставаться самой, или идти с мужем. Дети могут оставаться с ней.

Рояновы пришли просить Фаню отдать им внука. Папа настаивал, чтобы Фаня с Владей шла к

Рояновым. Фаня категорически отказалась, плакала и просила, чтобы папа ее не гнал к Рояновым, потому что «все равно я без вас руки на себя наложу, я жить все равно не буду, я пойду с вами».

Владю не отдала и решила взять его с собой.

Соседи, как коршуны, ждали, когда мы уйдем из квартиры, да уже и при нас не стеснялись – Маша открыла двери и сказала, чтобы они брали, что кому нужно. Все кинулись в квартиру, папа, мама, Фаня с ребенком сразу ушли вперед, они не могли это видеть. Соседи ссорились из-за вещей на моих глазах, вырывали вещи друг у друга из рук, тащили подушки, посуду, перины. Я махнула рукой и ушла. Бася оставалась в квартире последняя, она ее заперла уже почти пустую. Таня, работница Фани, шла все за нами следом, просила Владю отдать Рояновым, обещала следить за ним. Фаня и слушать не хотела.

Дошли до здания полка, где простояли на улице до вечера. На ночь всех согнали в здание, нам досталось место в подвале, темно, холодно, грязно.

19 октября. Объявили, что завтра с утра будем идти дальше, а сегодня воскресенье и гестапо отдыхает. Пришли Таня, Федя Белоусов, Ульяна, принесли передачу, съестное. Вчера в суматохе Фаня оставила на столе часы, Тане дали запасной ключ от квартиры, ведь ключи все сдавали вчера на пункте. Гестапо наклеило на всех еврейских квартирах специально отпечатанные бумажки: запрещен вход всем посторонним, – поэтому Тане нужно проникнуть в квартиру тайно, и если никто из соседей часов не взял, принести их завтра нам.

Всем знакомые и друзья приносят передачу, многие получили разрешение взять из дому еще вещи, народ все прибывает и прибывает.

Полиция разрешила общине организовать приготовление горячей пищи.

Разрешили приобрести, кто хочет и может, лошадей и подводы, распоряжение таково: на всех мешках и узлах сделать ясные надписи на русском и немецком языках – фамилию, один из членов семьи будет ехать с вещами, остальные пойдут пешком.

Владе здесь надоело, он просится домой. Папа, Шварц, отчим Нюси Карпиловой, сложились и купили лошадь и линейку. Выходить за ворота нам не разрешают, покупку сделал Федя Белоусов, Нюсе удалось проскользнуть за ворота, и она вернулась обратно расстроенная, считает, что мы не должны были сюда идти, много народа осталось в городе, говорит, что даже встречала их на улице. Завтра в семь часов утра мы должны оставить наше последнее пристанище в городе.

20 октября. Всю ночь шел дождь, утро хмурое, сырое, но не холодное.

Община в полном составе выехала в семь часов утра, затем потянулись машины со стариками и женщинами с детьми. Идти нужно девять-десять километров, дорога ужасная, судя по тому, как немцы обращаются с пришедшими прощаться и принесшими передачи, дорога не сулит ничего хорошего. Немцы избивают всех проходящих дубинками и отгоняют от здания полка на квартал. Стал вопрос о том, чтобы мама, папа и Фаня с Владей сели в машину. Мама и папа уехали в девять часов утра, Фаня с Владей задержалась, поедет следующей машиной. У машины распорядители: В. Осовец и Усия Рейзинс. Во дворе все меньше и меньше людей, остаются только те, кто, по разъяснению немцев, будут следовать за вещами. К нам подошли Шмуклер, Вайнер, Р. и Л. Колдобские, я высказала опасение за жизнь стариков, так как носятся нехорошие слухи, одни говорят, что машины идут под откос. Кто-то высказал предположение, что нас увезут за город и там уничтожат.

Вайнер выглядит ужасно, оказывается, его только вчера выпустили из гестапо, кто-то донес, что он работал в Торгсине. Несколько немцев вошли во двор и дубинками стали выгонять на улицу, из здания слышны крики избиваемых, я и Бася вышли. Фаня с Владей были у машины. В. Осовец помог ей сесть, и она уехала. Мы шли пешком, дорога ужасная, после дождя размыло, идти невозможно, трудно поднять ногу, если остановишься – получаешь удар дубинкой. Избивают, не разбирая возраста.

И. Райхельсон шел со мной рядом, потом куда-то исчез. Здесь же возле нас шли Шмерок, Ф. Гуревич с отцом, Л. Полунова. Было часа два, когда мы подошли к агробазе им. Петровского. Людей здесь много. Я кинулась искать Фаню и стариков, Фаня меня окликнула, стариков она искала до моего прихода и не нашла, они, наверное, уже в сараях, куда уводят партиями по сорок-пятьдесят человек. Владя голоден, хорошо, что я захватила с собой в кармане пальто яблоки и сухари. Владу это хватит на день, больше у нас все равно ничего нет, но взять съестное с собой нельзя было, немцы при выходе из полка все отбирали, даже продукты.

Дошла очередь и до нас, и вся картина ужаса бессмысленной, до дикого бессмысленной и безропотной смерти предстала перед нашими глазами, когда мы направились за сараи. Здесь уже где-то лежат трупы папы и мамы. Отправив их машиной, я сократила им жизнь на несколько часов. Нас гнали к траншеям, которые были вырыты для обороны города. В этих траншеях нашли себе смерть девять тысяч человек еврейского населения, больше ни для чего они не понадобились. Нам велели раздеться до сорочки, потом искали деньги и документы и отбирали, гнали по краю траншеи, но края уже не было, на расстоянии в полкилометра траншеи были наполнены трупами, умирающими от ран и просящими об еще одной пуле, если одной было мало для смерти. Мы шли по трупам. В каждой седой женщине мне казалось, что я вижу маму. Я бросалась к трупам, за мной Бася, но удары дубинок возвращали нас на место. Один раз мне показалось, что старик с обнаженным мозгом – это папа, но подойти ближе не удалось. Мы начали прощаться, успели все поцеловаться. Вспомнили Дору. Фаня не верила, что это конец: «Неужели я уже никогда не увижу солнца и света?» – говорила она, лицо у нее сине-серое, а Владя все спрашивал: «Мы будем купаться? Зачем мы разделись? Идем домой, мама, здесь нехорошо». Фаня взяла его на руки, ему было трудно идти по скользкой глине, Бася не переставала ломать руки и шептать: «Владя, Владя, тебя-то за что? Никто даже не узнает, что с нами сделали». Фаня обернулась и ответила: «С ним я умираю спокойно, знаю, что не оставляю сироту». Это были последние слова Фани. Больше я не могла выдержать, я схватилась за голову и начала кричать каким-то диким криком, мне кажется, что Фаня еще успела обернуться и сказать: «Тише, Сарра, тише», и на этом все обрывается.

Когда я пришла в себя, были уже сумерки, трупы, лежавшие на мне, вздрагивали, это немцы, уходя, стреляли на всякий случай, чтобы раненые ночью не смогли уйти, так я поняла из разговора немцев, они опасались, что есть много недобитых, они не ошиблись, таких было очень много, они были заживо погребены, потому что помощь никто им не мог оказать, а они кричали и молили о помощи. Где-то под трупами плакали дети, большинство из них, особенно малыши, которых матери несли на руках (а стреляли нам в спину), падали из рук пораженной матери невредимыми и были засыпаны и погребены под трупами заживо.

Б. Самойлович, который попал на место расстрела раньше матери, с которой он был, так как жена у него гречанка, ей в этот день было обязательно умирать, попросил разрешения подождать мать, он

разделся, его отвели в сторону.

Я начала выбираться из-под трупов, я сорвала ногти с пальцев ноги, но узнала об этом только тогда, когда попала к Рояновым (24 октября), выбралась наверх и оглянулась – раненные копошились, стонали, пытались встать и снова падали. Я стала звать Фаню в надежде, что она меня услышит, рядом мужчина велел мне замолчать, это был Гродзинский, у него убили мать, он боялся, что я своими криками привлеку внимание немцев. Небольшая группа людей, которые сообразили и прыгнули в траншею при первых залпах, оказались не ранеными – Вера Кульман, майор Шмаевский, Циля (фамилии Циля я не помню), – все время меня просили замолчать, я начала просить всех уходящих помочь мне разыскать Фаню, никто не оборачивался, все уходило.

Гродзинский, который был ранен в ноги и не мог идти, советовал уйти, я пыталась ему помочь, но одна не была в состоянии, через два шага он упал и отказался идти дальше, посоветовал мне догонять ушедших. Я сидела и прислушивалась, какой-то старческий голос напевал: «Лайтенахт, лайтенахт»[103], и в этом слове, повторяющемся без конца, было столько ужаса. Откуда-то из глубины кто-то кричал: «Паночку, не убивай меня...» Случайно я нагнала В. Кульман, она отбилась в темноте от группы людей, с которой ушла, и вот мы, вдвоем, голые, в одних сорочках, окровавленные с ног до головы, начали искать пристанища на ночь и пошли на лай собаки, постучали в одну хату, никто не откликнулся, потом в другую – нас прогнали, постучали в третью – нам дали какие-то тряпки прикрыться и посоветовали уйти в степь, что мы и сделали. Добрались в потемках до стога сена и просидели до рассвета, утром вернулись к хутору – это оказался хутор имени Шевченко. Он находился недалеко от траншей, только с другой стороны, до конца дня к нам доносились крики женщин и детей.

23 октября. Вот уже двое суток, как мы в степи, дороги не знаем, сегодня случайно, переходя от стога к стогу, В. Кульман обнаружила группу мужчин, среди которых оказался Шмаевский. Они, голые и окровавленные, все время сидят здесь – решили идти днем к заводу Ильича, потому что ночью дороги не можем найти. По дороге к заводу встретили группу парней, по виду колхозники, один посоветовал оставаться в степи до вечера и ушел, второй предупредил, чтобы скорее уходили, потому что его товарищ нас обманул своим советом, он приведет сюда немцев. Мы поторопились уйти. Утром 24 октября постучалась к Рояновым. Меня впустили. Узнав о смерти всех, ужаснулись, помогли мне привести себя в порядок, накормили и уложили.

25 октября. Пришла Зина, она с матерью живет на левом берегу. Узнав о случившемся, расплакалась и сказала: «Если бы нам разрешили, мы бы Владика разыскали и похоронили». О Фане ни слова сожаления.

26 октября. У Рояновых больше оставаться нельзя. Каюда, их сосед, советует уходить. Зина принесла мне пальто мое и мамино, я оделась и решила идти в город. Прошла через весь город, и никто меня не остановил, хотя кто меня знает, кроме соседей во дворе, никто, быстро прошла двор и пришла к Стеценко. А. И. была дома одна, увидела меня, удивилась, растерялась. Я попросила ее позвать Таню.

Мне нужно было переодеться, в доме оставалось мое старое платье и белье, но Таня сказала, что там уже ничего нет, пришла Л. Леймунская и принесла мне старые платья Баси, я тогда вспомнила о том, что у нее мои вещи и там есть платья, а она, наверное, их уже использовала. Оставаться здесь я не могла, решила до сумерек просидеть в бомбоубежище, до одиннадцати часов ночи я просидела в

бомбоубежище, в одиннадцать часов пришел Ф. Белоусов и забрал меня к себе, я переночевала у них, а на рассвете перешла в сарай к Л. Леймунской, он под нашим домом. В доме осталась запертой кошка, она бегала с террасы на кухню, переворачивала все, что попадалось ей на пути, а мне все казалось, что сейчас я услышу чей-нибудь голос, вдруг кто-нибудь в доме есть, но, увы, этого не случилось. Таня, Вера и Люся в течение дня осторожно, чтобы не выдать моего присутствия, кормили меня. Люся была, по моей просьбе, у Гани, сообщила ей о моем местонахождении, вечером я должна была перейти к ней.

Из сарая мне виден весь двор – Травский гоголем ходил по двору и всех предупреждал, чтобы не прятали жидов, что жидов всех нужно уничтожить. В. Шварц мне говорила, что он вчера пришел к ней и просил шубу ее отца. «Все равно, – говорил он, – ему уже она не нужна».

27 октября. Вчера вечером я благополучно перешла к Гане, меня проводили Федя и Таня (работница Фани). Кульпе очень внимателен и заботлив. Обещают дать возможность укрыться, так как у Гани быть опасно, немцы не верят ему и ей – но болезнь пугает их, это пока ее спасает, все же один раз они здесь уже были и угрожали ему и ей.

29 октября. Кульпе привел своего отца, и я с ним поехала рабочим поездом на левый берег, где у Кульпе есть комната, но пробыла я там всего два дня, и мне пришлось снова вернуться к Гане, сестра Кульпе боится моего присутствия.

2 ноября. Я снова скрываюсь у Гани, сижу во второй комнате, говорить громко мне не полагается, чтобы соседи за дверью не обнаружили присутствия третьего человека в квартире, а каждый звонок и стук приводит всех в трепет. Где найти мне пристанище более безопасное – этот вопрос не выходит из головы. Случайно пришла проведать Ганю ее бывшая домашняя работница, Василиса Попова, она живет на правом берегу, ее муж уехал с эшелоном завода «Азовсталь», а она с двумя ребятами осталась. После долгих переговоров условились с ней, что под вечер она придет, и я с ней поеду на правый берег, на несколько дней, а там будет видно. Ганя возражает на все мои попытки убедить ее, что мне нужно уйти и попытаться перейти линию фронта. Она считает, что идти без документов и денег бессмысленно. Кроме того, очень холодно, а я почти раздета, ее вещи все спрятаны у одного из ее сотрудников, который работал с ней на консервном заводе, она собирается послать к нему Кульпе на днях и предлагает мне свое меховое пальто, а пока мне нужно побыть у В. Поповой.

3 ноября. Я на новой квартире – это недостроенная лачуга, такая незаметная, что немцы сюда не заглядывают.

Вася Попова ездит в город и бывает у Гани, но пока безуспешны все старания Гани вернуть свои вещи. Договорились, что 8 ноября Вася Попова и Кульпе вместе поедут к этому инженеру и принесут то, что он им отдаст. Судя по словам Васи, сотрудник Гани неохотно расстается с ее чемоданами.

8 ноября. Утром В. Попова уехала к Гане, но вскоре возвратилась и сказала мне, что Ганю и Кульпе в ночь на 8 ноября взяли в гестапо. Это ей сообщили соседи. Мне нужно уходить, другого выхода нет. Я быстро собралась, попрощалась с Васей и ушла. Дороги не знаю, иду и не знаю, куда.

9 ноября. Пришла в какое-то селение – оказалось греческое село Старый Крым. Значит, иду в немецкий тыл, надо возвращаться обратно. Решила идти берегом моря на Буденновку, Таганрог, Ростов. Идти очень тяжело, особенно ночью, холодно даже в стогах, сено не греет, а проситься

ночевать в селах опасно. Бывает, что и днем не могу идти, ноги распухли, просидела в сене трое суток, но все же поднялась. Иду снова, встречаются попутчики – это горожане, идущие в села менять вещи на хлеб или бежавшие из плена. Судя по их разговорам, немцы двигаются быстро вперед, взят Таганрог, бои идут под Ростовом.

22 ноября. Я в Таганроге, на улицах пустынно, на окраине встретила группу людей. Они, как сообщила мне одна словоохотливая старушка, шли на Петрушкину балку, где расстреляли еврейское население Таганрога.

25 ноября. Подхожу к Ростову, очень устала, дошла до Олимпиадовки – это недалеко от Ростова, говорят, сюда есть даже трамвайная линия, решила попроситься в первый попавшийся дом переночевать.

26 ноября. Ночевала в Олимпиадовке, ночью выпал снег, морозно. Спросила дорогу и иду в Ростов. В городе следы недавнего боя, кое-где на окраине еще лежат трупы красноармейцев. Решила идти в Новочеркасск, подхожу к Нахичевани, где попросилась в один из домов посидеть, отогреться и отдохнуть, очень болят ноги, опухли, и я натерла их неудобной обувью. Каждый шаг – это для меня мука.

27 ноября. Ночевала в Нахичевани. Утром решила идти дальше. Только вышла, как началась стрельба – это из Батайска бьют по Ростову. Дошла до Большого Лога, это тихий пристанционный поселок. Я иду по линии железной дороги. Сильный ветер, снег. Уже смеркалось, узнаю, что в пяти километрах – русские войска, кругом немецкие патрули, охраняющие железнодорожный путь. Попросилась в избу к одной из жительниц села, она с двумя ребятами. Решила идти завтра утром. Но уйти утром не пришлось, на рассвете 28 ноября начался бой, который длился целые сутки. 29 ноября, только я вышла из Большого Лога, как показалась русская разведка.

Казнь в Мариуполе

Письмо Самуила Ароновича Белоуса

[...] Немцы ворвались в Мариуполь 8 октября [1941 года] и начали охотиться за евреями. С наступлением ночи – грабежи и убийства. Во всех концах города раздавались выстрелы: это немцы врывались в квартиры, грабили население, били, а евреев расстреливали. Жители, полные страха, прятались в своих углах в ожидании прихода страшных гостей. На следующее же утро в городе были развешены объявления с приказом немедленно организовать еврейскую общину. Под угрозой расстрела евреи обязаны были выделить своих представителей, в число коих попали самые лучшие люди – врачи и инженеры. Эти люди первые испытали всю жестокость и мерзость немецких палачей: им ставились самые гнусные и неосуществимые требования, за невыполнение коих беспощадно подвергались битью. Каждый день представителей еврейской общины вызывали в гестапо либо к коменданту города и через них требовали от населения немедленно доставить определенное количество муки, сахара, меду, мази для обуви, мыла и т. п. Еврейское население, живя в большом страхе и чувствуя, что что-то грозное нависло над ним, – металось, отдавая все остатки, все, что было в доме, в надежде, что пройдет день-другой и Красная Армия вернется и освободит его от этого ужаса. Так проходит несколько дней. А грабеж населения все увеличивается. Завоеватели открыто среди белого дня подъезжают к квартирам и выносят все, что им нравится, грузят на машины и уезжают. Всякий протест или сопротивление со стороны населения вызывал за собой самую грубейшую реакцию вплоть до убийства. Каждое утро обнаруживались новые группы

расстрелянных. Если родные погибшего пытались убрать или похоронить труп, они подвергались нечеловеческому избиению. Проходили дни, и трупы не убирались. Требование немцев к евреям все увеличивалось: последовал очередной приказ, чтобы все евреи на левой стороне своей одежды носили шестигранную звезду из белого материала. За нарушение этого приказа и вообще всякого приказа – расстрел. Жизнь еврейского населения еще более осложнилась наступившим голодом. Запасы либо были забраны немцами, либо вообще иссякли. На улицу выйти было опасно, ибо немцы подхватывали каждого встречного еврея, избивали и уводили на работу. Вернуться с работы домой почти никому не удавалось, там же их приканчивали. Голод все усиливался; купить негде было, все магазины были разграблены.

Через восемь дней, 16 октября, все евреи должны были пройти регистрацию. За уклонение от регистрации – смерть. Затем очередной приказ: все ценности, какими евреи обладали, должны быть внесены в течение двух часов. После этого последовал приказ об «эвакуации» еврейского населения. Разрешалось из вещей брать с собой все. Назначено было два пункта, куда должно было явиться все население еврейской национальности. Все в большой тревоге засуетились, заволновались. Всякий ищет, мотается, собирает все лучшее, пакует, завязывает... Глаза воспаленные, полные тревоги и отчаяния, спрашивают тебя: «Куда это нас поведут?» Немое молчание служит ответом.

Нагрузившись лучшими вещами, я с сыном пошел к сборному пункту. Со всех сторон двигались группы людей, нагруженные чемоданами, мешками. С понурыми лицами, запыхавшись от тяжести своих вещей, шли мужчины, женщины и дети, полные тревоги и сомнений, не зная, куда и зачем их ведут. Были и такие, что везли свое добро на повозках, запряженных коровой или лошадью. Через два часа немцы всю огромную толпу (свыше трех тысяч человек) погнали по направлению мельницы. На площади возле большого четырехэтажного здания нас задержали. Тут появились киноаппараты и начались съемки несчастных людей, для того чтобы показать «великой» Германии, как завоеватели света справляются с побежденными. Вскорости всех нас вгоняют в это здание, где нас держат двое суток без пищи и воды. С небольшими перерывами гестаповцы врываются в здание, и начинаются очередные грабежи. Они требуют денег, часов и других ценностей. Набив карманы, портфели награбленным, офицеры с улыбкой уходят, с тем чтобы через час-другой снова прийти. В тяжелой и нервной атмосфере я, изголодавшись, вместе с сыном выдержали эти два дня.

Напряженность и беспокойство усиливались еще больше в связи с всякими слухами, распространявшимися в толпе. Но все же никто не допускал, что эту огромную толпу поведут на расстрел. Утром 18 октября немцы угнали всех тех, которые находились во дворе возле своих тележек и тачек. Люди эти ушли в неизвестном направлении, оставив все свое добро. Мы, увидев это, еще больше пали духом. Мысли кошмарные пронизывали мозг: на дежды сохранить свою жизнь слабнут... Все засуетились, бегут друг к другу, ищут родных, знакомых, рассказывают, спрашивают. Губы дрожат, лица бледны, как смерть... Снова врываются немцы, и снова кричат они и требуют часы, деньги и т. п. Через полчаса волна грабежа проходит, немцы удаляются... Народ ждет нового очередного налета и угона в неизвестном направлении. Через два часа выводят второй этаж и тоже без вещей. Кто захватит кое-что, беспощадно бьют. Строят в ряды и гонят. Все отчетливей начинаешь сознавать, что что-то страшное стоит перед тобой. Но одновременно не веришь, что часы жизни сочтены... Сын мой начинает меня уговаривать бежать. Охрана чересчур сильная, и всякая попытка бегства – это преждевременная пуля. Я успокаиваю мальчика, но он не унимается. Наконец

он добивается моего позволения самому уйти. Осознав свое безвыходное положение, я разрешаю сыну бежать. Впервые в жизни я заметил, как глаза мальчика при прощании наполнились слезами... Из окна третьего этажа я наблюдал за ним. Немцы задерживают его, но он заявляет, что он русский, и его пускают. И больше я сына своего не видел. Я остался сам среди огромной толпы. Шум, крик и плач заполняли весь зал, в котором я находился. Рядом со мной сидели племянник восемнадцати лет (сын моего брата) и его тетя и дядя. Состояние всех нас было отчаянное. Через час нас выгоняют на улицу, строят в ряды и палками избивают. Первый сильный удар в голову получает моя родственница...

Мелкий осенний дождь хлещет по нам весь путь... Люди идут измученные, обессиленные от голода; всякая грязь затрудняет хождение. По сторонам – немцы с автоматами. Выходим на мостовую, ведущую в совхоз «Красная Звезда». По дороге встречаем автомашины с немцами. Офицеры выскакивают из машин и наводят свои фотоаппараты. Толпа все двигается. Наконец приближаемся к совхозу. Небольшой мостик отделяет нас от совхозных построек – сараев. Как только переступаем мостик – сразу всем становится понятным, что их ожидает: на грязной от дождя земле валяются вещи, обувь, пальто, подушки, часы, деньги... Меня охватывает жуткое состояние, голова кружится, в глазах все мелькает... И чем дальше шаг, тем больше убеждаешься, что отсюда живым не вернешься. Мысли теряют свое нормальное течение. Хочется кричать, сказать всему живому свету, что творят с людьми «культурные и цивилизованные» немцы в XX веке... Ко мне среди толпы пробирается знакомая женщина-врач Гольцман со своей подругой. На красивых и тонких их лицах выражен страх и ужас... Обе они, опережая друг друга, говорят мне: «Вы видите, что здесь... Давайте уходить, скоро стемнеет, шаги свои будем задерживать, авось удастся уйти». Мы трое уже не спешим вперед, а медленно пробивая себе дорогу среди толпы, двигаемся в противоположную сторону. Немцы, которые стоят шпалерами, замечая движение, с криком хватаются за винтовки. Я получаю сильный удар прикладом... Спутниц теряю из виду и движусь, как пьяный, со всей толпой. Офицеры тщательно оглядывают проходящих... Вот впереди идет стройная молодая девушка, на ней шуба из дорогого меха. Немец наносит ей удар палкой по голове и приказывает сбросить с себя шубу. Растерянная и беспомощная девушка выполняет приказание... Я приближаюсь к воротам сарая. Из толпы выделяются несколько человек, которые бегут в разные стороны, их настигают пули, и они замертво падают. В сарае темно и жутко, людей полно. Зову племянника, родственников, но никто не отзывается. Понял я, что они в другой конюшне. Бесперывный шум и крик продолжался всю ночь: плачут дети, прося хлеба, воды... Эта ночь была одна из страшнейших в моей жизни... Я понял, что все кончено, но жажда жить со всей остротой выдвигается на первое место. Мозг работает усиленно; перед тобой один вопрос: как сохранить жизнь и рассказать все виденное свету. Раздаются одиночные выстрелы, пули пробивают тонкие стены и ранят нескольких женщин. Мужчины успокаивают, ободряют женщин и детей, уговаривают быть стойкими и мужественно выждать наступления утра... Наконец начинает брезжить рассвет. За стенами начинается движение. Все с большой тревогой ждут... Вскорости тяжелые ворота открываются. Немцы врываются в сарай с палками и выгоняют несколько десятков людей, строят в ряды и уводят. Через небольшое узенькое окошко я вижу, как эту группу подводят к противотанковому рву и из автоматов расстреливают... Тела людей, которые только что жили, мыслили, замертво падают в ров. Потом выводят вторую, третью группу, и с ними происходит тот же процесс... Крик, рев поднялся в сарае... Молодая,

красивая девушка (соседка по квартире) бежит из угла в угол, хватается руками за голову, кричит, плачет: «За что это они так делают, я молода, я еще жить хочу». И скоро приходит ее очередь... Мозг не перестает работать, видишь смерть... И жажда жизни еще больше. Острая мысль пронзила мозг, вслед за нею выхватываю паспорт, рву его на мелкие куски. И когда в пятый раз открываются ворота, выбегаю первый и заявляю немцу: «Я – рус!» Злые, кровожадные глаза пронизывают меня. И на вопрос, как я попал в эту среду евреев, отвечаю, что я русский, а жена еврейка. Моя уловка удалась – немец отводит меня в сторону. Рядом со мной стоит еще одна женщина, у которой паспорт доказывает, что она украинка. Стоим оба окаменевшие, а мимо нас проводят группу за группой на убой... Тела, подкошенные автоматами, падают друг на друга. Все смешалось в этой могиле: раненые, мертвые, женщины, мужчины и дети. Падают люди друг на друга, заполняя постепенно глубокий ров. Вот идет племянник, лицо бледное-бледное, глаза тупо смотрят вниз, вот спешит, почти бежит его тетя с покрасневшимся лицом, с распустившимися волосами, а через минуту бежит ее муж, издавая нечеловеческие крики, похожие скорее на рев... Сердце рвется на части. [...]

Одесса и транснистрия

За что?

Воспоминания врача Лидии Максимовны Слипченко (Козман)[105]

Глубокоуважаемый товарищ [Эренбург], передаю Вам статью, написанную моей двоюродной сестрой, Лидией Максимовной Козман, по мужу Слипченко.

Л. М. – молодая женщина тридцати лет, еврейка, побывавшая у немцев на пороге смерти, спасаясь и живущая сейчас со своей семьей в Новосибирске.

Она прислала мне свою статью с просьбой дать ей оценку. Пересылая статью Вам, я руководствуюсь следующими соображениями: драматическую одиссею сестры и некоторые литературные способности можно бы использовать для создания литературного документа, носящего свидетельский против немцев характер.

Осенью 1941 года Л. М. очутилась одна в Одесском гетто. Убедившись в неизбежности смерти, она вместе с несколькими другими товарищами по гетто приняла яд, от которого не умерла, а тяжело заболела. В больнице, куда она была отправлена, ей удалось получить паспорт на имя русской и бежать. В течение двух с половиной лет до прихода Красной Армии она работала на скотном дворе какой-то «экономии».

Л. М. – врач, мать восьмилетнего сына и жена украинца. Она выросла в ассимилированной семье, не была в партии и не может быть заподозрена ни в шовинизме, ни в тенденциозности.

Ее записки, воспоминания, соответствующим образом направленные и отредактированные, могли бы сослужить полезную службу внутри и вне нашей страны.

Прошу Вас сообщить свое мнение на этот счет.

Мой служебный телефон КО-21–90, доб. 26.

С этим вопросом на устах гибли сотни и тысячи ни в чем не повинных людей, немощных стариков, женщин и детей. Все эти люди мечтали высказать наконец этот вопрос вслух, получить ответ на него, узнать свою вину, если таковая существовала, и опровергнуть те нелепые обвинения, которые градом пуль сыпались на их головы. Но ответа они не получили и так и ушли с этим вопросом на устах в мир, где не было ни обвинителей, ни обвиняемых, ни наций, имеющих право на жизнь и не имеющих его.

Немногочисленным единицам удалось вырваться из жуткого кольца смерти и дожить до того, чтобы высказать всю свою боль и горечь вслух. Такой единицей являюсь я, и я считаю своим долгом спросить наконец от имени всех этих ушедших в могилу людей, которые никогда уже не получат больше возможности говорить: ЗА ЧТО?

Одесса, октябрь 1941 года. Жуткая атмосфера репрессий, убийств, истязаний[106]. Почти из каждой витрины магазина, киоска, лавки выглядывают фигуры повешенных, на каждом углу валяются трупы убитых с надписями: «Так будет покаран каждый, кто осмелится сопротивляться румыно-германскому командованию». Во дворах прячутся испуганные, бледные жители, страх царит на всех лицах. Приказы гласят: «За каждого убитого солдата будет расстреляно сто жителей, за офицера – двести»[107]. У ворот стоят бдительные дежурные, выискивающие шпионов, коммунистов, евреев. 23-е число. На воздух взлетает большое здание НКВД по Маразлиевской улице. Вместе со зданием взлетают восемь генералов румынской армии[108]. Вслед за этим по всему городу распространяются провокационные слухи о том, что здание взорвали одесские евреи.

Появляется знаменательный приказ: «Все лица еврейского происхождения – мужчины, женщины и дети – должны явиться для регистрации в село Дальник». Приказ должен быть выполнен, его выполнению активно помогают управдомы и дворники.

Сотни и тысячи евреев с детьми, собрав наиболее необходимые «вещи», потекли на регистрацию. Регистрация эта закончилась на кирпичном заводе против артиллерийских складов, который был подожжен вместе с находившимися там людьми. Тех, кому удавалось выбежать, вырваться из огня, здесь же убивали из пулеметов, расставленных вокруг зданий[109].

Долгое время люди избегали проходить мимо из-за раздававшегося зловония от гниющих трупов, и «заботливому» румынскому командованию пришлось приказать заложникам, сидящим в школе на Болгарской улице, рыть яму, чтобы закопать недогоревшие трупы евреев.

Но евреи, погибшие тогда, были еще наиболее счастливыми из всех остальных своих братьев. Они погибли сразу, не испытавши всего ужаса преследования, травли и унижения, не упав до скотского состояния жалкого, голодного животного, заедаемого паразитами и утратившего облик человека.

Другие ждали еще своей очереди.

В это самое время газеты пестрели статьями о чистоте расы, о еврейской опасности, приводились «гениальные» изречения фюрера о том, что в Новой Европе, которую он создаст, скелет еврея будет большой редкостью в музее археологических древностей. «Еврейское племя», – писали в газетах, – должно быть полностью стерто с лица земли, так как евреи хотят завладеть всем миром, для чего они и начали войну. Много еще нелепостей писалось и говорилось по адресу евреев, но возражать было невозможно.

В декабре снова появляется приказ, в котором говорится, что все лица еврейского происхождения должны быть интернированы в гетто и что как общественно опасный элемент они подлежат изоляции от всего остального населения. В приказе указывалось, что все имущество остается в квартирах выселяемых евреев, с собою же разрешается взять только то, что можно донести на плечах. И потекли наивные люди, надеясь на то, что им дадут возможность жить хотя и изолированно, хотя и угнетенными, но все же им оставят право на жизнь.

Как цеплялись люди за жизнь, как хотели надеяться и верить, невзирая на то, что они читали в газетах, на то, что их травили, грабили, преследовали, избивали и отдавали на растерзание всякому,

кто желал доставить себе такое удовольствие, – ведь они вне закона. Как они все же надеялись, что им оставят последнее, что у них есть, – жизнь.

Люди ходили меченые, как преступники, с желтыми шестиугольными звездами на груди. Каждый, кто хотел, мог подойти, увидя такую звезду, – избить, плюнуть в лицо, раздеть донага такого человека. Евреев травили, как загнанных зверей, и стоило кому-либо из них появиться на улице или на рынке, как сейчас же находились подлецы, которые то ли из жажды наживы, то ли из жажды крови тут же указывали на еврея румынскому полицейскому со словами: «Вот жидан», и тот расправлялся с ним согласно своему настроению. Были и такие, которые приводили румын в еврейские квартиры, в которых те жили до изгнания их в гетто, и вместе с румынами или с немцами грабили имущество человека, будь то рабочий, служащий, врач или артист, вор или честный человек – лишь бы он был еврей. Даже некоторая передовая часть населения – представители интеллигенции, как, например, профессор Ч., которому советская власть предоставила такую широкую возможность для научной работы и для хорошей жизни, очень быстро проникся как гитлеровской национальной теорией, так и всей его программой. Когда к нему явилась с просьбой о помощи его бывшая студентка-отличница, которую он хорошо знал и к которой относился с уважением, он не нашел возможным удостоить ее ответом и отвернулся от нее с высокомерием, будучи окружен блистательными румынскими офицерами. Эта студентка была, конечно, еврейка.

Наиболее доверчивые или сами себя обманывающие люди подчинялись приказам румын безоговорочно. Первоначальным местом жительства для евреев, изгоняемых в гетто, румыны в своих приказах назначили Слободку, и туда потянулись толпы людей. Исключений не было никаких: в гетто должны были явиться и паралитики, много лет не встававшие с постели, и калеки, и тяжелые инфекционные больные, и психические больные, и роженицы – все, без исключения, евреи. И они все шли послушно. Одни шли, других вели их близкие, третьих несли на руках. Немногие имели счастье умереть на своей постели. Кто не шел, тех выгоняли бдительные жильцы, доносившие о них в полицию.

В первый же день люди поняли, что они обмануты, что на Слободке никакого гетто не будет и что их погонят дальше. Но куда?

На Слободке квартир не хватало, люди толпились на улицах, больные стонали и валялись прямо на земле, румыны наезжали лошадью прямо на людей – вокруг раздавался плач голодных, замерзающих детей, крик ужаса и мольбы о пощаде. Все это покрывалось криками румын: «Жидан, дей друму»[110], – и люди разбегались в стороны, как испуганное стадо овец. В том году стояла необычно суровая для Одессы зима, и уже к вечеру первого дня на улицах Слободки валялись трупы замерзших. В первую же ночь раздавались полные отчаяния крики изгоняемых людей, которых гнали на поезд, чтобы отправить их дальше. Кое-кто прожил на Слободке дольше, стараясь, по возможности, оттянуть свой отъезд в надежде на то, что «милостивое» правительство, может быть, сжадется над ними.

Но правительство было неумолимо, с каждым часом евреев становилось меньше и меньше, по улицам гнали этапы полуоборванных, избитых и голодных людей, – их гнали на смерть.

Кто эти люди?

Вот идет человек небольшого роста, голова его глубоко втянута в плечи, высокий и вдумчивый лоб ученого, грустные карие глаза. Во всей его фигуре недоумение, глубокая скорбь и детская

покорность судьбе. Под руку он ведет маленькую старушку с серебристыми волосами и розовыми щеками. Кто же он такой, столь провинившийся перед «великой Германией» и ее фюрером, перед создателями новой «культурной» Европы?! Кто он? Варвар, убийца, преступник? Нет, это крупный ученый и врач-невропатолог, доктор Бланк, всецело отдавший себя науке и оставшийся в клинике со своими больными до последнего момента.

Вот еще один: худой высокий человек с белой бородой, с ясными, умными глазами. Почему со стороны идут женщины, которые провожают его благодарными взглядами и украдкой вытирают слезы? Какая мать не знает его? Какая из них не благодарна ему за жизнь ее ребенка, спасенного им? Это доктор Петрушкин – старый врач по детским болезням, не успевший вовремя уехать из Одессы[111]. Сбоку идет еще один с повязкой Красного Креста. Это немолодой уже врач, полный, больной человек, с трудом передвигающий ноги. Он отстал и за это получает удар палкой по голове, нанесенный идущим сзади него румыном. Напрягая все силы, он ускоряет шаг и нагоняет движущуюся впереди него толпу евреев, но силы опять ему изменяют, ноги не слушаются. И снова на его голову сыплется удар за ударом. Он спотыкается и падает на землю всей тяжестью своего грузного тела.

– Пожалейте, убейте меня, – говорит он умоляющим голосом. И его жалеют – две пули в лоб, и он падает бездыханный, избавленный от мук, издевательств и унижений. Но что шепчут его холодеющие уста? Это все тот же вопрос: «За что?».

А вот идет мужчина, ему не более двадцати пяти лет, он в полном расцвете сил и красоты. Это квалифицированный рабочий-токарь высшего разряда, до последнего времени работавший на военном заводе, где и остался по брони. Работа его окончена, его специальность больше никому не нужна. Различий не может быть никаких. Он еврей, и этим все сказано.

Впереди женщина, еще молодая. Она как будто ничем не отличается от окружающих ее людей, походка ее послушная, мысли же далеко. Ей кажется, что до нее доносятся звуки музыки, она как будто не видит, не понимает окружающего; при взгляде на нее кажется, что ноги ее ходят, а все существо ее витает где-то. Это – единственная в Союзе женщина-дирижер симфонического оркестра Одесского еврейского театра.

Их много, всех не перечтешь: молодые, старые, умные, глупые, честные, бесчестные – всякие. Всех их Гитлер связал воедино. И все, согласно его приказу, делается последовательно, методично, постепенно. Как кошка, не выпуская мышь из своих лап, забавляется ее страданиями, так и все эти люди находятся в гигантской мышеловке, и уйти им некуда – выхода нет, везде жандармерия, полиция, украинские полицейские, управдомы и вся сеть фашистского сыска... И они все идут... Спотыкаются, падают, но продолжают дальше идти. После нескольких дней пребывания в закрытом здании, окруженном часовыми (бывшая школа на Слободке), с выбитыми стеклами, сквозняками, без воды, почти без пищи они совсем обессилели, и достаточно самого слабого удара, чтобы упасть и быть смятым толпой, лошадьми, а в лучшем случае – дострелянными...

Куда их гонят – они не знают. Они чувствуют дыхание смерти, но всячески цепляются за надежду, за жизнь. Наконец, они дошли... Впереди сортировочная станция и товарные составы. Перед посадкой на поезд налетает откуда-то куча хищников – мальчишек-воров, грабителей; они набрасываются на беззащитных, измученных людей – тех, у которых в одной руке вещи, на другой – ребенок или беспомощный старик. Они с яростью набрасываются на этих людей, вырывают у них из рук

корзинки с остатками продуктов. Раздаются душераздирающие вопли людей, лишенных последних крох. Но это крик вопиющего в пустыне. Никто не защитит обиженных и оскорбленных...

Перед посадкой спешат спросить машиниста: «Куда нас везут?» Из ответа сонного машиниста они узнают, что предыдущий состав был оставлен в нескольких километрах от Одессы и находящиеся в нем люди замерзли в накрепко заколоченных вагонах. Других довели до Березовки, а потом гнали их до тех пор, пока утомленные и голодные люди не полегли все до единого...

Раздаются советы – бегите! – это говорят те, кто не понимает, что спасения нет. Людей втискивают в вагоны – их так много, что можно только стоять, тесно прижавшись друг к другу. Снаружи вагоны накрепко забивают, и люди остаются в темноте. Постепенно глаза привыкают к темноте и начинают различать испуганные, расширенные от ужаса зрачки глаз, изможденные старческие лица, плачущих женщин и детей. Но поезд тронулся, и снова лица озаряются надеждой, старые женщины восклицают: «Да поможет нам Бог!» Люди начинают верить, что их действительно куда-то везут, где им дадут возможность надеяться на более счастливые времена, жить. Верить и надеяться – это единственное, что им осталось.

Но постепенно лица мрачнеют. Поезд движется медленно и, кажется, бесконечно. Куда он идет – неизвестно. Каждый толчок, каждая остановка будят страх в груди. А вдруг пустят поезд под откос? А вдруг подожгут состав? Единственная надежда – поезда будет жалко, а евреев, конечно, не пожалеют.

Но куда их все же везут? Люди все больше коченеют от холода, застывают без движения, мучаются жаждой. Дети плачут, просят есть, пить, а матери мучаются за себя и за них. Вагоны не открывают; постепенно, сначала дети, а потом и взрослые начинают тут же справлять свои естественные нужды. Вот в стороне раздаются стоны женщины; мало-помалу они переходят в крики о помощи. Женщина мучается родовыми болями, но кто ей может помочь? Вагоны все не открывают, и с каждой минутой в людях укрепляется мысль, что их так и не откроют. Все же поезд останавливается, раздается скрип засовов, и людей выгоняют из вагонов. В каждом вагоне от пяти до десяти трупов людей, погибших от болезней, холода и голода.

Но это входит в планы румыно-германских властей, здесь ничто не случайно, и трупы погибших вместе с человеческими отбросами выбрасывают из вагонов, оставляя их тут же в степи, даже не закапывая.

Вот в полуживотное, полное трепетного ожидания существование врывается как-то тревожный крик – село оцеплено румынами, приехали немцы-колонисты из Картакеева. С быстротой молнии это сообщение распространяется по всему селу. В скором времени появляются украинские полицейские верхом на лошадях и сгоняют всех евреев, находящихся в квартирах, в еврейские общежития. Там еще не знают ни о чем, старые женщины варят еду и занимаются своими делами. Но молодые уже не обманывают себя больше; люди сбиваются в испуганные стайки, держатся группками, на одних лицах смертельный страх, у некоторых – решимость – они умрут гордо, врагу не удастся увидеть их дрожащими перед смертью! Но времени для размышлений мало, немцы действуют быстро и организованно. Евреев выгоняют из общежития, гонят к окопам, где их предварительно раздевают, великодушно раздавая местному населению кое-что из вещей и разрешая даже срывать вещи с ожидающих смерти людей. Группами люди подходят к окопам, и их расстреливают из пулеметов и винтовок.

Наиболее бережливые немцы, экономя пули, хватали маленьких детей и разбивали им головы о столбы и деревья. Особенно отличилась одна раскулаченная колонистка из Картакеева, – она как бы опьянела от жестокости, с дикими криками она хватала детей и с такой силой разбивала прикладами их головки, что мозги разбрызгивались на большое расстояние.

В других случаях люди не расстреливались – их просто сбрасывали в ямы, обливали бензином и поджигали. Затем проверяли, не остался ли кто-либо в живых, грузили вещи на машины и с криками «Хайль Гитлер» уезжали в свои колонии, оставив часть вещей румынам – активным помощникам побоища. Убийства являлись последовательным уничтожением, а потому, если кто-нибудь из недобитых вылезал из ямы под прикрытием ночи, то это была только временная отсрочка, ибо спастись из железных тисков адской фашистской машины истребления не было возможности. [...]

В оккупированной Одессе и Транснистрии

Воспоминания врача Израиля Борисовича Адесмана и составленный им список погибших одесских врачей

Румынские оккупанты стоявшую перед ними задачу уничтожения еврейского населения осуществили в Одессе по следующему плану.

На второй день по вступлении румынской армии в Одессу, 17 октября 1941 года, жандармы обошли все дома и погнали евреев на регистрацию, проявив попутно в самой бесстыдной форме присущие румынам воровские наклонности.

Регистрационных пунктов было несколько. На том пункте, куда погнали меня и мою жену, регистрации, продолжавшейся часа четыре, подверглись человек пятьсот-шестьсот. Несколько таких групп, составивших, в общем, эшелон в три-четыре тысячи человек, среди которых можно было видеть глубоких стариков, калек на костылях, женщин с грудными детьми на руках, отправили на окраину города под конвоем жандармов, подталкивавших прикладами отстававших, побоями палок или нагайкой выступавших из своего ряда.

На этом новом сборном пункте весь наш эшелон загнали в помещение школы. Было темно. Толкая друг друга, подгоняемые нетерпеливыми жандармами, мы разместились стоя. Так мы провели всю ночь. Усталость, спертый воздух, ощущение голода и жажды, стоны и плач детей – все это отодвинуло на задний план не только чувство обиды, но и чувство страха перед тем, что ждет нас. Лишь рано утром, когда вопреки заведомо ложному обещанию вернуть нас в город на наши квартиры, нас погнали по направлению к тюрьме, это чувство в нас пробудилось. Звонкая пощечина, полученная на наших глазах русской женщиной, дерзнувшей, будучи побежденной чувством жалости, поднести ребенку, разделявшему наш путь, кружку воды, наглядно продемонстрировала перед нами ненависть, которую питают к нам оккупанты.

В тюрьме моя супруга и я оставались недолго – часа два-три. В числе немногих нам удалось оттуда вырваться. О дальнейшей участи, постигшей оставшихся там, я получил более или менее точные сведения от врачей, которые впоследствии были эвакуированы в гетто. Почти все, оставшиеся в тюрьме после нашего ухода, погибли – одни от голода и истощения, другие покончили самоубийством. Большинство, однако, поплатились жизнью в отместку за взорвавшийся 23 декабря 1941 года [112], во время заседания, румынский штаб, когда, по расценке военных румынских властей, за каждого погибшего офицера подлежали расстрелу (вернее, повешению) триста русских или пятьсот евреев [113]. Расправа за этот взрыв продолжалась несколько дней. Поплатились жизнью

также евреи, оставшиеся после регистрации в городе, не исключая и тех, которые были прикованы к постели. В том числе также разбитый параличом профессор математики Фудим, который был повешен.

Погибло также большинство из тех, которые во исполнение приказа, последовавшего на третий или четвертый день после взрыва, отправились на Дальник – деревушку, находившуюся на расстоянии четырех-пяти километров от города. Многие из них были на месте расстреляны, других погнали в село Богдановку, где их ждала братская могила.

После того как чувство мести у оккупантов улеглось, жизнь уцелевших евреев в течение двух с половиной месяцев протекала, правда, без чувства страха быть расстрелянным, но в условиях грабежа и вымогательства со стороны румынских гражданских властей, которые шантажировали, где казалось им выгодным, любезно предлагая свои услуги евреям, которые хотели себя оградить от тяжелых для них последствий, в связи с проектируемыми приказами. Представители румынской гражданской власти уже за несколько дней до опубликования приказа о сдаче ценностей успели обогатиться за счет еврейских сбережений.

Приказ о том, что проживающие в Одессе евреи должны покинуть город 11 января 1942 года в восемь часов утра и отправиться в гетто, был опубликован 9 января 1942 года. Предверьем гетто служила слободка Романовка, предместье Одессы, откуда прошедшие предварительно регистрацию, связанную тоже с оскорблениями и с приемами, доходящими подчас до цинизма, отправлялись эшелонами в две-три тысячи человек в Доманевский район. Эшелоны отправлялись ежедневно или через день, в зависимости от загруженности железной дороги. Путь в гетто сулил мало отрадного. Многие поэтому всячески старались оставаться возможно дольше на слободке Романовке, где, правда, с большими трудностями возможно было поддерживать связь с друзьями, судьбой менее обиженной частью населения. Эти старания служили источником дохода для румынских жандармов.

Наряду с мелкими вымогательствами, которым подвергались евреи на слободке, бесправным положением их воспользовались, с одной стороны, «гитлеровские соколы» – группа молодых солдат, которые совершали в ночное время налеты на евреев, временно проживавших в частных квартирах, и под прикрытием закона, воспрещающего хранение оружия, похищали все, что им нравилось. С другой стороны, этим бесправным положением воспользовалась слободская преступная молодежь, совершавшая в сопровождении румынских солдат налеты под тем же предлогом.

Мне лично и моей супруге, испытавшим на себе, между прочим, заботливость тех и других о строгом соблюдении закона о хранении оружия, удалось, с санкции румынских властей (и это не обошлось безвозмездно), быть зачисленным консультантом больницы гетто, – удалось продлить свое пребывание на слободке Романовке до 11 февраля 1942 года, когда был отправлен отсюда последний эшелон.

Больница гетто, где глазу представлялись исключительно тяжелые случаи отморожения и самые тяжелые случаи истощения, которые когда-либо приходилось наблюдать, эвакуировалась. Больные, не успевшие умереть, были переведены в больницу водников.

Сборным пунктом для отправки в гетто служила суконная фабрика – холодное, сырое помещение, без окон и дверей, откуда после проведенной ночи переходили в помещение слободской школы, в антисанитарном отношении не уступавшей суконной фабрике.

В полдень 11 февраля наш эшелон двинулся по направлению к Сортировочной, где произошла

посадка на поезд, доставивший нас в товарных вагонах на станцию Березовка в десять часов вечера. Дальнейшее путешествие продолжалось по образу нашего хождения. В темную холодную ночь, по дороге, местами покрытой глубоким снегом, местами льдом, тащились мы с котомками на плечах на протяжении двадцати пяти километров. Много из вещей, которыми мы нагрузились, пришлось выбросить по дороге. Передышки, которые были нам разрешены нашими проводниками за известную мзду, были кратковременны.

Замерзшие трупы наших товарищей по несчастью из прежних эшелонов, встречавшиеся нам по пути, наводили на грустную мысль о том, что, возможно, и нас ждет такая же участь.

В Сиротское, где была нам представлена возможность отдохнуть, наш эшелон прибыл 12 февраля.

Сколько товарищей мы потеряли по пути, не знаю.

Среди тяжелых переживаний, которым я, как и многие евреи, обязан румынским оккупантам, самое тяжелое у меня лично связано с селом Сиротским, где проявленное в отношении меня и моей жены зверство превзошло все, что я видел и испытывал на своем пути в гетто, усеянном одними шипами.

Грабеж, которому мы подверглись там в ночь на 13 февраля, был произведен румынскими солдатами не только в безжалостной, но и в циничной форме. В Доманевку мы прибыли нищими.

В Доманевку – конечный пункт большинства евреев, выселенных из Одессы последним эшелоном, – мы прибыли 14 февраля 1942 года. Небольшие группы из этого эшелона остались в селах Мостовом, Лидиевке, где наша группа провела ночь в свинарнике с 13 на 14 февраля. Доманевка, где я и моя жена отбыли ссылку в гетто в течение почти двух с половиной лет, займет в истории жестокостей, проявленных румынами в отношении евреев, не первое место. Правда, местные жители и тут были свидетелями расстрелов ни в чем не повинных людей.

Утверждают, что число убитых в Доманевке евреев дошло до пятнадцати тысяч. Рекордную цифру, однако, приводят жители села Богдановки, где число расстрелянных и заживо сожженных евреев дошло, как утверждают, почти до шестидесяти тысяч. Проявившаяся в такой форме жестокость оккупантов имела место до февраля 1942 года за день-два до нашего прихода в Доманевку, когда был издан приказ, воспрещающий физическое уничтожение евреев. Под это понятие, по мысли издавшего этот приказ представителя высшей власти в Румынии, не подходят все те лишения, как холод, голод и т. п., которые неизбежно влекут за собой физическое уничтожение. Случаи расстрела наблюдались и после издания этого приказа, но они были единичны, и вину за них румыны вваливали на немецких колонистов.

Что касается бытовых условий, в которые было поставлено большинство загнанных в гетто, то более благоприятных для физического уничтожения живого человека трудно и придумать. Право жить на частной квартире было предоставлено в Доманевке лишь немногим евреям. Большинству же из них для жилья были предоставлены полуразрушенные дома без окон и дверей, сараи, коровники. Если прибавить к этому скученность и недоедание, то легко можно себе объяснить громадную заболеваемость и смертность от инфекционных заболеваний и истощения.

Среди лагерей, давших наибольшую цифру физического уничтожения евреев, не путем расстрелов, а благодаря отсутствию условий, необходимых для элементарного существования, первое место занимает Акмечетка. На ссылку в Акмечетский лагерь смотрели как на высшую меру наказания. Для того чтобы оправдать суровые меры, имевшие целью ускорить вымирание оставшихся в живых евреев, как ограбленных и обнищавших, не представлявших более никакого интереса ни для

румынской власти, ни для присосавшейся к ней преступной части населения, оккупанты прибегли к услугам издававшейся в Транснистрии на русском языке прессе, «Молва» и «Прибугский край», которая сеяла, не останавливаясь ни перед каким гнусным и пошлым вымыслом, вражду и ненависть к евреям.

Большинство обитателей гетто можно было легко отличить не только по красовавшемуся на груди и спине знаку, отсутствие которого влекло за собой телесное наказание, но и по наряду, который, благодаря тому, что все более или менее годное для ношения платье и белье пришлось обменять на хлеб и съедобное, напоминал наряд первобытного человека. Внешность геттовского еврея производила самое тяжелое впечатление. Этим, возможно, объясняется то, что в тот день, когда летом 1942 года в Доманевке ждали приезда губернатора Транснистрии, все евреи должны были покинуть это местечко, удалиться за его пределы на пять-шесть километров и вернуться лишь вечером.

Евреи оккупированной румынами территории (Транснистрии) все находились в условиях гетто. Связь с оторванными от них русскими друзьями строго преследовалась. Однако отсюда нелегально поступала помощь. Но все это мало покрывало нужду. Преобладающим типом обитателя гетто продолжал оставаться тип нищего.

Весной 1944 года, с приближением фронта к району гетто, таких было на территории Транснистрии много, все более и более ярко воскресали в нашем представлении ужасы, пережитые евреями в связи с вступлением румынской армии. Слухи о зверстве, проявленном немцами на пройденном ими пути по Советскому Союзу, до нас доходили.

13 марта 1944 года румынские власти покинули Доманевку. Гетто предоставлено было в распоряжение немцев, от которых спастись казалось невозможным. Немногие из нас скрывались в самой Доманевке. Большинство разбежались по району, переходя из деревни в деревню, с хутора на хутор, или прятались в скирдах сена. К счастью, тогда, когда мы спасались от немцев, немцы не уходили, а бежали от красных. Это нас спасло.

Акт об убийстве пятидесяти четырех тысяч евреев в Богдановке составлен представителями Красной Армии, местных властей и населения 27 марта 1944 года и опубликован в одесской газете «Черноморская коммуна» 30 апреля 1944 года.

Погибшие одесские врачи

1. Я. С. Рабинович – невропатолог,
2. М. Файнгольд – дерматолог,
3. Л. П. Бланк – невропатолог,
4. Б. Г. Рубинштейн – гистолог,
5. Е. М. Бихман – желудочные болезни,
6. А. Ф. Гольденберг – терапевт,
7. Н. А. Гольденберг – невропатолог (дочь),
8. Петрушкин – педиатр,
9. Филлер – венеролог,
10. Чацкий – санитарный врач,
11. Бродский – санитарный врач,
12. Бродская – одонтолог,

13. Варшавская – терапевт,
14. Варшавская – одонтолог,
15. Зингер – терапевт,
16. Зусман – терапевт,
17. Гурфинкель – уролог,
18. Орлюк – одонтолог (женщина-врач),
19. Школьник – дерматолог (женщина-врач),
20. Каменецкий – терапевт,
21. Каменецкая – ларинголог,
22. М. Л. Чернявкер – педиатр,
23. Е. Л. Чернявкер – гинеколог,
24. Э. И. Ревич – педиатр,
25. С. И. Ревич – педиатр,
26. Хуво – терапевт,
27. Г. М. Рубинштейн – невропатолог,
28. Сворень – маляриолог,
29. Шапиро – венеролог,
30. Чудновский – гинеколог,
31. Зайнфельд – гинеколог,
32. Гуз – доцент-терапевт,
33. Кирбис – невропатолог,
34. Пастернак – терапевт,
35. Горовиц – хирург-уролог,
36. Бронфман – терапевт,
37. Гольдберг – венеролог,
38. П. М. Фурман – эпидемиолог,
39. Гальберштадт – желудочные болезни,
40. Фишберг – терапевт,
41. Фрак – педиатр,
42. Теплицкий,
43. Вельдерман – терапевт,
44. Бирбраф – венеролог,
45. Файнгерш – терапевт,
46. Леви – зубной врач (женщина),
47. Леви – зубной врач (мужчина),
48. Бронштейн – зубной врач,
49. Гаухман – зубной врач,
50. Гаузенберг – зубной врач,
51. Френкель – врач-биохимик,
52. П. И. Полякова – врач-лаборант,
53. Н. М. Мошкович – врач-лаборант,

54. Жвиер – лаборант,
55. Бурман – врач-лаборант,
56. Микман – лаборант,
57. Горн – провизор,
58. Эльзон – провизор,
59. А. А. Зайдельберн – санитарный врач,
60. Кан – туберкулезник,
61. А. М. Замельс – венеролог.

С семьями, из них 24 женщины-врача.

Рассказ Анны Моргулис из Одессы

Привожу рассказ Анны Яковлевны Моргулис из Одессы, ул. Гоголя, 21. Я дам его так, как она сама рассказывала в этом городе-мученике на пятый день после изгнания из него немцев[115].

Здесь краски не требуется. Рассказ сам говорит – нет, кричит за себя, призывает к мести.

Анне Моргулис пятьдесят четыре года. Она выглядит еще молодой для своих лет. Но волосы ее быстро поседели, лицо в морщинах, глаза отражают ужас пережитых ею двух с половиной лет (минус пять дней) при немецкой и румынской власти в Одессе. Ее муж и один из ее сыновей находятся в Красной Армии. Второй сын ее в Красном флоте.

Как у всех евреев, у нее есть родственники в Америке: Меер, Джек и Гарри Бромберг, живущие где-то на Грэндстрит в Нью-Йорке, и Джек Чаренин, также живущий в этом городе.

До войны Анна Моргулис была стенографисткой на судостроительном заводе им. Марти.

16 октября 1941 года румыны вступили в Одессу, и на другой день начались наши муки.

17 октября 1941 года мы увидели на улицах сотни повешенных и расстрелянных людей. Всякий, кто был похож на еврея или на рабочего, был схвачен и казнен тут же на месте.

23 октября 1941 года произошел взрыв в здании, где раньше помещалось НКВД, были убиты сорок румынских офицеров. В ответ на это начался дикий террор. Румыны вывесили объявление, в котором оповещали, что за каждого убитого офицера они будут убивать двести человек, за каждого убитого солдата – сто.

В тот же самый день появился приказ о всеобщей регистрации евреев.

24 октября 1941 года явились румынские жандармы под предводительством офицера.

– Выходите все! – кричали они, – выходите из домов!

Выталкивая нас из квартир, жандармы тем временем забирали и совали в карманы все, что им попадалось под руки.

Анна Моргулис и другие евреи ее района были уведены на Софийскую улицу, № 19.

Когда я пришла туда, там было около двухсот человек. Нас всех должны были послать в Дальник (деревушка в восемнадцати километрах) для «регистрации».

Но Анна Моргулис на сей раз избежала этого. Через полчаса она была освобождена румынским комиссаром, так как ей удалось доказать, что она тридцать лет назад приняла христианство.

Когда я возвратилась домой, я нашла парадную дверь открытой.

Я решила, что у меня все вытащили, но нет! Мне дали ключи, и я жила в своей собственной квартире еще некоторое время. Вскоре мой отец вернулся из Дальника. Ему было восемьдесят четыре года, и он возвращался умирающим. На другой день я пустилась в поиски за своей матерью. Я наняла

подводу и поехала по дороге к станции Выгода, куда, как я слыхала, пригнали всех евреев.

Матери я не нашла, но зато увидела колоссальное количество трупов стариков, детей, изнасилованных девушек.

Позже я узнала от одной русской женщины – жены еврея, которая пришла искать своего мужа, что евреев увели в деревню Богдановку, загнали в большой сарай и заживо сожгли. Там погиб ее муж. Я вернулась в Одессу. Моя мать исчезла.

Когда я слушал это, переданное почти с каменным спокойствием повествование, то чувствовал, как у меня по спине проходит дрожь. Самые эти факты, спокойствие, с которым это рассказывалось, были потрясающи.

29 октября 1941 года мой умирающий отец попытался зажечь лампу. Он зажег спичку, но не был в состоянии держать ее повыше, и у него загорелось одеяло.

Я все потушила в одну секунду.

Но в этот вечер один сосед, румын, сообщил в полицию, что я хотела поджечь дом.

На следующее утро, 30-го, я была арестована и брошена в холодную сырую тюрьму, где было еще тридцать женщин – еврейки и нееврейки.

– Где это было? – спросил я.

– На Красном переулке, № 7.

В ту же ночь ее взяли на допрос.

Естественно, что я отрицала вину, и они начали меня избивать. О, как они меня били! Дубинками! Прикладами! Резиновым шлангом! Я потеряла сознание. Этой ночью, когда кругом была беспросветная тьма, тридцать румынских солдат ворвались к нам в камеру и, бросив на сырой пол шинели, с диким криком набросились на нас. Мы все были изнасилованы, даже старые женщины. Некоторые девушки сошли с ума. Мы, более старые женщины, а там были женщины даже старше меня, сидели и плакали...

На следующий день их всех забрали и отдали под присмотр женщин-надзирательниц. Избиения там происходили ежедневно. Каждую ночь офицеры посылали двух жандармов, которые выкрикивали: «Валя, Маня, идите на ночь к офицерам». Никто ничего не мог сделать. Отказ означал немедленную смерть.

– Есть ли живые свидетели этого? – спросил я.

«Да, – ответила она, – Валя Нефедова и Ольга Орлова, обе живут на Херсонской, 42».

Живому хочется жить. И Моргулис делала все, что только было в ее силах, чтобы уцелеть. Она посылала заявления, давала взятки, представляла свидетелей, и в конце концов после двухмесячного заключения была выпущена – 26 декабря 1941 года.

10 января 1942 года[116] румыны издали новый приказ: все евреи, до исповедующих христианскую веру включительно, должны явиться в гетто (куда-то на Слободку).

Но так как румыны систематически каждый день вешали и расстреливали евреев, то последние прекрасно понимали, что это означает. На стрельбище у полевого артиллерийского склада, по словам Анны Моргулис, – и это подтверждают другие, – было насмерть сожжено не менее пятнадцати тысяч человек[117].

«Все евреи, – продолжала она, – знали, что идти в Слободку означало идти на смерть.

По этой причине многие покончили самоубийством, в особенности интеллигенты».

– Можете ли кого-нибудь назвать? – спросил я.

– Да! Юристов – Петра Полищука – он повесился – и Шаю Вайса, принявшего яд; доктора Петрушкина[118]; семидесятичетырехлетнего литератора Арнольда Гиселевича, который повесился у себя в комнате, когда увидел, что к нему идут румыны, и много, много других.

Позднее я встретил дочь Арнольда Гиселевича, которая спаслась каким-то чудом: она была замужем за русским и сама не очень походила на еврейку. Она мне сообщила, что родственники ее матери, по фамилии Ловиц, живут в Америке.

Но Голгофа Анны Моргулис на этом еще не окончилась.

У меня есть родственница, полька, Станислава Краевская. 11 января она пришла за мной как раз в тот момент, когда в ворота входила полиция. Она прятала меня в уборных и подвалах, на чердаках, в своей квартире, в квартирах ее и моих русских друзей, которые из-за этого рисковали своей жизнью. Однажды во время налета на тот дом, где я находилась, я залезла в бочку. Вот таким образом я прожила целый год, до декабря 1942 года.

После этого Анна Моргулис в течение полутора лет жила под фальшивым паспортом, купленным за меховое пальто, одеяло и платье в рабочем районе – Молдаванке, центре одесской партизанской деятельности.

«Многие русские подозревали или знали, что я еврейка, – сказала она, – но никто меня не выдал.

Таким образом я уцелела».

Но тысячи не уцелели. Я говорил с нею о судьбе других евреев. Данные до сих пор неясны. Но уже известно, что все раввины, даже больные, дряхлые старики, почти умирающие, были специально разысканы и расстреляны, а синагоги разрушены. Слободские евреи были вывезены на замерзший лиман, находящийся поблизости (соляное озеро), лед под ними проломился, и несчастные утонули.

Когда румыны захватили Одессу, там, по определению Анны Моргулис, было сто тридцать пять тысяч евреев[119]. Теперь, как она полагает, там – только несколько сотен. Тем не менее общая сумма неизвестна, и число спасшихся, быть может, выше, потому что некоторые живут под чужими паспортами; другие находятся в катакомбах, некоторые все еще находятся в окрестных деревнях. Возможно ли будет дать полное описание всего того, что произошло с одесскими евреями, – сомнительно. Некоторые люди попросту исчезли. Та же Гиселевич, с которой я говорил, сообщила мне, что ее сестра – доктор Полина Арнольдовна Гиселевич с ее трехмесячным мальчиком – была уведена жандармами и с тех пор о ней больше ничего не слышно. Гражданка Гиселевич также не знает о своих двух тетях, о дяде и о семнадцатилетней кузине – все они исчезли.

Наша беседа подходила к концу. Я быстро писал свои заметки, повернув свое лицо так, чтобы не выдать своих чувств, когда я слушал этот ужасный человеческий документ.

Я не знала, что прожив пятьдесят лет... можно дожить до такого дня, когда начинаешь бояться малейшего звука, шагов на улице, самого легкого стука в дверь, когда ты испытываешь смертельный страх. И ужаснее всего то, что люди, которых ты знал всю жизнь, отворачиваются от тебя, как от чужого, как от врага, от парии, как от низшего существа.

До войны мы не могли себе представить, что нечто такое могло случиться. Теперь мы знаем. И когда пришла Красная Армия, когда прошел первый момент изумления и неверия и я увидела дорогую, любимую форму, пилотки, знамена, я выскочила на улицу и стала обнимать первого попавшегося мне красноармейца. Мне хотелось опуститься перед ним на колени: целовать его ноги, плакать,

кричать.

И единственно, чего мне хочется, это отдать все, что во мне только осталось, моей дорогой Родине. Что можно добавить к этому?

Отомсти за моих детей

Письмо Татьяны Рекочинской брату Абраму в действующую армию

[121]

Здравствуй, дорогой, любимый и родной брат Абраша!

Сколько я ждала такого момента, чтобы получить от тебя весточку, что ты жив. Я пришла в Одессу 25 апреля 1944 года – в тот самый день, когда жильцы нашего дома получили твое письмо.

Представь себе, что на сегодняшний день единственное родное у меня – только ты.

Когда захватчики заняли город, меня с двумя детьми в лютую морозную зиму выгнали из квартиры и отправили этапом за сто шестьдесят километров от Одессы, к Бугу. Там было место расправы в селе Богдановка[122]. Мое грудное дитя, девочка, по дороге умерла, мальчика вместе с другими детьми этапа расстреляли. Когда дошла очередь расправы со мной, прекратили расстрел.

Устроили лагерь смерти, где люди гибли, как мухи, от холода, голода, нечистот. Лежали вместе с трупами, и все, что может быть кошмарное, было в этом лагере. Два раза я бежала из лагеря, по селам, делала людям всевозможные работы, и люди кормили. Но каждый раз жандармы ловили, били и отправляли опять в лагерь. Так продолжалось два с половиной года мучений, но надежда никогда не покидала меня в том, что наши родные нас освободят.

Теперь я пришла в родной город на мою прежнюю жилплощадь, где застала только голые стены и никого из родных. Наша Роза эвакуировалась в последние дни с коммунистами треста столовых. Еще около трех лет назад я имела привет от нее, что она благополучно прибыла в порт Туапсе и Новороссийск. О дальнейшей ее судьбе я не знаю. О нашей Сарре я ничего не знаю. О Поле я тоже ничего не знаю. Муж мой, Боря Стратиевский, уже три года на фронте, жив или нет – не знаю, пока письма от него нет.

Я пока нигде не работаю. Производства разрушены, но ведутся восстановительные работы.

Дорогой брат, пиши о себе, не ранен ли ты? Где твоя семья? Умоляю тебя, как родного, отомсти за моих детей, за все зверства, что с нами делали без всякой пощады.

Пиши, родной. Твои письма будут облегчать мою жизнь.

Целую крепко.

Из жизни в фашистском плену

Воспоминания и стихи школьника Льва Рожецкого

[123]

Дорогой т. Эренбург!

Ваше письмо получил, за что очень благодарен. Находясь в фашистском плену, я написал много материалов. Еще весной легчик-майор т. Файнерман взял у меня поэму «В изгнании» и лично передал сыну т. Маршака. В нескольких письмах он писал мне, что ответа от т. Маршака не получил. В Одессу приезжала актриса т. Ванштейн (ее адрес: Болотная, 12, кв. 1а). Она также взяла экземпляр моей поэмы. Прошло уже немало времени, никакого ответа нет.

По Вашей просьбе я написал несколько очерков о всем пережитом. Там, наверное, немало синтаксических и других ошибок. Просмотрите. Я очень бы хотел Вам послать поэму, так как она

дает более широкое представление, но у меня остался только один черновик... Если Вас заинтересует моя поэма «В изгнании» – возьмите ее у т. Маршака. Она, правда, в необработанном виде, но написана сильно и ярко.

Два года были мы окутаны цепями,
Два года враг топтал родную сторону,
Два года были мы презренными рабами,
Узнали хорошо, что значит жить в плену!
В кровавой тьме убийств и подлостей злодея
О нет, я своего оружия не бросал,
Я подбодрял сердца поэзией своею,
Страдания людей правдиво описал.
Настал желанный час свободы и расплаты,
Запомнит мир его на тысячи годов!
И грянули, как гром, советские солдаты,
И покатился фриц «отважный» без штанов...
Боролся наш народ, свободой вдохновленный,
И нам ее принес наш воин-исполин.
О, как легко звучит мой голос возрожденный:
Я – вольный человек! Я – юный гражданин!
Борьбы и испытаний путь прошли мы длинный,
За братьев и сестер должны мы отомстить!
«Бей мерзких палачей» – гремит наш клич единый,
И я готов перо винтовкой заменить.
За группу стариков и за детей сожженных,
За девушек и жен поруганную честь,
За слезы матерей, печалью удрученных, –
Врагу – святая месть!

Очерки из жизни в фашистском плену

Я с ранних лет увлекаюсь литературой, пишу стихи и работаю над собой. За два года до войны, когда мне не было еще 11 лет, я читал на республиканской олимпиаде в Киеве написанную мною былинку о Сталине и был премирован. Началась война. Эвакуироваться мы не смогли и остались в Одессе: я, мать и семилетний братишка.

После жаркого сраженья,

Битвы исполинской

Мы оставили Одессу

Гадине румынской.

Так орлица покидает

Своего ребенка,

Чтоб потом с орлом могучим

Выручить орленка.

16 октября вошли румыны, а 22 октября начался кровавый террор.

День террора...

Реки крови...

Тысячи казненных.

Это было новоселье

Палачей зловонных.

После этого кровавые и страшные события не прекращались ни на минуту. Вскоре был приказ: «Всем лицам еврейского происхождения явиться на регистрацию в село Дальник. Укрывающиеся, а также укрыватели будут преданы смертной казни». В другом приказе разъяснялось, что лицами еврейского происхождения являются также крещеные евреи, даже если отец и дед были крещеными. Десятки тысяч советских граждан погнали на «регистрацию» в село Дальник (несколько километров от Одессы).

Мы решили во что бы то ни стало не пойти на Дальник и – не пошли. После мы узнали, что все эти люди были угнаны в село Богдановку (сто восемьдесят километров от Одессы) и сожжены, расстреляны там...

Всех не подчинившихся приказу румыны собрали и погнали неизвестно куда. В том числе были и мы. Нас долго, до самого вечера, колонной гнали по улицам.

Тюрьма

Долго гнали нас румыны,

Мучили и били...

Плачут дети, плачут мамы:

«Лучше б пристрелили».

А на небе плакал месяц,

Глядя с состраданием,

Обливая проходивших

Ласковым сияньем...

Вот тюрьма...

Сюда набили,

Как селедок в бочку,

Еле, еле приютились,

Сели в уголочке.

Ночь настала, очертавши

Звезды золотые,

И покрыла темнотою

Горести людские...

Тысячи мирных граждан, женщин, стариков и детей загнали в тюрьму. Здесь мы увидели немало ужасов. Ночью беспрерывно слышались выстрелы и режущие душу нечеловеческие крики. Каждый день забирали людей и уводили неизвестно куда. Румыны издевались над женщинами... Одну девушку звери, надругавшись над ней, бросили в уборную.

Бессарабским евреям объявили, что их отправляют на родину. Четыре тысячи бессарабцев были выведены и расстреляны.

Вшивые, грязные, один на другом, сидели мы в камерах. Из камер ежедневно выносили трупы.

Румыны не просто умертвляли, они всячески издевались. В Одессе был известный адвокат Полищук. Он был крещен в молодости, много лет назад. Румыны притащили его в тюрьму. Его поставили на середину двора. Комендант тюрьмы вынул наган и рявкнул: «Так ты русс?!» – «Да», – ответил адвокат. «А ну, снимай штаны!» – бешено крикнул румын.

На другое утро адвокат Полищук повесился. Так жили люди в тюрьме, скованные по рукам и ногам, под страхом смерти. Вдоволь намучив, ограбив, румыны выпустили нас «на свободу».

Сортировочная

Вскоре румыно-немецкие палачи устроили так называемое гетто в отдаленной части города на Слободке. Тотчас же был издан приказ: «Отправить евреев “на работу” в районы Березовки и Очакова».

Это означало смерть.

11 января маму, меня и Анатолия, только что вставшего после тифа [124], выгнали на Слободку. Но в три часа ночи нас погнали и повели. Был жестокий мороз. Снег – по колено. Нас гнали толпою. Много людей, стариков и детей, погибло еще на улицах Пересыпи (окраина города) под завывание пурги. Немцы хохотали и снимали из фотоаппарата. Кто смог, дошел до станции Сортировочной. Дамба была взорвана, и на пути была огромная речка. Мокрые люди замерзли. Нас подвезли на телеге. На станции стоял состав. Никогда не забуду картину: по всему перрону валялись подушки, одеяла, пальто, валенки, кастрюли, вещевые мешки и другие вещи... Замерзшие старики не могут подняться и стонут тихо и жалобно, матери теряют детей, дети матерей, крики, вопли, выстрелы. Мать заламывает руки, рвет волосы и кричит: «Доченька, где ты?!» Ребенок с плачем мечется по перрону, кричит: «Мама!» Замерзает и падает...

Помню равнодушные взгляды немцев... Как скотину загнали нас в товарные вагоны, заревел гудок, и состав тронулся.

Березовка (сто километров от Одессы)

[125]

Поезд не останавливается, все едет, но куда? Не знаем. В теплушке – темнота. Плач детей. Дрожь по телу. Слышно, как воет ветер. Ночь... Внезапно вагоны замедляют ход. Остановка. Что дальше? Ужас. Смерть. Скрипят двери. Звякают приклады винтовок...

Мысли проносились быстро, как электрический ток. Мы слышим, как сбрасывают людей с соседних вагонов. Крики, плач, вопли. Страшно поневоле. Что будет? Внезапно растворяются со скрипом двери, и нас ослепляет зарево огня, пламя костра... Я вижу, как, объятые пламенем, мечутся люди, старики, женщины, дети. О, как пронизывают душу вопли детей! Я вижу кучи вещей, трупов, замерзших людей. Резкий запах бензина... Огромное зарево костра. Окаменелые лица убийц...

Это сжигали людей.

Легко сказать «сжигали!» Сжигали живых детей, живых людей!

Это душегубство совершилось у железнодорожной станции Березовка. Казалось, спасенья нет! Но нам суждено было остаться в живых. Внезапно – сильный толчок, и поезд медленно ползет дальше, все дальше от костра. Всех живых погнали снова. Действительно, это было чудо!

Сиротское (сто двадцать пять километров от Одессы)

Бесконечные снега, сугробы. Столбы. Длинной колонной люди тянутся от села к селу. Дорога от села к селу устлана трупами... Пули свистят над головой. Отставших убивают. Нелегко нам было идти.

Братец еле держался на ногах. Да и мы тоже.

Сколько раз в порыве горя

Грусть одолевает,

Сколько раз глупец несчастный

Погибнуть решает!

Но когда в когтях у смерти,

Тогда он оценит,

Что ведь жизнь всего дороже,

Что ее заменит!..

И мы шли. Надо сказать, что потом идти стало легче: все вещи, которые мы несли, у нас забрали.

Грабили всех: смертников сопровождали румыны и полицейские. Я помню много страшных картин.

Говорить о них не буду. Этап я ярко и красочно изобразил в своей поэме «В изгнании».

Наконец, под вечер нас, т. е. всех оставшихся в живых, пригнали в село Сиротское.

Я увидел длинные, полуразрушенные конюшни. Толпы людей бросились туда, ведь все же не на улице!

Вообще с нами приключались необычайные вещи. Быть может, это была игра случая или что-нибудь другое, но получалось так.

У нас было какое-то тяжелое предчувствие. Нет, не для отдыха загнали сюда людей конвоиры. Мы

решили не ночевать в конюшне. Вечерело. Мы отошли в сторону. Постучали в одну избу – не

пустили, боялись. В другую – тоже. Долго бродили мы по сугробам, постучали в крайнюю избу.

Здесь жила старуха, сестра урядника. Взяв последнее наше одеяльце и две катушки ниток, онапустила нас.

Ночью пьяные румыны, полицейские и бандиты из местного населения с ружьями, дубинками, ножами ворвались в конюшню, резали, убивали, грабили, насиловали.

Утром мы решили бежать куда-нибудь – все равно смерть!

Но не успели мы пройти несколько шагов от избы, нас окружила толпа хулиганов. Они содрали с меня шапку и притащили нас к конюшне. Я увидел жуткое зрелище: вокруг конюшни лежало множество голых трупов... Из конюшни доносились стоны...

Я видел, как бандит сдирал с мертвой старушки сапоги, я видел, как сдирали с умирающей девушки кофту. Все.

Нас, опять-таки оставшихся в живых, собрали в колонну (она была уже очень невелика) и погнали дальше.

Доманевка (сто пятьдесят километров от Одессы)

[126]

Я хочу, чтобы с особенной ясностью означалась каждая буква этих названий. Ведь все эти названия: Сортировочная, Березовка, Сиротское, Доманевка, Богдановка, Горка, Ставки – исторические названия. Здесь были лагеря смерти. Здесь уничтожались фашистами тысячи мирных людей, тысячи советских граждан. Доманевку (она занимает среди всех лагерей «почетное» место) я буду описывать подробно.

Это районный центр, небольшое местечко. С двух сторон Доманевка окружена холмами. Вокруг тянутся поля. Вот лесок, красивый небольшой лесок. На кустарниках, на ветках еще до сих пор висят

лохмотья, клочки одежды. Здесь под каждым деревом могила. Здесь были расстреляны тысячи людей.

Вот большое кладбище животных. Здесь зарыты тысячи лошадей, коров и... евреев. Вот большой глубокий ров – здесь фашисты расстреляли четыреста евреев. Видны скелеты животных и людей... Вот большое разрушенное здание бывшего клуба. Здесь был концлагерь. Доманевка – кровавое черное слово. Доманевка – центр всех убийств и смертей. Сюда пригоняли на смерть со всех концов тысячные партии людей. Этапы следовали один за другим беспрерывно...

Но мы сюда не сразу попали. Из Сиротского нас гнали в Мостовое, из Мостового – в Лидиевку. Из Одессы нас вышло три тысячи человек, в Лидиевку пришло человек пятьсот. Здесь мы пробыли месяц и пять дней. Людей снова поместили в конюшни, в развалины. Ужасы Лидиевки я описывать не буду, скажу только, что в Доманевку выгнали уже маленькую кучку людей. Кроме нашей семьи, из этапа почти не осталось никого.

Горка

На окраине Доманевки находились две полуразрушенные конюшни. В апреле 1942 из Доманевки сюда стали перегонять евреев. Из бараков не выпускали, грязь по колено, люди оправлялись тут же... Трупы лежат – как в морге. Плачут голодные дети и рыдают женщины... Протяжные, жуткие стоны умирающих... Тиф. Дизентерия. Гангрена. Смерть.

Беспомощное состояние мучеников использовали мародеры. Они продавали суп – кружками, за несколько ложек отвратительной смеси брали необычайно высокую цену. Но голодный человек отдаст все за кусочек корочки...

А иным же, чтоб не лгать,

Было просто благодать!

За тарелку жидкой каши –

Платье новое, рубашка.

За пшеничный пирожок –

Превосходный пиджачок!..

Люди тысячами умирали, заживо гнили в бараках. Трупы сбрасывали в кучу. Обезумевшие люди раздевали их догола, чтобы потом променять одежду на сухари. И постепенно образовывались такие горы трупов, что страшно было смотреть! Я говорю – горы не в кавычках. Как сейчас помню наваленные друг на друга тела... В разнообразных позах старики, женщины, дети лежали посиневшие, абсолютно голые. Мертвая мать сжимала в объятиях мертвого ребенка... Ветер шевелил седые бороды стариков...

Сейчас я думаю: как я тогда не сошел с ума?! Недаром говорят, что нет крепче человека! Днем и ночью со всех концов сюда сбегались собаки. Доманевские псы разжирили, как бараны!.. Днем и ночью собаки грызли человеческое мясо, грызли человеческие кости! Запах стоял невыносимый... Однажды господин претор соизволил проехаться вблизи этих мест и увидел это «великолепное» зрелище. Конечно, у этого господина получилась рвота. Джентльмен не выдержал...

Только после этого он отдал приказ – убрать трупы. Начальниками полиции Доманевского района были предатели Никора и Козакевич. Один из полицейских, лаская своего пса, говорил: «Ну, что, Полкан, наелся жидками?» Вот что делалось на этой знаменитой Горке.

И сейчас там можно увидеть остатки бараков, огромные могилы.

Богдановка

Она расположена на берегу Буга (двадцать пять километров от Доманевки). Раньше здесь был свиновхоз. Часть этих знаменитых барачков сохранилась до сих пор. Сбоку находится небольшой лесок, вернее, парк. Его аллеи ведут к знаменитой Богдановской яме. Сюда со всех сторон, из Бессарабии, из Кишинева, Аккермана, Буковины, из украинских городов и деревень, из Одессы, Тирасполя было согнано около ста тысяч мирных граждан[127]. Главная цель убийц была в том, чтобы изъять у людей все ценности и уничтожить.

Почувяв добычу, сюда со всех концов сбегались все грязные людишки...

Убийствами руководили немцы. Начальником жандармерии был румын Малинеску. Начальниками полиции были предатели Сливенко и Кравец. В расстрелах принимали участие Никора и Козакевич. Не стоит описывать ужасы, происходящие в бараках. Болезни. Смерть.

Многие пытались бежать. Поймав, их убивали на месте.

21 декабря начались массовые убийства и расстрелы.

Сначала смертников догола раздевали, потом подводили к яме. Смертников ставили на колени, лицом к Бугу. Рядом стояла бочка вина... Убийцы подкреплялись вином и с пеною у рта прицеливались. Стреляли только разрывными пулями, стреляли только в затылки. Трупы сбрасывали вниз в яму.

Вопли. Крики. Мольбы о пощаде. Проклятия... Перед глазами мужа убивали жену. Он должен был сбрасывать ее вниз. Потом убивали его самого. Убийцы подводами вывозили все снятое с погибших. Трупы сжигались.

Несколько человек из богдановцев остались в живых. Их заставляли работать и не успели расстрелять. Трупы погибших превратились в огромную кучу пепла.

Над знаменитой Богдановской ямой воздвигнут памятник и напишут: «жертвам фашизма». Быть может, напишут слова из моей поэмы:

Кто б ни был ты, остановись,

Приблизься, путник благородный,

К могиле сумрачно-холодной,

На лоне грусти осмотрись.

Объятый гневом и волненьем,

Слезою не тумань очей,

Испепеленный прах людей

Почти безмолвным поклоненьем.

Ставки – лагерь смерти

В двенадцати километрах от деревни Акмечетка[128], как остров в степной пустыне, находится бывший свиновхоз Ставки – три полуразрушенных барака. Они были окружены глубокими рвами-канавами. Вода находилась далеко, на расстоянии двух километров.

С 10 мая 1942 года румынские палачи сгоняли сюда евреев из Доманевского района. Оставшихся в живых из «Горки» – калек и больных – тоже перевели в лагерь смерти. Началась новая эпопея ужасов. Бараки были разделены на узкие клетки, где раньше находились свиньи. Несчастных мучеников не выпускали ни на шаг из лагеря. Они были обречены на голодную смерть. Началась жуткая вшивость и болезни. Лагерь охранялся полицейскими. Кто осмеливался переходить канавы –

расстреливали на месте. Начальником лагеря был предатель, убийца и садист Пироженко. Был известен такой случай: когда колонну евреев вели в лагерь, одна молоденькая девушка по нужде скрылась за кустом. Пироженко видел это. Он прицелился и выстрелил. Раненая девушка собрала все силы, встала на ноги и, обливаясь кровью, закричала: «Мамонька, меня убили!» Палач не поленился, подошел к ней и прикончил ее штыком. Что только ни делали изверги! Как только ни издевались! Оправляться можно было только в определенное время, а в остальное – хоть разорвись, не выпускали. Дети плакали, надрываясь, но плакать тоже не разрешали, били. Один пожилой еврей не выдержал – повесился. Попытался повеситься адвокат Фукс и вскоре умер. По воду разрешали ходить очередью по десять человек. Однажды Пироженко увидел, что «порядок нарушен» – вместо десяти шло одиннадцать. Не медля ни минуты, зверь прицелился и выстрелил. Две крайние женщины были ранены. Одна отошла в сторону, другая, по имени Доба, сорвала с головы косынку и стала перевязывать раненую ногу.

Садист выстрелил второй раз, подошел к ней и прикончил ее прикладом.

На третий день пребывания евреев в лагере приехал румынский инженер и велел отобрать восемьсот человек для работы. Звери насильно разлучали отцов и матерей с детьми. Им нужны были рабочие люди, а дети – пускай подышают...

Матери прятали детей себе под юбки, умоляли, плакали. Но что может тронуть сердце фашиста? Отобранные люди были взяты в деревню Карловку на каторжные работы. Оставшиеся сироты погибли. Люди гибли, как мухи. Тиф, дизентерия, цинга, пули и плети румын и смерть, смерть, смерть... Люди были покрыты фурункулами, чесоткой, многие поотмораживали ноги и руки. Тысячи людей гибли от гангрены. У несчастных отпадали куски тела. Количество смертей все увеличивалось. Иногда давали «паек»: неполную кружечку высевок. Из всех мучеников лагеря смерти осталось около сорока человек.

Жизнь в гетто

Фашистские изверги не всегда убивали сразу. Они наслаждались длительной агонией, использовали смертников на всяких каторжных работах. Кроме того, они подумывали о том, что их кровавая работа не пройдет безнаказанно... Им нужно было скрыть следы своих преступлений, замаскировать их. В жандармерию прибыл приказ: не расстреливать. Действительно, мамалыжники оказались очень хитры. К чему евреев расстреливать, когда они сами могут подохнуть?

И вот евреев стали сажать в концлагеря за колючую проволоку, морить голодом, каторжной работой, держать в грязи, голыми на морозе, избивать, а расстреливали потихоньку. Это был исключительно удачный метод... А на страницах одесских газет можно было прочесть, что евреи работают в трудовых колониях, живут на частных квартирах и даже получают две марки в день!

Смотрите, вот, мол, какие мы милостливые!.. Все это было ловко устроено.

Все пережитое кажется мне теперь каким-то кошмарным сном...

Вспоминаю бараки, конюшни, крики, стоны, выстрелы. Вскоре румыны разрешили евреев, способных работать, брать в колхозы. Староста Доманевского колхоза «Радянск» сжалился над нами и принял нас. Это было редкое счастье!

Мы стали работать в колхозе, жили в двух сырых комнатухах, грязные, вшивые, голодные. Мы находились как раз напротив лагеря «Горки». Нас было пятьдесят человек, половина – умерла. Несколько раз румыны и полицейские хотели нас расстрелять. Болели тифом, дизентерией, но

остались живы. Все тело – в чесотке, в нарывах. Кроме всякой работы заставляли нас хоронить погибших, возить трупы.

Помню, как мы с телегой подъезжали к баракам. Я вел коня под уздцы, мама толкала телегу сзади. Мы брали трупы за ноги, за руки, взваливали на телегу, когда наполним телегу, везли свой груз к яме и сбрасывали вниз...

Всех заставляли носить шестиконечные звезды на шапке, на груди и на спине.

Однажды меня до полусмерти избили за то, что нашли у меня стихи Пушкина. Хотели убить – не убили. Этот случай я описываю в поэме «Изгнание».

Изгнание – вот горестей корона,

Убийственное слово, страшный яд!

Мы были каторжане вне закона,

И жизнь людская превратилась в ад.

Лишенный прав людских, всего лишенный,

Становится игрушкой человек,

А слово «жид» звучит, как «прокаженный»,

И жизнь тогда ничтожный, жалкий чек.

В свирепый час жестокого гоненья

Познал лишь я свое происхождение...

Но я сказал очень мало. О всем пережитом рассказать невозможно.

Борьба и свобода

Два с половиной года находились мы в лапах фашистов. Два с половиной года мы жили под страхом смерти в адских условиях. На наших глазах жуткой смертью гибли тысячи людей. Но сдаваться не хотелось. Хотелось хоть чем-нибудь бороться. И я боролся. Оружием борьбы я избрал свое единственное средство – слово. В этой обстановке я писал. Вы спросите: «Как? Как мне это удавалось?» Об этом я рассказал в поэме «В изгнании». Мы работали на полевых работах. Это мне помогло. С большим трудом, раздобыв огрызок карандаша, на дощечке, на фанере, на оберточной и любой найденной бумаге – я писал, часто притаившись в траве. В большинстве приходилось писать и запоминать в уме. Конечно, это грозило мне смертью. Я написал много очерков, зарисовок, стихов и песен. Две антифашистские песни, «Раскинулось небо высоко» и «Нина» (памяти женщины, сошедшей с ума), были распространены в народе. Я еще раз убедился, какую огромную роль в любой обстановке играет свободное, живучее слово. Меня вдохновляло только одно слово «свобода».

Часто, когда удавалось, я читал свои стихи товарищам по несчастью. Как мне было приятно, когда сквозь стоны и слезы люди пели песни, читали мои стихи! Но этого казалось мне мало. Я решил написать большое произведение, которое отображало бы все ужасы, виденные нами.

Я написал поэму «В изгнании». Бесспорно, что в ней много недостатков в художественном отношении, но каждая строка написана кровью, каждая строка пышет пламенным гневом к убийцам. Красная Армия подходила все ближе к нам. Боязливые мамалыжники, слыша глухие удары орудий, стали отходить. Моментально все евреи из концлагерей и колхозов разбежались – кто куда...

Отступили немцы.

Две недели мы прятались, ходили от села к селу. Дождались. Пришли наши. Ура! Свобода!

Сейчас я могу свободно ходить по улице без всяких отличительных знаков. Я могу свободно писать,

учиться, работать. Я хочу, чтобы мои слабые строки стали вечным клеймом фашистским палачам. Я хочу, я буду рассказывать всем, всему миру, что такое фашизм.

Лагерь в Богдановке

Свидетельства Филиппа Борисовича Клинова, Павла Ивановича Стоноги, Карпа Корнеевича Шеремета, Веры Павловны Кабанец

[129]

Клинов Филипп Борисович, 1912 года рождения, уроженец м. Голованевск того же района Одесской области, служащий, еврей, последнее место жительства город Одесса, показал:

23 октября 1941 года на основании приказа губернатора Транснистрии профессора Алексяну была направлена колонна еврейского населения в 25 тысяч человек, в том числе старики и дети, из Одессы в Дальник, якобы для регистрации.

Однако в Дальнике никакой регистрации не было, и отсюда, под конвоем румынских солдат, по Бугу нас направили в деревню Богдановка. По пути следования много было расстреляно отстающих от колонны, остальные ограблены этими же конвоирами. 10 ноября наша колонна в составе около 10 тысяч человек, из числа 25 тысяч, прибыла в село Богдановку, где были переданы местной жандармерии, руководимой плотонером [130] Мелинеску и поселены в свинарниках свиновхоза «Богдановка». В свинарниках нас держали под охраной с запрещением выходить куда-либо за территорию лагеря, пищи никакой не выдавали. С 10 по 21 декабря прибывали под охраной новые колонны еврейского населения, от 900 до 5 тысяч человек из Одесской, Винницкой областей и Молдавской АССР.

На 21 декабря 1941 года в лагере числилось 54 тысячи человек, согласно записям старосты лагеря Шойхета Копыля. Примерно 13–14 декабря 1941 года в село Богдановку приехал уездный префект города Голты подполковник Ионеску Модест, который приказал населению печь хлеб, который впоследствии продавал в лагере ценой по пяти рублей золотом за полкилограмма. После чего золото и ценности он увез с собой. Где раньше помещалось двести свиней, находились около 2 тысяч человек. Вместо подстилки для свиней осталась только прелая солома, на которой лежали люди, а значительная часть людей, в том числе старики и дети, находились во дворе под открытым небом. Пробравшиеся случайно ночью или же днем за территорию лагеря в деревню за продуктами избивались или же расстреливались.

17 или 18 декабря 1941 года полиция по чьему-то указанию подожгла два барака, в которых было более 2 тысяч человек. Все они сгорели, только незначительной части удалось спастись. Примерно за два дня до расстрелов лагерникам было запрещено выходить брать воду из реки Буг для питья. 21 декабря 1941 года на рассвете был окружен один из барачков, откуда выводились парами, примерно по пятьдесят человек, и под конвоем направлялись к опушке лесопосадки совхоза, там их раздевали догола, а затем направляли к оврагу за лесопосадкой, ставили по 10–15 человек на колени и с расстояния 15 метров расстреливали.

Расстрелянные и часто только раненые падали в овраг, потом рабочая бригада, образованная из тех же лагерников, складывала тела в кресты и поджигала. Так происходило ежедневно по 24 декабря, затем был сделан перерыв на три дня ввиду рождественских праздников. Карательный отряд уехал в Голту. С 28 декабря и по 10 января в таком же порядке начались массовые расстрелы, к этому

времени последовал лицемерный приказ голтинского префекта о прекращении массовых расстрелов. Таким образом, на 10–15 января 1942 года были расстреляны около 52 тысяч человек, а спустя две недели умерли от холода и истощения около двух тысяч человек. Всего было уничтожено не менее 54 тысяч человек.

Имущество убитых разделили между собою полицаи и румынские жандармы, а часть его была отвезена префекту в Голту. Я лично сам выводился тринадцать раз к оврагу на расстрел. В овраг падал преждевременно и вечером с рабочей бригадой уходил. Шесть человек моей семьи были расстреляны на моих глазах, я же попал в рабочую бригаду в составе 127 человек, которые остались в живых. Другая рабочая бригада была образована из женщин в 50 человек. Таким образом, из всех заключенных, находившихся в лагере, осталось в живых 177 человек.

Показания записаны с моих слов правильно.

Стонога Павел Иванович, 1882 года рождения, уроженец и проживает в с. Богдановка Доманевского р-на Одесской области, член колхоза «Путь Ленина», показал:

В 1941 году в лагерь, организованный румынами в совхозе «Богдановка» для еврейского населения, примерно с сентября месяца начали приводить под конвоем большие колонны еврейского населения, их помещали в свинарниках совхоза. В первые дни им разрешалось ходить по деревне и менять себе продукты, но спустя некоторое время им было строго запрещено выходить за пределы лагеря.

Пытавшихся проникнуть за территорию лагеря расстреливали на месте. Я вспоминаю случай, когда однажды днем ко мне в дом зашла женщина-еврейка попросить хлеба. Я ей дал хлеба, и она вышла на улицу, навстречу ей ехала автомашина с румынскими солдатами, один из которых соскочил с машины и здесь же на улице из револьвера застрелил эту гражданку. Расстрелы заключенных начались примерно с 21 декабря 1941 года и в массовом масштабе продолжались до 25 декабря, затем был сделан перерыв на рождественские праздники до 27 декабря. С 27 декабря опять начались массовые расстрелы, которые продолжались примерно до 10 января, после чего расстрелы были прекращены. Целыми днями были слышны в деревне выстрелы, а пламя горевшего костра было видно днем и ночью, ветер доносил на деревню запах человеческого мяса. Одежду и ценные вещи расстрелянных систематически вывозили в Голту обозами в шесть-семь подвод, сопровождаемыми румынскими солдатами. Изношенную одежду сжигали.

Показание записано с моих слов правильно.

Шеремет Карп Корнеевич, родился в 1910 году, уроженец села Богдановка Доманевского р-на Одесской области, украинец, из крестьян. До оккупации работал завхозом свиносовхоза, в настоящее время директор этого же совхоза.

Показал:

Примерно в конце сентября 1941 года на территорию совхоза была пригнана под конвоем первая партия в 640 человек еврейского населения, они были поселены в совхозном амбаре, но прежде чем поселить их в амбар, румынские жандармы забирали их разные вещи. До 21 декабря ежедневно поступали партии людей от 500 до 5 тысяч человек, которых размещали в свинарниках совхоза. Ввиду переполнения свинарников, несмотря на то, что их было более двадцати двух, не считая иных помещений, значительная часть людей находилась под открытым небом. 18 декабря на территорию лагеря приехала автомашина, в которой было два немецких офицера и третий мужчина в штатском.

Они фотографировали территорию лагеря, в том числе и овраг. 21 декабря 1941 года в лагерь прибыл карательный отряд из Голты во главе с немцем Гегелем. Ими были выгнаны с территории совхоза все рабочие, а необходимые изолированы. Карательный отряд состоял, очевидно, из немецко-колонистов, так как все они были в штатском. Всего их было около 60 человек.

21 декабря палачи начали свою грязную работу. Из бараков выводили людей по группам 40–50 человек, раздевали их, затем вели к оврагу, ставили на колени и расстреливали из винтовок. На дне оврага был разведен большой костер, куда падали трупы и сгорали. При расстрелах палачи даже соревновались, кто больше из них расстреляет. Массовые расстрелы производились каждый день с утра до вечера с 21 декабря по 24 декабря, а затем с 28 декабря по 10 января. С 24 по 27 декабря был перерыв ввиду рождественских праздников. За это время рабочая бригада по сжиганию трупов, образованная из тех же заключенных, на дне оврага сделала земляную плотину, чтобы кровь не стекала в реку

Буг. С 10 января массовый расстрел прекратился, однако по 1 февраля умерли от холода и голода около 2 тысяч человек. Всего было уничтожено около 54 тысяч человек из числа 65 тысяч.

Остальные, бежавшие из лагеря, были расстреляны в степи. Кроме того, осталось в живых 177 человек, зачисленных в рабочие бригады: мужская в 127 человек и женская в 50 человек.

Показания записаны с моих слов правильно 1 мая 1944 г.

Кабанец Вера Павловна, родилась в 1921 году в селе Богдановка Доманевского р-на Одесской области, рабочая совхоза, член ВЛКСМ, показала:

В открытый румынами лагерь для евреев в совхозе Богдановка в 1941 году в сентябре месяце начали приводить партию за партией из различных мест под конвоем еврейское население, которое размещали в свинарниках. Все свинарники были переполнены заключенными, кушать им ничего не давали. В первое время им разрешалось менять вещи на продукты, а затем это было запрещено, и они были строго изолированы. В лагере находилось около 60 тысяч человек. Начиная с 21 декабря 1941 года, начались массовые расстрелы, продолжавшиеся целыми днями. Их расстреливали у оврага за лесопосадкой совхоза, где сейчас же сжигали. 24–26 был сделан перерыв ввиду того, что карательный отряд выехал в Голту праздновать Рождество. Эти дни некоторые из лагеря приходили на деревню менять кое-какие вещи на продукты и брать воду. Примерно 27 декабря днем я брала воду из колодца, куда подошла женщина-еврейка из лагеря брать воду. В это время появилась подвода, на которой было трое румын. Один из них соскочил с подводы и начал вынимать оружие, чтобы застрелить ее. Она не просила помиловать ее, но просила отпустить ее в лагерь, очевидно, у нее были там дети. Однако она была здесь же убита, и труп ее лежал возле колодца в течение пяти дней.

Показания записаны с моих слов правильно.

Сопротивление

Отчет о деятельности подпольной группы в Одессе

[131]

11 октября 1941 года начальником отряда ВОХР связи было оставлено товарищу Скули Ф. Г. следующее оружие: 20 штук винтовок, 3000 штук патронов, 1 револьвер-пистолет с патронами, 1 мина со шнуром, 3000 листов копировальной бумаги, восковки, 20 килограммов белой бумаги,

ротатор и 1 пишущая машинка.

Все это было товарищем Скули при содействии электрика связи товарища Юркула Михаила (Одесса, Студенческая, № 17), печником Андроновым Николаем (Одесса, Штиглица, № 8) и слесарем связи Сидельниковым Федором (Одесса, 2-й Водопроводный пер., № 1) упрятано в кочегарке почтамта (Одесса, Садовая, № 10) на случай оставления группы для подпольной работы в городе.

13 октября 1941 года товарищу Скули поручается руководство административно-хозяйственной частью управления связи и почтамта. При содействии вышеуказанных товарищей товарищ Скули прячет оставшиеся от эвакуации электромоторы, насосы, находящиеся в здании почтамта, в той же кочегарке.

15 октября 1941 года в 20 часов вечера в здание почтамта приехала группа минеров во главе с майором товарищем Калининным, и при нашем содействии с помощью охраны, находившейся в ведении товарища Скули, в 12 часов ночи были взорваны: центральный почтамт, одновременно с ним, с почтамтом, были взорваны центральная телефонная станция и лабораторный корпус по ул. Комсомольская, № 16, в соответствии с приказом командующего фронтом генерал-лейтенанта товарища Воробьева, предварительно выведя всех людей из помещений.

После проведения в жизнь приказа о подрыве вышеуказанных зданий, когда люди товарища Скули вернулись к этим объектам подрыва, то подрывная команда майора товарища Калинина отбыла в неизвестном направлении, в силу чего товарищ Скули с группой товарищей перешли на нелегальное положение.

25 октября 1941 года товарищ Скули в процессе своей организационной работы в подполье связывается с сестрами Кантарович Ольгой и Еленой[132], создав к этому времени группу товарищей для подпольной работы, состоящую из товарищей: Юркул Михаил, Куш Александр, Бузанов Георгий (погиб в гестапо, будучи пойман с поличным на базаре, то есть со сводками Совинформбюро), Стритинин Евгений, Владимиров Феодосий, Журавлев Иван, Будник Виктор, Довбня Иван, Сидельников Федор, Позднев Георгий, Никандров Михаил, Сырцов Иван, Гайневич Николай, Прокопович Иван, Сидельников Георгий, Погорелов Федор.

19 января 1942 года товарищ Скули имел уже связь с товарищами Кантарович Ольгой и Еленой – у них на квартире узнает о группе скрывающихся в квартире (подвал) евреев в количестве девяти человек, у коих при себе был радиоприемник системы «Телефункен» для приема сводок Совинформбюро и агитационного материала для распространения последнего в городе через сестер Кантарович и группы товарищей, руководимых товарищем Скули.

С приходом в Одессу румын – последние занялись налаживанием разрушенной связи в городе, для чего ими были привлечены работники связи: инженеры и другие, и товарищ Скули начинает проводить соответствующую работу среди этой категории людей, агитируя за саботаж приказов румынских властей о восстановлении связи, рассчитывая иметь поддержку в своей работе в лице инженеров товарищей Владимирова, Шестопала, Васильева, Вознюка и др. В результате чего он, Скули, Владимиров и Шестопал были 30 января 1942 года арестованы сигуранцей[133] 4-го отделения полиции.

В процессе своей агитационной работы товарищ Скули для добывания материалов с той стороны фронта пользовался сводками, получаемыми через приемники на квартире Кантарович и Радионовой (в обоих случаях имелись радиоприемники).

31 января 1942 года товарища Скули сигуранца 4-го отделения полиции привозит его к нему на квартиру для производства там обыска и на квартире в этот момент застаёт товарищей Сидельниковых, которые в это время разрушали пишущую машинку.

Тут же на месте, благодаря выкупу у следователя 4-го района полиции Радионова, – он, Скули, и Сидельниковы освобождаются. 5 февраля 1942 года он, Скули, при входе во двор к себе домой был арестован снова жандармерией и направлен в сигуранцу при префектуре полиции (Пушкинская, № 29), где находились уже на допросе инженеры товарищи Шестопал и Владимиров.

После допроса инженер Шестопал был освобожден, а товарищи Скули и Владимиров переводятся в военную сигуранцу – Бебеля, 12, где им были предъявлены обвинения: во взрыве почтамта, в связи с партизанами, в саботаже по системе сети как оставленным органами НКВД для диверсионной работы, и Скули как одну из улик-фактов было предъявлено, что он, мол, Скули, отправил свою семью в глубокий тыл (эвакуировал).

После допросов в военной сигуранце – Бебеля, 12, – товарищей Скули, Владимиров перевели в подвал сигуранцы – Бебеля, 13, где он, Скули, связывается по истечении некоторого времени с руководителем партизанской группы Володей Бодаевым-Молодецким по кличке «Смольный», от которого он, Скули, узнает о существовании в селе Усатово партизанской организации, скрывающейся в катакомбах, а также с Петром Николенко, Петром Добровым и Иваном Платовым. При наличии такого коллектива товарищей с помощью коменданта за подкуп последнего удалось наладить связь с волей. В подвал поступают газеты, которые читались по камерам и передавались с нижнего этажа наверх и наоборот. После шести допросов, сопровождавшихся побоями, он, Скули, был направлен вместе с Владимировым в Одесскую центральную тюрьму за подкуп следователя сигуранцы Сеулеску.

С 12 мая 1942 года, находясь в центральной тюрьме, товарищ Скули связывается с товарищами Бельмаком, Могиллой, Токаренко, за подкуп надзирателей Скули допускается к приему передач, при посредстве которых он связывается с членами организации Кантарович Еленой, Сидельниковой Еленой, находящимися на воле, при помощи которых получает в тюрьму сводки Совинформбюро, газеты, распространяя их, последние, по камерам (сводки устно). В сентябре 1943 года он, Скули, связывается с товарищем Токаренко Ефимом, при встречах на явке – Преображенская, угол Леккерта.

В декабре месяце 1943 года Скули спрятал на частных квартирах бежавших при его помощи четырех человек военнопленных красноармейцев (Лапушинская, Прокопович, Канонко – живут в Одессе, 2-й Водопроводный пер., № 1-а и 1-б и Водопроводный пер., № 2).

В феврале-марте 1944 года Скули связывается со слободской группой через Ивана Сырцова в пекарне на явке, конспиративной квартире – Лавочная ул., дом Теряевых, квартира Татьяны Теряевой, – где организовывается работа по распространению листовок.

С 28 марта 1944 года товарищ Скули со своей группой по паролю «39–52» связываются с отрядом, находящимся в катакомбах под руководством майора товарища Волгина, а с 30 марта 1944 года он, Скули, связывается с группой Андрея Ренка Водоканалтреста там же в катакомбах. Во время отхода румыно-немецких войск оккупантов товарищ Скули занимается деятельностью как помощник начальника особой спецгруппы до 10 апреля 1944 года по работе в катакомбах.

С 12 января 1942 года Кантарович Ольга и Елена (проспект Шмидта, № 14) прячут в подвале своей

квартиры четыре еврейские семьи в количестве девяти человек, имея в подвале радиоприемник системы «Телефункен», причем Кантарович Роберт, принимая сводки Совинформбюро, передает их сестрам Ольге и Елене для распространения последних на воле (после каждого приема сводок приемник прячется в подвал). Приемником пользовались на протяжении двух с половиной лет. Ольга, Елена и Роберт подделывали печати, паспорта и справки себе с целью скрывания своего (этнического) еврейского происхождения. Для печати русской использована была печать «Химпромпродукт», медная монета достоинством в 5 копеек, а также Люсей Калика[134] была в подвале Кантарович изобретена румынская печать (Калика Люся – Авчиниковский пер., № 10). Роберт Кантарович при помощи сестер Ольги и Елены занимается в подвале сбором всех газет, выходящих в Одессе в период оккупации. Газеты сохранены.

В феврале 1942 года Ольга и Елена Кантарович были арестованы жандармерией по обвинению в еврействе и как якобы оставленные по заданию органов НКВД для подрывной работы в городе. Был произведен обыск в квартире с целью задержания Роберта Кантаровича (свидетель Исаев – просп. Шмидта, № 14), но последний обнаружен не был.

В жандармерии Ольга и Елена подвергаются избиениям, но за выкуп освобождаются. С 22 мая 1942 года, с момента перевода Ольги Кантарович в Одесскую тюрьму из военно-полевого суда в связи с новым арестом и обвинением при наличии вещественных доказательств – фальшивого паспорта со штампом о ее пребывании в Львове, начинается более конкретная работа в тюрьме по связи тюрьмы с волей через Кантарович Елену, которая, будучи на воле, получает сводки Совинформбюро от брата Роберта, передавая их вместе с местными газетами ежедневно в тюрьму через Ольгу Кантарович посредством свиданий и передач. За взятки охране тюрьмы сводки Совинформбюро передавались в складках вещей, на дне корзины и в вареных варениках, кроме того, Елена Кантарович организовывала помощь для партизан, евреев, военнопленных, находившихся в тюрьме, в виде продуктовых передач, которые передавались Ольгой Кантарович, и последняя распространяла передачи среди этой категории товарищей.

Ольга Кантарович через сестру Елену из тюрьмы передавала большое количество разных записок на волю, записки доставлялись по адресатам.

Ольга Кантарович в самой тюрьме получаемые сводки Совинформбюро, газеты – распространяла через товарищей Скули, Бочковского, Доброва, Боровского, Фелову Наташу по камерам как в 1-м, так и во 2-м корпусах тюрьмы. Вся эта работа проходила до 25 октября 1942 года, то есть до освобождения Ольги Кантарович из тюрьмы за выкуп (взятка секретарю тюрьмы Кормушу).

Кантарович Елена, будучи на воле, распространяет на базарах, в трамвае, под тюрьмой[135], где есть возможность, устно сводки Совинформбюро, помогает женщинам под тюрьмой за взятки офицерам, солдатам – получать свидания и передавать передачи (свидетели Кучук Клавдия – Троицкая, 45, Калашникова Нина – Раскидайловская, № 1).

С 28 октября 1942 года, т. е. сейчас же после освобождения Ольги Кантарович из тюрьмы, последняя, зная уже сама нужды томящихся в тюрьме партизан, евреев, коммунистов, военнопленных, вместе с сестрой Еленой организовывала женщин под тюрьмой, в домах для оказания помощи голодающим и умирающим от голода в тюрьме (выдавалось в сутки 100 г мамалыги и вода-баланда).

Наряду со сводками Совинформбюро, газетами, поступавшими в тюрьму от них для голодающих,

они приносили и пищу, передавая все это через товарища Доброва П., продолжая поддерживать связь с Мишей Бочковским, Федором Скули, которым также передавали литературу. Бывали случаи в дни передач, а их было много, когда Кантарович Ольга и Елена за подкуп офицеров из охраны тюрьмы с организованными ими женщинами приносили прямо в тюрьму, на круг и в вестибюль, еду, одежду и через того же Доброва П., заранее знавшего от Бочковского Миши, что они придут, распределяли продукты и одежду среди голодающих партизан, евреев, коммунистов (особенно помогая еврейским детям), которых выводил Добров из камер на круг и в вестибюль посредством подкупа гардианов[136], на тот момент дежуривших.

23 декабря 1942 года и 8 февраля 1943 года из тюрьмы были два этапа, Кантарович Ольга и Елена, узнав от товарищей Бочковского и Скули об этих предполагаемых этапах, получив от них задание, организовали передачу как продуктами, так и одеждой и деньгами для этапированных, принеся все это под тюрьму, частично раздавая под тюрьмой. В тюрьме раздача проводилась через Мишу Бочковского и Доброва П., под тюрьмой раздавали Кантарович и организованные ими женщины. Безусловно, вся эта работа по оказанию материальной помощи, проводимая продолжительное время для голодающих в тюрьме, проводимая с воли Кантарович Ольгой и Еленой при помощи женщин, а в тюрьме с помощью Бочковского, Скули и Доброва П., была сопряжена с некоторым риском и рядом неприятностей. Были случаи, когда Бочковского Мишу за это закрывали в карцер, а Доброва жандармы и гардианы избивали (те, которые не были подкуплены), однако все это не останавливало никого. Товарищи Скули, Бочковский, Добров, получая с воли от Кантарович Ольги и Елены сводки Совинформбюро, газеты, – передавали все это из камеры в камеру, с этажа на этаж, с корпуса в корпус, поддерживая голодающих (свидетели Райкис Шура, работает в порту, Ободзинская Мария – Баранова, 15, Якерс – К. Маркса, 18, Николенко П. З. – Военный спуск, 3/43).

В феврале 1943 года через товарищей Бочковского и Скули передаются в тюрьму Кантарович Ольгой и Еленой материалы, посвященные годовщине РККА в 1943 году, полученные Кантарович Ольгой и Еленой дома у себя от товарища Мироненко В. Ф. (Уютная, № 8), которая работала в подпольной организации в группе товарища Василькова, а доктору Стояновой Кантаровичами был отнесен один экземпляр этих материалов для читки их среди работников Медицинского института по системе: «Прочел – передай другому» (свидетель доктор Стоянова – ул. Торговая, 49). Кантарович Ольга и Елена продолжают на базарах, под тюрьмой устно распространять сводки Совинформбюро, невзирая на то, что Бочковского Мишу выслали в лагерь Вапнярка, а Скули Федора выпустили на волю (свидетель Новицкий – Леккерта, № 6).

С июня месяца 1943 года для еще лучшей работы и связи с тюрьмой Кантарович Ольга и Елена поступают на работу продавщицами в продуктовый магазин, находящийся против тюрьмы, к владелице Бобровской Ядвиге, и, работая продавщицами, они через находящихся в тюрьме старых заключенных, которых они, Кантаровичи, знали по тюрьме, – товарищей Селинова Михаила, Габрилиана Михаила, налаживают связь и работу, которая принимает более расширенные размеры, потому что Селинов и Габрилиан имеют возможность выходить за ворота тюрьмы и заходить в магазин (как носившие передачи с улицы по камерам).

Эти создавшиеся условия дали возможность продолжать передавать в тюрьму сводки Совинформбюро, газеты, вести, переписку с волей и, наоборот, в большем масштабе (вся почта проходила в основном через магазин). В период, когда в тюрьме были карантин и передач тюрьма

не принимала, то в магазин женщины приносили передачи, и Кантарович, имея уже связь с жандармами и гардиянами, посредством подкупа последних, передавали передачи в тюрьму по назначению, организовывали свидания (так как свидания были запрещены), особенно проводя эту работу для группы сельских партизан сел Варваровки и Александровки (свидетели Николенко П. – Военный спуск, № 3, Савельев А. с женой – Петропавловская, 29, Катрич Иван и Смирнов, жители села Варваровки).

Товарищ Забора Елена – также получала от Кантарович из магазина продукты и деньги, приходя под тюрьму, передавая все получаемое и свое принесенное голодающим в тюрьму. Кроме этого, Боровский М. (ул. Лагерная, возле тюрьмы) получал от Кантарович сводки Совинформбюро для распространения последних, где это возможно, затем он, Боровский, помогает Кантарович Ольге спасти удравшую при помощи последней из тюрьмы Татьяну Заславскую, имевшую 25 лет по суду, которую передевают в магазине и выводят к Боровскому домой (свидетельствуют адвокат Бродский – ул. К. Маркса, № 20, Савельев – Петропавловская, № 29).

Наряду с проводимой работой в тюрьме, Кантарович Ольга и Елена организовали работу среди военнопленных РККА, находившихся неподалеку от тюрьмы в лагере, а именно приходившим в магазин военнопленным передавались устно сводки Совинформбюро, а также частично оказывали материальную помощь военнопленным в виде продуктов, в результате чего в добровольческий штаб № 117 поступает донос Дмитрия Васильева на Кантаровичей о том, что они евреи и занимаются в магазине подпольной работой во вред существующего строя, в результате чего у Кантаровичей был на квартире обыск, никаких улик не было обнаружено, и за взятку Кантаровичи у агента забрали этот донос, откуда и узнали автора доноса. Донос был сожжен в присутствии агента тут же дома на квартире Кантаровичей.

5 февраля 1944 года Кантарович Елену арестовывают как еврейку и отправляют в тюрьму, где она продолжает, получая от сестры Ольги через Мишу Селинова сводки Совинформбюро, газеты, – распространять последние среди женщин в 5-м корпусе.

Сестра Кантарович Ольга продолжает держать связь с товарищем Скули на воле, получая от него указания.

29 февраля 1944 года Кантарович Елена была освобождена из тюрьмы полковником-прокурором военно-полевого суда Салтан за взятку (имеется справка об этническом происхождении), а 30 февраля 1944 года в доме Кантарович полиция 1-го района производит обыск по обвинению Кантарович в еврействе (но за взятку дело снова прекращается).

При выходе из тюрьмы Кантарович Елена, последняя с сестрой Ольгой, организовывают побег Селинову Михаилу, который продолжал все время передавать почту (сводки, газеты и т. п.) из магазина в тюрьму и обратно, вплоть до побега, т. е. 16 марта 1944 года, через Доброва Петра по 1-му корпусу, Николенко П. по 3-му корпусу и Соифера по 2-му корпусу (расстрелян).

16 марта 1944 года Селинов Михаил вечером совершает побег при помощи Кантаровичей, последние его направляют на квартиру в город, где он находится до прихода Красной Армии, и 11 апреля направляется в действующую Красную Армию.

Перед сдачей тюрьмы румынами немцам румыны за взятки освобождали многих заключенных, в частности, были освобождены при помощи Кантаровичей – товарищ Добровольский, осужденный на 25 лет за хранение оружия (выкуплен через своего дядьку Каменчука – Становая, 10/35), Тимченко,

осужденный к шести годам тюрьмы за листовки советского содержания (Лагерная, № 47). Кроме того, Кантаровичи помогали женщинам связаться с секретарем тюрьмы для выпуска через последнего за взятки своих родственников (свидетельствуют Тимченко Валентина – Лагерная, № 47, Драгомирецкая – Лагерная, № 13).

В первых числах апреля 1944 года, после ухода из тюрьмы немецкого карательного отряда, Кантаровичи уходят из магазина под тюрьмой, переключив свою работу по распространению сводок Совинформбюро на базары (устно при продаже пирожных с лотка), и эта работа проводилась до 8 апреля 1944 года.

При отходе румыно-немецких войск на квартире Кантаровичей дополнительно к скрывавшимся два с половиной года еще добавляется шесть человек, мужчин, боявшихся попасть в облавы по городу и быть либо угнанными в Германию, либо уничтоженными (свидетельствуют Кочук Анатолий – Троицкая, № 45, Деонченко Андрей и Михаил, Кванин с сыновьями – Авчиниковский пер., № 7).

В 1942 году во время нахождения в подвалах сигуранцы товарищей Скули, Николенко, Доброва – на Бебеля, 13, ими была организована работа по объявлению политической голодовки, которую произвела Лида Машковская, в результате чего она была вскоре освобождена, а по тюрьме в том же 1942 году этими же товарищами была проведена работа по объявлению политической голодовки, которую проводили Евгения Гловацкая (в результате чего была освобождена полковником-прокурором Салтан) и Бантышева Александра (также была освобождена).

В тюрьме в феврале 1943 года товарищи Николенко, Скули организовали бунт, так называемый табачный, после отобрания табака и спичек, в результате чего все было возвращено арестованным. В марте 1943 года были запрещены передачи в связи с побегам, и тут товарищи Скули с Николенко добились разрешения для всех арестованных покупать продукты питания через гардианов в результате нового бунта.

С приходом в Одессу Красной Армии товарищ Скули сдает 110-му отряду ВОХР связи – 16 винтовок, 2000 патронов, пистолет-револьвер с патронами, машинку, радиоаппарат, моторы, насосы для восстановления связи – все хранившееся во время оккупации и извлеченное из кочегарки. По требованию Обкома можем сдать при отчете комплекты газет, выходивших в Одессе при оккупации, печати – русская и румынская, стихи и письма, писанные в тюрьме и сохраненные до сих пор, а также фальшивый паспорт.

Уважаемый товарищ Михозлс![137]

Как радостно мне сегодня, когда могу написать Вам несколько строк, не боясь гестапо.

Вас, наверно, удивит, почему именно я к Вам обратилась, а это потому, что сильно тяжело чувствовать унижение, но еще больше, когда на протяжении трех лет, невзирая на весь риск, ведешь борьбу с существующим строем румынской оккупации.

А теперь тебя стараются затереть. Мне могли дать образование, мне мои родные дали воспитание, но родить меня другой нации не могли.

А теперь мне приходится терпеть и видеть, как труд и риск затирается.

Вы будете сами читать доклад, и Вам кое-что станет понятно.

У меня к Вам величайшая просьба, и я думаю, Вы сумеете исполнить. Прошу выслать мне временный пропуск на проезд к Вам, и тогда я сумею большее Вам досказать.

Если не сумеете, то не делайте во вред Вашему положению.

Заранее благодарна.

Западная Украина

Лагерь принудительных работ

Воспоминания Степана Якимовича Шенфельда

[138]

[1943]

[Львов, ул. Яновская, 134]

Это было осенью 1942 года. Дождливые тучи стояли над городом Львовом. Начало ноября месяца принесло уже и морозы.

В субботу 14-го, ранним утром, как и всегда, я поднялся из моей складной койки (из-за тесноты применялись складные кровати), помылся и стал одеваться в драный комбинезон. Поднялись и все мои сожители. (В маленькой комнате проживали две семьи.) Моя бедная матушка дала мне позавтракать, и я вышел из дома, направляясь на работу. Было еще темно. Вонючие, грязные лужи на улицах еврейского квартала замерзли, и воздух был относительно чист, и почти не чувствовалось постоянно господствующего здесь запаха. В темноте видны были силуэты людей, направляющихся на места работы. Все шли спеша. Кое-кто на ходу кончал свой скупой завтрак. У каждого на правой руке виднелась белая повязка с синей шестиконечной звездой, отличительным знаком евреев. Я шел быстро. Прошел дверь в заборе, закрывающем квартал, сразу же окружили меня перекупщики, торгующие хлебом, блинами, варениками по невероятно высоким ценам. Так как жителям еврейского квартала выдавалось только сто граммов хлеба в день, население голодало. Питалось оно тем, что могло покупать у спекулянтов неевреев, имеющих связь с деревнями, взамен за одежду или другие ценности, которые продавали по безобразно низким ценам. Кое-кто из выходящих из квартала, так называемого гетто, покупал кое-что и продолжал спешно идти. Я смешался с толпой трудящихся из других кварталов города. Почти у всех те же самые утомленные одиннадцати- или двенадцатичасовым рабочим днем лица. Только уж редко попадались белые повязки. Быстро поднялся по крутой улице Яновской, повернул на улицу Перацкого и очутился перед подъездом учреждения, где работал рабочим. Свет раннего утра указал мне зеленую форму, стальной шлем, а в нем самом жирное зверское лицо часового. В испуге поднимаю руку к фуражке, стягиваю ее с головы. Хорошо помню это утро, когда нашелся перед [пропуск в тексте]. Ничего не подозревая, приблизился к караулу, и он схватил меня за плечо, бросил мою фуражку в уличную грязь и стал руками и ногами преподавать мне правила «учтливового» отношения к немецкому солдату.

Машинально достаю из кармана справку с фотоснимком с места работы. Солдат смотрит на меня, на снимок и наконец машет рукой. Этот жест обозначает разрешение войти. Нахожусь на территории так называемого ГКП 547 (автомашинно-ремонтный парк). Направляюсь в отделение по уборке поломанных машин, металлов и т. п. В шесть часов начинается рабочий день. Рабочие шевелятся на площади, занимаемой отделением, передвигая ржавые, металлические части машин с места на место без смысла и цели, «как бы немец не заметил, что отдыхаешь». Один за одним тянутся часы. Только о том и думаешь, чтобы дождаться перерыва. Уже 7, 8, 9, все ближе и ближе, уже 10, 11, 12, только полчаса осталось...

В три четверти двенадцатого – колокол. Удивленно бросаем работу. Как это возможно? Неужели подарили нам пятнадцать минут, смотрим вокруг и видим что-то необыкновенное; все ходы

закрыты, а солдаты, наши начальники, с автоматами в руках. Через несколько минут нас устроили в три ряда и повели на площадь, где уже стояли рабочие-евреи из других отделений. Скоро пришли офицеры, командующие парком, во главе с майором. Все сразу узнали его по высокому росту и лицу, похожему на морду расового английского бульдога. «С сегодняшнего дня начиная, не будете после работы возвращаться в гетто. Мои солдаты будут провожать вас в лагерь принудительных работ СС», – сказал и ушел, а за ним офицеры. Выстроенных в пять рядов, нас повели Яновской улицей в сторону концентрационного лагеря. Скоро мы увидели на правой стороне кирпичный забор, вдоль которого прохаживались люди, одетые в черные формы с серыми воротами и манжетами и вооруженные винтовками. Это были «казаки»[139], охранники лагеря. В конце забора висит большая широкая парадная, над которой виднеется надпись, сделанная из многочисленных электрических лампочек: «Лагерь принудительных работ СС». Нас ввели в лагерь. «Казаки», караулящие при подъезде, встретили нас грубыми шутками. Мы находились на просторной площади, покрытой снегом. По двум сторонам площади стоят здания, возле которых работали оборванные, грязные люди с желтыми латами на спинах и грудях. По третьей стороне видны здания, в которых помещаются конторы лагеря, по четвертой стороне двойной забор из колючей проволоки и деревянные караульные башни, на которых стояли «казаки» с пулеметами. За забором находится сам настоящий лагерь. В углу забора находится дверь и будочка. Часы над будкой показывали один час. Нам велели стоять. Мы стояли на снегу и смотрели вокруг, ожидая какой-нибудь перемены. В три часа мы увидели лошадь, на которой ехал верхом хорошо всем известный кровожадный командир лагеря СС унтерштурмфюрер Густав Вильхаус. Приблизился к нам и остановил лошадь. Посчитал нас. Пятьсот с лишним человек. Офицер был недоволен: ожидал восемьсот. Почти триста человек сумели бежать по дороге. После подсчета обратился к нам с речью на немецком языке: «С этого момента вы являетесь жителями лагеря принудительных работ СС. Удаляться из лагеря на работу будете только с конвоем. Вас обязывает строжайшая железная дисциплина. За малейшую провинность ожидает вас смерть или на виселице, или расстрел. Будете разделены на бригады. За полный порядок в бригаде отвечает бригадир. Понятно всем?» «Понятно», – отвечаем. Вильхаус уезжает.

Приближаются к нам два эсэсовца с автоматами. Кроме автоматов, у каждого в руке кожаная плетка со свинцом на конце. Ведут нас в здание конторы. Каждого входящего в контору встречает эсэсовец Битнер: «Деньги у тебя есть, давай все!» Смотрит в карманы, в сумки, щупает одежду. У кого находит хотя одну спрятанную копейку, того бьет плеткой до крови, топает ногами. Забирает все документы, часы, кольца и т. п. Все документы бросает в мешок (как о том позже узнал, сжигают). Забирают тоже белые повязки. Служащие записывают фамилию, имя и другие данные. После этого наступает пришивание желтых лат с номером. В этот момент я почувствовал, что перестал быть собой, а стал просто членом концентрационного лагеря № 14.

Потом ведут группы человек по пятьдесят в зал, где работают заключенные парикмахеры. Всех стригут под нольку. Несмотря на то, что стрижка проводится для гигиены, я совсем уверен, что парикмахеры оставляют каждому своему гостю немалое количество насекомых, так как зал полон срезанных волос, кто знает, как долго здесь валяющихся, и сами же парикмахеры не очень-то чисты. В этом же зале пишат красным лаком ленты вдоль спин на одежде кандидатов. Все эти церемонии происходят в присутствии эсэсовцев, которые бьют свои жертвы, насмеваются и всяким способом

издеваются над ними.

Повели нас в барак. Барак представляет собой длинное низкое здание, слагающееся из двух залов, между которыми находится коридор. Залы эти имеют вид каких-то странных кладовых с шестью рядами пятиэтажных полок.

С удивлением мы узнаем, что эти полки являются нарами, на которых будем спать. Мы заняли места. Было очень тесно, и кости болели от столкновения с твердыми досками. Потому что расстояние между нарами повыше и пониже было чересчур малое, нельзя было даже сесть прямо. При каждом движении лежащего надо мною товарища сыпалась в мои глаза пыль из досок его нар. Несмотря на мороз, господствующий на дворе, здесь было невыносимо жарко от дыхания сотен грудей. В десять часов вечера потушили свет. Все лежали на нарах. Возле дверей стояли так называемые орднеры, т. е. наблюдающие за порядком в бараке. Их начальником является лагерный полицейский, выдвинутый из заключенных, вооруженный резиновой палкой. В лагере пребывало тогда около пяти тысяч человек, в том числе около полутора тысяч поляков и украинцев, остальные евреи.

Полицейских, власть которых ограничивалась только до евреев, было около десяти. Часть из них чувствовали себя прилично на своих постах: били, грабили и издевались, но часть из них помогали заключенным сколько могли. Все они, подлые и хорошие, знали, что их ожидает та же самая судьба, что всех евреев под фашистской властью. И действительно, начальники полиции менялись быстро, один за другим. Такова была судьба начальника Шефлера, которого немцы использовали при закапывании своих жертв в песчаных горах возле Львова, месте казни всех неудобных им ни в чем не повинных людей.

После одной из казней, которой жертвами пала группа детей и женщин и при которой присутствовал Шефлер, эсэсовцы, опасаясь оставить живого свидетеля своего преступления, расстреляли и его. В половине четвертого утром второго дня моего заключения будит всех в бараке громкий голос лагерного полицейского Ормлянда: «Вставать, подъем, вставать!» Зажигается свет. На нарах начинается движение. Заключенные потягиваются по лестницам вниз. Понятно, что из-за тесноты топают по головам тех, которые стоят в узких проходах между рядами нар. Начинаются ссоры, ругань. Спускаюсь осторожно с четвертого этажа, где пролежал эту ночь. Благополучно приземлившись и никого не задев, направляюсь к выходу, помогая себе голосом и локтями.

Перехожу коридор, где в углу полицейский угощает кого-то палкой. Выхожу наружу. На дворе еще полная ночь. Дует теплый ветер, и площадь, вокруг которой стоят бараки, покрылась противной глубокой грязью. Прыгая по менее болотистым местам, я приблизился к двери малого здания, распространяющего вокруг пронизывающую острую вонь. Перед дверью этой, как, наверное, все догадались, уборной, толпились оборванные, худые, сгорбленные, дрожащие от ветра существа, когда-то бывшие людьми.

Дождавшись очереди, я вошел в вонючий зал. И здесь, как снаружи, люди толпились и толкали друг друга. Вследствие этого нередко случалось, что едва стоящие на ослабленных ногах заключенные, поскользнувшись, падали в грязь. Почти все остальные имели столь окаменевшие совести, что большинство оправлялись, ляпая на упавших. И в этой невероятно противной атмосфере, в вони и грязи, при виде оправляющихся грязных тел, сосредоточились все встречи между знакомыми, а также торговля лагеря. Здесь торгуют хлебом, кашей, фруктами, одинокими кусками сахара, пилюльками сахарина. Иногда можно найти даже малое и грязное, пожатое запачканными руками

пирожное. Поскорее уйду отсюда и направляюсь к бараку. К счастью, не доходя к нему, я заметил опасность: изнутри толпой бежали мои товарищи. Над их плечами и головами поднималась и опускалась с ослепительной быстротой знакомого мне уже вида кожаная со свинцом плетка и доносился немецкий голос: «Быстрее, быстрее, ты еще здесь, еще не вышел! Идите умываться!» Мы направились к длинному зданию, где имелись краны со скупо текущей водой. Внутри толпа грязных человеческих теней. Умываться. Легко сказать, только трудно выполнить. Сырой ветер сквозит вдоль барака. Люди толпятся тесно, не только нельзя снять пиджак, но даже невозможно поднять руку к крану, ни сполоснуть сонные глаза. Наконец с помощью локтей «помылся». Чувствую обязанным объяснить значение этого слова, а именно, мыться значит сполоснуть руки и влажными пальцами тронуть веки и часть лица. Понятно, что о мыле никто и не думает. Таким образом, уже «очищенный» я вышел на двор и, чувствуя утренний холод на лице, высушился в отсутствие полотенца носовым платком. В полной уверенности могу сказать, что на каждого, кто посетил одну из двух выше мной описанных «гигиенических» институций, перелезли и перепрыгали целые отряды насекомых всякого вида, ищущих новые, богатые пищей территории.

После выхода из умывальной я очутился на малой площадке. По ее левой стороне увидел здание кухни с ее окошками, где выдавали длинным очередям заключенных редкую черную жидкость, т. е. кофе. По другую сторону площадки, наверно, для улучшения аппетита питающихся, в кухне стоит виселица.

Не имея посуды, я перешел площадку, направляясь к баракам, расположенным чуть ниже.

Ничтожный свет осеннего пасмурного утра указывал два прямоугольно стоящих ряда однообразных желтых барачных длиной и шириной метров в десять-двенадцать. Каждых два барака были соединены коридором, образуя, таким образом, одно низкое здание длиной в 25, а шириной в десять-двенадцать метров. Кухня, умывальная и построенный рядом с ними самый большой, противный барачный образовали вместе с вышеописанными бараками подкову, окружающую с трех сторон просторную, покрытую грязью площадь, по бугоркам и долинам которой струились грязные ручейки. Вокруг всех зданий и площади я увидел густой, метра в три, высокий забор из колючей проволоки... В расстоянии полутора метров от него второй, точно такой же, забор.

Между заборами прохаживался охранник – «казак», предатель, в такой же форме, как те, которых я видел, входя прежнего дня в лагерь. На полях и холмах за заборами виднелись вокруг лагеря башни. На башнях стояли «казаки», вооруженные пулеметами. На каждой башне висели мощные прожектора, качающиеся под влиянием ветра. Тоже на заборах светили еще лампы. Слева за лагерем милые, уютные, незадолго до войны построенные дачи. Там проживают эсэсовцы, командующие лагерем. Наверное, спят спокойно на теплых кроватях. За мною высокие холмы, покрытые увядшей травой. Справа и напротив железнодорожный путь, а дальше в гуще попутанных рельсов Главный и Клепаровский вокзалы.

По рельсам ползут паровозы и тянут за собой ряды нагруженных вагонов, дыша со свистом и выпуская из своих труб тучи дыма.

Вот один из них быстро продвигается вправо, прячется на минуту-две в балке возле лагеря. Один за другим исчезают вагоны. Только облака черного дыма поднимаются из невидимого паровоза. А вот и он, его черное, блестящее тело указывает правее, и опять ряд красных вагонов, больших и малых, движется в снегу. Поезд поворачивает вправо и окончательно скрывается за холмами – опять вагон

за вагоном тонет, как будто бы под землей. Еще десять вагонов, пять, два, один, и все исчезло. Куда направляется длинный ряд вагонов? Куда-то на восток, на восток, где храбрые бойцы страны свободы, страны цветущей жизни, страны счастья и радости борются за нашу общую Родину, за нашего мудрого, любимого отца, вождя и друга, за Сталина. И вдруг поднимается мне грудь жалостным вздохом, чувствую скорбь, что я нищий, заключенный в строжайшем концентрационном лагере, над которым свистит нагайка ээсовцев и гремят выстрелы из пулеметов, не могу поехать этой дорогой на восток! На восток к бойцам социализма, чтобы в их рядах бороться за общее дело. Но знал, что моя мечта совершится в недалеком будущем.

Я направляюсь в «мой» барак. Прибыл туда как раз в тот момент, когда бригадир делил хлеб. Каждый заключенный получил один кусок. Кусок такой должен был весить по норме 175 граммов. Но в большинстве случаев не превышал весом 120 граммов. Хлеб был черен, полон отрубей, и его очень трудно было глотать. Я взял хлеб и поднялся на нары четвертого этажа, на мое место, потому что внизу было невыносимо тесно и все время люди толкали друг друга. Не успел еще скушать мой кусок хлеба, как внизу раздался голос лагерного полицейского: «Выходите и бегите на зарядку. Через десять минут барак должен быть пуст». Я спрятал недоеденный кусок хлеба в карман и стал ожидать момента, когда можно будет спуститься на пол, не делая никому вреда. Дождавшись, одним прыжком осунулся вниз, боясь, чтобы опять кто-нибудь не заградил мне дороги. Когда стоял уже на полу, услышал громкий голос полицейского: «Смирно! Шапки снять!» В двери показывается зеленая форма и морда профессионального бандита. На плече висит автомат, в поднятой руке нагайка. Это шарфюрер Эплер. Все голоса молкнут. Слышны только поспешные удары сотен ног выходящих из барака о пол и свист плетки, ударяющей и плечи и головы выходящих. Через минуту и я дошел до двери. Нагайка опять свистнула, и я почувствовал на выбритом черепе острую пекущую боль. Я выскочил на двор, пощупал рукой голову и почувствовал под пальцами толстый шрам. При столкновении с холодным воздухом мне стало очень больно, и я быстро прикрыл голову. Я направился на большую площадь лагеря, где уже все бригады сформировались в пять рядов. Слышны были крики людей, ищущих свои отделения. Нашел свою группу и встал в ряд. Мы стояли долго в грязи, и я доел свой кусок хлеба. От нечего делать я стал присматриваться к окружающему. С удивлением заметил, что вся громадная площадь, расположенная между подковой зданий и забором лагеря, заполнена толпой оборванных, хилых существ. Просто непонятно было, куда все эти люди деваются ночью. И только нужно было вспомнить эти ряды пятиэтажных нар в бараках и невыносимую тесноту на нарах, чтобы понять этот удивительный и невероятный, а все-таки истинный факт. Вдруг донесся до моих ушей знакомый мне звук ударов нагайки о человеческие спины. Сзади за рядами заключенных, обернувшихся спинами к баракам и лицами к забору, незаметно появился шарфюрер Шенбах и стал угощать своей плеткой каждого, кто стоял поблизости, с целью привести дисциплину и порядок в ряды ослабевших во время долгого ожидания. Группа, среди которой я находился, стояла столь далеко от места, где «работал» Шенбах, что успела сама навести в своих рядах порядок, вследствие чего мы получили относительно малое количество ударов. Скоро после этого происшествия начался так называемый утренний Appel под командованием шарфюрера Коланко с помощью Шенбаха. «Шапки снять!» – раздается команда. Снимаем шапки. «Шапки надеть!» – кричит немец. Надеваем. Шапки снять! команда. Шапки надеть! повторяется. Такие упражнения проводятся по несколько десятков раз во время одного Appеля, не

считаясь с погодой, летом и зимой, в дождь, снег, жару и мороз, пока это не надоест самому режиссеру «спектакля». При этом эсэсовцы ходят между рядами и учат заключенных правилам этого упражнения. Учеба происходит в главной мере с помощью плеток и розог, а роль языка заключается только в ругани и всякого вида криках на немецком языке, в большей или меньшей мере понятных. Затем слышна какая-нибудь речь о том, чего нельзя и что категорически строго запрещается, но никогда о том, что разрешается. Мы, стоящие на наиболее отдаленном крае площади, понимаем только одно: «Строжайше запрещается», произнесенное хриплым от крика голосом. Позже слышно только голос, но слов никак нельзя различить, кроме последних: «Поняли?!», и тогда вся толпа громко отвечает: «Поняли». Затем те, которые стояли поближе и получше слышали, рассказывают тем, которые не слышали, шепотом то, что немец говорил. Затем читают несколько фамилий. Это фамилии тех, которые будут наказаны или переведены из одной бригады в другую. В большинстве случаев вызванный не слышит фамилии. Немцы вызывают вторично или приказывают делать это служащему конторы лагеря так долго, пока заключенный не услышит. За то, что не прибежал при первом вызове, наказывают его на месте плеткой, не разрешая оправдываться.

Очень часто смертные приговоры бывают выполнены сразу же во время апелляции для указания всем остальным заключенным судьбы, ожидающей их за малейшее неповиновение.

Зависимо от вида «преступления» виновника или сразу убивают, или же дают ему перед смертью двадцать пять раз по голой заднице. Тела расстрелянных убирают на обыкновенных малых носилках для песка или камней, так что ноги и верхняя часть тела убитого качаются возле ног носящих носилки. Иногда приговоренных ведут меж заборами возле выхода из лагеря. Всем известно, что тот, кто войдет в это место, т. е., как принято говорить, «меж проволоки», выйдет оттуда только на смерть. Нередко немцы убивают заключенных, стоящих в рядах, без всякой причины, или ранят их, избивая плеткой. Зарядка кончилась.

Наконец раздается голос команды: «Ровным шагом вперед марш!» Колонны выходят из лагеря. Уже вышло несколько бригад, наступает наша очередь. Впереди слышно музыку, исполняющую какой-то марш. Властители лагеря создали капеллу из заключенных, обладающих музыкальным талантом, и видных артистов. Бригадир произносит команду: «Бригада, шагом марш! Шапки снять!» Проходим несколько шагов. Находимся у выхода из лагеря. Левее стоит желтая будочка, возле которой видно несколько эсэсовцев с плетками. Правее два проволочных забора. Между ними несколько человек. Некоторые лежат в грязи, другие сидят или стоят. Присмотревшись к одному из лежащих, я узнаю, что это покойник. Позже рассказали мне, что прошлым вечером немцы бросили его сюда как больного, и он ночью скончался. Мертвые глаза смотрят куда-то в бесконечное пространство стеклянным взором, смотрят спокойно и, можно даже сказать, радостно. Наверное, покойник радовался перед смертью, что впервые после нескольких месяцев перестанет бояться нагайки, что никто не будет издеваться над ним, а тело его не будет чувствовать боли, утомления, холода, голода, что впервые получит отдых – бесконечный, заслуженный отдых. Один полуживой-полумертвый лежал, опершись на покойного. Грудь его дышала с тяжелым стоном. Лицо он имел худое и поросшее редкими, седеющими, короткими волосами. Казалось, что бедный больной уже умирает, только одни глаза отрицали это, нервно передвигая взор с одного объекта на другой, горели каким-то сильным странным блеском. Глаза его столь обращали на себя внимание, что смотрящему на них казалось, что они занимают половину лица. Два заключенных стояли, опершись на забор, и смотрели

грустно на передвигающиеся колонны выходящих из лагеря. Ибо знали, что они уж только однажды перешагнут эту дверь, когда через несколько часов нагрузят их на автомашину и повезут в противоположный край города к песчаным горам, где окончится их жизненный путь. Лиц остальных не было видно.

Бригадир, бледный и дрожащий, становится смиренно перед шарфюрером Коланко: «Бригада ГКП, утиль отдел, пятьдесят три человека». Немец хриплым голосом командует: «Ровным шагом вперед марш!» Трогаем с места. Эсэсовцы считают нас. Впереди возле здания конторы стоит оркестр и, напрягая все свои силы, исполняет все тот же самый марш. Поворачиваем вправо. Прошедший несколько шагов бригадир командует: «Шапки надеть!» Так как наше учреждение не работает в воскресенье, останавливаемся на площади возле лагеря. Через дверь входят остальные бригады. Кое-какие идут прямо, направляясь на места работы. Часть по поводу воскресенья поворачивает вправо и становится рядом с нами. Видно через заборы, как толпа на площади в лагере становится все меньше и меньше. Бригада за бригадой дефилирует перед эсэсовцами при выходе. Несколько раз отделяют кого-то от его колонны. Немцы бьют его со всех сторон плетками и вталкивают «меж проволокой». Группа между заборами растет.

Наконец выходит последняя бригада. Оркестр трогает и, играя все тот же марш, входит на территорию лагеря.

Приближается к нам полицейский и сообщает, что будем работать при очистке площади, на которой находимся, а также при сортировке досок, брусков и прочих материалов, которыми забросана площадь.

Начинается «работа». Руководят ею десятники бригад, которые занимаются здесь постоянно. Мы будем работать здесь только сегодня, т. е. в воскресенье. Наше задание заключается в том, чтобы перенести несколько куч материала из одних мест в другое, ибо другой работы нет, а заключенный ведь не имеет права на отдых. Вместе с одним моим товарищем выбираем легкую, но длинную доску, поднимаем ее на плечи и несем медленным шагом вокруг всей площади. Затем мой товарищ кричит изо всех сил: «Раз, два – бросили!» Бросаем доску. Поднимаем другую, идем с ней обратно и опять: «Раз, два – бросили!»

Повторяем эту игру, пока не надоест. Тогда прячемся за кучу материала. Немножко погода выходим и продолжаем «работать». Таким способом трудятся и все другие. Бригадиры громко кричат и ходят с места на место, как будто бы указывая, куда бросать, откуда убирать и как укладывать материал. Вся эта толпа имеет для смотрящего вид очень занятой и думающей только о том, чтобы лучше работать. Все это продолжается до прибытия на площадь какого-нибудь немца. Эсэсовец бьет каждого, кто попадает под его плетку. Бьет за то, что рабочий слишком мало материала поднял, за то, что слишком медленно работает. Хотя каждый стремится не дать причины для наказания, бьет и ни за что, для того лишь, чтобы насытить свой садизм. Так как площадь лежит вне территории лагеря, охраняют ее «казаки». Считаясь с тем, что зима приближается, эти молодцы ходят между работающими и подготавливаются ко встрече мороза, а именно – грабят перчатки. Через несколько минут это уже всем известно. Прячем перчатки в карманах, но и это не помогает. «Казаки», не находя их на руках, не стесняются и ищут в карманах, оставляя только совсем драные. После такого рабочего дня ни у кого не найдешь пару хороших или даже мало драных перчаток.

В 11.30 перерыв. Бросаем работу, становимся в группы и идем к кухне. Возле будки при входе в

лагерь считают нас. Перед окнами кухни длинные очереди. Наша бригада становится в очередь, ожидает супа. Я одолжил котелок у знакомого, который уже пообедал. На дне котелка была ложка песку. Я пошел помыть посуду. Когда возвращался, увидел то, чего до этого случайно не заметил. На виселице возле кухни висел труп человека, но висел на ногах. Лицо имел пухлое и покрасневшее. Руки тоже пухлые висели вниз, качаясь на ветру. Фуражка его лежала в грязи под трупом. Я почувствовал дрожь. Но голод слишком мне надоедал и, разыскавши мое место, встал в очередь. Наконец, дождался.

Подошел к окошку и поставил котелок на бляху над большим котлом, из которого поднимался густой пар. Повар вынул разливную ложку и налил в мой сосуд. Суп, с размахом налитый, разлился частично и поплыл обратно в котел, сполоснувши мне руку. Посмотревши в сосуд, я увидел серую жидкость, а в ней несколько картошек, сваренных с лушпайками[140].

Уходя от кухни, еще раз взглянул на виселицу. Возле нее стоял сейчас эсэсовец Розенов, незаметно появившийся. Зверь этот поднял из грязи фуражку покойного и, смеясь, натянул ее на его ногу. Затем стал плеткой бить мертвое тело, все время дико смеясь. Больше я уже не видел, ибо побежал быстро в барак. Скушал суп, хотя распространял он вонь гниющей картошки, кроме которой ничего другого в нем не нашел. Я чувствовал столь сильный голод, что слопал даже лушпайки. На дне котелка и сейчас осталась ложка песку.

Я думал уже выйти из барака, когда увидел двух людей, идущих с супом из кухни. Лица их были облиты кровью и выглядели, как будто бы порезанные ножом. На мой вопрос один из них ответил, что Розенов, поигравши с трупом, стал бить живых. Попало большинству ожидающих супа.

В полпервого кончается перерыв. Опять выходим на работу. Вечером после работы идем в барак.

Как ни крутились, как ни бездействовали, все же таки мы утомлены. Получаем хлеб столько, сколько и утром. Ложимся на нары. В десять часов тушится свет. Начинается вторая моя ночь в лагере.

Утро следующего дня в общих чертах похоже на предыдущее. Разница заключается только в том, что ужасы лагерного режима не производят на меня такого сильного впечатления. Так же, как и в первый день, происходит зарядка, так же с дрожью снимаем шапки у выхода. Там стоит в ожидании группа «казаков», чуть дальше отделение «еврейской службы» порядка, которого члены служат охранниками. Из последней группы отделяются два человека и идут возле нас. Это наш конвой. Проходим возле исполняющего непременно один и тот же марш оркестра и выходим на улицу Яновскую. Впервые вышли из лагеря! По тротуарам движутся одинокие люди. Как же мы им завидуем, их относительной свободе. Ведь они недавно поднялись из своих кроватей, помылись, оделись и, попрощавшись с родными, вышли из дома. Они надеются вернуться домой, где с любовью их ожидают родные. Правда, и они не знают, что с ними может случиться через ближайших десять минут, ведь и над ними висят черные тучи гитлеровской власти, гитлеровского нового порядка в Европе, они могут быть арестованы, вывезены в Германию, в концлагерь, могут быть расстреляны, но мы чувствовали, что наше положение хуже всех других.

Когда мы удалились немного от забора лагеря и принадлежащих к нему мастерских, мы заметили среди прохожих несколько человек с белыми повязками на руках. Это были родственники заключенных, пришедшие сюда, чтобы их увидеть хотя бы проходящих по улице, принести им пакетики с пищей или деньги.

Я стал смотреть вокруг, ища глазами. В самом деле, заметил отца. Отец тоже увидел меня.

Не стану рассказывать о нашей встрече. Скажу только, что получил пакетик с хлебом и маслом и немного денег. Как раз тогда, когда успел получить все это и стал на ходу рассказывать отцу все то, что со мной во время последних двух суток случилось, прибежал откуда-то сзади «казак», охраняющий какую-то бригаду, которая шла сзади нас.

Бандит схватил моего отца, потянул его в сторону, кинул на землю и затем стал смотреть в его карманы. Взял найденные деньги (к счастью, немного), принялся за перчатки. Снимая перчатки с ладоней отца, заметил на его руке часы, которые тоже пали жертвой бандита. Во время всей этой операции бил отца, оставив ему несколько ран на голове. Отныне отец, не переставая встречать меня ежедневно, стал осторожным и избежал «казаков».

[Письмо Я. З. Шенфельда сыну на фронт]

Дорогой, любимый сыночку!

Не знаю, жив ли ты или нет. Если тебя нет между живыми, могу утешаться только тем, что ты не погиб в рабстве, а ушел, как герой, павший за свободу и независимость Родины.

Если ты жив, прими мой отцовский привет. Помни дорогую мать, твоего брата Зигмунта, погибших от рук фашистов, и неси немцам мщение и смерть.

Отомстите!

Прощальные записи на стенах синагоги в Ковеле Волынской области. Письмо сержанта

С. Н. Грутмана И. Г. Эренбургу

[142]

В начале сентября сего года мне пришлось быть в гор. Ковель для розысков своей матери и тещи. Я знал уже их судьбу, однако мне хотелось найти хоть что-нибудь от них на память, может быть, фото или что другое. Приехал я в Ковель ночью. Скоро с рассветом начали вырисовываться развалины города. Сердце сжалось от тоски и боли. В 1940 году приехал я в Ковель и работал до начала войны завучем в еврейской школе. Какой это был живой, трудолюбивый городок!.. Развалины!.. Я прошел в «кварталь», где жили самые труженики, ремесленники, где жил и я, где осталась моя мать, где жили мои ученики, но я этого места не нашел. По приказу немецкого командования сами жители снесли свои дома. На этом месте камня на камне не осталось. Не видно никаких следов от домов: пустырь, заросший бурьяном в человеческий рост. Только одна большая синагога стоит внешне не тронутая, как на посмешище. Невольно я зашел в этот дом, где люди проходили свою жизнь от колыбели до могилы, где люди боготворили, благословляли труд и плоды своих трудов. Что ж представилось моим глазам? Огромное, пустое, двухэтажное помещение на тысячу-полторы человек. Алтарь снесли. Свитки Торы сожжены, скамеек нет, а стены испещрены дырками от автоматных очередей. Два огромных льва, единственные «живые» свидетели ужаснейшего зверства, которое творили гитлеровцы в этом некогда Божьем храме.

Невольно остановился на самом пороге, видя опустошение, поругание над святым домом, и уж думал уходить, но хотелось ближе рассмотреть и исследовать дыры в стенах: были ли тут бои? Или, быть может, это был опорный пункт немцев? При подходе к этим стенам – ужаснулся! Стены заговорили... [143]

Оказывается, все стены исписаны карандашом. Нет пустого места на стене. Это последние слова обреченных. Это прощание людей с белым светом. Сюда гитлеровцы сгоняли людей, отсюда они их, обобрав до нитки, голыми уводили на расстрел где-то за Ковель, на ковельское кладбище, болота и

леса, а может быть, в Майданек, с которым Ковель имеет прямое железнодорожное сообщение. Тут же они также убивали людей, или ослабевших, или проклинавших убийц. Сильно забилося мое сердце, защемило, заныло. Я видел много горя, прошел всю Отечественную войну с первого дня, видел горе и страдания эвакуированных людей, протягивающих к нам руки, просящих нас не уходить, не оставлять их, когда мы вынуждены были отступить. Много видел городов и деревень, сожженных немцами; я крепился, знал, что мы еще вернемся, изгоним немца и отомстим за все и за всех, но тут я не выдержал... Может быть, тут последнее «прости» и моей матери?.. Я начал внимательно перечитывать надписи. Я спешил, ибо чувствовал, что ноги подкашиваются, слезы душили и мешали читать. Три с половиной года войны я крепился, крепился и заплакал. Мне почему-то было стыдно стен, как будто они говорили или думали обо мне: «Ты ушел и нас оставил, нас не взял с собой, ты знал, что с нами так будет, и оставил нас одних».

Надписей было так густо написано, что каждый старался обвести их рамочкой, чтобы лучше выделить свой крик о помощи, о мести. Написаны они были на разных языках: на еврейском, польском и русском. В каждой надписи четко вырисовываются слова: «Некоме!» (евр.), «Пометы!» (польск.), «Отomстите!» (рус.)[144] Надписи моей матери я не нашел: или я не мог отыскать ее среди этого множества записей, или мать молча присоединилась к этим призывам...

Перечислялись фамилии и имена целых семейств, даты расстрелов и обращения в заглавиях надписей к разным лицам, которым удалось уйти в партизаны, в Красную Армию, к тем, которых польская реакция изгнала из своей страны в далекую Америку, в Палестину и другие страны под лозунгом: «Жида до Палестины!» Во всех надписях: «Отomстите!»

Вот некоторые записи. На еврейском языке:

Лейбу Сосна! Знай, что всех нас убили. Теперь иду я с женой и детьми на смерть.

Будь здоров. Твой брат Аврум. 20.8.

Дорогая сестра! Ты, возможно, спаслась, но если ты будешь в синагоге, прочти эти слова. Я нахожусь в синагоге и жду смерти. Будь счастлива и переживи ты эту кровавую войну. Помни о твоей сестре. Поля Фридман.

21.9. Бар Хана, Бар Зейлик, Аврум Сегал, Петл Сегал, Фалик Бар – пали 8 недель тому назад с шурином. Давид Сегал.

Ида Сойфер, Фридман Зейлик, Фридман с женой и с детьми, Церун Лейзер с дочерьми и Кац Сруль погибли от рук немецких убийц. Отomстите!

Гитл Зафран с ул. [...] № 6, Рива Зафран погибли от резни в четверг 19.8.42 г.

К мести!

На польском языке:

Погибли Боря Розенфельд и жена Лама. 19.8.42.

20.8.42. Погибли Зелик, Тама, Ела Козен. Отomстите за нас!

Невинна крив жидовська нехай сплыне на вшистских немцев. Пометы, пометы! Нехай их порун забие[145]. Курва их мать. Сруль Вайнштейн. 23.8.42 г.

На русском языке:

Лиза Райзен, жена Лейбиша Райзена. Мечта матери увидеться с единственной дочерью Бебой, проживающей в Дубно, не осуществилась. С большой болью уходит в могилу.

На втором этаже, в коридорах и на лестницах, надписей не было. Очевидно, туда обреченных не

пускали, чтобы они не бросались из окон и из балконов...

Пусть наши союзники знают, что и к ним, к их армиям и народам также относятся эти призывы, ибо и среди них есть отцы и матери, братья и сестры, сыновья и дочери тех, которые погибли от рук гитлеровцев. Пусть польские реакционеры в Лондоне знают, что они пособники этих зверств, что они поддерживали Гитлера, они впустили его в свою страну и они же вели свою гнусную антисемитскую политику, обезоружившую народ против Гитлера.

Пусть знает весь мир, что их зовут к мести, что леди Гибб[146] – эта новая пятая, а может быть, шестая колонна, которая готовит новую войну.

Я еще не знаю всей ковельской трагедии, но знаю, что это будет трагедией многих народов и человечества, если восторжествует милосердие к убийцам.

Пусть знает леди Гибб, что никакие дипломатические ноты, никакие конференции, съезды, комитеты, общества, белые, коричневые, черные книги не спасут мир и человечество от новой войны и от варварства, а только огнем надо выкурить, выжечь разбойничьи гнезда, только «Катюшами» и любовью к человечеству.

Пусть также знает леди Гибб, что гитлеризм – это не только оружие против еврейской нации, а против и ее собственной. [...]

Ликвидация гетто в Тернополе

Показание немецкого унтер-офицера П. Траугота

[147]

Это было в конце сентября или в начале октября [1942 года], когда началась ликвидация гетто в Тернополе[148]. Как заведующий фуражом 2-го батальона соединения БФ[149] я поехал в тот день в батальон. Там я узнал о первых известиях о начавшихся утром «акциях». Насколько было посвящено в это дело и осведомлено об этом командование батальона, мне неизвестно. Об этом могут дать более точные сведения капитан Казар или Подзян или адъютант старший лейтенант Джан и первый писарь батальона унтер-офицер Грубер. Прежде всего, с этим связано отношение полка, который находился в подчинении полевой комендатуры г. Львова, где он стоял. Одно очевидно: отдельные части батальона в этом принимали участие. Это была стрелковая рота, которая в это время находилась в казарме Франца Иосифа в Тернополе, как и части полка бронированного поезда, которые тоже там стояли. Рано утром была в этих частях поднята тревога, и они окружили гетто. Руководил этой «акцией» «зондердинст»[150] города Тернополя. Кроме нее, в этом принимали еще участие украинская полиция и полиция лагеря[151]. Они должны были помогать вытаскивать из различных потайных убежищ своих соотечественников. Они были, как мне известно, расстреляны последними в тот же день. Далее так называемые управляющие магазинами должны были продолжать свои функции до тех пор, пока «зондердинст» не принял от них магазина. Я еще хочу заметить, что в пекарне и на кухне люди работали до вечера, пока они, так сказать, не покормили своих палачей. «Акция» была разделена на следующие этапы: разыскать невооруженные жертвы и собрать их в одно место. Последние прятались в самых невозможных углах и убежищах. Это была приблизительно такая картина: перед гетто стояла большая толпа людей, которая состояла из жителей и посетителей, пришедших из города, как и солдат. Вдоль забора, который окружал гетто, стояла стража. На отдельных местах стояли даже пулеметы. Украинская полиция искала и вытаскивала жертвы из толпы и из убежищ. Полицию поддерживали солдаты. Я сам наблюдал

следующее: в одном погребе одного дома, который находился слева от больницы, спрятались несколько человек. Украинская полиция и солдаты искали вход в этот погреб. Один житель, по-видимому, одного из близлежащих домов знал ход в это убежище и показал им его. Они проходили с большой осторожностью, потому что, как я потом узнал, в этом районе раздалось несколько выстрелов. Притом из одного отверстия бросили даже несколько ручных гранат. Когда жертвы вышли оттуда, их под стражей отвели на сборный пункт. Здесь я хочу упомянуть, что я в этот день находился в гетто и частично то, что я выше рассказал, сам видел. Я до тех пор не мог понять, что может произойти что-либо подобное. Эта страшная действительность дала мне возможность в этот день пережить все ужасы. Во время посещения гетто я был в больнице и в одной из квартир. Все было взломано, разбросано и лежало в страшном беспорядке. Под домом (подразумевается здесь больница) находился якобы бункер. По более поздним сведениям стало известно, что там замуровано около 60-100 человек. Это были так называемые более состоятельные и врачи. Как мне стало известно, этот бункер раскрыли несколько дней спустя («акция» продолжалась несколько дней) ввиду того, что не были еще обнаружены те тайные убежища. Мне известно, что «зондердинст» сделал даже снимки этого бункера. В один из последующих дней закололи одного унтер-офицера бронированного поезда, который, как говорили, принимал участие без того, чтобы получить соответствующий приказ, в поисках потайных убежищ.

Прежде чем продолжать, я хочу еще сообщить вам о циркулирующих слухах про коменданта лагеря. Он за день до этого сел в коляску и покинул лагерь и больше не возвращался. Те жертвы, которые шли на сборный пункт, должны были проходить мимо мертвых, которые уже там лежали. Их трупы лежали будто бы многие дни. Согнанные жертвы на сборный пункт должны были отдать все свои ценные вещи и все то, что у них оказывалось при себе. Нужно было раздеться; из одежды образовалась целая гора. В эту гору вещей зарылись несколько жертв, но их потом обнаружили и тут же на месте расстреляли. Если группы состояли из 200–300 лиц, то их отводили на место казни. Солдаты, сильно вооруженные, провожали эти транспорты, чтобы только никто из этих невинных не мог бы уйти. Жертвы должны были свой последний путь на место казни пройти пешком. Выходили они из нижних или задних ворот мимо бойни. Большая часть жителей заполняла улицы. Путь дальше проходил по мосту через Серет у Петойково. Здесь некоторые прыгали через мост в речку и были потом, по-видимому, застрелены провожающей их охраной. В одной из моих поездок на лодке я видел лежащий труп в воде. Место казни находилось в одной из котловин между Петойково и Загробела. Люди с украинского трудфронта вырыли там большие ямы.

Последний акт этого страшного преступления происходил примерно таким образом: пришедшие жертвы должны были на одном определенном месте раздеться почти догола и сесть друг около друга. Первые стояли в одном ряду перед ямой и должны были уже тут совершенно раздеться. Восемь-десять человек подходили потом к яме и садились на ее край лицом к яме. Резники из «зондердинста» проделывали свою работу. Один из них шел с пистолетом мимо этих жертв и стрелял каждому из них в затылок. Пинком ноги он тех, которые сами не падали, сбрасывал в яму. Их было три человека из «зондердинста», которые проводили этот процесс. Пока один непрерывно стрелял, другой заряжал пистолет и уже заряженный пистолет передавал ему. Третий помогал пулеметом. Рассказывают, что эта команда людей не только в этом случае, но уже раньше на различных других местах проводила эти жуткие дела. Во время выполнения этой страшной

деятельности они будто бы всегда находились под влиянием алкоголя. А ведь процесс расстрела проходил всегда вышеуказанным порядком. Во время этого происходили душераздирающие сцены. Но прежде всего всем бросалось в глаза, с каким спокойствием жертвы шли на смерть. Целые семьи водили на казнь. Перед этим они прощались и целовались. Любящие пары шли, крепко обнявшись, вступая на путь смерти. Расстрелы продолжались в этот день до вечера. Почти все были уничтожены. В следующие дни производились, как я уже упомянул, розыски спрятавшихся.

Приписка:

Оберштурмфюрер Шнайдер из «зондердинста» города Тернополя управлял гетто.

Трагедия в местечке Славута Каменец-Подольской области

Рассказы врача Войцещука, ксендза Милевского, учительницы Высоцкой, рабочей Федоровой, слесаря Енина

[152]

Славута – это небольшой городок Каменец-Подольской области, населенный до войны преимущественно евреями[153]. Около месяца тому назад Славута была освобождена Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков[154]. Тщетно мы искали здесь хоть одного еврея, который уцелел бы от расстрела. Должно было пройти не меньше месяца, прежде чем удалось установить более или менее полно картину зверской расправы, учиненной здесь немецкими палачами над беззащитным, ни в чем не повинным еврейским населением.

Все, что мы здесь узнали, документально подтверждено и засвидетельствовано заслуживающими доверия жителями города Славуты, в том числе русским врачом, старожилом города Славут, Войцещук, ксендзом местного костела Милевским, учительницей славутской школы Высоцкой, работницей маслозавода Федоровой и слесарем Ениным.

Вот что мы здесь узнали.

Немецкие оккупанты начали свою разбойничью деятельность в Славуте с преследования и уничтожения евреев. Все евреи обязаны были носить специальные повязки на рукаве. Их выгоняли на самые тяжелые физические работы и часто здесь же, на месте работ, расстреливали. Расстрелы производились организованно по приказу немецкого коменданта города Славута и неорганизованно – по произволу любого солдата и офицера.

Таким образом, к концу 1941 года немцы уничтожили в Славуте около пяти тысяч евреев. Среди них были женщины, старики и малые дети. Оставшихся в живых – около семи тысяч человек – немцы истребили путем массового расстрела вблизи водонапорной башни военного городка[155]. Эта водонапорная башня была немым свидетелем того, как в течение нескольких дней фашистские палачи зверски измывались над евреями, которых сгоняли сюда со всего города и из окрестных сел и местечек. Расстреливаемых заставляли раздеться и живьем ложиться в ямы, уже наполовину заполненные трупами. Обезумевшие от ужаса жертвы часто замертво падали в эти ямы. Здесь их расстреливали из автоматов. Документально установлено, что многие десятки евреев были закопаны живьем.

Фашистские офицеры, распорядившиеся этим адским делом, говорили солдатам: «Нечего на них тратить патроны, закапывайте!» Слесарь Енин, работавший в лагере для военнопленных, который помещался в военном городке, где производились расстрелы, рассказывает, что он своими глазами видел, как живых еврейских детей бросали в ямы и закапывали.

В общей сложности было уничтожено в Славуте и в окрестностях Славуты до двенадцати тысяч евреев. Живой свидетель, польский ксендз Милевский, рассказывает:

Перед расстрелами евреев сгоняли в особый квартал, огороженный колючей проволокой, а затем партиями выводили на расстрел. Кроме того, многих загоняли в погреба по двадцать пять – пятьдесят человек. Здесь люди погибали голодной смертью. В первые дни после прихода Красной Армии в подвале дома на Больничной улице, № 8 найдены были трупы шестнадцати умерщвленных немцами евреев.

Я не прибавил ни одного слова к тому, что мне рассказали живые свидетели чудовищных злодеяний, совершенных немцами в мирном украинском городке над незащитными людьми моего народа.

Никакая фантазия не в состоянии придумать того, что делали и продолжают делать немцы в оккупированных ими местах. Будь они прокляты во веки веков! Евреи! Никакой суд человеческий или божий не в состоянии найти правильную меру наказания этим врагам рода человеческого. Пусть ни одна еврейская душа не успокоится до тех пор, пока с лица земли не будут стерты и до конца уничтожены эти палачи еврейского народа.

Судьба евреев местечка Единцы Хотинского уезда Черновицкой области

Из письма Рахиль Фрадис-Мильнер Р. А. Ковнатор

[156]

Уважаемая товарищ Ковнатор!

Получила Ваше письмо и прошу ответить, благодарная за внимательное отношение к моей семье.

5 июля 1941 года враги заняли местечко Единцы Хотинского уезда[157]. Население было застигнуто врасплох, не имея ни времени, ни возможностей эвакуироваться. До 28 июля в местечке царил дикий террор, в течение которого было расстреляно восемьсот человек[158], изнасиловано много молодых девушек, почти детей, не говоря уже о жестоких избиениях и грабеже. 28 июля все еврейское население было изгнано из местечка, в котором уже было собрано еврейское население из соседних местечек[159]. Среди них находились мои родители, старший брат с женой и двумя крошками, мать и сестра мужа и много родных и близких людей. Десятки тысяч людей были погнаны, как скот, подталкиваемые нагайками, прикладами и очень часто расстрелами[160]. Гнали без отдыха, жестоко, не давая напиться воды, ни остановиться, чтобы помочь умирающей матери или ребенку. Гнали сотнями километров из Бессарабии на Украину, обратно в Бессарабию и снова на Украину. Весь путь был усеян трупами. Ходили конвой за конвоем и оставляли на большой дороге умирающих детей, стариков, больных и просто потерявших жизненную силу от безумных переживаний, а последующий конвой встречали уже только голые трупы. Первой жертвой из моей семьи была семидесятипятилетняя мать моего мужа Рейзя Мильнер. Она осталась, умирающая, в шестидесяти километрах от дома.

Дочь хотела остаться с ней, но ее очень били, и соседи заставили ее пойти дальше. Бедную мать посадили под дерево, она попрощалась с дочерью, которую она сама просила пойти дальше, и осталась одна... Второй жертвой была сама дочь Маня, она осталась в лесу Косоуцы, где-то в районе Сорок. Она умерла с голоду стойко, без жалоб, не желая принимать никакой помощи. В этом лесу стояли несколько дней, и за дорогие вещи палачи приносили немного воды и пищи. Но вот погнали дальше, и снова та же картина: крики, избиения, ужас и смерть. Пала моя мать Цейтель Фрадис, она вывихнула себе ногу, и ее видели где-то замершей на большой дороге. Моя здоровая,

жизнерадостная, деятельная мать, которая всю свою жизнь посвятила помощи больным и обездоленным, которая была идеальной матерью и идеальным человеком, должна была так закончить свой жизненный путь. Шли дальше... Пали дети моего брата. Две красавицы-девочки и его жена Песя Бронштейн. Мне рассказывали, что она просила Бога, когда дети засыпали, чтобы они больше не встали, чтобы не случилось, чтобы она умерла первой и дети остались сами переживать эти муки. Пали две сестры моего отца с мужьями. Последними этапами были села и колхозы вокруг Бершади, уезда Балты. Туда были согнаны остатки конвоев и помещены в неочищенных свинарнях и конюшнях без окон и дверей. Тут от грязи, холода и голода распространился тиф, и сотни людей умирали ежедневно без всякой помощи. По нескольку дней лежали вперемежку живые с мертвыми. Была известная молочарка около Ободовки, где погибли десятки тысяч людей. Последний привет из такого лагеря я имела следующий. Один знакомый из Черновиц, высланный в ноябре 1941 года, встретил моего отца в Бондаровке. Это был старый, дряхлый старик в лохмотьях, с большой бородой, он ходил искать пиявки для моего старшего брата Якова. Они остались последние из всей семьи. Брат пошел без разрешения к колодезю набрать ведро воды. Так его так били за это в голову, что он получил мозговое кровоизлияние. Отцу сказали, что для этого хорошо поставить пиявки, и он ходил просить, чтобы ему их достали. Когда наш знакомый сказал ему, что мы живем, он не переставал спрашивать: «И Шурик тоже, это правда, правда?» Скоро брат умер, а за ним и отец от голода, холода и потери всякой надежды и интереса в жизни. А брат мой был богатырской силы с железными мускулами, отца же я оставила в 1940 году здоровым, красивым, полным энергии и жизнеспособности. Шмил Фрадис, который прожил такую красивую жизнь, почитаемый всеми, кто мог предсказать ему такой скорбный конец. Мой младший брат Ксилик был ответственным работником Госбанка в Черновицах, стахановцем, молодой, способный, красивый, музыкант, он эвакуировался с Госбанком, и, поскольку нам рассказывали, его судьба была следующая. Поезд бомбили. У него было задание уничтожить какие-то важные документы или деньги. Он задание выполнил, выскочил последним из поезда без вещей и попал к немцам в плен. Его отправили в концлагерь, переводили из одного лагеря в другой и, наконец, расстреляли в Баре, где он лежит в массовой могиле. Я пишу обо всем этом, и сердце мое, как камень. Мне кажется, что если бы его резали, так и кровь не текла бы. Вы спрашиваете о том, что мы делаем. Мы оба работаем, мой муж инженером в Союззаготтрансе, я заведующей аптекой в железнодорожной больнице. Материально нам пока не повезло. Мы всего три месяца в Черновицах. Муж попал в общество, которое теперь организуется, штаты у них еще не утверждены, и за три месяца он не получил еще ни одного рубля зарплаты. Я поступила на работу, и через несколько дней больница закрылась на ремонт, а я пока до открытия работаю на полставки. Посылаю Вам фотокарточку сына, а людей, спасших его, не имею. Я им напишу, чтобы они прямо Вам послали, если успеют.

Хочу Вам еще описать несколько эпизодов и сценок из немецкого концлагеря, достойных пера и кино, конечно, больших специалистов, чем я.

В селе Чуков, четыре километра от нашего лагеря, находился наш приятель из Единец адвокат Давид Лернер с шестилетней девочкой, женой и семьей жены Аксельрод. Когда в сентябре убивали детей, им удалось спрятать девочку в мешок. Девочка была умная и тихая, и она была спасена. В течение трех недель отец носил девочку с собой на работу, и ребенок все время жил в мешке. Через три недели наш зверь Гениг[161] приехал к ним забирать хорошие вещи. Он подошел к мешку и ударил в

него ногой, девочка вскрикнула и была раскрыта. Дикая злоба овладела палачом, он бил отца, бил ребенка и забрал у них все вещи, оставив всю семью почти без одежды. Все-таки девочку он не убил, она осталась в лагере и всю зиму прожила в смертном страхе, ожидая каждый день смерти. Пятого февраля уже при второй «акции» девочка была взята вместе с бабушкой. Безумный страх овладел ребенком, она так кричала всю дорогу на санях, что детское сердечко не выдержало и оборвалось. Ребенка к роковой яме принесла бабушка на руках уже мертвой. Об этом рассказали милиционеры[162], присутствовавшие при операции. Мать, узнав об этом, с ума сошла, ее расстреляли, вскоре убили отца и всю остальную семью.

В Немирове с нами было два старика из Черновиц – Моргенштерн и Визель. Старые, беспомощные, одинокие, они очень скоро завшивели и лежали отдельно в соломе. Один слабый вскоре умер. Когда пришли его хоронить, было распоряжение взять обоих. Бедный Визель просился, умолял, обещал, что он почистится. С мягкой улыбкой ему велели повернуться, выстрелили в затылок, и оба были брошены в общую яму.

Лагерь Зарудинцы[163]. Туда были привезены евреи из Печоры. Это тоже был лагерь смерти, но от голода и болезней. Оттуда выбрали более молодых и здоровых, остальных оставили в Печоре. Таким образом, оторвали матерей от грудных детей, детей от стариков-родителей, жен от мужей и т. д. Эти люди, пробывшие уже год в лагере, остались совершенно без вещей и денег и были в ужасном состоянии. Первого февраля 1943 года я пришла в лагерь проведать больных и увидела такую картину. Люди с тупыми лицами, потерявшими человеческое выражение, покрытые лохмотьями, босые, с телами, истерзанными чесоткой и самыми разнообразными язвами, которых медицина в нормальное время никогда не встретит, сидят на полу на каких-то тряпках и серьезно, озабоченно бьют вшей. Они так заняты своей работой, что даже не обращают внимания на мой приход, только такие, которые особенно нуждались в моей помощи, поднялись. И вдруг движение, крики, люди вскакивают, глаза блестят, некоторые плачут. В чем дело? Привезли хлеб... и, представьте себе, дают по целой буханке хлеба на каждого человека. Это что-то новое, вероятно, спасение близко, думают несчастные. Оказалось, что наши добросердечные аккуратные немцы, зная, что пятого будет «акция» и несколько дней не будут точно знать количества необходимого хлеба, так как нужно будет высчитать, сколько людей останется, то дали авансом по целому хлебу. Это мы узнали после несчастья.

После 5 февраля нас тоже перевели в этот лагерь.

Суровый зимний рассвет, еще темно на дворе, а нас уже нагайками гонят на работу. Наспех несчастные завязывают мешочки с соломой вокруг порванных ботинок, чтобы не отморозить ноги. Надевают старые одеяла на голову, обвязываются[164].

Белоруссия

Минск

В Минском гетто

Из записок партизана Михаила Гричаника

[165]

Когда немецкие оккупанты вступили в Минск, они издали приказ об обязательной регистрации мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Оказалось, что никакой регистрации проведено не было: всех, явившихся в указанное место на «регистрацию», немцы под конвоем угнали за город, на открытое

поле...[166]

На поле кругом стояли часовые. Народ прибывал партия за партией. Ночью в открытом поле было холодно, люди обогривались, лежа друг возле друга.

Так прошла первая ночь на поле, наступил светлый, яркий день. Народу много, есть не дают. Очень жарко, хочется пить. Люди просят воды, но и ее не дают. Лишь только подходишь просить воды, солдаты стреляют в упор разрывными пулями. За то, что просили воды, были убиты во второй день больше десяти человек. Немцы заставили вырыть яму и закопать их. Кто еще дышал, того пристреливали.

Так кончился второй день. Наступила вторая ночь. Люди лежат голодные и холодные. Кто одет, а кто просто в летних рубашках: ведь шли они не на истязания, а на «учет». Наступил день. Народ прибывает. Вот показался немец с ведром и начал раздавать воду. Народ окружил и чуть не задавил его. Опять стреляют эти гады в народ!

Наступает восьмая ночь. Народ лежит на поле. Предупредили, чтобы не поднимались ночью, не то стрелять будут. Так прошла ночь. Часто стреляли из пулемета. Вдруг слышим крик: «Убили!» Люди поднимались по своим надобностям, а в них стреляли!

Вот лежит один человек. Пуля попала ему в поясницу и вышла из живота. Вырвала кишки. Он еще жив, просит записать его адрес и написать жене и детям, как он погиб. Подходит немец и спрашивает, кто ему «распорол живот ножом»...

Тринадцатый день. Десять часов утра. Приезжает машина. Объявляют, чтобы поляки отошли в левую сторону, русские – в правую, уголовные – отдельно; для евреев же отводится площадь возле речки. Площадь огорожена толстыми веревками. Начинают расходиться, как приказано. Уголовные пользуются этим моментом: у кого из евреев вырывают еду, у кого срывают плащ с плеч, у кого отнимают пиджак, сапоги. Доходит до того, что люди остаются в одном белье. Немцы стоят в стороне и смеются.

Кругом веревок стоят немцы с резиновыми дубинками, другие из них гонят евреев к веревкам, избивают дубинками. Уголовные помогают немцам гнать евреев. Возле веревок их опять встречают дубинками. Кто сопротивляется, того добивают до смерти, расстреливают. Вдруг объявляют из машины, что будут отпускать домой поляков. Затем новое объявление – будут отпускать русских, а насчет евреев ничего не говорят. Начинают отпускать часть поляков домой...

Семнадцатый день утром. К десяти часам приезжает машина с переводчиком. Объявляют, что все евреи – инженеры, врачи, техники, бухгалтеры, учителя и других интеллигентских профессий – должны записаться, – из лагеря их освободят и отправят на работу. Началась запись. Переписали всю интеллигенцию, построили и отвели в сторону от рабочих. Становится темно. Кроме евреев и военнопленных, на поле никого нет...

Девятнадцатый день. Под утро. Темно. Слышен гул машин. Машины подъезжают к интеллигентам, их сажают в машины и увозят «на работу». После отхода машин проходит минут двадцать и слышится пулеметная очередь. Спустя еще пятнадцать минут машины возвращаются и снова увозят людей. Так увезли всех интеллигентов[167], остались одни рабочие. Явился офицер, выбрал еще человек двести рабочих и таким же образом отправил их «на работу» пешком. Он объявил, что завтра поведут нас отсюда в другое место; там будет тепло, и дождь не будет лить...

Двадцатый день. Утро. На поле остались одни евреи. Явился отряд гестаповцев. Нас всех построили

в ряды и повели через город. Кто пробовал подойти к нам, того расстреливали на месте. Всю дорогу до тюрьмы стояли часовые. Нас поместили на втором этаже в небольших камерах. Камеры забились битком. Было очень жарко. В каждой камере железная параша – вонь, дышать нечем. Люди по очереди становятся «в два этажа» (взбираясь друг на друга) возле решетки, чтобы подышать воздухом. Воды давали очень мало, есть же совсем не давали...

Явились гестаповцы, открыли камеры и гонят всех на двор. Внизу, возле двери, в коридоре стоят другие гестаповцы с березовыми палками и никого не выпускают без того, чтобы не ударить его палкой. Но вот стали избивать людей и наверху на лестнице, и народ, бросившись с лестницы, проскочил мимо гестаповцев, которые стояли внизу в дверях. Вот уже все на дворе. Отдана команда: «Становись по четыре». Все построились. Переводчик говорит, что у офицера в канцелярии утащили все списки арестованных, полотенце и кусок мыла, чтобы тот, кто это сделал, признался, или, если кто знает виноватого, пусть на него укажет. Пока не найдут вора, никого из тюрьмы не выпустят, но лишь только его обнаружат, то спустя два дня нас всех отпустят домой. Пошли в ход палки. Одного парня хватают и на его голове ломают палку. Он падает. Говорили, что у него нашли кусок полотенца. Всех нас погнали обратно в тюрьму. У входа в коридор опять бьют палками.

Через два дня является переводчик и говорит, что сегодня же нас отпустят домой. Раздают по камерам бумагу, и переводчик предлагает нам, чтобы мы составили по камерам списки арестованных на немецком и русском языке и передали ему. В два часа дня являются гестаповцы и всех выгоняют во двор. Построились, как сидели, – покамерно. Когда все были в сборе, переводчик стал вызывать некоторых людей по фамилиям и велел им строиться отдельно. Некоторые не отозвались и не выходили. Благодаря этому им удалось на этот раз остаться в живых. Так спаслись, например, Ботвинник, член партии, рабочий фабрики «Октябрь», и Каган, снабженец, работавший на хлебозаводе.

Таким образом, переводчик набрал двести человек и заявил, что они остаются в тюрьме, чтобы следить за порядком. С того времени никто их больше в глаза не видел. Остальным арестованным переводчик велел отправиться в «Еврейский комитет»[168] (когда мы были в тюрьме, немцы организовали «Еврейский комитет»).

Итак, открыли ворота и выпустили нас на волю. Мы пошли к «Комитету». Навстречу нам бегут жены, дети, целуются, плачут.

В «Еврейском комитете» освобожденным из тюрьмы объявляют, что приказано переселиться в гетто, носить желтый знак на груди и спине[169], не ходить по тротуарам, ежедневно являться в «Комитет», откуда будут направлять на работу, и т. д.

На углу и в переулках гетто висят на столбах надписи на немецком и русском языках: «Гетто. Вход в гетто всем, кроме жидов, воспрещен»...

Встречая евреев без желтого знака, немцы избивают их и требуют, чтобы они носили знак. По тротуарам евреям запрещают ходить, они должны ходить посередине улицы. При встрече с немцами евреи обязаны снимать шапку; если не снимают, любой немец может забить их до смерти...

Вдруг на гетто налетают гестаповцы на машинах и начинают ловить мужчин. Входят в квартиры, бьют резиновыми дубинками и уводят людей под видом отправления на работу – на торфоразработки и т. п. Уведенных никто больше не видит в живых...

Ночью, почти каждую ночь, на гетто – то на одну улицу, то на другую – нападают вооруженные

люди, грабят и убивают.

Вот гестаповцы снова окружают гетто: опять ловят мужчин. Некоторые успевают спрятаться на чердаках, другие строят подземные ходы и прячутся. Наловив людей, их уводят. Часть их попадает в лагерь на Широкую улицу, там работают, домой оттуда не пускают. В лагере находятся многие военнопленные. Туда немцы посылают русских и других людей, которые провинились перед ними. В лагере за каждую мелочь расстреливают. Многие там заболевают. Часто туда и в другие лагеря ловят новых людей. Там люди быстро выбывают из строя...

Немцы стали вламываться в квартиры ночью, начали отбирать вещи, которые им нравятся...

Немцы окружают часто целые улицы гетто, проверяют бумаги, производят обыски в домах, увозят молодых людей...

Ночью немцы являются в гетто и под предлогом обнаружения оружия убивают людей – человек по сто за ночь...

7 ноября 1941 года начинается открытая расправа и с другими людьми, не только с евреями. По всему городу появились виселицы – на улицах, в скверах, на базарах, на окраинах.

8 этот день были повешены около ста человек. На шею им повесили фанерные дощечки с надписями: «партизан», «за связь с партизанами», «коммунист» и т. д.

7 ноября в пять часов утра гестаповцы и продавшиеся немцам здешние негодяи окружили гетто плотным кольцом, в трех шагах один от другого. Это была первая открытая работа немецких бандитов по массовому истреблению еврейского населения. Ломают окна, двери, входят в квартиры, приказывают одеваться в самую лучшую одежду и одевать детей, обязывают взять с собой даже грудных младенцев. Некоторые пробуют убежать, но всюду стоят часовые и стреляют по убегающим. На одной из улиц всех евреев построили по четыре в ряд и под конвоем повели по Новокрасной улице. Начал строчить пулемет, и вся колонна была перебита. Возле скверика стояла машина и фотографировала резню[170].

Об этом злодеянии сообщил мне бывший рабочий фабрики «Октябрь», наблюдавший его из своего укрытия на чердаке. Говорили, что расстрелянные должны были изображать группу советских граждан, демонстрировавших якобы в честь Октябрьской революции.

Я работал на швейной фабрике «Октябрь». Всего нас, евреев, мужчин и женщин, работало на фабрике триста – триста пятьдесят человек. Еврейские рабочие слышат выстрелы и узнают, что в гетто начался открытый погром, плачут, бегут к начальству. Лишь к двенадцати часам были выданы справки для семей, чтобы их не убивали. Рабочие хватают справки и бегут в гетто. Каждый спешит к своей квартире, но очень многие никого уже дома не находят. По виду квартир можно судить, что людей стащили прямо с кровати.

Как громом меня ударило! Из восьми человек – жены, троих детей, старушки матери, сестры с двумя детьми – ни одной души! Квартира мертвая, пустая...

Некоторые находят кого-нибудь из семьи, кому удалось спрятаться.

Другие подходят к машинам, в которые усаживают людей, показывают документы, и оставшихся еще в живых офицер отпускает.

Не найдя своих родных, некоторые рабочие просят разрешения поехать с машинами на розыски их – может быть, удастся их спасти. Офицер отвечает прямо, что кого увели, того в живых уже нет; хотите ехать – не возражаю, но вернетесь ли обратно, не знаю. Ясно...

Машины не успевают увозить людей. Многих согнали на Хлебную улицу, на большой двор. И оттуда вывозят на машине. Люди бросаются туда со своими документами. Многие рабочие не находят там своих семей. К ним обращаются с мольбой о спасении, и они, под видом родных, увозят других обреченных, согласно количеству людей, указанных в их документах. Немало спасшихся таким образом людей не отходят от своих избавителей и остаются жить в их семьях...

Вот приходит весть, что и по Танковой улице, по ту сторону железной дороги, в бывших красноармейских казармах томится немало жертв, всех не успели еще перебить. Рабочие пускаются туда. Недалеко от казарм они слышат пулеметные очереди, а со двора выезжают машины с людьми. Обратно идут машины с вещами: пальто, ботинки, сапоги и т. д. Машины открытые, некоторые вещи в свежей крови. Часовой не пускает рабочих и вызывает офицера. Офицер не признает никаких бумаг и гонит: «Прочь, в гетто». Люди вернулись ни с чем.

Так продолжалась массовая резня евреев 7, 8 и 9 ноября 1941 года...

20 ноября налетает на Раковую улицу отряд гестаповцев. Полицейские окружают улицу и выгоняют всех людей из квартир. Никого не оставляют. Часть рабочих не успели еще уйти на работу.

Гестаповцы требуют у них документы. И тут же у них на глазах разрывают их. Некоторые пробуют убежать, но вслед им стреляют разрывными пулями. Очень многие лежат мертвыми на улице у входа во дворы[171].

Одному из наших рабочих удалось спастись. Он прибежал на фабрику и сообщил, что в гетто идет новая резня. Начальство дало машину, охрану, и человек десять отправились в гетто. Но их туда не пустили. Среди жертв были высококвалифицированные рабочие, в которых немцы нуждались, поэтому туда выехал офицер, но он их там уже не застал. Узнавши, куда их повели, он отправился туда, за город, на поле, где уничтожали евреев. Многие из его рабочих оказались уже убитыми. Среди уцелевших он узнал несколько человек и договорился о том, чтобы их отпустили. Один из них специалист скорняк, по фамилии Альперович, другой, Левин – парикмахер, бривший офицеров. Вместе с парикмахером находились его жена и дочь. «Хозяин» уничтожения согласился отпустить одного лишь парикмахера и Альперовича и еще кого-нибудь из двух – жену либо дочь Левина. Левин взял дочь. Когда рабочих привели на фабрику, они были белые, как бумага, и ничего не могли говорить. Альперович долго болел после этого.

Это лишь один из эпизодов второй массовой резни евреев 20 ноября 1941 года, учиненной спустя две недели после первой.

Биржа запросила списки, кто из евреев где и кем работает. Когда списки были поданы, квалифицированным рабочим стали выдавать карточки. Черноработчим карточки не давали. Квалифицированных рабочих заставили жить в определенном районе гетто; всем остальным, жившим в этом районе, приказано было выехать. Началось новое переселение. Началось и другое: женщины ищут рабочих «с карточками», молодые девушки выходят замуж за старых мужчин. Люди, осужденные немцами на смерть, сходят с ума.

Когда все были размещены, согласно предписанию, немцы стали выдавать дощечки для дверей. На входной двери квалифицированные рабочие должны были вешивать дощечку с указанием места работы основного работника и списком его иждивенцев. Когда и это было готово, вышел приказ, чтобы каждый рабочий получил в «Комитете» номер дома, в котором он проживает, и пришил его под желтым знаком на груди и спине. Номер был написан на белом холсте с печатью. Я жил в гетто в

доме № 12 по [в тексте пропущено слово] улице и носил два номера «12» – спереди и сзади.

Вот уже все носят номера. Немцы объявляют, что если кто-либо из какого-либо дома нарушит немецкий закон, то все, живущие под этим номером, будут расстреляны.

Вводятся новые правила. Рабочие не имеют права свободно выходить на работу из гетто: на работу и с работы их будут приводить и уводить. Рабочие обязаны собираться возле биржи. Нам выстроили ворота. В воротах полицейский. Немцы, приходящие за еврейскими рабочими, должны расписываться, сколько они берут людей, а ведущие с работы – расписываться, сколько привели. При выходе у ворот полицейские проверяют количество людей. Если их оказывается больше, чем по списку, полицейский не выпускает ни одного лишнего человека за стены гетто. После работы людей приводят к бирже, там пересчитывают, и лишь тогда разрешается расходиться по домам...

На фабрике бывшей «Октябрь» еврейские рабочие были отделены от нееврейских. Евреи работали на одной половине, отгороженные от другой половины цеха. Даже уборные были отдельные, для евреев и для неевреев.

На фабрике был такой случай. По уборке двора работали двенадцать еврейских женщин. Немцам не понравилось, как они работали. У них отбирают справки о работе и приказывают больше не являться. Но женщины решили просить, чтобы их оставили на работе. Тогда отправляется бумага в гестапо о том, что они относились халатно к работе. На следующий же день являются агенты гестапо и уводят их в тюрьму. Там женщин продержали две недели. Затем их посадили на машину и привезли в гетто на Юбилейную площадь. Работницы обрадовались. Они думали, что их отпустят домой. Но произошло следующее. Немцы выгнали всех людей из квартир на площадь. Когда площадь заполнилась людьми, гестаповец стал на машину и заявил: «Перед вами двенадцать женщин. За симуляцию и отказ от работы они будут немедленно расстреляны у вас на глазах». Одного еврея заставили завязать им глаза. Расстреливали их, целя в голову разрывными пулями. Трупы лежали на площади два дня. На дощечках было написано, что они расстреляны за отказ от работы...

Раз зимой, когда немцы гнали нас с работы, мы были недалеко от гетто окружены гестаповцами. На помощь гестаповцам явились пьяные полицейские в машине – со следами свежей крови на шинелях и сапогах. Кто из рабочих пробовал было пробежать под проволокой, чтобы скрыться в гетто, того расстреливали. По всем улицам валялись трупы. Валялись котелки, кости, картофельная шелуха – все, что люди носили с собой с работы.

Некоторые колонны, состоявшие из квалифицированных рабочих, были отведены в сторону. В одной из таких колонн находился я и таким образом спасся.

Рабочих заставили стоять на коленях, били резиновыми дубинками и, наконец, увели целыми колоннами.

Вот подъехала легковая машина. Из нее вышел худой старый генерал. Это был генеральный комиссар Белоруссии Кубе. Он подошел к офицеру и что-то сказал. Затем он крикнул колонне квалифицированных рабочих: «Юден, шнель цу гаузе»[172]. Если кто-либо пускался бежать недостаточно быстро, то Кубе избивал его палками и для острастки целил из револьвера. Колонна разбежалась. Остальные продолжали стоять на коленях. Началась проверка. У кого была карточка специалиста, того отпускали. Так продолжался этот погром до семи часов вечера.

Очень много убитых лежало около обойной фабрики в ямах.

Уведенных рабочих повели на станцию, посадили в товарные вагоны и ночью повезли по направлению к Молодечно. В дороге, когда их везли, немецкая охрана входила в вагоны, набитые людьми, выбирала молодых красивых девушек, уводила их и насиловала. Недалеко от Молодечно были подготовлены ямы. Немецкие изверги открывали вагоны, расстреливали людей из пулеметов, кидали их в ямы и забрасывали гранатами.

Когда начали убивать, было еще темно, рассказывает еврей, работавший в немецкой тюрьме кузнецом. Подъезжая к Молодечно, поезд замедлил ход. Было еще темно, и дверь вагона была закрыта. Кузнец открыл окошко в вагоне, где он находился с дочерью. Он выпрыгнул через окно, схватил дочь и убежал...

Однажды немцы объявили, что на следующий день в десять часов утра все евреи должны прийти на площадь за получением зеленых повязок. Рабочие утром уходили на работу. Оставшиеся были на площади. Вдруг налетели гестаповцы, полицейские и войска всех родов оружия. Немцы окружили гетто, всех собравшихся посадили на машины и увезли. Некоторые убежали, по ним стреляли. Трупы валялись по улицам.

Когда еврейские рабочие (на фабрике бывшей «Октябрь») услышали выстрелы со стороны гетто, они сильно забеспокоились. Туда выехал офицер. Приехавши, он заявил, что в гетто берут людей на полевые работы и что еврейских рабочих не будут отпускать домой в течение трех дней. За эти три дня немецкие головорезы занялись «ликвидацией» гетто. Людей вытягивали даже из погребов. Где у них было подозрение, что там скрываются евреи, они забрасывали дом или другое помещение гранатами.

Семья Цибель скрывалась в подземном ходе по Шорной улице. Они слышали у себя над головой шаги – гестаповцы разыскивали их в квартире. Вдруг начал кричать ребенок, и родители, опасаясь, что крик ребенка привлечет внимание гестаповцев, задушили его. В этом погребе немцы убили очень многих немецких евреев[173].

К проволоке перед гетто подходят русские, поляки, приносят продукты, меняют на одежду...

Народ приспособливается. Выходят из гетто, снимают желтые знаки или надевают на себя большие платки, уходят к знакомым неевреям и выменивают вещи на продукты. Некоторые возвращаются благополучно. Другие расплачиваются за это жизнью...

Вот в Минское гетто пригнали каких-то «странных людей». Одеты они в пелерины из рыбьей кожи розового, синего или небесного цвета, пелерина сверху переходит в капюшон. На правой стороне груди у них шестиконечные звезды с надписью «Юде». Разговаривают они по-немецки.

Гестаповцы выгнали жителей с нескольких улиц гетто и разместили там этих людей. Привезли столбы, колючую проволоку и заставили новых поселенцев копать ямы. Поставили столбы, натянули проволоку. Немцы объявили, что кто подойдет к ним поговорить, будет расстрелян. В первые дни возле проволочных заграждений ходили часовые. Народ подходит к колючей проволоке и заводит беседу со «странными людьми». Они охотно вступают в разговор. Они сообщили, что они немецкие евреи, немцы обобрали их начисто и издевательски заявили, что повезут их в Америку. Их никуда не пускают. Они просят хлеба. Они полагают, что русские евреи могут свободно ходить, куда хотят, и свободно покупать, что им заблагорассудится. Немцы нашли для них работу: они заставляли их вывозить ночью на колясках на кладбище трупы убитых евреев...

Каждое воскресенье все обязаны являться к двенадцати часам на площадь «на собрание». Там

выступал начальник минского гетто, старший гестаповец [в тексте пропущено слово]. Он требовал, чтобы кто знает партизан или кто имеет с ними связи, заявил об этом. За неявку на собрание – тюрьма. Так и гоняли каждый выходной день на площадь. Раз пригнали даже немецких евреев с трубами, со скрипками и заставили их играть на площади.

Раз гонят нас с работы по Новомясницкой улице. Один молодой парень выходит из колонны к ларьку купить газету. Вдруг откуда-то появляется полицейский и стреляет в него за то, что он вышел купить газету. Колонны уходят. Молодой рабочий остается лежать мертвым.

Пять погромов в Минске

Рассказы Перлы Агинской, Малки Кофман, Дарьи Люсик и Раисы Гельфонд

Я не даю никаких художественных красок. Они, пожалуй, и не нужны здесь. Передаю рассказы тех, кто три года жил в Минске, кто лично видел, что творили немцы в плененном городе. Это рассказы мучеников – Перлы Агинской, Малки Кофман, Дарьи Люсик и Раисы Гельфонд. Это рассказы о пяти погромах в Минске.

В первые же дни оккупации немецкие власти приказали всему еврейскому населению города в трехдневный срок переселиться в гетто. Для гетто были отведены окраинные улицы и переулки: Замковая, Завальная, Вызволения, Хлебная, Подзамковая, Старомясницкая, Ратомская, Немига, Шпалерная, Глухой и другие.

До переселения в гетто была проведена регистрация еврейского населения. Немцы зарегистрировали до восьмидесяти пяти тысяч человек [175]. Затем начались контрибуции. Вначале по пятьдесят рублей с одного человека, затем по тридцать и двадцать рублей. В связи с контрибуциями были изданы специальные устрашающие указы, а в тюрьму брошены девяносто заложников. Население строжайше предупреждалось о том, что будут взяты новые заложники, если контрибуция не будет выплачена в установленный срок.

Вскоре район гетто отделили от внешнего мира колючей проволокой. И начались с тех пор варфоломеевские ночи в Минске. Евреям, по распоряжению оккупационных властей, прицепили специальные знаки: желтые круглые нашивки десять сантиметров в диаметре. Такие нашивки носили на правой стороне груди и на правой стороне спины. Позже к этому добавили еще четырехугольные белые нашивки с порядковым регистрационным номером. Из гетто выходить строжайше запрещалось.

Горе было тому, кто осмеливался подойти к колючей проволоке, чтобы обменять вещи на продукты. Таких расстреливали на месте.

Часть населения гетто посылались немцами на работы. Ходили колоннами под охраной. Работающие получали 250 грамм хлеба в день и литр жидкой баланды, изготовленной из травы, гречневой мякины и конины.

Солдаты и полицейские почти каждую ночь врывались в дома, грабили, убивали евреев целыми семьями.

Однажды осенью Перла Агинская пошла посмотреть, что делается в одном из домов на Зеленом переулке. словно мираж, перед ней раскрылась такая картина: маленькая комнатка. Стол, кровать. Мерцает каганец. У стола лежит девушка лет восемнадцати. Она совершенно голая. По девичьему телу из глубоких черноватых ран отрезанных грудей струится кровь. По всему видно, что девушка изнасилована и убита. У полового органа были огнестрельные раны.

Неподалеку от девушки лежал задушенный мужчина. Дальше – кровать. В кровати зарезанная ножом женщина, а рядом с ней лежали трупы расстрелянных детей.

Мученическую смерть приняла семья Коварских. Она была уничтожена на третьем месяце оккупации города. Уцелели отец и один сын. Отец успел скрыться на чердаке, сын – под кроватью. Они рассказали, как происходила эта дикая расправа. Поздней осенней ночью в дом ворвались полицейские. Несчастных подняли. Взрослую дочь раздели донага, поставили на стол и заставили плясать, а затем убили ее. Бабушка и внучек были убиты в кровати. Двое детей, мальчик и девочка, убитые в кровати, лежали обнявшись. Девочка, Малка, была тяжело ранена. Она умерла на второй день.

В эту страшную ночь были также перебиты все жители дома.

На пятьдесят третий день оккупации была проведена первая облава на мужчин-евреев. Немцы увезли на машинах несколько сот человек. Гитлеровцы говорили, что они забирают мужчин на работу. Но вывезенные из гетто больше не возвращались к родным. Через две недели облава повторилась. Забрали несколько тысяч мужчин и некоторое количество женщин. На этот раз их построили в колонны и отвели в тюрьму. Это было предсмертное шествие обреченных.

Через неделю состоялась третья облава... Забрали многих женщин и мужчин, в том числе и больных. Все они расстреляны.

Черные тучи над гетто сгущались. 6 ноября, когда в сердце каждого советского человека рождались приятные воспоминания о торжественных праздничных днях минувших лет, люди вдруг узнали, что завтра будет погром.

В это утро город проснулся необычайно рано. По улицам уже шныряли эсэсовцы и полицейские. Часть гетто – улицы Немича, Башковая, Хлебная, Раковская, Островского и другие – была окружена. Затрещали двери, посыпались стекла окон, взламывались сундуки, шкафы, гардеробы. К домам подходили машины, которые вывозили одежду, посуду, мебель. Людей избитых, с кровоподтеками выгоняли на улицы. Постепенно колонна росла. Стояли женщины, старухи, ребяташки. Многие матери держали на руках младенцев. Всюду плач, стоны, душераздирающие крики.

Так были выброшены на улицу до тридцати тысяч человек. Целый день колонны мучеников, гонимые штурмовиками, шли к поселку Тучинка. Чтобы оправдать свои преступления, немцы инсценировали революционную демонстрацию. Они взяли первого попавшегося человека, сунули ему в руки красное знамя и поставили впереди населения. Силой оружия гитлеровцы заставляли людей петь революционные песни. Затем начались массовые расстрелы. Живых людей укладывали в огромную яму по одному человеку в ряд. Сверху, как из брандспойта, их поливали автоматными очередями, потом на убитых и раненых клали новую партию и также расстреливали.

Через три дня после первого погрома в гетто привезли евреев из Гамбурга, Берлина, Франкфурта. Их поселили отдельно на Республиканской, Обувной, Сухой, Опанасской улицах. Здесь жили до восемнадцати тысяч человек, в числе которых были инженеры, врачи, служащие, рабочие[176].

Не прошло и двух недель, как начался второй погром. Схваченных людей увезли, как и в первый раз, в Тучинки. Здесь же и расстреливали их. Одна женщина во время расстрела была ранена в ногу и сброшена в яму, но яму не закопали, и она выбралась из могилы и вернулась в гетто.

Детей убивали ударами о камень или о землю, бросали в ямы живыми.

Во время третьего погрома, который произошел 2 марта 1942 года[177], немцы хватали людей не

только из гетто, но и тех, кто работал вне гетто. Так попал в руки немцев шестнадцатилетний Моисей Пекарь. Во время расстрела, еще по пути к Тучинкам, он упал и притворился мертвым. За колоннами через один-два часа шли машины, которые подбирали расстрелянных. Вместе с трупами окровавленного Пекаря бросили около ямы на Зеленом переулке.

После третьего погрома участились ночные налеты. По ночам немцы уничтожали семьи евреев, заподозренных в связях с партизанами. С наступлением темноты до рассвета по гетто шныряли черные крытые машины. Это были душегубки[178]. В эти машины сажали пойманных евреев. Мотор работал, и был слышен сильный стук в машине, а через две-три минуты из машины не доносилось никаких звуков. Каждую ночь, кроме субботы и воскресенья, к воротам гетто подходила душегубка. В конце лета 1942 года по улицам гетто были расклеены приказы. Оставшимся в живых евреям предлагалось собраться на площади 25-го Октября для получения синих нашивок. Когда люди собрались, полицейские окружили площадь. Подошли те же черные крытые машины, которые работали четыре дня подряд. Трупы замученных немцы возили к местечку Тростянец, где их сваливали в яму.

После четвертого погрома стало сравнительно тихо. Тем не менее истребление евреев продолжалось. В первое время в гетто были детский и инвалидный дома. Но вскоре и их обитатели были вывезены в душегубках.

Жители Минска помнят, как немецкие разбойники кинжалами убивали детей, помнят детские просьбы к немцам: «Дяденьки, не бейте, мы сами пойдём в машину».

В феврале 1942 года на улице Кирова был убит немецкий офицер. В этот же день несколько сот человек – евреи, русские и белорусы – в качестве заложников попали в застенки гестапо, а через несколько дней минчане видели своих знакомых, застывших на виселицах. На груди повешенных мотались дощечки с надписью: «За связь с партизанами».

Пятый и последний погром произошел осенью прошлого, 1943 года. Это те же слезы, муки, страдания и новые тысячи невинных жертв.

Рассказ профессора Прилежаева о судьбе евреев в Минском гетто

Из оккупированного Минска выбрался при помощи партизан член Белорусской академии наук, семидесятипятилетний профессор Николай Прилежаев[180]. В беседе с нашим корреспондентом[181] проф. Прилежаев рассказал о потрясающих зверствах над евреями в Минске, в Белоруссии.

К систематическому истреблению еврейского населения немцы приступили немедленно, в первый день своего вторжения, 29 июня 1941 года. Начали они с дьявольской игры: стали выбрасывать грудных еврейских детей из окон. Через некоторое время они устроили гетто, включавшее район от рыбного рынка до еврейского и польского кладбищ (Кальвария). Первыми жертвами фашистского террора пали самые лучшие представители еврейской интеллигенции. Среди профессоров, убитых в первое время, был русский ученый, профессор Марков. Он был убит за то, что жена его приютила еврея.

Немецкие палачи намеревались обвести гетто высокой кирпичной стеной, но их волчья жажда еврейской крови превозмогла все их намерения. Еще до того как стена была возведена, большие машины, нагруженные людьми, днем и ночью начали курсировать в неизвестном направлении.

Одновременно начался перманентный погром. Профессор Прилежаев сам был свидетелем того, как

гитлеровцы бросали живых еврейских детей в открытые могилы.

Далее профессор Прилежаев говорит, что от коренных минских евреев и следа не осталось, в запертом гетто валяется еще некоторое число лодзинских[182] и гамбургских евреев, вымирающих от голода и болезней. Хотя в оккупированных белорусских городах евреев не осталось, гитлеровская власть непрерывно, день за днем, ведет систематическую зоолого-антисемитскую погромную кампанию. Какое бы несчастье ни приключилось с подневольным белорусским населением, фашистская власть и фашистская пресса в Минске всегда винят евреев. Но эти пустые застрашивания ни на кого не действуют. Симпатии белорусского населения на стороне преследуемых евреев. С печалью и негодованием местные жители говорят о кошмарных зверствах над их согражданами-евреями.

Ликвидация. Минского гетто

Рассказ Абрама Машкеleyсона

Недавно вернулся из поездки по освобожденным городам Белоруссии начальник комбината пищевых концентратов Абрам Машкеleyсон, имевший задание организовать в ряде городов Белоруссии заводы пищевых концентратов.

В начале войны в Минске остались тесть Машкеleyсона – Бер Перельман, семидесятилетний старик, и шурин Ехиель Перельман с семьей. В числе десятков тысяч других минских евреев они также были расстреляны в Тростянце – в тринадцати километрах от Минска.

Минские евреи, бывшие партизаны, работающие сейчас в различных советских организациях, рассказали Машкеleyсону о судьбе минских евреев и евреев, привезенных туда немцами из Гамбурга.

В Минском гетто находилось свыше пятнадцати тысяч евреев[184]. Из них уцелели около тысячи, ушедших в партизанские отряды, и около двадцати человек из тех, которые скрывались в «малинах». Как известно, Минское гетто находилось в районе улиц Раковка, Тарасовка и Освобождения. На территории гетто работала пекарня с тремя печами. Под одной из этих печей евреи прорыли подземный ход длиной сто восемьдесят метров с выходом в какой-то двор за пределами гетто. Выход был замаскирован большим мусорным ящиком. Через этот «туннель» и прошли сотни евреев, убежавших в партизаны.

Из гетто удалось вырваться и минскому резнику Лунину, который за крупную сумму достал у немецкого полицейского наган и ушел к партизанам. Старый резник принимал активное участие во многих диверсиях, организованных партизанами. За героизм, проявленный им, Лунин награжден партизанской медалью I степени и орденом Красной Звезды.

Партизаны и уцелевшие жители Минска передают, что ликвидация минского гетто была организована следующим образом.

Согласно разработанному заранее гестаповцами плану, евреев выселяли сначала из одного квартала. Освободившийся квартал выключался из гетто. Проволочные ограждения перемещались к следующему кварталу. И так квартал за кварталом выключался из пределов гетто, которое становилось все меньше и меньше.

Евреев увозили в Тростянец и Хасоновщину – недалеко от Минска.

Эти два пункта и явились местом массовых убийств евреев. Сюда привозили их партиями в пять-шесть тысяч человек, раздевали догола, загоняли в ров, а затем мотоциклисты с ручными

пулеметами объезжали ров и расстреливали несчастных. Убитых и раненых засыпали тонким слоем земли, а потом тракторами утрамбовывали место погребения живых и мертвых.

Незадолго до своего бегства из Минска немцы стали гнать советских военнопленных в Тростянец и Хасоновщину, заставляя их вытаскивать тела истребленных евреев и сжигать их останки.

Наступление Красной Армии было настолько стремительным, что немецкие душегубы не успели закончить своей дьявольской работы, и несколько тысяч трупов остались лежать штабелями в раскрытых рвах.

Они торговали детьми

Рассказы Марии Готовцевой, Марфы Орловой, Фени Лепешко

Когда вспыхнула война, сотни еврейских детей Минска находились в летних лагерях, детских садах и яслях. В первый же день войны многих детей из Минска эвакуировали в окрестные деревни, где угроза бомбардировок и обстрела казалась не так велика, как в городе. Многие из еврейских ребят так и остались в лагерях и яслях, рядом с детьми белорусов, украинцев и русских.

Захватив Минск, гитлеровцы долго не обращали внимания на детей, прозябавших в приютах и детских домах. Летом 1942 года местным фашистским властям стало известно, что среди безнадзорной, осиротевшей детворы много еврейских детей, и они решили приступить к ликвидации тысяч маленьких советских граждан.

Газовые автобусы-«душегубки» вылавливали еврейских детей на улицах, во дворах, в больницах и детских домах. Дети набивали огромные кузова машин. Груды маленьких тел выбрасывали в ямы деревни Большой Тростянец. Среди них были еще живые, они еще дышали, некоторые кричали (но в программу фашистского разбоя входит закапывание или сожжение не только мертвецов, но и живых; так они поступали и с детьми).

Истребление еврейских детей продолжалось много месяцев. По малейшему подозрению или доносу младенцев угоняли в Тростянец – на смерть. Весной 1943 года в одном из разрушенных совхозов Минской области, неподалеку от города, обнаружили целый барак с детьми. Они были предоставлены самим себе. Крестьяне приносили им подаяние, семилетние ухаживали за трехлетними; многие из них погибли от голода и холода.

Немцы ворвались в барак и первым делом стали выпытывать, еврейские ли это дети. Дети были настолько крохотны, что ничего не могли им ответить. Не добившись толку, гестаповцы решили умертвить детей. Их погрузили на грузовые площадки и отправили на Минский вокзал. Здесь дети без еды и питья промучились двое суток. Трое из них пытались бежать в город, но немцы их пристрелили. Чего ждали немецкие изуверы – неизвестно.

Они решили извлечь пользу из этой плачущей детворы и открыли распродажу. Весть о том, что немцы продают на вокзале детей, облетела город. К вокзалу потянулись сердобольные женщины. Это был невероятный аукцион. Немцы сбывали младенцев по 25–30 марок. Женщины выбирали детей, клали на немецкую шинель деньги и приобретали ребенка. Белорусские женщины стремились спасти безвинных детей из когтей гитлеровцев.

Вот что рассказала нам Мария Готовцева, работающая сейчас в Минске на радиозаводе:

Я случайно очутилась на вокзале. Немцы зазывали прохожих, оценивали детей, торговались. Я видела, как одна старушка, плача и вздыхая, увела с собой двух маленьких девочек. Когда большинство детей было распродано, немцы стали продавать сирот по десять марок. Дети плакали,

протягивали ручонки, как бы говоря: «Купите нас, иначе нас убьют».

Минчанка Марфа Орлова, проживающая по улице Горького, № 42, показала нам четырехлетнего мальчика, купленного ею в то утро на вокзале за двадцать марок. Орлова оберегает ребенка и надеется, что скоро вернутся родители маленького Юры и заберут своего сына.

На Торговой улице, № 26 мы видели еврейскую девочку шести лет и мальчика пяти-шести лет, купленных у немцев за пятьдесят марок. Дети содержатся у работницы Фени Лепешко, матери двух сыновей-фронтовиков.

– Видите малыша? – говорит Феня Лепешко. – Теперь он уже улыбается, расцвел. А взяла его – был почти труп, не говорил, все только стонал и кого-то звал. Думала – умрет, а вот выжил, молодец. Даже не мог сказать, как зовут его, сколько ему лет. Тут рядом соседка Игнатенко купила у тех негодяев четырехлетнюю девочку, совсем хворую. Не удалось выходить крошку – умерла.

Минский ад

Воспоминания педагога Софьи Озерской

[187]

В конце июня, когда фашисты высадили в Минске свои десанты, я находилась за городом с детьми, отдыхавшими летом в детском саду. Вместе со всем остальным персоналом сада я прежде всего позаботилась о том, чтобы дети были возвращены родителям. Самой же выбраться из Минска до прихода немцев мне не удалось.

В первые же дни оккупации Минска немцы выделили под еврейское гетто двенадцать небольших узких улиц и загнали туда семидесятипяти тысячное еврейское население Минска [188]. Мало того. Туда же согнали евреев из всех местечек и колхозов Минской области. В невообразимой тесноте, среди развалин взорванных кварталов, на пепелищах сожженных домов с провалившимися крышами и зияющими провалами вместо окон ютились тысячи несчастных, голодных, трепещущих от страха существ.

Вначале фашистские варвары задумали обнести еврейское гетто высокой стеной и уже стали свозить кирпич, но потом отказались от своей затеи и ограничились тем, что обвели еврейский квартал колючей проволокой.

Отлучаться из гетто евреям запрещено. Когда же, в исключительных случаях, еврей получает разрешение выйти в город, то обязан носить на груди особый знак – желтый круг не менее десяти сантиметров в диаметре. Всякий еврей, который появится вне гетто без этого знака, подлежит смерти на месте. Любой гитлеровец может убить всякого человека, который покажется ему евреем, нарушившим это правило. И немало русских, поляков, белорусов погибли от того, что фашисты принимали их за евреев, вышедших в город без нагрудного желтого знака. Но и нагрудный знак не всегда спасает еврея от смерти. Зачастую наоборот, знак этот служит целью для подлой пули фашиста.

В издевку над своими несчастными жертвами фашисты предоставили им «самоуправление» в виде еврейской «общины» [189]. На самом деле гетто находится вне закона, и общине предоставлено одно право – право подсчитывать число убитых евреев, павших от руки озверелого врага. Иногда «общине» дается еще одно «право» – оформить организованный грабеж нищего, обездоленного еврейского населения. От людей, которые во время бомбежек, пожаров и непрерывных грабежей потеряли все свое имущество, требуют, чтобы они принесли то несколько тысяч ножей, вилок и

ложек, то несколько тысяч штук теплого белья и одежды, то кухонной посуды... И все это тысячами, и все это под угрозой смерти!

Наряду с организованным грабежом процветает грабеж неорганизованный. Не проходит не то что дня – часа, чтобы тот или иной вооруженный гитлеровский отряд не врвался в гетто и, обходя жалкие прибежища несчастных, не хватал все, что попадает под руку.

О протесте, о сопротивлении никто и не думает. Люди рады, если остаются живы во время этого беспрестанного нашествия коричневой саранчи. Но покорность мало помогает. Ни один такой бандитский налет не обходится без кровавых жертв. Раздраженные тем, что у нищего населения нечего взять, гитлеровские молодчики изливают свою злобу в убийствах и кровавых насилиях. Одной из форм организованного массового убийства евреев являются специальные концентрационные лагеря для евреев-мужчин. Под видом лагерей для трудовых работ гитлеровцы создали застенки, где ежедневно систематически десятками убивают ни в чем не повинных людей. В гетто знают, что отправка в так называемые концлагеря равносильна неизбежной смерти.

Но в своем стремлении уничтожить еврейский народ фашистское зверье поистине не знает предела. Не ограничиваясь систематическим, происходящим изо дня в день истреблением евреев, фашистские варвары устраивают особо грандиозные бойни в дни советских праздников.

7 ноября 1941 года, в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, большие вооруженные отряды фашистов в пять часов утра ворвались в еврейское гетто, окружили пять из его двенадцати кварталов и выгнали из домов на улицу поголовно всех – мужчин и женщин, стариков и детей. Вопли смертельного страха и ужаса, крики отчаяния, плач детей и рыдания женщин огласили все окрестности и были слышны во всем городе. Многотысячную толпу согнали в ближний сквер, построили в колонны и потом, посадив на грузовики, вывезли за город. Там, у бывшего немецкого кладбища, за Кальварией, были заранее приготовленные вырытые при помощи динамита длинные, глубокие рвы. Несколько дней до того по городу циркулировали слухи, что рвы эти приготовлены не зря, что готовится массовое убийство. Но человеческий мозг отказывается верить в возможность такого злодеяния. Однако набег гитлеровских банд на еврейское гетто, а главное – увоз многих тысяч людей в направлении к этим рвам, – взбудоражили весь Минск. Многие русские и белорусы, у которых в гетто имелись друзья, знакомые и родственники, бросились к еврейским кварталам проверять дошедшие до них слухи и стали свидетелями зверской расправы над беззащитным народом. Многие – в том числе и я – пошли вслед за грузовиками до самого места резни. То, что мы увидели там, заставляет до сих пор содрогаться от ужаса.

Когда огромная толпа присужденных гитлеровцами на смерть евреев была собрана у рвов, немецкие солдаты стали бросать во рвы живыми – сперва детей (вырванных из рук матерей грудных младенцев фашисты разрывали надвое, швыряли в ямы), на детей наваливали женщин, а сверху – мужчин, и во всю эту полуживую, колышущуюся в предсмертных судорогах людскую массу начали строчить сверху из пулеметов. Уже приближался закат, когда прекратилась пулеметная трескотня. Фашисты наскоро засыпали братские могилы убиенных мелким слоем земли, настолько мелким, что земля долгое время колебалась под напором раненых и случайно не тронутых пулями тел. Татары, жившие недалеко от места казни, передавали, что некоторым из брошенных во рвы удалось ночью разгрести землю над собой и выползти из ужасных могил. Они попрятались в татарских садах, и татары не выдали их, а продержав у себя несколько дней, помогли бежать из фашистского ада.

7 ноября 1941 года погибла и моя мать и с ней и вся ее семья в девять человек.

Отец мой – белорус, и в паспорте я значилась по национальности белорусской. Это и дало мне возможность безнаказанно прожить около года в Минске при гитлеровском оккупационном режиме. Мать же моя была еврейкой, и гитлеровцы после своего прихода загнали ее в гетто, а 7 ноября убили вместе с другими.

Всего в этот день, 7 ноября 1941 года, погибли в Минске от рук гитлеровцев около тридцати пяти тысяч евреев[190].

Такое же злодеяние фашисты совершили в день годовщины Красной Армии, 23 февраля 1942 года. В тот день повторились те же приемы зверской расправы с незащищенным населением, что и 7 ноября. Разница была лишь в том, что за недостатком грузовиков несчастных людей, выстроив в колонны, гнали пешком к месту избиения, к еврейскому кладбищу. В этот день пали от кровавых рук гитлеровцев восемнадцать тысяч еврейских мучеников[191].

8 марта немецкими оккупантами были убиты свыше пяти тысяч человек, преимущественно женщин[192], которых погрузили в товарные вагоны и вывезли за город. После массового надругательства их зарубили и застрелили около Смолевичей.

Мартовская резня показалась немецким извергам слишком малой, и 29 апреля, перед пролетарским праздником 1 мая, они устроили новую грандиозную бойню, убив около одиннадцати тысяч евреев[193]. [...]

6 мая 1942 года меня отозвала в сторону соседка по дому.

– Соня, – сказала она мне на ухо, – я случайно узнала, что к домоуправше на тебя поступили уже два доноса, что ты еврейка. Знаешь ведь, чем это пахнет? Ну, так постарайся убраться отсюда поскорее...

Я знала, чем грозил такой донос. Каждый житель оккупированного немцами Минска знал это. До сих пор в столице Советской Белоруссии стоят поставленные немцами семьдесят пять виселиц. Не проходит дня, чтобы на них не погибали десятки невинных жертв гитлеровского зверья. Трупы казненных не убираются по несколько дней. Среди полусожженного, голодного города вид этих виселиц вызывает жуть и укрепляет в сердцах людей, лишенных всяких гражданских прав и свободы, неистребимую ненависть к своим угнетателям.

Население города поставлено фактически вне закона. В любой момент пьяная гитлеровская солдатня может открыть на улицах беспорядочную стрельбу, убивая всех, попавших под руку, невзирая на пол, возраст и национальность. И ночью, и днем фашистские молодчики врываются в квартиры минчан, грабят, насилуют и убивают. Любой прохожий не гарантирован от того, что его не застрелит или не зарубит взбесившийся немецкий бандит, которому не понравится его нос или понравятся его часы. Все равно – белорус ли это или поляк, русский или еврей. Но хуже всего приходится евреям. Скрывшись из Минска вместе с моей подругой и спутницей комсомолкой Марией Кулешовой из Днепропетровска, мы в течение трех дней шли по направлению из Минска к Борисову и Орше и нигде не встретили ни немцев, ни полиции. Лишь подходя к одному крупному местечку, мы наткнулись на немецкий пост. Нас промучили допросами целый день, но потом отпустили, ничего не добившись. Мы были так рады унести ноги, что бросились прямо в поле. Около леса мы встретили старика-пастуха и обратились к нему за советом. Мы откровенно рассказали ему, что бежим от немцев и направляемся через фронт в Советский Союз. Узнав, что мы едва не попались в лапы

гитлеровцев, он отечески пожурил нас:

– От бабы-дуры! Чего вы в города и местечки прете? Вы лесами, лесами, тропинками, стежками, да проселками через деревни идите – и доберетесь. В селах немца нет.

Мы послушались разумного совета пастуха. Мы обходили города и местечки, миновали Борисов, Оршу, Смоляны, Богусhevск и другие крупные населенные пункты. Через деревни мы спокойно прошли проселками почти до самой линии фронта, не встретив ни немцев, ни полиции. Лишь в одном месте, когда, не найдя брода через реку, мы вынуждены были пройти через мост, мы вновь наткнулись на немецкий пост.

По всей дороге население, узнавая, что мы пробираемся в Советскую Россию, всячески помогало нам, давало приют, указывало кратчайшие и безопасные пути. Даже у самого Витебска, в девяти километрах от города, одна женщина указала нам место, где находится тайный перевоз через Западную Двину.

Шустрый подросток лет пятнадцати вместе с четырьмя другими беглецами из Витебска перевез нас на лодке через реку, и на другом берегу мы сразу очутились в советском партизанском районе, центром которого тогда являлся поселок Верховье.

Это было так неожиданно, что мы долгое время не могли поверить в свое счастье. И лишь когда партизаны, приняв нас, как родных, накормили, дали отдохнуть у себя три дня, а потом, посадив на подводы, отправили вглубь Советского Союза, мы почувствовали, что действительно вырвались из гитлеровского ада.

Воспоминания врача Цецилии Михайловны Шапиро

Цецилия Михайловна Шапиро, 1915 года рождения, врач, до войны проживавшая в г. Минске, рассказывает.

Война застала ее в родильном доме непосредственно после родов. С пятилетним сыном, новорожденным ребенком и старухой-матерью пыталась в первые дни войны, когда Минск еще не был оккупирован, уйти из города в направлении Борисова. Прошли около пятидесяти километров под непрерывной бомбежкой с воздуха. Послеродовая слабость и высокая температура не дали возможности продолжать путь. Остановились у дороги, где их настигли наступающие немцы.

Пришлось возвращаться в Минск.

В первые дни пребывания немцев в Минске было издано распоряжение о регистрации всех евреев. Регистрация производилась самими евреями, назначенными немцами. При регистрации записывались фамилии, имена и отчества, возраст и адрес. Одновременно производилось «клеймение». «Клеймение» заключалось в нашивке на одежду опознавательных знаков – желтых лоскутов без всяких надписей и белых кусков материи, на которых штемпелями черной краской проставлялись номера.

Было издано распоряжение, запрещавшее евреям ходить по центральным улицам; по остальным улицам разрешалось ходить лишь по мостовым, но не по тротуарам. Раскланиваться при встречах со знакомыми неевреями было запрещено.

Случаев уклонения от регистрации и «клеймения», а также нарушения распоряжений было очень мало. Нарушение распоряжений каралось смертью.

Следующим мероприятием была организация гетто. Было издано распоряжение, обязавшее всех жителей иудейской национальности, проживавших в Минске, переселиться на определенные,

специально для них выделенные улицы в подготовленные для них дома. Перенаселенность в квартирах и комнатах была огромная. Прежние квартиры евреев заселялись местным населением по указанию немцев. Помощником коменданта гетто назначен немец Готтенбах, заместителем немец Мендель. Его распоряжением «старостой жидовской рады» был назначен некто Мушкин. При очередном «погроме» староста гетто уничтожался и на его место назначался другой.

Гетто было огорожено колючей проволокой, охранялось небольшим числом немецких жандармов, в основном же полицией из русского и белорусского населения. Выход за пределы гетто евреям был воспрещен, за исключением тех случаев, когда евреи (до определенного возраста) направлялись на работы. Работы в основном производились на железной дороге по разгрузке и погрузке тяжестей (леса, железных балок и прочего) ежедневно с шести часов утра до восьми часов вечера. На работу и с работы шли под конвоем: немецкие жандармы в голове и хвосте колонны, по бокам оцепление из местной полиции. За работу выдавалось сто грамм хлеба в день. Первоначально весь хлебный паек выдавался раз в месяц. В дальнейшем за взятку удалось добиться выдачи хлеба ежедневно, что считалось большим достижением.

Вход в гетто неевреям, кроме полиции, был воспрещен. Иногда удавалось общаться с местным населением через проволоку. За взятки (водкой) полиция иногда разрешала перебрасывать через проволоку вещи обитателей гетто в обмен на картошку (разумеется, за бесценок). Были редкие случаи побега через проволоку, но бежало и скрывалось в городе мало евреев, так как опасались быть выданными местными жителями. В дальнейшем по колючей проволоке был пущен электрический ток. Это еще больше затруднило, сделало почти невозможными побеги через проволоку.

При смешанных браках дети следовали за отцом: если отец был евреем, дети оставались с ним в гетто, мать-арийка жила в городе. Если отец был арийцем, дети жили с ним в городе, мать оставалась в гетто. Известен случай, когда профессор Афонский, русский, женатый на еврейке, выкупил у немецкого командования жену из гетто[194]. Ей разрешено было жить с мужем и дочерью в городе (вне гетто) при условии стерилизации. Соответствующая операция была произведена под наблюдением немцев профессором Клумовым[195]. Случай этот является исключительным. У профессора был значительный запас золотых монет, который он целиком передал немцам в счет выкупа, вместе с деньгами, вырученными от распродажи всего имущества. Любопытно, что выкуп этот был оприходован официально.

Евреи использовались, как правило, в качестве чернорабочих. Исключением являлись квалифицированные ремесленники: портные, портнихи, сапожники, столяры и прочие, которых немцы использовали по специальности в своих мастерских. Эти лица были снабжены особыми удостоверениями, и умерщвление их, когда было начато постепенное истребление евреев, было произведено в последнюю очередь.

Евреи – врачи, инженеры, научные работники по специальности не использовались, работали на черных работах и подвергались истреблению на равных основаниях с прочим населением гетто. В день организации гетто популярный врач и крупный научный работник, профессор еврей Ситерман был выведен немцами на центральную площадь гетто, поставлен на четвереньки и сфотографирован в таком виде с футбольным мячом на спине. После этого был увезен немцами, как сказано было семье, «для консультации», на самом деле на расстрел.

Как питалось население гетто? Кое у кого были небольшие запасы продовольствия, быстро, впрочем, истощившиеся. У отдельных жителей были огороды. Некоторым удавалось обменивать на продукты за бесценок вещи указанным выше способом, перебрасывая через проволоку, оцеплявшую гетто. Незначительным подспорьем являлся стограммовый паек в день, получавшийся теми, кто работал. Основным же продуктом питания были картофельные очистки, кожура и прочие отбросы, подбиравшиеся в городе, по пути на работу и обратно, возле кухонь. Из-за этих отбросов доходило до серьезных драк между изголодавшимися людьми. Разумеется, было много голодных смертей и поголовная дистрофия.

Всякий хозяйственный оборот, а тем более какие-либо попытки самоорганизации в гетто отсутствовали. Время проходило в мучительном ожидании смерти, в разговорах о предстоящей судьбе. Случаи купли-продажи в гетто пресекались расстрелами как продавца, так и покупателя. Истребление населения гетто началось вскоре после организации гетто, но носило постепенный характер. Способы истребления разнообразились от раза к разу. Для начала было объявлено, что тридцать шесть евреев будут публично расстреляны на центральной площади гетто за связь с партизанами (никакой связи не было). Через несколько времени было объявлено, что столько-то евреев будут повешены за то, что ходили в город и раскланивались с неевреями. В дальнейшем умерщвления производились без мотивировок. Так в течение нескольких дней заставляли толпы евреев, приведенных из гетто за город, копать котлованы. Когда котлованы были вырыты, группе евреев приказано было лечь в них. Следовала пулеметная стрельба по лежавшим, затем тонким слоем земли покрывали убитых, раненых и уцелевших от пуль, сверху клали новый ряд людей, снова расстреливали из пулеметов, забрасывали землей – и так до заполнения котлованов, которые потом закапывались.

Наиболее усовершенствованным орудием истребления явились пресловутые душегубки, которые вскоре стали применяться в широком масштабе.

После каждого «погрома» (так жители гетто называли очередное истребление) площадь гетто уменьшалась, новые и новые улицы освобождались от евреев и заселялись местным нееврейским населением, колючая проволока передвигалась, охватывая все меньшее и меньшее пространство. Самое истребление осуществлялось в основном по улицам: такого-то числа истреблялись жители таких-то улиц гетто, после чего граница гетто переносилась, а освобожденные от евреев улицы отходили от гетто, и через некоторое время подвергались истреблению жители других улиц и т. д. Истребление значительного количества евреев было приурочено к 7 ноября 1942 года. За несколько дней до этого Шапиро бежала из Минска с подложным паспортом. Значительно раньше удалось, благодаря помощи русских подруг, вывести из гетто пятилетнего сына и поместить его под русской фамилией в детский дом, организованный местным населением с разрешения немцев. Матери рассказчицы Израелит Анне Максимовне местный полицейский проломил череп, но она осталась жива. Через некоторое время она была умерщвлена в душегубке. До помещения мальчика в детский дом он был при очередном налете полиции на гетто выброшен полицейским в канализационную трубу, но остался жив.

В Минское гетто, помимо местных евреев, были привезены евреи из разных стран – Франции[196], Германии и других. Евреев каждой страны селили внутри гетто отдельно. Эти своеобразные «землячества» были отделены друг от друга внутри гетто проволокой. Общение евреев различных

стран между собой и с местными евреями было запрещено. Все они разделили судьбу минских евреев, то есть подверглись постепенно поголовному истреблению.

В случае побега из гетто пойманного подвергали на центральной площади публичному «препарированию», то есть их резали по кусочкам, пока не наступала смерть. Начиналась препарация с того, что ножом вырезали из орбит глазные яблоки.

При истреблении в душегубках молодых женщин привязывали за косы к осям машин и в таком виде волокли живыми по городу, пока не наступала смерть. Внутри же душегубок производилось в то время умерщвление газом тех, кто там находился. Полицеймейстер Готтенбах, проходя по гетто, неоднократно лично по разным поводам убивал встречавшихся ему евреев, в том числе детей, из своего револьвера.

Помимо случаев частичных истреблений рассказчице известно четыре крупных «погрома». Первый был 7/XI-1941, второй (очень крупный) – 2/III-1942, третий – в апреле 1942 года, четвертый – 7/XI-1942[197]. Рассказчица полагает, что четвертым «погромом» закончилось истребление всех евреев в Минске, но в этом не уверена, так как в первых числах ноября 1942 года, за несколько дней до этого четвертого погрома, ей удалось бежать из Минска. По другим сведениям, истребление всех евреев в Минске было закончено в апреле 1944 года[198]. Еще ранее, ища спасения, Шапиро обратилась к профессору Онищенко, которого знала ранее по медицинской работе, прося его помочь ей устроиться на врачебную работу в одной из окрестных деревень, где не знали, что она еврейка.

Онищенко, бывший при советской власти членом ВКП(б) и занимавший крупный административный пост в органах здравоохранения, работал при немцах заместителем заведующего Минского горздрава. На ее просьбу он ответил: «Жидов на работу мы не направляем, а истребляем, если они сами не понимают, что должны околевать с голода». Вскоре Онищенко уехал из Минска в «научную командировку» в Париж, в то время тоже оккупированный немцами. О дальнейшей его судьбе ей ничего не известно.

Из других частных случаев истребления рассказчица вспоминает, что однажды были созваны, якобы на собрание, на центральной площади гетто вывезенные в Минск евреи из Германии. Никакого собрания не состоялось, а все явившиеся были посажены в душегубки и увезены на смерть.

В промежутках между массовыми истреблениями был ряд случаев, где немецкий комендант требовал от населения гетто взноса очередной контрибуции: деньгами, кусками материи, обувью, прочими вещами. За неисполнение угрожал расстрелом заложников. Контрибуции обычно вносились в указанном объеме в назначенные сроки.

После побега из Минска с чужим паспортом на имя русской женщины Шапиро добралась до Гомеля. Здесь при оформлении прописки начальник полиции Кардаков – бывший полковник РККА, бывший член ВКП(б), изменник – направил ее, ввиду возникших сомнений, к немецкому профессору Веберу для определения расовой принадлежности. Профессор, произведя обследование черепной коробки, носа, рта и прочего, впал в ошибку, признав ее «безусловно арийского происхождения», что и спасло ей жизнь.

Сын Шапиро, мальчик Эдуард, 1936 г. р., которого удалось, благодаря помощи русских друзей Шапиро, вывести из гетто и поместить в детский дом, рассказывал, что в Минске работала комиссия по проверке расовой принадлежности детей, находившихся в минских детских домах. Целью комиссии было выявление, кто из детей, находящихся в детских домах, – евреи. Помимо опроса

детей, проводился осмотр, нет ли признаков обрезания, обследование черепных коробок, носов, ртов, челюстей. Обнаруженных еврейских детей, по рассказам мальчика, умерщвляли: расстреливали, сажали в душегубки. По рассказам мальчика, сам он видел случаи расстрела детей. Лично он избег смерти, выдав себя за русского, при отсутствии признаков обрезания. Детские дома содержались на доброхотные даяния местного населения. Кормили впроголодь. Детей, в отношении которых были сомнения, что они крещены, крестили в церкви. Мальчик был крещен и наречен Колей. Посещение церкви, участие в молитвах и церковном пении было обязательным.

Москва, ул. Мархлевского, 11, кв. 101.

Встречи в Минске

Рассказы Тамары Гершакович, капитана Лифшица, Софьи Диснер

То, что я хочу рассказать, произошло в Минске во время кровавой оккупации.

Надо помнить, что белорусам и русским грозила смертная казнь за вход в гетто и даже за обмен словом с евреем через ограду.

Еврейям грозила смерть за выход из гетто без желтой латы. И вообще, вход и выход из гетто можно было совершать только в колонне, которая направлялась рано утром на работу и возвращалась вечером с работы в гетто. Если поймали еврея вне гетто, разговаривающего с русским, расстреливали их обоих на месте.

Недаром евреи Минска, как только их заключали в гетто, объясняли слово гетто следующим образом: «Развод с местным населением».

И, кроме того, немало евреев находилось в постоянном контакте с русскими и белорусами. И если в гетто до последнего дня его существования (пока немцы окончательно не ликвидировали гетто) не все умирали с голоду – то это только благодаря тому, что евреи поддерживали отношения с местным населением.

И, несмотря на все угрозы немцев, многие русские и белорусы, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью своих семей, прятали у себя еврейских детей.

Моя племянница – Тамара Гершакович – после страшного погрома летом, который продолжался четыре дня, боялась оставить дома своего шестилетнего ребенка.

И немцы прежде всего убивали детей, стариков, женщин, а потом мужчин, которые по любой причине не являлись на работу. Поэтому Тамара, уходя утром на работу, носила в мешке ее девочку к русской подруге, а вечером, возвращаясь с работы, брала ребенка обратно к себе в гетто.

Многие дети, которые остались без родителей, сами уходили в русские кварталы. Добрые люди принимали их у себя в квартирах и не отпускали.

Таким образом остались в живых дети врача Левина, артиста Сладека, врача Липец, сын военнослужащего Альтера и десятки других детей.

Многие еврейские дети ушли в русские детские дома. Учителя знали, что это еврейские дети и то, что давая им приют в детских домах, они рискуют жизнью.

Несмотря на это, учителя брали к себе еврейских детей, давали им русские или белорусские имена и спасали их до дня освобождения.

В Минске я встречал некоторых счастливых родителей, которые нашли своих детей в самом лучшем состоянии. Капитан Лифшиц нашел своих детей – тринадцатилетнего мальчика и шестилетнюю девочку в одном из детских домов Минска. Мальчик рассказал, как он спасался.

После того как немцы убили мою маму, я уже не хотел оставаться в гетто. Я и моя сестра ушли в ближнюю деревню. Там мы жили короткое время, но меня тянуло в город. Потом мы выдумали себе русские имена и фамилии и ушли снова в город. Там приняли нас в русский детский дом. Учителя поняли, что мы евреи, но не подавали виду.

В каждом минском детском доме были такие еврейские дети. Эти дети были уже так выучены и осторожны, что даже через полтора месяца после освобождения Минска я нередко встречал еврейских детей, которые в разговоре с учителями рассказывали, кто был их отец и мать, а на мой вопрос, обращенный к еврейской девочке в детском доме: «Как тебя зовут?» – девочка ответила со страхом: «Верка... Иванова...»

Среди шестидесяти детей в минском детском доме № 2 находится тридцать один еврейский ребенок. Среди свыше чем ста детей детского дома № 3 – одиннадцать еврейских детей. В детском доме № 7 – восемь еврейских детей и один ребенок – негр Джим, которого учителя спрятали от немецких людоедов, как и еврейских детей.

Как было упомянуто выше, немцы с самым большим варварством убивали тех, которые прятали евреев. Так уничтожена была вся деревня Скимунтово Кайдановского района, где немцы нашли у крестьян десять евреев[200].

В этой деревне, Скимунтово, находился перевалочный пункт, через который уходили к партизанам. Здесь прятали евреев в больших сараях. Сюда приходили каждую ночь десятки евреев из гетто. Немцы об этом узнали и окружили деревню. Десятерых евреев, которых нашли в сарае, сразу убили. Затем всех жителей деревни загнали в этот сарай, свыше двухсот восьмидесяти человек, и со всех сторон подожгли этот сарай.

Но это не остановило желание многих людей спасти евреев. Тринадцать евреев, которых в течение трех месяцев прятали на Минском еврейском кладбище, остались живы только благодаря белорусской работнице Мане Канцевич, которая помогла им. Если бы не она и не еще несколько русских друзей, эти евреи умерли бы с голоду.

Очень важную роль в оказании помощи еврейскому партизанскому отряду, командиром которого был Тувья Бельский[201], играли два крестьянина из Западной Белоруссии – Костюш Козловский[202] и Матвей Бояров, которые заблаговременно предупреждали о немецкой облаве. В Минске на обувном заводе им. Тельмана работает Соня Диснер. Перед войной она с Марьей Игнатьевной Августович работала на обувном заводе им. Кагановича.

Когда немцы загородили гетто, Диснер оказалась в гетто, а во время первого погрома чуть не погибла.

Мария, ее сестра Наталья и их семидесятишестилетняя мать Елизавета Августович три года прятали у себя С. Диснер. Для этого они перешли в недостроенный подвал, чтобы легче было там прятать Соню. Каждую ночь они были на посту. В конце концов полиция почувала, что у них есть чужой человек. Они арестовали Маню и держали ее шесть недель. Полиция ничего от нее не узнала. С другой стороны, евреи делали все, что только было возможно, чтобы помочь партизанскому движению, их русским и белорусским товарищам. Известен случай, когда в госпиталь, находящийся в гетто (в Минском гетто был госпиталь со знаменитым медицинским персоналом), привезли раненых белорусских и русских товарищей из партизанских отрядов. Прежде чем их завозили в гетто, им давали желтые знаки. Они лежали в этом госпитале, и их называли еврейскими именами:

Степан стал Хаимом, Андрей – Янкелем, Тарас – Лейбе. Когда их вылечили, им помогли вернуться в партизанский отряд. Кроме того, евреи старались использовать все возможности, чтобы спасти из фашистских концлагерей советских военнопленных, которые умирали из-за пыток, голода и холода. Таким образом еврей из Минска Гедалье, слесарь, спас из концлагеря для военнопленных старшего лейтенанта Семена Гунзенко. Гедалье вывез его из лагеря в мусорном ящике. Он его привез в гетто и там предоставил ему возможность уйти в лес, где он скоро стал командиром партизанского отряда, а потом командиром партизанской бригады имени т. Пономаренко.

Лагерь и гетто в Минске

Письмо фронтовика М. Локшина И. Г. Эренбургу

[204]

[...] Это было 6 июля 1941 года. Встречаюсь на окраине города в концентрационном лагере с бибиробиджанским писателем Добиным[205]. В лагерь согнано много тысяч мирных людей. Туда же согнано несколько тысяч военнопленных. Евреев еще не отделяли. Мы ходим с Добиным по лагерю и видим: немцы бьют людей прикладами и стреляют в толпу, бросающуюся на сухари, которые кидают из автомашины. Расстреливают людей, вне очереди черпающих из болотистой речушки воду.

10 июля 1941 года начинается расовая политика гитлеровцев. Лагерь начинают разбивать по нациям. Евреи огораживаются с четырех сторон канатами, и их охраняет усиленный караул. Начало жизни видоизмененного лагеря отмечается расстрелом одного еврея за то, что он не так быстро перебежал в назначенное для евреев место расположения. Но пристрелили его, соблюдая все фашистские порядки. То есть избили, поиздевались, заставили бежать и ползать, а затем, обессиленного, прикончили свинцом и заставили зарыть внутри лагеря. В этот же день началась массовая расправа. Три тысячи евреев были размещены на площади не более чем полторы – две тысячи квадратных метров. Огороженные между пленными и бывшими заключенными с вечера прижимались пулеметным огнем к земле в обвинение, что они, мол, ведут торговлю с военнопленными, а с бывшими заключенными не делятся продуктами питания. Мы с Добиным пытаемся успокаивать волнующихся, чтобы облегчить горе. Меня же Добин учит просить милостыню, дабы поддержать здоровье и кое-как питаться.

Нас разбили на девять колонн. Ежедневно выбирали по несколько человек из колонны и куда-то отправляли на машинах. Раздавалась где-то очередь из автоматов – и все.

Числа 15 июля отбирают из числа трех тысяч интеллигенцию и тоже увозят куда-то в безыизвестность.

Мирных женщин пока не трогают и даже разрешают приносить передачу. Но с каждым днем все меньше попадает продуктов заключенным, так как немцами устраивается сначала грабеж у заключенных, а затем у тех, кто приносит передачи.

18 июля около двух тысяч оставшихся в лагере евреев переводят в тюрьму. На пути расстрелы и расправа, организованная для зрелища. Сначала вводят в каменный двор тюрьмы. Запирают ворота и заставляют эту двухтысячную массу в одном из углов двора сжаться в комок. Методически раздаются очереди из автоматов. За воротами тюрьмы рыдают женщины и дети. А гестаповцы с удивительным спокойствием делают свое черное дело. Затем вгоняют нас на второй этаж тюрьмы, причем в дверях стоят два здоровенных фашиста с дубинками, а сзади – автоматчики. Одни кричат: «Шнель, шнель», а те, что в дверях, бьют по головам. Проскочившие тюремный коридор почти

механически попадали в камеру. Стало смеркаться, поднялся шум и беготня. В камеры врываются фашисты и начинают всех избивать, а затем стрельба. Опять выгоняют на улицу и предлагают выдать вора, похитившего у начальника из кабинета мыло, полотенце и что-то еще. Кражи никакой, конечно, не было. Но ночь прошла в большой тревоге. 20 июля нас выпускают и подводят к так называемому юденрату. Один из «представителей» этого совета выступает перед нами и объявляет о количестве золота, серебра и денег, которые еврейское население города обязано внести немецким властям в течение сорока восьми часов. Между тем он довольно ясные намеки дает на то, что все происходящее – цветочки.

1 августа – открытие гетто. К этому времени немцами уже был заложен фундамент вражды со стороны белорусского населения к евреям, из-за которых якобы приходилось многим оставлять свои дома и огороды, так как участок для гетто был отведен в значительной отдаленности от центра города.

С этого дня начинается гонка на работу, и до половины августа обходилось все почти без расстрелов. А с 14–15 августа уже появляются факты избиения, изменяется отношение к женщинам, разносятся слухи о кастрации евреев. Но в это же время собирается имущество для устройства еврейской больницы. И с одним из врачей этого коллектива мы пытаемся создать подпольные группы молодежи. Пытаемся установить радиоприемник и выпускать листовки. 19 августа меня угнали на работу. Это был день открытия концентрационного лагеря на улице Широкой. Лагерь был в ведении полевой жандармерии. Сто двадцать евреев, пригнанных под силой оружия, должны были голыми руками разобрать несколько построек в районе кавалерийских казарм и в течение двух часов очистить площадь для лагеря. Двести метров нужно было бегом переносить первый попавшийся под руки столб, бревно, доску и складывать в полный порядок по сортам и размерам.

Примерно на полпути встречали мучеников немцы с собакой. И того, на которого кидалась собака, подхватывали и начинали избивать. А работа шла.

Дорогой мой! Этого ужаса я описать не в силах. Но если ад в нашем понятии страшен, то 19 августа 1941 года был днем, проведенным в аду.

Меня в этот день били дважды и в полусознании стали топить в колодце, словно с тем, чтобы привести в чувство, а затем поставили к стенке и приготовились расстреливать, но, поняв, очевидно, что я этому рад, приказали отойти в сторону. Я лежал распаленный на земле, жадно вдыхая влажный запах непомятой травы. Подходили эсэсовцы с черепами на фуражках, пилотках и рукавах, били сапожищами в лицо, набивали синяки и все пытали: «Сталин, Сталин».

Стало смеркаться. Я был избит и оборван. Был без брюк и кальсон. На мне привязали два пиджака вместо брюк, посадили передо мною эту сотню несчастных и заставили руководить хором.

Боже милый! Мы пели... Этому горю, казалось, только небо внимало. С наступлением вечера нас загнали в кавалерийские конюшни и объявили, что «юденрат» знает, где мы находимся, и наше освобождение зависит от самих нас. То есть, чем быстрее мы закончим работу, тем скорее нас отпустят по домам.

20 августа нас разбили на колонны. Назначили из нас «колонненфюреров» и вооружили их дубинками. С этого времени стали прибывать все новые партии людей. Лагерь разросся до двух тысяч несчастных. Из этого пекла освободились только те, которые бежали.

Товарищ Эренбург! Дорогой и любимый! Я с 1916 года рождения. Я воспитанник комсомола, а

теперь, в период войны, я, как губка, напитался горем и во мне, правда, не совсем еще оформленное, чувство зародилось. Однако как хочу я, чтобы многострадальный еврейский народ был не только равноправным народом, но и народом-героем. Вот я на территории проклятой Германии, но нет у меня жажды резать и уничтожать ни стариков, ни детей, ни женщин германского народа. Но от всей души я радуюсь артиллерийской канонаде по немецким вооруженным силам. Я рад тому, что никогда больше не будет немецкой ночи в России. Я счастлив тем, что Вы, дорогой Эренбург, можете спокойно трудиться во имя народов нашей отчизны, но очень прошу Вас уделить внимание указанию ошибок, допущенных евреями в течение 40–45 лет.

Извините меня, много написал. Затруднит Вас. Но что делать, коль так больно, да и это же ведь частичка самая малая, о чем я хотел Вам рассказать. Возможно, скоро закончится война, может быть, когда-либо я сам, как умею, опишу пережитое и наблюдаемое, ну а пока, может быть, то, о чем я Вам сообщаю, пригодится в Вашей работе.

Кстати, наша часть принимала участие в штурме гор. Шнайдемголь. Окруженная группировка немцев уничтожена, и на рассвете 15 февраля мы отъезжали из этого пограничного города варварской Германии. Далеко видать зарево пылающей гитлеровской Германии.

На днях в городе Ландсберг мне пришлось беседовать с военным фельдшером-немцем. Беседа у нас с ним была на тему поражения Германии. Мне было задано два основных вопроса. Первый: как поступят с Германией после войны, и второй: как могла Россия за такой короткий промежуток времени так сильно окрепнуть. На первый я ответил согласно решениям Крымской конференции трех руководителей союзных держав, а на второй мы отвечали коллективно. Затем они нам сообщили или, вернее, старались внушить, что гитлеровцы составляют всего лишь 25 % немецкого народа. Говорили и о выводах, сделанных Бисмарком.

Хочу заметить, что не успевшие убежать немцы надевают белые повязки на рукава и стараются быть гостеприимными. Многие из них очеловечиваются. Более грамотные немцы с виду приветливее, нежели неграмотные.

В общем, сейчас трудно делать какие-либо выводы, притом получаемое впечатление не выложишь на двенадцати мною исписанных страницах.

С горячей любовью к Вам и воинским приветом

Отравление жителей Минска газом в машинах-душегубках и расстрел минских евреев

Стенограмма допроса немецкого офицера Райхофа Юлиуса. Из документов ЧГК

[206]

Допрос начат в 13 часов 21 июля 1944 года в городе Минске.

Вопрос: Что вам известно о машине-душегубке, о ее устройстве и методах применения?

Ответ: Находясь в деревне Менятино Спас-Демянского района Смоленской области, я неоднократно встречался с начальником фельджандармерии 267-й немецкой стрелковой дивизии – обер-лейтенантом Гомайер Эвальдом. В разговоре с ним в столовой штаба дивизии в сентябре 1942 года, не помню какого числа, Гомайер мне сообщил, что в городе Минске работниками «СД», фамилий он мне их не назвал, для уничтожения советских граждан при помощи отравляющих газов применяется специальная машина, которая называется душегубкой. Устройство машины-душегубки следующее: она имеет форму грузовой машины с крытым кузовом. В кузов, куда немцы сажали советских граждан с целью отравления, от мотора машины была проведена труба. Машина герметически

закрывалась, и люди, находившиеся в ней, под действием отработанных газов через несколько минут отравлялись. Какой период действовала в Минске машина-душегубка и сколько при помощи ее было отравлено советских граждан, я не знаю.

Вопрос: Известно ли вам, кто конкретно из числа работников «СД» принимал участие в отравлении советских граждан при помощи машины-душегубки?

Ответ: Лично мне видеть так называемую машину-душегубку, при помощи которой производилось массовое отравление советских граждан, не приходилось, я о ней впервые узнал от обер-лейтенанта Гомайер Эвальда, а впоследствии от знакомых жителей города Минска. Кто из работников «СД» обслуживал в Минске машину-душегубку и отравлял советских граждан при помощи этой машины, я не знаю и показать что-либо существенного по данному вопросу ничего не имею.

Вопрос: По чьему указанию производилось отравление советских граждан при помощи машины-душегубки?

Ответ: Все злодеяния и уничтожение советских граждан при помощи душегубки производилось в соответствии с приказами и указаниями германского правительства, о чем я показывал выше на предыдущем допросе.

Вопрос: Кто такой обер-лейтенант Гомайер Эвальд?

Ответ: Гомайер Эвальд в чине обер-лейтенанта работал в должности начальника фельджандармерии при 267-й немецкой пехотной дивизии, в которой я был председателем военного трибунала. За несколько месяцев до наступления частей Красной Армии я выехал в Германию и больше в 267-ю стрелковую не возвращался. О Гомайер Эвальде я еще могу показать, что он расстрелял лично сам примерно пятьдесят человек советских граждан, но когда им совершено такое злодеяние, я не знаю.

Вопрос: Что вам еще известно о зверствах, чинимых немцами над советскими гражданами в городе Минске?

Ответ: После оккупации немцами города Минска в первых числах июля 1941 года карательными органами «СС» в Минске было согнано все еврейское население города под предлогом отправки на работу в Германию. Согнав евреев в одно место в окрестностях Минска, эсэсовцы разбили их на группы, накрыли большими брезентовыми накидками и из заранее установленных ими пулеметов всех евреев расстреляли. Всего в этот день было расстреляно несколько тысяч еврейского населения города Минска. Кто непосредственно из числа эсэсовцев учинил расправу над евреями в Минске, я не знаю, так как о данных фактах мне рассказывал унтер-офицер Бюхель, служивший в то время в 268-й стрелковой дивизии в качестве командира группы связистов, который в ноябре 1943 года в числе 268-й стрелковой дивизии был переброшен на Итальянский фронт. Где он сейчас находится, я не знаю.

Протокол с моих слов записан правильно и мне прочитан.

Города и местечки Белоруссии

Расстрелы, виселицы, живые факелы

Рассказы жителей местечка Старые Дороги

Еврейский антифашистский комитет получил ряд новых документов и свидетельских показаний о зверствах, творимых немцами над евреями в Белоруссии. Житель местечка Старые Дороги белорус Щорбатов, сбежавший из немецкого ада на советскую сторону, рассказывает о массовом истреблении еврейских семейств в его местечке: 363 семейства были убиты эсэсовцами в один

день[207]. Щорбатов рассказывает об ужасных актах мести к тем русским и белорусским людям, которых немцы подозревают в укрытии евреев. В Старых Дорогах проживал старый врач Шапелко. В одном из отделений больницы, где он работал, в большом секрете содержались две больные еврейские женщины. Гестаповцы в конце концов узнали об этом «преступлении». Они вытащили больных женщин из кроватей и расстреляли их, а доктора повесили.

Такая же участь постигла в местечке агронома Кунбина и Анну Королеву – оба белорусы. Немцы их обвинили в содействии партизанам и укрытии у себя евреев. Русский житель Сипнов, попавший к немцам в плен и сбежавший оттуда, передает следующее:

Когда я попал в плен, меня и еще нескольких таких, как я, отправили в лагерь для пленных у берега реки Друч. Через колючее проволочное ограждение мы однажды увидели, как немецкие охранники загнали в реку несколько десятков еврейских женщин и детей, совершенно голых, и покрикивали на них: «Выкупайся, грязная жидовня!» Когда несчастные попытались пуститься вплавь, гитлеровцы стали в них стрелять. Ни один из них из реки не вернулся.

Белорусский партизан Микола В., вернувшийся недавно из Полоцкого района, сообщает:

В деревне Заборье Полоцкого района немцы согнали восемьдесят мужчин евреев и двадцать женщин, жен белорусских партизан, заперли их в маленькой местной кузнице, облили кузницу керосином и подожгли. Тушить пожар было запрещено. Сто человек в страшных муках погибли в пламени.

Список немецких зверств растет изо дня в день. Каждый проходящий из оккупированной немцами местности может рассказывать без конца страшные истории о злодеяниях кровожадных оккупантов.

В городе Слуцке

По сообщениям партизан

Еврейское население белорусского городка Слуцка было истреблено в два приема.

В течение короткого времени после занятия города немцы уничтожили две тысячи восемьсот евреев. Истребление продолжалось два дня. Евреев вывели в деревню Макрита в нескольких километрах за Слуцком. Здесь их расстреляли группами из автоматов. Сопrotивляющихся или убежавших гитлеровцы обливали бензином и поджигали.

От этой первой резни до лета 1942 года в Слуцке было сравнительно спокойно. Оставшихся в живых евреев заперли в гетто. К ним присоединили и евреев из района.

Как передают партизаны, до лета 1942 года в Слуцком гетто находилось свыше двух тысяч еврейских семейств. В июле 1942 года все жители Слуцкого гетто были вывезены в ту же деревню Макрита и расстреляны. Среди истребленных было до семисот маленьких детей.

Но и после этого Слуцк еще не был полностью очищен от евреев. Гетто хотя и было отменено, но некоторое число евреев еще находилось в Слуцкой тюрьме[209]. Как передают те же партизаны, это, собственно, не тюрьма, а застенок. Во время господства в Слуцке немцев через этот застенок прошло сорок семь тысяч человек – евреев, русских, белорусов. Считают, что не меньше четырнадцати тысяч человек было здесь замучено до смерти. Остальные превращены в калек.

В Чаусах

Рассказ местной жительницы Ларисы Григорьевны Гменко

Трудно сейчас удивить кого-либо зверствами гитлеровцев. Потоками крови они залили оккупированные белорусские города и села. Теперь, когда Красная Армия победоносно и

стремительно идет на Запад, мы узнаем о все новых зверствах немецких оккупантов, истребивших сотни тысяч евреев и белорусов.

Чаусы – маленький городок Могилевской области. До войны он утопал в садах и ягодниках. Жизнь здесь была тихая, зажиточная, глубоко провинциальная.

Сейчас это груда развалин. В городке нет ни одного уцелевшего каменного дома, да и деревянных осталось совсем немного. Вырублены сады, потоптаны ягодники.

В этом городке жило до пяти тысяч евреев[211]. В августе 1941 года их согнали в район Козинки – пригород Чаус, в гетто. Через несколько дней несчастных заставили погрузить на подводы все свои вещи. Немцы сказали, что евреев переведут в бывший еврейский колхоз (в пяти километрах от Чаус). Все это было ложью. Вещи гитлеровцы разворовали, а всех обитателей гетто повели за город, на берег реки Проня. Женщин, детей, стариков – их поставили над рвом и приготовили пулеметы. Мне рассказывала местная жительница Лариса Григорьевна Гменко, невольная свидетельница этого страшного массового убийства, как это все происходило.

Когда несчастные стояли над рвом, одна из обреченных, учительница Дора Рувимовна Каган, обращаясь к палачам, закричала:

– Мы беззащитные и не можем бороться с вами. Но всех вы не уничтожите. Остались миллионы советских людей, они за нас отомстят. Невинная наша кровь будет на их знаменах...

Автоматная очередь прервала ее речь.

Потом из станковых пулеметов гитлеровцы открыли стрельбу. В ров падали убитые и раненые. Падали и совсем здоровые люди. Немцы кое-как засыпали ров. Поставили охрану. Это было 16 августа 1941 года. До поздней ночи из-под земли доносились стоны заживо погребенных людей[212]. После массового убийства всех евреев немцы стали убивать второе и третье поколение, то есть людей, у которых мать еврейка, отец русский или наоборот (кто-нибудь из родителей еврей). Стали убивать и тех, у кого родители русские, но дед или бабушка были евреи.

В Чаусах, этом маленьком провинциальном городке, славилась своей красотой восемнадцатилетняя Ира Губных – стройная блондинка с большими всегда улыбающимися глазами. Мать ее работала до войны провизором в аптеке, отец врачом. Дедушка ее был еврей. Все оставшиеся в живых жители Чаус пришли провожать Иру в ее последний скорбный путь. Девушка шла посреди дороги, окруженная десятком малышей, тоже виновных только лишь в том, что отцы и матери их евреи. Ребятишки плакали, а белокурая красавица их утешала: «Не плачьте! Не надо, чтобы палачи видели, что мы их боимся. За нас все равно отомстят».

Иру Губных вместе с этой группой ребятишек расстреляли на зеленом берегу Прони в ясный, солнечный августовский день 1941 года.

Смерть учительницы-героини

Чаусы

Смертью героини умерла еврейка – учительница средней школы во время ужасающего погрома, организованного немцами над остатками еврейского населения в белорусском городке Чаусы. Имя этой учительницы до сих пор не удалось установить[214]. Она погибла при следующих обстоятельствах.

Гитлеровцы согнали вместе все девятьсот еврейских семейств, оставшихся в живых в городке Чаусы[215], погнало их по направлению к деревне Дрануха; одновременно эти коричневые бандиты

погнали всю оставшуюся горсточку дранухских евреев по направлению к городку Чаусы. На полдороге, когда обе группы евреев встретились, гитлеровцы с помощью фашистской полиции принялись обстреливать несчастных со всех сторон. Организацией этого массового убийства руководил начальник немецкой полиции Данилов. Когда началась стрельба, вышеупомянутая учительница, выскочив из сгрудившейся массы, приблизилась к Данилову и плюнула ему в лицо. Полиция тотчас схватила эту отважную дочь еврейского народа и приволокла ее к яме, которая должна была стать ее могилой. В последний момент перед своей смертью учительница успела крикнуть падавшим евреям: «Дорогие братья и сестры! Плюньте в лицо этим негодьям! Красная Армия еще придет, и она рассчитается с немецкими собаками за нашу кровь!»

Она не успела закончить, как тяжелый пулеметный залп оборвал ее молодую жизнь.

На дороге между Чаусами и Дранухой было убито больше тысячи еврейских семейств.

Истребление евреев в Мстиславле

Победоносная Красная Армия, очищающая территорию Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, освободила недавно город Мстиславль. Сейчас только, после освобождения города, удалось установить все зверства, которые совершены были в этом городе гитлеровскими извергами. За городом, в так называемом Кагальном рву, обнаружено около двадцати ям, в которых зарыты трупы убитых гитлеровцами граждан города. Ямы заполнены трупами мужчин, женщин и детей. Показаниями свидетелей установлено, что немедленно после захвата города немецкий комендант майор Крупп обязал всех евреев носить на левом рукаве одежды белую повязку с шестиконечной звездой, а на правом – желтый круг. Все еврейское население выгонялось ежедневно на принудительные работы.

15 октября 1941 года в Мстиславль прибыл немецкий карательный отряд. По приказу начальника этого отряда фельдфебеля Краузе все еврейское население города было собрано на рыночной площади. Мужчины и женщины были построены отдельно. Затем собрали тридцать стариков-евреев, посадили их в машину и увезли в Лешенский ров, где они были расстреляны, а трупы их оставлены не зарытыми. Из собравшихся женщин немцы отобрали молодых, загнали их в магазин, раздели догола, подвергли изнасилованию и истязаниям. Те, которые сопротивлялись, были расстреляны на площади.

Затем все остальные евреи были согнаны во двор педучилища. Оттуда их вывели на улицу, построили по десять человек в ряд и гнали к Кагальному рву. Фашистские людоеды подводили евреев к заранее вырытым ямам группами по десять человек, снимали с них одежду, ценные вещи и затем расстреливали. Так были убиты сначала все мужчины, а потом женщины с более взрослыми детьми. Маленьких детей убийцы кидали в яму живыми. Учительница Минкина-Орловская умоляла оставить в живых ее шестилетнего сына, отец которого русский, но палачи в ответ на это подняли ребенка на штыки и бросили в ров.

Этот кошмар продолжался с 11 до 16 часов. Всего в этот день гитлеровцы убили тысячу триста евреев.

После расправы над евреями стали истреблять других жителей города. Люди расстреливались по малейшему поводу и без всякого повода. Расстрелы, как правило, производились по пятницам в четыре часа утра. Одновременно убивалось от двадцати пяти до семидесяти человек. Кроме того, полиция и жандармерия расстреливали свои жертвы каждый день.

По неполным данным, гитлеровцы за время оккупации истребили свыше трех тысяч граждан Мстиславля[217].

Гитлеровские зверства в белорусском местечке Чериков

В местечко Чериков Могилевской области БССР гитлеровцы пришли 16 июля 1941 года. Начав с одиночных расстрелов мирных жителей, немцы затем перешли к массовым убийствам и расстрелам. В октябре 1941 года гитлеровцы объявили о «переселении всего еврейского населения в другое место». Около пятисот евреев были согнаны к Нардому[219]. Люди тогда еще не знали, с какими кровожадными зверями они имеют дело. Евреи шли к месту, куда их вели, под конвоем немцев. В урочище Мостовое, у мельницы, им было приказано остановиться. Вдруг раздалась команда: – Огонь!

И солдаты открыли огонь из автоматов по беззащитной, онемевшей от ужаса толпе. Немцы не ушли, пока не истребили всех до одного пятисот евреев[220]. Раненых добивали выстрелами в упор, некоторых полуживыми кидали в ров и забрасывали землей и новыми грудями мертвых тел. Не перечислить всех злодеяний, совершенных гитлеровцами в этом маленьком городке. Они использовали мирных жителей для разминирования минных полей. Связывая людей цепями, немецкие солдаты с автоматами в руках гнали их впереди себя на минные поля. Десятки мужчин и женщин погибли на этих минах.

Зимой 1941 года гитлеровцы согнали свыше четырехсот человек на строительство моста через реку Сож. Немецкому офицеру показалось, что работы идут слишком медленно. Тогда он приказал всем работавшим мужчинам и женщинам раздеться догола и лечь на снег. Все работавшие были подвергнуты порке на страшном холоде.

Фашисты зло издевались над женщинами и девушками. Жители рассказывают, что они были свидетелями того, как группа немецких солдат среди бела дня схватила двух девушек и изнасиловала их тут же на площади.

Особенно свирепствовали немцы перед своим отступлением из города. Из 893 домов они взорвали и сожгли 870. В огне погибли три школы, Народный дом, ветеринарный техникум, лесопильный завод, два кирпичных завода, хлебопекарни, почта, две больницы, баня. Тех, кого не удалось угнать, немцы расстреливали. Одинокие старики, Пимен Ивашков, семидесяти лет, и Марфа Дынова, шестидесяти трех лет, на коленях со слезами умоляли немцев пожалеть их старость и не трогать их жилища. Слезы стариков вызвали у немцев смех. Они подожгли хаты стариков, а хозяев бросили в огонь.

Немцы в Мозыре

В городе Мозыре (центр белорусского Полесья) выходит немецкая газетка «Мозырские новости». В номере от 20 декабря 1943 года эта наглая газетка поместила длинную статью по еврейскому вопросу. Излишне останавливаться на различных «блестящих» мыслях по поводу «еврейской опасности» и т. п. Автор заканчивает свою статью утверждением, что немцы раз и навсегда разрешили еврейский вопрос в Белоруссии вообще и в Мозырском районе, в частности. И тут же он считает нужным хвастануть, что немцы разрешили еврейский вопрос, как и все другие проблемы, стоящие перед ними в Мозырском районе, особенно проблему «большевистского влияния».

О том, как немцы «разрешили еврейский вопрос» и как они разрешили все проблемы, можно судить по следующим нескольким данным. Только в одном Мозыре немцы за время своей оккупации истребили 1155 евреев[222]. Больше евреев им в этом городе поймать не удалось. Людей других

национальностей – русских, белорусов и украинцев – немцы в Мозырском районе за то же время убили свыше десяти тысяч. В числе убитых были женщины, дети, старики и больные.

Как немцы вообще «разрешали» проблемы в Мозырском районе, показывают следующие факты. Когда евреи были выведены из своих квартир для расстрела, учительница Лиза Лозинская где-то спряталась. На другой день после массовых расстрелов гестаповские молодчики поймали ее. Бандиты вытащили ее на базарную площадь, привязали к телеграфному столбу и начали упражняться в бросании в нее острых кинжалов. На шею несчастной изверги повесили дощечку с надписью: «Я препятствовала немецкой власти при проведении законов и распоряжений». Такая же кошмарная сцена повторилась на мозырском рынке спустя некоторое время, когда такой же казни была подвергнута партизанка Ш.

В том же номере «Мозырских новостей» на второй странице мелким шрифтом напечатано сообщение, что на одном из пригородных шоссе «неизвестными бандитами» было совершено нападение на окружного комиссара. Если бы не вмешательство подоспевшей охраны, комиссару пришлось бы проститься с жизнью.

Вот как немцы Мозырского района разрешили все проблемы и, в частности, проблему «большевистской» опасности.

Истребление евреев в Западной Белоруссии

Еврейский антифашистский комитет получил ряд новых материалов о физическом истреблении евреев в Западной Белоруссии. Истребление началось с первого дня немецко-фашистской оккупации, но наиболее жестокие формы приняла ликвидация еврейского населения в 1943 году.

В Гродно к моменту вторжения гитлеровцев насчитывалось двадцать тысяч евреев, в том числе несколько тысяч согнанных сюда из ближайших местечек[224]. Весной 1943 года во всем городе осталось всего одиннадцать евреев, которые принудительно работали на постройке гаража для гестапо.

Большинство гродненских евреев были отправлены в близлежащее местечко Колбасино (Колбасин), где гитлеровские мерзавцы многих из них расстреляли, а остальные умерли от голода и эпидемических заболеваний. Оставшихся в живых перевели в страшный концлагерь смерти Треблинка – здесь остатки гродненского еврейского населения погибли в газовых «душегубках»[225].

В Барановичах насчитывалось двенадцать тысяч евреев. Их расстреляли в три разных периода: 4 марта 1942 года были убиты 2400 евреев[226], 22 сентября 1942 года – пять тысяч[227] и в 1943 году – три тысячи[228]. Остальных расселили в разных лагерях пыток. Некоторым удалось бежать, и они включились в партизанские отряды.

В Лиде до войны проживали 6700 евреев[229]. Все они были расстреляны около местечка Которова. Нацисты вырыли здесь огромную могилу, загнали в нее живьем мужчин, женщин и детей и открыли по ним пулеметный огонь. После уничтожения лидского еврейского населения сюда согнали евреев из окружных местечек – Воронова, Скидель, Дженцол и др. – и расстреляли их группами.

В Сморгони в начале войны было свыше 1600 евреев. Нацисты заперли их в гетто, состоявшее из нескольких полуразрушенных хижин. В начале 1943 года население гетто было полностью истреблено.

В Неменчине находилось семьсот евреев. Их согнали в местную школу. Несколько дней им не

давали ни есть, ни пить и затем отвели в ближайший лес. Сто человек спаслись бегством. Остальные шестьсот были расстреляны.

В Родошковиче нацистские бандиты расстреляли всех евреев до единого.

В Молодечно было истреблено две тысячи евреев. Плакат на станции оповещал: «Здесь евреев нет – чисто».

В местечко Раков были согнаны в школу девятьсот евреев и сожжены. Кто пытался спастись от огня, был расстрелян из автоматов.

В Воложине еврейское население было истреблено в три раза: 1 декабря 1941 года была расстреляна первая группа в триста человек; 2 мая 1942 года было истреблено 1500–1800 евреев. Трупы их были сложены в штабеля и под ними развели костер. Летом 1943 года были уничтожены последние остатки еврейского населения[230].

В Сморгонском районе в течение столетий существовали еврейские деревни – Корко, Лейпуни, Жидовня и др. Осенью 1942 года все жители этих деревень были истреблены до единого. На место еврейских сельчан гитлеровцы посадили немецких колонистов.

Города и местечки всей Западной Белоруссии превращены в братские могилы десятков тысяч евреев, погибших от рук немецко-фашистских злодеев.

Кровь убиенных наших братьев и сестер вопиет о мщении – зовет к грозной, не знающей жалости мести!

РСФСР

В местечке Любавичи

Кто не помнит милой еврейской народной песенки: «Из Любавичей в Хиславичи»? Еврейский народ воспевал белорусский городок Любавичи, который так глубоко связан с еврейскими традициями[232].

Теперь этот знаменитый городок больше не является объектом для веселых народных песен.

Любавичи за последние два с половиной года, за время немецкой оккупации, превращены в юдоль печали, в место скорби для сотен еврейских семей. Любавичи снова воссоединены с Советским Союзом. Некоторое время назад Красная Армия освободила этот городок. И только теперь там обнаруживаются преступления, совершенные гитлеровскими преступниками.

Нацисты с особым садизмом издевались над сотней с лишним еврейских семейств, которые не успели оттуда эвакуироваться. В немецкой прессе писали, что Любавичи являются священным городом для евреев: «святым городом Йеговы, раввинов и ритуальных убийств» (именно так писала «Минская газета»). Комендант Любавичей заявил, что Любавичи должны быть особенно сурово наказаны. Он составил две группы евреев – из более молодых и более пожилых. Первая группа была расстреляна тут же на месте; вторая группа евреев, которых немцы называли раввинами, была брошена в страшный лагерь пыток за деревней Рудня[233]. Здесь фашистские изверги в течение многих недель разными рафинированными способами пытали стариков (их было несколько десятков), выдергивали щипцами волосы из бороды, ежедневно устраивали публичную порку, заставляли танцевать на пергаменте от свитков Торы и т. п. Все те, которые были в состоянии выдержать эти пытки, были в конце концов расстреляны. Спустя некоторое время были истреблены и остальные евреи, оставшиеся еще в Любавичах. Но гитлеровские хозяева замученного местечка дорого заплатили за свои преступления. Еще до того, как Красная Армия освободила Любавичи,

группа белорусских партизан напала на деревню Рудню и овладела ею[234]. После этого четыре здоровенных парня во главе с еврейским юношей, уроженцем Новгород-Волынского, партизаном Ц., устроили засаду в окрестностях Любавичей и захватили городского коменданта, о поездке которого они знали заранее. Гитлеровский негодяй получил по заслугам. Одновременно другая группа партизан ворвалась в Любавичи, забросала гранатами немецкие казармы, уничтожила их и при этом убила несколько десятков немцев[235].

Город Новозыбков – восемьсот жертв за один день

Письмо Анастасии Михейлец Калману Айзенштейну [в г. Бугульму Чкаловской обл.] о судьбе его семьи

Я, Ваша соседка Анастасия Михейлец, жившая вместе с Вами в Новозыбкове на Цветной улице, отвечаю на Ваш письменный запрос о судьбе Вашей сестры Гинды Тирклтойд.

17 февраля 1942 года она отправилась на рынок, чтобы кое-что купить для себя и своей больной матери. Немецкий карательный отряд окружил рынок и устроил облаву на евреев. Было схвачено свыше восьмисот человек, их согнали в клуб при спичечной фабрике «Вольна революция». Там их заперли, а на другой день расстреляли. Среди этих несчастных были также зубной врач Баркман, фельдшерица Шрайбер, вся семья зубного врача Альт шулер и многие другие.

Ваша мать, Рися Айзенштейн, была прикована к постели. Во время облавы на евреев полицейские заперли ее в комнате, где она вскоре умерла от голода и всего пережитого.

После того как полицейские выбросили ее тело на улицу, они разграбили квартиру и вывезли оттуда все вещи.

Вместе с Гиндой погибла Ваша кузина Махля Маркина.

Прошу простить меня за печальную весть, которую я Вам сообщила. Это все, что я могу Вам сказать.

Гитлеровские людоеды

Рассказ жительницы Курска Евы [Григорьевны] Пилецкой

[238]

[...] Когда в Курск пришли немцы, они сразу начали истреблять поголовно все еврейское население. За несколько дней в городе были расстреляны около пятисот евреев – детей, женщин и стариков. Взрослых они вывозили партиями по десять-пятнадцать человек и расстреливали на месте, а детей морили ядом. Утром 2 ноября 1941 года в мою дверь постучались гестаповцы. Сердце упало, руки задрожали. Я поняла – пришел конец. Быстро схватила свою крошку Лизу и выбежала в коридор.

Постучалась к соседке Насте:

– Родная, – сказала я, а у самой сердце так колотится, – пусть моя Лиза побудет у вас, я выбегу на минуту.

Не знаю, поняла ли мое горе Настя, но только она охотно взяла Лизу, а я другим ходом побежала в Ямскую слободу к знакомым. Только на второй день я послала знакомого за Лизой. Ее завернули в тряпки и привезли мне на санках. Всю мою семью, всех моих родных гестаповцы угнали в тюрьму: мужа – Пилецкого Илью Пинхасовича, маму – Мехлю Тевелевну, родственников – Шпиценбург Михаила Борисовича, его жену – Веру Осиповну и сестер: Хаю и Соню.

Через три дня я встретила соседку, она сказала: «Ева, не ходите на улицу Дзержинского». Но я пошла туда и увидела – десять трупов лежат. Среди них я обнаружила своего мужа. Сердце облилось кровью, но плакать было нельзя: узнают – убьют. Две недели подряд каждый день я ходила на эту

улицу и каждый раз готова была разрыдаться, и я не знаю, откуда взялись силы скрыть от этих гадов свое беспросветное горе, удержаться от слез.

Остаться в Ямской слободе было невозможно. Гибель ожидала не только меня, но и моих покровителей. И я пошла. Но куда идти женщине-еврейке. По всей области немцы хватили евреев и убивали на месте. Пошла по селам, куда глаза глядят. Весь день без пищи пробиралась по снежным сугробам в село Сапогово. Выбившись из сил, я стала замерзать вместе с Лизой. Шел старик, он помог мне добраться до села.

– Добрые люди, – обратилась я в первый же дом, – пустите переночевать.

Но мне ответили: «Строгий приказ, только староста дает ночлег прохожим». «Ну, вот наступает смерть, – думала я, – остаюсь на морозе...»

Нашлась старушка и обогрела меня до утра. А утром говорит: «Остаться больше нельзя, староста узнает». Пошла в другое село. И так день за днем долгие месяцы скиталась я с дочуркой по селам, меняя ночлег. Сколько раз хватили меня полицейские, и только чудом я уходила от смерти. Желая спасти свою дочку Лизу, я говорила всем, что она мне не дочь, а внучка, что мать у нее русская. Дочка много раз слышала это и сама поверила. Однажды, когда ночь застала нас в поле, Лиза спросила меня:

– Мама, а где же моя настоящая мать?

– Дочка, я – твоя мать, – говорю ей, – но нет нам жизни при немцах, погибли мы.

А она мне отвечает:

– Не плачь, мамочка, скоро красные придут, не плачь.

А наутро снова в путь. Около Льгова встретился мне мужчина и говорит:

«Кто ты?» Я сказала: «Скажу тебе правду, я – еврейка». Он говорит: «Не бойся меня, я тоже – еврей». Посидели, поплакали от горя и пошли разными дорогами. В этот день немцы устроили облаву на евреев. Я пошла в обход через озеро и чуть не потонула с дочкой. Издали видела, как полицейские схватили этого мужчину и тут же расстреляли.

Невозможно передать, сколько терзаний и горя перенесла. Десять месяцев вот так странствовала как отверженная, и на каждом шагу меня подстерегала смерть. Бывало так, что за месяц меняла тридцать сел. Только страстная любовь к моей дочке и надежда на Красную Армию придавали мне силы, и я шла опять неведомо куда.

В селе Арболино я зашла ночевать к колхознику Беседину Егору. Он сказал мне: «Чувствую твое горе, сестра, оставайся у меня под видом знакомой». Стала жить у Беседина. Старик знал, конечно, что я – еврейка, но никогда не спрашивал об этом. Лишь однажды, видя, как старательно я скрываю свою национальность, он сказал мне, шутя:

– Маруся (этим именем звалась я), что же ты в Бога-то не веришь, что ли?

– Верю, – поспешно ответила я, – только я баптистка.

Эта выдумка понравилась мне самой. Вечером я пошла к баптистам. Там я увидела такую картину: баптисты становились на колени и все время повторяли одну молитву: «Господи, помоги нашей Красной Армии разбить врага». Мне это понравилось, и я стала ходить к ним почти каждый день молиться[239].

Всеми силами я старалась сберечь свою Лизу, но голод истощил ее. Она заболела туберкулезом. За два месяца до освобождения Курской области умерла моя Лиза. И ее убили немцы. Я похоронила ее

тайком от людей, чтобы не выдать себя.

И вот теперь я одна, никого у меня нет. Мне сорок лет, но я старуха. Вот все, что у меня осталось после гитлеровцев, – так закончила свой рассказ Пилецкая. [...]

Гибель моего отца

Рассказ доцента Московского института иностранных языков [Евгении Иосифовны] Шендельс [241]

Это было 9 февраля 1943 года. Я сидела в преподавательской нашего института. Было двенадцать часов. По радио объявили поверку времени. Я проверила свои часы, они были точны. Потом мы все – педагоги, собравшиеся в преподавательской, приготовились слушать дневное сообщение Информбюро.

Напряженно вслушивалась я в слова диктора. В те дни радио сообщило о взятии Курска – моего родного города. Там остался мой отец – старый, всем известный врач по легочным болезням, о котором я ничего не знала со времени оккупации Курска.

Диктор перешел к чтению военных эпизодов. Военный корреспондент газеты «Правда» описывал свои впечатления при въезде в Курск. С грустью слушала я слова о разрушенных домах, о площадях и улицах разоренного города. Ведь я знала там каждое дерево, каждый камень. Затем диктор рассказывал о том, как много интеллигенции истребили немцы. Сердце мое сжалось. Внезапно я услышала слова: «Героической смертью погиб известный в городе врач Шендельс»[242]. Кажется, я закричала. Может быть, это мне показалось. В глазах заплясали огненные круги, и я лишилась чувств.

Через три дня мой муж провожал меня в Курск. Его товарищ, летчик гражданского воздушного флота, вез в освобожденный город медикаменты. Он согласился взять меня с собой.

И вот я в родном городе. Бывало летом, когда студентов распускали на каникулы, я приезжала в Курск. Отец встречал меня на вокзале. Я очень любила его, да и все любили доктора Шендельса – это был популярнейший человек города, умный, сердечный, гуманный, такой, каким должен быть врач.

Я шла теперь одна по городу. Разрушенные дома, выбитые стекла, куски обоев на стропилах сожженного фасада дома – последняя примета прошлого уюта, как все это резало глаз и болью отдавалось в сердце!

Друзья рассказали мне об отце. О его жизни и гибели. Когда немцы подходили к городу, ему предложили эвакуироваться. «Я не оставлю своих больных, – сказал отец, заведовавший санаторием для туберкулезных, – а им невозможно ходить, кроме того, всякие волнения чреваты для них последствиями. Я останусь с ними».

И он остался. В город вошли немцы. Они начали бесчинствовать. Немцами из светлого, просторного санатория были изгнаны все больные, и там разместились офицеры. Отец был дома у себя, когда ему рассказали об этом. Вне себя от негодования он помчался в санаторий. Его больные валялись на земле около санатория. «О, – только мог выговорить мой отец, полный ярости, – на земле, ведь это губительно для легких». Он бросился в дом. Часовые его не пускали, его, в течение сорока лет служившего здесь, отдавшего столько внимания и любви делу излечения людей. На шум вышел офицер.

Отец мой был горячий человек. Он рванулся к офицеру, он потребовал возвращения больных в

палаты, может быть, даже хотел ударить офицера, ответившего циничным смехом и надругательством над больными.

– Расстрелять, – крикнул офицер, скрываясь в дверях. Отца тут же убили. Он лежал на главной площади города, и горожане, хорошо знавшие его, печально смотрели на труп старого доктора. Лишь через неделю немцы разрешили убрать труп. Отца тихо похоронили за городом.

Я сидела на его могиле. Маленький холмик земли скрывал останки моего отца. Слез у меня не было – я их все выплакала, я молча смотрела на землю и думала о том, кого никогда не суждено мне было больше видеть.

Подписной лист

Курск

Население Курска никогда не забудет врача Гильмана, зверски убитого фашистами[243]. Доктор Гильман много лет работал в Курской городской больнице и в поликлинике. Чуткий человек и прекрасный врач, большой знаток своего дела, он вырвал из когтей смерти много человеческих жизней. Население ценило и любило своего врача. Когда Красная Армия отступала из Курска, доктор Гильман не захотел оставить больных и остался в городе. Он встретил приход немцев бесстрашно, как всегда на своем посту, возле больных. Но недолго старик работал. Однажды в утренний час, во время обхода больных, в больницу ворвались бандиты со свастикой и арестовали Гильмана. Напрасно больные умоляли палачей пощадить их врача. Гильмана увели. Больница осиротела. Доктора Гильмана, вместе с его женой и шестнадцатилетней дочерью, бросили в подвал немецкой комендатуры. Город заволновался. Неизвестно по чьей инициативе среди местного населения появился подписной лист, который переходил из рук в руки, из дома в дом. Тысячи людей ходатайствовали перед городской управой и комендатурой о сохранении жизни человеку, который все свои годы посвятил спасению людей. Но это не помогло: наоборот, чем больше волновались и хлопотали за Гильмана люди, тем яростней становились немцы, возмущенные тем, что русские смеют отстаивать жизнь еврея.

Десять дней томился доктор Гильман со своей семьей в подвале. Никто не узнает мук, которые испытали эти люди за это время. На одиннадцатый день, когда одна женщина, спасенная Гильманом в свое время от смерти, как всегда, принесла узникам хлеба, тюремщики цинично заявили ей:

– Довольно баловать этих жидов! Им больше ничего не нужно...

В этот день семью доктора Гильмана расстреляли. Но светлая память о нем надолго останется в сердцах местных жителей, до сих пор в Курске люди со слезами на глазах вспоминают своего доброго, старого врача, зверски замученного фашистами.

Убийство евреев в Калининской области

Записи из блокнота партизанки Клавдии И.

[245]

Мне пришлось во главе небольшой группы партизан в течение длительного времени находиться на территории Белоруссии, в Смоленской области и в некоторых районах Калининской области[246], где еще хозяйничают немцы. Я видела тысячи осиротевших детей, родители которых были или расстреляны немцами, или увезены на каторжные работы.

В моем блокноте партизанки имеется много записей о зверствах фашистов. Это счет мести. За эти зверства мы отплатим немцам. Вот некоторые факты из моей записной книжки.

Недавно в Ашевском районе Калининской области немцы схватили пожилую учительницу-еврейку Дружевскую. На глазах трех ее детей тов. Дружевская была замучена гитлеровскими солдатами. В поселке Бежаницы Бежаницкого района Калининской области немцы арестовали сто двадцать евреев. Здесь были люди самых различных профессий и возрастов. Всех арестованных поместили в одной комнате неотапливаемого дома с выбитыми стеклами. В течение многих дней арестованные не получали ни капли воды, ни крошки хлеба. Если кто-либо из стариков или малолетних умолял солдат дать глоток воды, его немедленно избивали. Гитлеровцы объявили Варфоломеевскую ночь. Фашисты в поселках Бежаницкого района за эту ночь уничтожили сотни еврейских семей. Дошла очередь и до арестованных. В помещение, где находилось сто двадцать человек, вошел офицер и отобрал из арестованных десять человек. Он вывел их во двор и приказал выкопать две могилы. Когда ямы были вырыты, к одной из них подвели тех, кто работал во дворе, и расстреляли. Затем во двор вывели еще десять арестованных. Они засыпали могилу, в которой лежали расстрелянные, выкопали новую яму, после чего их тоже расстреляли. Так продолжалось всю ночь. Все сто двадцать арестованных евреев были расстреляны.

В Витебске немецкие варвары расстреляли семью служащего Абрамского. В этой семье помимо отца и матери было двое детей. Ворвавшись ночью в дом, гитлеровцы застрелили мужа и жену Абрамских, а мальчикам Моисею восьми лет и Арону семи лет отрубили руки. Заперли их в квартире и ушли. Дети умерли.

В поселке Чихачево Калининской области немцы организовали каторжные работы для еврейского населения. Не так давно туда привезли эшелон, в котором было около трехсот евреев. Их заставляли выполнять самые тяжелые работы – возить камень, бревна. Люди жили в неотапливаемых вагонах. В течение нескольких дней они не получали никакой пищи, потом им начали выдавать по тарелке жидкого супа в день. Обессилевшие от голода, истощения и непосильного труда, пленники фашистов умирали десятками. Через десять дней из трехсот евреев, прибывших в Чихачев, осталось лишь сорок человек, но они тоже были обречены на смерть. Вскоре ни один из них не мог двигаться. Тогда немцы погрузили их в вагон и увезли в неизвестном направлении.

В Новосокольниках фашистские мерзавцы взяли одиннадцать еврейских женщин и поселили их в одном доме. Немцы глумились и издевались над своими жертвами, а затем облили дом керосином, подожгли его, и все одиннадцать женщин погибли в огне.

Во время моего пребывания в тылу у фашистов я встречала многих людей из Минска. Они рассказывали мне о том, что немцы в Минске открыто заявили о намеченной ими программе – уничтожить всех подрастающих детей мужского пола – евреев. Эту программу они осуществляют со звериной жестокостью. Нередко гестаповцы врываются в квартиры домов, расположенных в кварталах еврейского гетто, и уводят с собой мальчиков и юношей, которые затем бесследно исчезают.

Немцы в Ессентуках

Письмо художника Л. Н. Тарабукина и его жены Д. Р. Гольдштейн писателю Ю. Калугину

[247]

[...] Вы спрашиваете, как мы уцелели? Как произошло это чудо? Удержись в Ессентуках немцы еще некоторое время, и мучительной смертью погибли бы и мы. И до нас дошла бы очередь. Но... начну сначала.

Как только немцы вошли в Эссентуки, началась дикая антисемитская агитация – в листовках, плакатах, карикатурах. Через несколько дней населению начали выдавать хлеб – по двести грамм на человека в день. Евреям хлеба не выдавали. На хлебных лавках появились надписи: «Евреям хлеба нет». При получении хлеба необходимо было предъявить паспорт для проверки, не является ли владелец паспорта евреем. Затем последовал приказ: создать еврейскую общину, которая должна произвести регистрацию всего еврейского населения. Председателем общины был назначен местный еврей, адвокат[248]. Регистрация выяснила, что в Эссентуках осталось пятьсот евреев. Через два-три дня последовал новый приказ: «Для всех евреев в возрасте от 15 до 75 лет вводятся принудительные работы по очистке и уборке госпиталей». Работа продолжалась две недели. Когда она была закончена, последовало распоряжение:

Так как появилась необходимость отправить всех евреев в места малозаселенные, все зарегистрированные в Эссентуках евреи обязаны в такой-то день, в таком-то часу собраться в школе. Разрешается взять с собой до тридцати килограммов багажа. От явки освобождены евреи, состоящие в смешанном браке.

Таких смешанных браков в Эссентуках оказалось пятнадцать, и эти пятнадцать человек уцелели, хотя в последние дни, когда Красная Армия стала приближаться к Эссентукам, фашисты стали подбираться и к нам, и нам пришлось скрываться (позже мы узнали, что в Пятигорске и Кисловодске, накануне своего бегства, гитлеровские мерзавцы расстреляли всех евреев без исключения).

За месяц до прихода немцев мы познакомились с Вашими родственницами Полиной Ефрусси и Зинаидой Мичник. Встречались мы довольно часто, а потом поселились вместе с Ефрусси. И она, как и сестра ее Зинаида Мичник, – научные работницы Ленинградского медицинского института. Несмотря на почтенный возраст (каждой из них за шестьдесят лет), и их гнали на принудительные работы. Когда 9 сентября последовал приказ о высылке евреев в «малозаселенные места», сестры Ефрусси и Мичник отравились, приняв большую дозу морфия. К сожалению, морфий не подействовал: они выжили. Пишу «к сожалению», так как на долю этих несчастных женщин выпала смерть более ужасная, чем от морфия.

У сестер было много хороших и ценных вещей. Перед самоубийством они все вещи раздали своим коллегам. Когда они остались живы и когда через некоторое время показалось, что гестапо оставило их в покое, коллеги стали возвращать им полученные вещи. Как потом оказалось, гестапо только этого и ждало: когда все вещи вернулись к их владельцам, к сестрам явился глава гестапо с двумя адъютантами (я была в это время у Ефрусси). Фамилию гестаповца не припомню сейчас, но я никогда не забуду его прозрачных, как лед, глаз, его отрывистой, похожей на лай речи, его колоссального роста и длинных обезьяньих рук. Адъютанты вывели несчастных женщин из дому, усадили в машину и увезли. Глава гестапо остался в квартире, собрал все вещи, даже миску, в которой лежали половые тряпки, и, очистив квартиру, укатил с вещами.

Полину Ефрусси и Зинаиду Мичник фашистские негодяи расстреляли в лесу. Это было 29 октября. В этот день были расстреляны еще 483 еврея – все евреи, оказавшиеся в Эссентуках, и согнанные еще полтора месяца до этого в школу для отправки в «места малозаселенные»... Среди расстрелянных глубокие старики, старухи и грудные младенцы. Никого не пощадили фашистские варвары!

Стенограмма беседы с жителем Симферополя Евсеем Ефимовичем Гопштейном

Немцы пришли в Симферополь утром 2 ноября 1941 года, заняли они под свой штаб здание мединститута по Вокзальной улице, и население Центрального района узнало о входе – вступлении в Симферополь от жителей, которые по тем или иным делам стали появляться в разных частях города. Часов около девяти-десяти утра 2 ноября в городе стали появляться первые немецкие фигуры. Первое, на что население обратило внимание, – подчеркнутая щеголеватость – все были свежесбриты, одеты щеголевато в новые чистые костюмы, словно люди явились для парада, а не из-под Перекопа. Оказывается, сюда были брошены части из тыла, это было сделано для того, чтобы у жителей появилось другое впечатление. Об этом впечатлении долго в городе говорили. Говорили: «Воевали, воевали, а смотрите, какие они чистенькие, аккуратные». Так, в течение первых часов 2 ноября они распространились по всему городу, начали мчаться мотоциклисты с какими-то поручениями, чувствуется, что они являются хозяевами города. В центре районов начали появляться дощечки с указанием маршрута. День был тогда солнечный, погода была еще не осенняя, просто прохладная, не работавшее население высыпало на улицы, по углам были группы народа, начинался разговор с солдатами, кое-кто понимал по-немецки, еврейское население начало разговаривать. Я вышел из дома часов около двенадцати, прошел по центральным улицам города, заглянул на Пушкинскую и натолкнулся около театра на толпу, когда подошел поближе, то увидел, что висел первый приказ на трех языках: русском, украинском и немецком.

На стене висел приказ с тремя параллельными полосами, оформленный ярко-красной рамкой. Совершенно очевидно, что толпа в несколько десятков человек приказа читать не могла, поэтому кто-то зычным голосом читал приказ вслух, читал громко, и если не все, то общий смысл приказа я усвоил сразу. Надо сказать, что приказ был довольно большой и сразу же произвел жуткое, удручающее впечатление, чувствовалось, что жизнь Симферополя (до того момента не чувствовалось) как будто топором обрублена. Весь тонус жизни, взаимоотношения людей друг с другом разных национальностей, атмосфера была дружелюбная. Симферополь был многонациональным. В Крыму по переписи насчитывалось пятьдесят национальностей, [1126800] жителей. Такое громадное количество национальностей на сравнительно небольшое количество жителей. Люди жили по-братски, дружелюбно, элементы национальной борьбы отсутствовали. Но этот приказ вносил в эту атмосферу какое-то новое начало. В приказе слово еврей не употреблялось, а говорилось – жида.

Первый приказ говорил, что германская армия вступила в пределы Крыма. Насколько помню, говорилось так, что германская армия вступила не как завоевательница, не для захвата территории, а вступила на борьбу с жидами и большевиками. Половина приказа была отведена жидам, и слово «жид» склонялось на все лады – жида, жидам, о жидях.

На всем протяжении приказа из этого чувствовалось, что тут таится что-то новое, закрадывалось болезненное чувство. Я почувствовал это как еврей и другие почувствовали, что жизнь Симферополя начинает двигаться по нездоровому курсу. Когда содержание приказа стало ясно – мало кто говорил, большинство молчало. В этом приказе говорилось о военнопленных, чтобы не давать приюта, что всякий укрывающий военнопленного будет отвечать по закону. Я перестал слушать приказ и стал всматриваться в лица толпы. Она была пестрая, разношерстная – армяне, татары, евреи и русские. Меня заинтересовало, как реагирует толпа, как она воспринимает этот приказ, самую основную идею. Мне хотелось увидеть, встречаются ли элементы сочувствия, можно ли это заметить на лицах

населения, и надо сказать, что я ошибки не делал и не делаю теперь, когда говорю, что настроение было не в пользу приказа. Люди стояли с опущенными головами, сосредоточенными лицами, нахмуренными бровями. Видно было, сколько я мог видеть по окружающим, что сочувствия нет. Они рассчитывали, публикуя этот приказ, на зоологические инстинкты, они рассчитывали встретить старую закваску, и должен сказать, что я в первый момент этого не видел. Толпа стояла огромная, молчаливая, никаких обменов впечатлений. Вот первое впечатление от вступления немцев в город. Вот первый приказ.

Помню, что в этом приказе обращало на себя внимание то, что жида́ должны привлекаться на физическую работу – засыпку котлованов, уборку мусора, уборку трупов, как немецких, так и с нашей стороны, для чего должны были привлекаться евреи, обязанности по привлечению возлагались на старост, которые назначались германским командованием, а частично избранных населением. На все физические работы должны были привлекаться жида́.

Около 8 ноября по улицам города были развешаны громадные объявления о создании Еврейского комитета: «Распоряжением господина германского коменданта создан Еврейский комитет в составе тринадцати человек». Какие функции комитета этого, что он должен делать, представляет ли интересы еврейского народа – ни о задачах, ни о функциях ничего сказано не было. Сообщалось, что такие-то лица избраны в состав комитета и в числе их такой-то избран председателем. Из них никто не сохранился, так как они погибли, как и все.

Через несколько дней после организации этого комитета появилось распоряжение – распоряжения писались от руки и, надо сказать, громадным количеством добровольцев-евреев, которые окружили Еврейский комитет, – интеллигенция – адвокаты, инженеры... Чувствовалось, что они объединяются вокруг Еврейского комитета как центра, вокруг которого можно держаться, они пошли в Еврейский комитет, чтобы помочь в работе.

Состав Еврейского комитета был простенький, серенький. Я скажу о путях его комплектования. Здесь, в Симферополе, был человек без определенной профессии, участвовал в Первой мировой войне – Зельцер, служил в жилищной кооперации[249]. Зельцеру германским командованием было поручено формировать Еврейский комитет. Что его натолкнуло? Думаю, что Зельцер имел соприкосновение с германским командованием, и поэтому его назначили.

Что немцы пришли с большим количеством готовых адресов либо эмигрантов или получили адреса родственников и близких коренного населения, но, так или иначе, тот политический аппарат, который пришел с командованием, имел адреса нужных людей. Может, так и Зельцера отыскивали и поручили ему организацию Еврейского комитета. Может быть, на него натолкнулись другим порядком – человек пошел за чем-либо в комендатуру.

Среди немцев было много людей, хорошо говоривших по-русски. Может быть, Зельцер был первым человеком, который с ними связался. Совершенно естественно, что он и по культурному уровню и по бытовым условиям из своего мирка – мирка мелких спекулянтов, бухгалтеров. Я уже сказал, что состав комитета был серенький, простенький и по культурному уровню не подходил для той роли, на которую его выдвинули. Вот это и побудило еврейскую интеллигенцию сплотиться с тем, чтобы, если понадобится, помочь. Эта интеллигенция переписывала объявления, несмотря на то, что требовалось распространить в громадном количестве экземпляров. Как только понадобилось, писались объявления, и еврейская молодежь с банками клейстера ходила по всему городу и

расклеивала объявления, и через несколько часов германские распоряжения висели по всему городу. Например, приказ о скоте. Писалось: все еврейское население обязано по распоряжению германского командования представить сведения о всех коровах, овцах. Или дальше: все еврейское население обязано представить в распоряжение германского командования персидские ковры. Еврейское население обязано представить три тысячи комплектов одеял, матрацев и белья – это собирали для госпиталя. Наряду с этими требованиями начали поступать и устные распоряжения. Я, как и большая часть интеллигенции, заходил в Еврейский комитет – делать нечего было, не работал, нужно было уточнить положение, хотел знать, чем пахнет в атмосфере. Я, как и многие другие, заходил, беседовал и сам был свидетелем, или мне рассказывали члены комитета о требованиях, которые поступали, о бесчинствах германского командования.

Были такие требования: представить германскому командованию девять отрезков синего шевиота. При мне приходил полицмейстер, что нужно к такому-то числу, сегодня к вечеру, сорок столовых приборов и столько же столового белья – скатертей, салфеток. Оказывается, генерал Манштейн, который взял Крым, давал банкет старшему офицерскому составу и нужна была сервировка. Где мог взять Еврейский комитет сорок приборов? Приборы должны были быть одинаковые. Обратились тогда к Балабану – это директор местной психиатрической лечебницы, это был еврей, у него было большое количество посуды[250]. При мне написали записку, послали двух человек и просили выручить комитет. Посланцы ушли, я тоже ушел, а на следующий день (как известно, хождение было только до пяти часов вчера) я узнал, что посуда и белье были даны доктором Балабаном. И были такие распоряжения – еврейское население должно сдать свитера, фуфайки, шарфы, рукавицы... Дело подходило к зиме, они начали чувствовать, что нужно подготавливаться. Они начали на улице снимать с прохожих зимние рукавицы, а если под рукавицами оказывались часики, то и часики снимали совершенно спокойно. Мне рассказывали случай, когда с одного инженера сняли перчатки и часы в самом начале зимы, а он уже был на службе в каком-то германском учреждении, и после того как с него сняли перчатки, показал удостоверение со свастикой, и сразу ему вернули и перчатки и часы.

12 ноября начали визитацию по квартирам: входили во двор и спрашивали, где проживают евреи, сначала, где проживает еврейское население. Ходили из дома в дом, из квартиры в квартиру и начали первые эксперименты по грабежу.

В первое время было объявлено, что движение гражданского населения разрешается до пяти часов вечера, и к этому времени движение прекращалось.

Итак, заходили немцы из квартиры в квартиру, если в квартире евреи, откровенно, совершенно без стеснений подходят ко всем вещам: комодам, сундукам, буфетам, шкафам и начинают шарить.

Приходят, сидит семья за чаем, сахар был тогда предметом несвободным к покупке, стоит сахарница с мелко нарубленными кусками сахара для чая вприкуску, подходит немец и высыпает содержимое в карман. Если найдет баночку с вареньем, маслом – все это было предметами не особенно встречающимися, – забирали, точно так же забирали картофель во всех случаях. Вот первые шаги в течение первой недели – общая линия их поведения от грабежа к грабежу. Одновременно с этим вывешивали объявления от имени германского командования, что грабежи запрещены, – с одной стороны, они запрещены, с другой – проводятся официально. Немцы занимались самым низменным бандитизмом – начали с картофеля, сахара, с мелких запасов, а потом стали брать женские рубашки,

платье, белье, и все это вывозили в Германию. Обувь и женская одежда – все шло в Германию, о детском я не говорю – все забирали.

С 12 ноября еврейское население обязано было носить на обеих руках повязки со звездой. Я сам носил. В первые дни я носил, а потом перестал носить. Комендатура заметила, что перестали носить, и требовала беспрекословного выполнения приказа.

Иду я по Советской улице, идут немецкие солдаты, щелкают семечки, смеются между собой, разговаривают (на мне было неплохое зимнее пальто), идут и говорят: «Хорошо бы снять с него пальто». Это было днем. Ко мне один раз пришли около часу дня, обычно я уходил, чтобы не портить нервы в ожидании судьбы и не получать сцен. Если они вошли в квартиру, начинали шарить. У меня ничего для них не было ценного: библиотека была научная, она не могла привлечь, продовольственных запасов не было, семья моя выехала в августе.

Работал я экономистом в системе НККХ[251], научный работник, состою на учете специалистов народного хозяйства, по профессии экономист, кроме того, занимаюсь научной работой, литератор по библиографической группе.

У меня почти никаких запасов продовольствия не было – было около пуда муки, пуда полтора картошки, бутылка подсолнечного масла.

В одно воскресенье я был дома, стук в дверь, открываю – два солдата. Я по-немецки говорю: «Что вы хотите?»

«Здесь евреи живут», – он делает движение войти в квартиру (я не трус, может быть, было большой опасностью встречаться), когда он сделал движение войти, я отодвинул его руку в сторону и сурово говорю: «Что вам нужно в моей квартире?» «Мы желаем посмотреть». Чего смотреть – нечего. Один из них был зеленый парнишка, еще не очерствевший, а другой постарше. Парнишка говорит: «Ищем комнату для себя». Несмотря на то, что было запрещено жить по квартирам, они устраивались, старались устроиться в семье. Я говорю: «Я живу один, вам не подойдет, затем вам нужно обратиться в комендатуру, если нужна квартира – есть квартира пустая с мебелью, где жил инспектор Госбанка. Кроме того, хочу вам напомнить, что висит объявление коменданта, что кражи по городу запрещены. Со мной приходится разговаривать как с человеком грамотным, в случае чего я беру вас за воротник». Они извинились, щелкнули каблуками и вышли. Для видимости посмотрели пустую квартиру через комнату, извинились и ушли. Через несколько дней – было темно, и я завешивал окно одеялом, горела лампа, поэтому завешивал, слышу характерный стук костяшками.

«Что нужно?» «Откройте». Открываю – гестаповец. «Тут евреи живут?» Направляется в первую, затем во вторую комнату. «Устройте свет». Я полез снимать ставни, начал снимать одеяло – устроил свет. Он осмотрелся и первое, на что обратил внимание, – обилие книг. Книги на столах, диване, стульях. «Ваша профессия?» Я говорю: «Экономист, кроме того, занимаюсь литературой». «Это вы все написали?» Вопрос показался странным, так как по внешнему виду он должен быть культурным. Я мысленно удивился и усмехнулся: «Нет, это было бы слишком много для одного человека».

Говорю, что имею печатные работы. Он провозился несколько минут – потрогал книги, завернутые в бумагу от пыли, подергал плечами и ушел.

Примерно через неделю – числа 18 ноября появилось распоряжение Еврейского комитета, который, ссылаясь на распоряжение германского командования, извещал о регистрации всего еврейского населения. Объяснялось, что взрослые являются сами, о детях дают сведения родители. Комитет

помещался на Фонтанной площади – напротив городской лаборатории. Потянулась очередь еврейского населения для регистрации, пошел и я.

При регистрации требовались такие данные: имя, отчество, фамилия, адрес, возраст, профессия. Я не помню, было ли еще что, на паспорте делалась отметка от руки. Цели этой регистрации никто не знал: ни еврейское население, ни Еврейский комитет.

Что спрашивали профессию, мы думали, хотели восстановить рабочие кадры, направление рабочей силы. Так еврейское население жило вплоть до 8 декабря.

Ежедневно поступали требования в комитет о присылке рабочей силы, приходило бесконечное количество народа. Приходили солдаты, офицеры и требовали послать женщин молодых, здоровых для уборки помещений, дайте столько-то десятков мужчин для физической работы. Там всегда толкалось большое количество народа. Кроме того, я вспоминаю, что еврейское население города являлось обязательно в комитет. Здесь было зарегистрировано около двенадцати тысяч человек, и всегда около комитета была громадная толпа.

Поступало требование дать полтора-два десятка женщин, выходил кто-нибудь и выбирал: «Вы, вы, идите за мной». Приводил в канцелярию и говорил: «Вот вам пятнадцать-двадцать человек». Людей брали на уборку помещений, на кухонные работы, на очистку от завалов улиц. Вся Севастопольская представляла сплошную свалку. На третий-четвертый день вся улица была завалена камнями – последствия бомбардировок, трупов не видел, потому что они были убраны, валялась масса лошадей. Я шел по улице Розы Люксембург, где помещалась германская комендатура, стоит немец, и, когда я проходил мимо него, он говорит: «Заходи». Я недоуменно посмотрел и спрашиваю: «Для чего?» «Там тебе расскажут». Направляюсь, встречаю одного (из местных немцев), в свое время он скрылся от высылки, как многие делали, и оказался в роли распорядителя. Оказывается, нужно было переносить мебель из одной комнаты в другую, и мне пришлось участвовать в этой операции. Когда они увидели, что еврейское население бедное, – они пришли из Варшавы, где еврейское население богатое, и спрашивают, где богатые евреи. Им говорят: «У нас нет». Покажите, говорили на разных языках, немцы не верили Еврейскому комитету, а евреи удивлялись, до какой степени они мало представляют еврейское население. Прошло несколько времени, они говорят: «Мы сами найдем». Гурвичу поручили сопровождать, чтобы он указывал наиболее зажиточных. Они должны были ходить и грабить. Посадили его в автомобиль, он говорит: «Думал, думал, куда везти, вспомнил, что есть юрисконсульт, потому что они хорошо зарабатывали, был Довгалецкий – вспомнил о нем и повез к нему».

Так и протекала еврейская жизнь, понемножку они вошли во вкус грабежа еврейского населения.

Пришли к доктору Казасу, увидели бинокль Цейса и забрали.

Здесь жил бухгалтер Фидлон. 12 ноября к нему пришли два немца и спросили, где живет еврей.

Когда пришли к нему – предложили сдать вещи, он протестовал. Они говорят: «У тебя есть золото».

Вытащили кортик и пригрозили. Не то сам отдал, не то сами взяли...

Так примерно шла жизнь до первых чисел декабря.

После переписи, о которой я говорил и которая проходила в течение двух-четырех дней, комендатура потребовала от Еврейского комитета разработки материала в сводки, и для этого дела дали несколько дней. Я был начальником сектора городского хозяйства УНХУ[252] с девятилетним опытом, правда, я работал в области городского хозяйства, а не демографии. Я хотел помочь

комитету, но меня опередили, проделали эту работу до меня.

Здесь был полубухгалтером-полуэкономистом и работал в Госплане Нис селиович, он имел желание помочь комитету и много работал, не пропускал никакой работы, был значительно моложе, и этот Нисселиович взял материал в разработку. Он консультировался по кое-каким вопросам. Так ему приходилось иметь дело с вспомогательной рабочей силой, с людьми, хотя и культурными, но статистической работы не знающими. Составление сводки несколько затянулось, и ежедневно из комендатуры приходили и требовали эти сводки. С составлением сводки запаздывали, и ее требовали с угрозами.

Я переписал себе результаты. Результаты были такие: всего еврейского населения было четырнадцать тысяч человек, включая крымчаков тысячи полторы. Это не было прежнее еврейское население города Симферополя, потому что в период военных действий из города Симферополя и других городов часть населения эвакуировалась, а с другой стороны – здесь оседали бежавшие из Херсона, Днепропетровска, естественно, они оседали главным образом в городе Симферополе. В Симферополь хлынуло население еврейских деревень Фрайдорфского, Лариндорфского района, Евпатории – все это осталось в Симферополе, потому что они повисли в воздухе. Здесь они считали, что будут в своей среде, в гуще еврейской общины, и в результате этого процесса мы обнаружили около четырнадцати тысяч человек.

Не знаю, сколько было по переписи 1939 года, потому что данные еще не были опубликованы[253]. Таким образом, здесь оказалась часть местного населения, а часть из прилегающих районов.

7 декабря зашла крымчанка – соседка, старая женщина, сыновья у которой были в Красной Армии, невестка работала в кооперации. Эта соседка была женщина малограмотная, относилась ко мне хорошо и в трудную минуту пришла посоветоваться. В чем дело. Оказывается, из общины – Еврейского комитета поступило распоряжение, основанное на распоряжении германского командования, чтобы все крымчакское население 8 декабря, не позже 9 декабря явилось на сборный пункт, который был назначен на площади Гельвига, где было студенческое общежитие педагогического института. Старуха плакала и говорила: «Это, несомненно, наша погибель». Я пробовал успокоить. Разговоров до этого никаких не было – не верил в возможность массового уничтожения.

Сюда приехал в составе германской армии профессор Карасик, профессор Венского университета, специалист по народоведению, я знал о его присутствии из связи с библиотеками. Библиотекари были добрые знакомые, и я узнал от них, что для него делается такая-то работа в Центральной библиотеке пединститута. Я заходил к ним и знал, что делают такую-то работу в трех библиотеках. Делалась работа по подысканию литературы.

Я не знал существования его работы, но знал о задании библиотекам, но его задача была, очевидно, не ознакомление с населением в данной области. Когда пошел слух, я разъяснил ей, что ни о каком уничтожении не может быть и речи, он, может быть, ведет научную работу. Я думал, что он дойдет до измерения черепа. Крымчаки, несомненно, евреи, но отличаются языком, обычаями татарские, смешанные, молятся в еврейских синагогах на древнееврейском языке. Бытовая обиходная речь татарская. Крымчакский ученый в XVII веке Лехну жил в Карасубазаре.

Караимы тоже говорят на татарском языке, караимский язык – язык крымских татар.

В ханском дворце в 1883 году[254] были приняты в качестве обиходного языка персидский,

турецкий или арабский, на них говорила вся придворная среда, и это не могло не наложить отпечатка на бахчисарайскую среду.

На юге большое количество греков, армян. Караимский язык – засоренный язык. Язык караимов был гораздо чище, и по фонетике языка, по оборотам, по прочим элементам он был близок к ногайскому. Это смесь хазар с евреями, но не евреи.

Я слышал эти слухи и сам считал, что не может быть уничтожения целой национальной группы в полторы тысячи человек. За что же уничтожать, в моем сознании и понимании это не укладывалось. На следующий день приходит соседка и говорит: «Было распоряжение взять теплые вещи, теплую одежду и продовольствие на восемь дней и явиться на сборный пункт». Старуха говорила: «Это гибель, мы с вами больше не увидимся».

Какая-то тень начала падать и на мое сознание – я начал вдумываться, вглядываться, связывать одно с другим. Жидоедство висело в воздухе.

Моя соседка попрощалась и ушла. Это было с 8-го на 9-е декабря.

Затем оказалось, что такое же распоряжение имеется в отношении всего еврейского населения – явиться 9–10 декабря в студенческое общежитие на Госпитальной площади, в общежитие медицинского института против парка Ленина и здания обкома партии по Гоголевской улице (улица Гоголя, 14) – сборные пункты. Сроки явки 10–11 число.

Никаких объявлений совершенно не было ни для караимского, ни для еврейского населения.

Узнавали друг от друга. Я пошел в Еврейский комитет. Я мог узнать то, чего не могли узнать другие. Больных мест у нас было много, и в комитете были всякие люди, которые рассказывали о грабежах. Узнал, что распоряжение поступило явиться на сборные пункты, захватив теплую одежду и продовольствие, – это верно. 9 декабря я пошел узнать, и сказали, что это правильно, такое распоряжение получено от германского коменданта, что явиться нужно. В город уже проникал целый ряд слухов.

10 декабря было пять вариантов, смысл их сводился к следующему:

- 1) что еврейское население пошлют впереди германской армии, которая наступает на Севастополь, в качестве заслона;
- 2) что их пошлют на работу в Бессарабию;
- 3) что пошлют в колонии Фрайдорфского и Лариндорфского районов, так как озимые еще не засеяны, словом, пошлют для работы;
- 4) что всех евреев вышлют в СССР за фронтовую полосу;
- 5) и последнее – всех уничтожат.

Эти пять вариантов бродили в умах всего населения и в еврейской и русской части.

Русская часть – окраинное население тесно соприкасалось с военнопленными или людьми, которые пошли в порядке вольного найма: железнодорожные рабочие, рабочие с производства, некоторые производства уцелели, как завод № 99, на железной дороге работало депо. Люди самым ходом жизни были втянуты в германизацию. Какой был вариант правильным, кто мог знать.

Я не верил в уничтожение.

10 декабря по городу утром разнесся слух, что явка отменена. Моя сестра жила отдельно, работала химиком горлаборатории, с высшим образованием, говорила по-немецки. Мы условились идти вместе. 10-го числа утром я ее ждал, но она долго не являлась, затем пришла часов в одиннадцать

или двенадцать и говорит, что в городе есть слухи об отмене этого распоряжения, что слышала от соседки и еще от кого-то. Она решила, что нужно узнать из первоисточников, и обратилась в гестапо на Госпитальной площади. Она пошла туда узнать, нужно ли являться, и на нее набросились с криком (по-немецки она говорила не совсем свободно), что распоряжение пока не отменено. Она говорила, что должен быть приказ, говорила, что никаких распоряжений нет, предложение о явке тоже только слухи. С этим она и пришла ко мне.

Мы решили, что если завтра пойдем, тоже ничего не потеряем, может быть, действительно что-нибудь изменится. Так прошел день десятый, наступило 11-е число – последний день явки.

В ночь с 10-го на 11-е число ночь была тяжелая, нервы были напряжены до последних пределов, чувствовалась какая-то катастрофа, что ничего хорошего это не предвещает, даже отправка на работу, лучше во Фрайдорфский район (Крым, АССР), хуже в Бессарабию. Не укладывалось в голове, что могут послать на фронт впереди своих войск, допускали, что могут выслать за пределы СССР. Я совершенно не допускал мысль о расстреле. Люди собираются с детьми, стариками. Все, что было здорового, ушло в армию, честно, добросовестно люди ушли в армию.

Я говорю, когда я читал в течение летних месяцев газету «Красный Крым», это все мало отражалось, а центральные газеты редко попадали, потому что трудно было достать. Если освещалось, то в «Правде», «Известиях», а в «Красном Крыму» слабо, центральные газеты были малодоступными. Так что о том, что делали немцы, которые уже оккупировали территорию, было малоизвестно. Я считал, что, несомненно, преувеличение политически нужно для создания в массе определенного настроения, но несколько краски сгущены.

По-видимому, окраина больше знала из своих соприкосновений с немцами либо путем работы. Что бы ни было из пяти вариантов, но все они грозят катастрофой. Мне почти шестьдесят лет, сестре тоже около сорока пяти, к физической работе она была не приспособлена. Мне почти шестьдесят лет – какой из меня работник в условиях сельского степного района при отсутствии теплой одежды. Ничего у нас теплого нет – значит, мы свернемся быстро.

Я знал положение наших районов, особенно степной части, бывал в селах в 1931 году. Я экономист-плановик, мне приходилось докладывать на заседаниях РИКа[255], и знал, что лучше кучи соломы на земляном полу там ничего не будет, и решил не идти и не пускать сестру. Для себя я наметил возможность пристанища у одного знакомого. В прошлом я оказал этому человеку очень большую услугу и на протяжении жизненного пути оказывал разного рода мелкие услуги и был вправе рассчитывать, что этот человек не откажет помочь.

Население двора было смешанное: русские, евреи, татары – там было до двадцати квартир. Я жил в этом доме двадцать восемь лет, ко мне все люди нашего двора относились хорошо. Я зашел к этому человеку 11 декабря и сказал о своем намерении и надежде. «Хорошо, приходите». Я сказал: «Сегодня в два часа дня я приду к вам с постелью, вы должны дать приют на некоторое время, как долго придется, не знаю». Договорились. Теперь нужно было подумать о сестре. У нее отдельный мир знакомых людей из химиков. Я решил, когда придет – я передам ей свое предложение и после этого пойду на обеспеченную квартиру.

Жена уехала с семьей сына, он летчик, трижды орденосец, жена его – молодой профессор, русская, состоит в смешанном браке, жена – врач, работала на Южном берегу. В августе все получили предписание выехать из Симеиза, жена с невесткой и двумя девочками-внучками выехали. У

невестки была какая-то армейская бумажка, которая давала право рассчитывать, что ей будет оказано внимание в городе Турткуль, для сына это была база. До мобилизации он был в армии, а затем был командирован 19 августа – жена, невестка и двое внучат уехали.

Я решил, что уйду из квартиры – мебели нет, вещей нет, соседи поближе жили хорошие, относились по-хорошему в тяжелую минуту. Уходя из дома, я предполагал официально передать свою квартиру этому самому знакомому – он будет формально жить здесь – специалист, русский человек. Написал, что эта квартира принадлежит русскому человеку.

Староста пришел попрощаться и напомнить о явке, потому что кто-то из полиции обходил этот район города и давал распоряжение проследить, ушли или нет. Это было примерно около двенадцати часов. Сестры не было. Я уже начинал чувствовать, что нужно поторапливаться, потому что нужно зайти за ней, чтобы не нарушать срока. Староста пришел, я рассказал, в чем дело, он скрепил подписью, что эта квартира принадлежит русскому человеку, расцеловались с ним, и я пошел к сестре, но сестры дома я уже не нашел. Когда я спросил, то оказалось, что на Архивной улице с 10-го по 11-е русская вспомогательная полиция ходила из дома в дом, из квартиры в квартиру и все еврейское население забирала. Значит, она была взята, вот почему она не пришла. Ждать я не мог, должен был спешить. Я вышел с портпледом, в котором было две смены белья, кусок мыла, взял думку[256] и одеяло, квартиру закрыл на ключ и ключ положил в карман. Я собирался ключ передать человеку, который впоследствии и будет там жить.

Было около часу дня. В моем распоряжении не оставалось времени для поисков сестры, и я вынужден был пойти туда, куда направлялся, – скрыться от немцев. В этот день я ничего не мог предпринять. На следующий день, по моей просьбе, лицо, которое меня приютило, начало обходить сборные пункты с тем, чтобы установить связь с сестрой, но эти попытки ничего не дали, потому что сестру найти не удалось.

Остались последние часы, назначенные для явки, и по всем улицам города тянулись вереницы еврейского населения на сборные пункты с багажом в руках, в редких случаях – на линейках. Из нашего дома группа жителей взяла линейку, нагрузила ее до отказа узлами, чемоданами, свертками и – направилась. Потянулись и молодежь, и детвора, и старые люди. Тягостно было смотреть. Я вспоминаю лица, смотрел и на русских людей, тяжелое было впечатление.

12-го числа по моей просьбе сделать последние попытки разыскать сестру мне было сообщено, что побывали на Гоголевской (здание ОК партии), в здании Мединститута, но сестру встретить не удалось.

По городу висели трупы, висело семь-девять человек. В районе городского сада, на Ленинской улице, висел труп старика, на груди доска с надписью: «За неявку в срок».

12-го обнаружить сестру не удалось. 13-го – тоже не удалось. 13-го числа мне передали записку от нее, которая была передана одной еврейской женщиной, отпущенной немцами, сделавшими у нее на паспорте странную отметку: «Вирт ниht умгебрахт», – не должна быть уничтожена или не подлежит уничтожению, что-то в этом роде.

Был профессор Клепинин – автор целого ряда почвенных карт[257], который был женат на девушке из семьи Фригов. Семья Фригов состояла из пяти сестер, и все были за русскими. Одна сестра за Бобровским, другая – за Клепининым. Две или три пошли на эти сборные пункты и вовремя явились. Они сообщили о себе, что замужем за русскими людьми, и кто-то сделал им всем такие отметки в

паспортах: «Не подлежит уничтожению».

Через нее сестра передала моим знакомым записку, в которой спрашивала обо мне. Эта записка у меня и сейчас имеется. Это было последнее, что я от нее получил. Между прочим, мне с этими сведениями принесли сообщение о повешенных на улицах города. Принесли сообщение, что доктор Русинов на территории больницы повесился, не желая делать жену свидетельницей этого акта. Его вынули из петли, и товарищи-врачи тут же на имя германского командования написали заявление, чтобы его не брали. Его привели в чувство, а затем за ним приехали и забрали.

После этого связь с внешним миром была прервана. Я стал жить ожиданиями, что делать.

В первые дни явки один из немцев, который жил в этом доме и имел соприкосновение с жителями этого дома и с лицом, у которого я жил, под влиянием настроений, которыми жил город, и, безусловно, косвенным образом это влияло на всех остальных, сообщил, что он был свидетелем массового расстрела евреев в Бухаресте и что у него был там приятель, врач в румынской армии, так он его не то из дома вывез, не то с места расстрела[258]. Этот немец был начальником авточасти автопарка, а его приятель-шофер был фашист. Он заставил его подать машину, посадил врача-еврея и вывез с семьей, куда я не помню, но спас его от расстрела. У меня явилась мысль, что, по-видимому, нечто в этом роде будет и здесь. Я говорю о том, что происходило в городе. Состояние, естественно, нельзя было назвать и подавленным, я чувствовал, что схожу с ума, мне стало очень тяжело. В сознании не укладывалось – понять чудовищное намерение германского командования об уничтожении двенадцати тысяч человек евреев. Город был, население – терроризировано, люди просто боялись выходить на улицу, даже русские. Казалось, воздух даже изменился и был насыщен ужасом, кровью. Одним словом, все это произвело тягостное впечатление на все национальности, все люди тягостно переживали это явление.

В эти первые дни от явки уклонились многие, за что были повешены. После этого по городу начались облавы только на улицах. Сначала действовала полевая жандармерия, задерживала прохожих и требовала предъявления паспортов. Совершенно очевидно, многие были задержаны, и не только евреи. Это были первые попытки прочесывания населения на улицах города. Происходили они довольно часто, по отдельным районам, улицам, в различное время дня, с небольшими интервалами. Так было в течение всего декабря 1941 года, а в начале января 1942 года, после 5-го, была первая массовая облава на все население города. Город был оцеплен по кварталам, районам, всюду были расставлены посты, которые направляли население в определенные пункты. С рассветом из улицы в улицу, из дома в дом, из квартиры в квартиру шли с обходом. Была сплошная, массовая, одновременная проверка населения, поиски оружия. Эта была первая проверка населения, а пришлось пережить пять. Тягостно было.

Лицо, которое приютило меня, уходило из дома. Я, стараясь оставаться незаметным, закрывал окно из комнаты. Окно из комнаты выходило на улицу, а общая дверь из комнаты выходила в коридор. Дверь старинной стройки, крепкая, массивная, была с хорошим американским замком. Я старался закрывать замочную скважину.

Я каждый раз, когда мой хозяин уходил, закрывал замочную скважину щеколдочкой, что не давало возможности заглянуть в комнату. У окна стоял стол, за которым я читал или писал. Так что если бы заглянуть оттуда, то я был бы на фоне окна. Нижнее стекло было забито фанерой.

Я уже знал, что в городе идет облава и что, вероятно, немцы могут прийти сюда. Мы не знали, как

это происходит, что делается, проверяют сплошь или на выборку. Я был на страже, выхода не было. Надо было принять предохранительные меры. Я об этом не мог думать, потому что всякое движение было затруднено. Выйти на чердак или в подвал не было возможности. Не было представления о том, как они будут искать. Я собрал всю силу воли, чтобы держаться в равновесии, потому что от этого зависит сохранение головы. Часов около девяти слышу по необычным шагам, что явились немцы. Я привык разбираться в звуках, во всякого рода шагах. Нет сомнения, что в дом пришли немцы. Местное население немного говорило по-немецки. Дом этот большой, там было много комнат, но я слышу по шагам, что они подходят к нашей комнате, зашли в смежную комнату, подошли к моей двери и раздается неистовый стук. Я никак не реагирую. Стук повторяется. Я решил молчать, что будет дальше. Я слышу голос немца, который спрашивает, кто в этой комнате живет, ему отвечают: женщина, русская, учительница, одинокая, у нее никого нет. Население дома, которое владело немецкой речью, дает объяснение, и тут же ввязывается в разговор немец, который жил в нашем доме. Очевидно, он был неплохой человек, по профессии – трактирщик на Рейне, и этот Вилли был настроен очень благожелательно, и офицер удовлетворился его ответом, но все же хотел попасть в комнату. Сделали попытку открыть дверь, но дверь была массивная, крепкая, с американским замком, сильно толкнули в дверь, но дверь не поддавалась. И вдруг я слышу самое ужасное, что рядом с ним скребется собака. Офицер, оказывается, пришел с овчаркой. Вы сами понимаете – овчарка может почувствовать через дверь, и так или иначе, офицер мог распознать, что за этой дверью кто-то есть. Здесь произошло то, что иначе, как чудом, я не могу назвать. В этом доме у одного из обитателей была собака, громадная, породистая, молодая, жизнерадостная собака, здоровая, крепкая, весь день она бегала по улице, играла с детьми, прохожими и домой попадала только вечером. В последний момент, когда был решительный стук в дверь, собака соседей каким-то чудом появилась в квартире, то ли она была недалеко, то ли ее кто позвал, но между собаками началась такая кутерьма, что немец побоялся за судьбу своей собаки. Вилли и офицер бросились разнимать собак. Офицер боялся выпустить из рук пса, а солдат не мог оттащить в сторону второго; наконец удалось оттащить на некоторое расстояние.

После этой комнаты в эту сторону оставалась только одна комната, а в этой последней комнате столовались немцы-зенитчики. Мы знали, что бывают целые группы – немцы. Прошло несколько мгновений, они отошли в сторону, и все успокоилось. Это была первая облава.

О судьбе еврейского населения немцы с местным населением не беседовали. В первое время они с населением не соприкасались, были какие-то преграды. Конечно, население не могло не интересоваться, и слухи о том, что произошло, стали проникать в городскую среду, сначала на окраинах, потом – в центре и докатились и до меня. Что-то глухое, о какой-то катастрофе, о массовом уничтожении еврейского населения стало проникать и упрочиваться.

Пошел слух о том, что какая-то часть женщин, выводимая из здания по улице Гоголя № 14, выходила с поднятыми вверх руками, причем у этих женщин у двери сопровождавшие вырывали дамские сумки. Говорили и о том, что какая-то часть была выпущена с чемоданами, а другая – уничтожена; что выводили без вещей, с поднятыми руками.

Расстрел производился около Курмана. Говорили, что братские могилы рыли военнопленные.

Расстрел проводили из автоматов. Затем говорили, что расстреливали на 8-м километре, а в каком направлении, я так и не установил. Только так, связывая отдельные корни, я думаю, что это было по

Феодосийскому шоссе у противотанкового рва. Вот скудные сведения, которые исходили от населения города.

В марте месяце стали проникать слухи о том, что лица, находившиеся в смешанном браке, которые были отпущены, как вдова Клепинина и другие, будут также вызываться на сборные пункты. По всему городу ходят лица и устанавливают смешанные браки и детей от этих смешанных браков. Здесь был Михайлов, приват-доцент, с женой-еврейкой, когда пришли за женой, он не хотел ее одну отпустить и пошел вместе с ней. Судьба его неизвестна. Мне удалось установить, что он домой не вернулся.

Слышал, что погиб внук Щиrowsкого, инженера, мать еврейка, она разошлась с мужем, а ребенок воспитывался у стариков. Пришли и взяли ребенка.

Слышал об одном случае: муж армянин, жена еврейка. Он не отпустил ее и пошел вместе.

Через несколько месяцев слышал о таком случае: дочь отбилась от своей семьи во время выхода на сборный пункт, осталась на улице, и ее приютили знакомые караимы и продержали несколько месяцев. Потом девочку вывезли в Саки, там была русская женщина одинокая, хорошо знакомая им, которую посвятили в существо дела и просили приютить, потому что боялись держать в Симферополе. Надо сказать, что русская женщина, приютившая эту девочку у себя, не знаю, как записала, но даже устроила недалеко от себя на работу. Девочка жила, меня занимала судьба этой девочки, и я просил свою знакомую, когда она была в этой караимской семье, наводить справки о судьбе этой девочки.

После большого перерыва, когда совершенно не было соприкосновений с хозяевами, все было в порядке, эта девочка, помогая по хозяйству, пошла куда-то по улице и встретила своего знакомого по Симферополю. Она по-детски поздоровалась, тот очень удивился и спросил, очевидно, каким образом она сюда попала. Она рассказала, и будто бы к вечеру девочки не стало. Какие душевные побуждения были у того человека? Трудно сказать.

По-видимому, те лица, которые имели возможность вначале укрыться у родственников или знакомых, постепенно были выявлены. Сестра моей жены должна была пойти за два дня до явки к одной знакомой. Старая женщина пришла посоветоваться, как быть. Я спрашиваю: «Что думаете?» «Хочу не пойти». Я спрашиваю: «А кто вас приютит?» «Я, – говорит она, – решила пойти на слободку около Рабочего поселка, там живет мать зятя, русская женщина, она поможет. Хочу к ней пойти за картошкой». Но, по-видимому, она погибла во время одной из облав, а облавы происходили время от времени. Все облавы, которые происходили по городу, все прошли над моей головой. Во время второй облавы, она, кажется, была в марте месяце 1942 года, мне пришлось из комнаты выйти. Там было много комнат с большим количеством темных закоулков. Была небольшая кладовая, в которую вход был закрыт. Во время первой облавы немцы прошли, не заметив этого помещения. Ключ от этой кладовой был у моей хозяйки. В кладовой хранилась очень большая медицинская библиотека, медицинский инструментарий, географические карты, а затем помещен всякий хлам: доски, кровати. Мне пришла мысль укрыться в кладовой. Но это трудно было сделать, так как было непрерывное движение по всем коридорам. Нужно было улучшить мгновение, чтобы попасть в эту кладовую. Эту операцию сделали вскоре после облавы. А облава была на рассвете. Часов около пяти прошел слух, что в городе идет облава, и мы решили, что нужно переходить из комнаты в кладовую. Перешел в кладовую. Движение в доме было слабое. Моя знакомая стояла в

коридоре на карауле и дала знак о том, что можно из комнаты выйти, прошла в глубину и стала на пороге. Я зашел в кладовую в пальто, шапке, спрятался за шкафом с книгами, причем мы договорились, что, когда в доме начнется облава, я зайду за шкаф и заставлю себя диктовой доской. Ключ от кладовой был у моей хозяйки. Она закрыла за мной дверь и ключ положила в карман. В дом пришли немцы. Она подошла к кладовой, кашлянула. Я зашел за шкаф, заставил себя диктовой доской, передвинул книги; из книг устроил небольшое сиденье, сверху было заставлено, загромождено всевозможными вещами. Я слышу по движению, что приближаются шаги, слышу, что подходят к этой части квартиры, остановились около этой двери. Первый раз не заметили, а потом спрашивают по-немецки, что находится в этой комнате. Соседка говорит: «Кладовая небольшая, вся завалена книгами». «Где ключ?» – спрашивают. Говорит: «Сейчас принесу». Открыли кладовую. Он заинтересовался массой книг и инструментарием, чемоданами и начал брать книги на выдержку, начал двигаться по этой кладовой, хотя там буквально некуда ногу поставить. Отошел к щели, которая была заставлена, отодвинул стенку, взялся за диктовую доску, и, по-видимому, как ни сумрачно было в этой кладовой, он увидел контуры моей фигуры и вдруг совершенно явственно говорит: «А».

Я решил, что на этот раз, кажется, мне уйти не удастся. Нужно было собрать все свои силы, чтобы не подать вида и чтобы не подумали, что жида цепляются за жизнь и умереть не умеют.

В самую последнюю секунду произошло такое событие. Очевидно, тоже на его сознание пала пелена. Книги не дали возможность видеть того, что было вокруг. Он совершенно спокойным движением поставил фанеру на место и заявил хозяйке, что через пятнадцать минут придет солдат забрать книги, инструменты и т. д.; вышел из кладовой, закрыл дверь на ключ и ключ положил в карман и ушел. Через пятнадцать-двадцать минут пришло пять-шесть человек солдат, но меня уже не было в этой кладовой. Представляете, какой был риск. Это было трудно сделать, потому что за мною могли наблюдать тысячи глаз. Мне нужно было выйти из кладовой, чтобы никто из соседей, немецких зенитчиков, не видел, и надо было уйти до истечения пятнадцати минут. Словом, меня не открыли, я вышел из этой комнаты уверенно, спокойно, прошел в дверь комнаты, которая предварительно была оставлена открытой, и закрыл ее за собой. Моя хозяйка закрыла кладовую, вернулась в комнату. Солдаты пришли с ключом и соседку хотели взять только в качестве переводчицы. Эти шесть солдат занялись работой самым тщательным образом, потому что забрали всю библиотеку, книги по медицинской части направили в лазарет, а остальные – в библиотеку для обслуживания госпиталей.

Я вспоминаю то, что мне пришлось пережить. Я был потрясен тем, что ушел и второй раз. Был потрясен участием какой-то посторонней силы, которая вмешивалась в мое скромное существование. Таких случаев было пять. Один раз пришлось спрятаться в подвал, в четвертый раз – на чердак и один раз – на другой квартире, в которую хозяйка моя во время массовых переселений перешла: с Луговой на Крестьянскую. Нужно было сделать переселение так, чтобы не заметили ни старые соседи, ни новые, чтобы меня не видели, а также не видели те, которые будут выносить вещи. Пришлось продумать каждую мелочь. Пришлось уйти на чердак в тот день, когда хозяйка решила перебираться. Было два часа дня. Немцев-зенитчиков в доме уже не было. С самого утра на рассвете пришлось перейти на чердак с тем, чтобы вечером моя знакомая придет, дверь будет широко открыта, все могут заглянуть, посмотреть в комнату, а вечером она должна была прийти (движение

было разрешено до семи часов вечера). Это было в конце сентября или начале октября [1942 года]. Все видели, что она перешла на жительство в другую квартиру. Она была единственная квартирантка у хозяев – двух супругов. Дверь была отдельная, словом, можно было прийти, не беспокоя. И во второй квартире на Крестьянской улице пришлось пережить посещение немцев. Они весной 1942 года в солнечные дни облюбовывали жилые помещения. По квартирам ходили немцы, зашли и в эту квартиру. Хозяева были старые люди. Они пытались всякими поводами отвадить немцев, говорили, когда приходили немцы, – и печи развалены, и то плохо, и это плохо. Это было в начале пятого, уже близко к темноте. Пришли в коридор, раздался стук в дверь. Немец спрашивает, не найдет ли он здесь для себя подходящую комнату. Хозяйки не было. Я стеснялся подходить. Они подошли к двери, и немец просит открыть эту дверь. Хозяева говорят: «Как же быть, дверь закрыта, ключа нет, открыть нельзя». Офицер подошел к двери и начал стучать. Тогда хозяйка говорит: «Может быть, попробовать нашим ключом открыть». Муж говорит: «Открой». И хозяйка пошла за ключом. Передо мной стала задача, как быть. У нас были такие возможности: у моей хозяйки были два шкафа, один – платяной, другой – буфетный. Эти шкафы стояли друг от друга на небольшом расстоянии, таким образом, чтобы можно было зайти, между шкафами было небольшое расстояние, но такое, что я мог стоять. Комната была небольшая, загромождена кушеткой, кроватью, столами, стульями, шкафами, а шкафы стояли на другом конце комнаты. Когда хозяйка пошла за ключом, я стоял неподалеку и зашел за шкаф и спрятался за ним. Если бы немец вздумал подойти ближе, то обнаружил бы меня, но на этот раз дело обошлось благополучно. Хозяйка чувствовала себя неважно, что в отсутствие жилицы открыли комнату. Когда открыли, все стояли у входа. Комната, правда, непрезентабельная. Хозяева говорили, что в этой комнате живет учительница. Дверь закрыли. Домохозяйка чувствовала себя неловко, почему я говорю это, что даже не сообщила моей хозяйке о том, что заходили немцы. Вот это была последняя тревога.

Занимался я книгами, читал, писал; я занимался библиографическими работами. Обо мне как о библиографе есть отзывы, у меня есть печатные работы по библиотечной группе. Были составлены целые каталоги-картотеки по разным вопросам, что представляло большую ценность для меня и известную научную ценность. Часть библиотечного материала удалось вынести. Это давало возможность держаться и работать спокойно.

Общее настроение было тяжелое, особенно когда была взята Керчь – 15 мая 1942 года, Севастополь – 1 июля. Первая большая тревога после пережитых декабрьских дней. Тяжело было после взятия Керчи и еще более тягостно после взятия Севастополя. Пока Керчь и Севастополь были советскими, как-то теплилась надежда на скорое освобождение. Когда немцы взяли Керчь, Севастополь, проводили перешивку железной дороги, переименовали улицы на немецкий лад, я почувствовал себя похороненным.

Конечно, взятие Керчи – не конец войне. В войне возможны всякие изменения. Немцы знали, может быть, что придется Крым отдать. Советские люди были уверены, что Крым будет освобожден, но нужен был отрезок времени, чтобы проделать мозговое усилие, чтобы привести себя в известное равновесие.

Было голодно, холодно – всему населению вообще и моей хозяйке, в частности. Даже наши скудные запасы, которые удалось сохранить: пуд муки, пуда полтора картофеля, бутылка постного масла, начатая баночка смальца, которую мне принес один знакомый русский плотник, встретил я его как-

то в районе Феодосийского моста. Спрашивает: «Как вы поживаете?» Это было 3–4 декабря. Я говорю: «Голодно и трудно со всех сторон». Он говорит: «Я вам кое-чем могу помочь, я зарезал кабана и вам немножко принесу сала». И действительно принес. Даже было так дело, он не застал меня дома и отдал моим знакомым Кенифест и просил мне передать. Вечером я возвратился, и они принесли смалец и еще кое-что. Кроме того, у меня было крупы килограммов двенадцать. Этим мы жили месяца три. Ели один раз в день, картошку варили в кожуре, из муки делали клецки, клали немного крупы, ложку масла и получалась какая-то пищевая бурда. Затем начались усилия по восстановлению пединститута, и мою хозяйку привлекли в качестве библиотекаря, она приводила в порядок библиотеку, получила хлебную карточку, и мы делили хлеб по сто пятьдесят грамм; затем она получила частные уроки, давала их за продукты. Жили впроголодь, трудно рассказывать. Варили только вечером, плита была без тепловых ходов, кончил топить, и все тепло улетучивалось. Я боялся шевелиться, чтобы не было никаких звуков. Вечера приходилось сидеть в темноте из-за того, чтобы не было признаков света.

Так протекала жизнь в течение двух с половиной лет.

Газеты я читал регулярно, не только «Голос Крыма», но и немецкую «Дойче Крым Цейтунг». В немецкой газете, а она была рассчитана на обслуживание средней массы, там были антисемитские выпады в ничтожном количестве, они обслуживали среднюю массу, и пропаганда была, очевидно, направлена по другим каналам; а русская газета «Голос Крыма», я антисемитские выступления в печати знаю, приходилось читать и «Новое время» и «Почаевские известия»[259] Иллиодора, это был монах-изувер, оказался прощелыгой, который терроризировал русское царское правительство. Антисемитскую литературу дореволюционного периода я знал, но то, что собой представлял «Голос Крыма», не идет ни в какое сравнение. Это было что-то жуткое. Если вы читали газету из номера в номер, то вы видели, что из себя представляла эта газета, одна за другой статьи антисемитского характера. Трудно себе представить, до какой степени изощрались, до какой степени были сосредоточены высказывания, например, под руководством германского представителя Маураха, который здесь возглавлял бюро пропаганды. Отец был хороший врач-окулист. В 1920 году выехал в Германию, сын воспитывался в Берлине. Этот мальчишка попал в Германию в 1920 году, а сейчас уже приехал как деятель бюро пропаганды. Гитлер в 1920 году только начинал делать первые шаги. Доктор Маурах умер, семья попала в тяжелое положение, и мать пристроилась к фашистскому движению, и на этом фоне сын Маурах воспитался в Германии и явился сюда в качестве представителя бюро пропаганды. Сынок этот давал до того концентрированную антисемитскую продукцию, что трудно себе представить. С каждой строчки проглядывал антисемитизм площадной, грубый, вульгарный, рассчитанный на низменные наклонности. Это был основной лейтмотив, который проглядывал во всем материале: в статьях, в фельетонном материале. Чувствовалось, что та группа людей, которая представляла эту газету, совершенно ясно ставила цель – создать психический заслон тому, что делали немцы в Крыму. Это была какая-то маскировка, жидоедство, это была ширма, которая поддерживалась целым рядом координированных усилий. Они все каналы жизни подчинили этой газете. У них в редакции в кабинете замредактора сидела барышня, просто технический работник, сидела и внимательно выписывала из дневника писателя Достоевского, где были антисемитские высказывания, затем Суворина, Розанова, Шмакова – это были солидные книги, и барышня целыми днями выписывала этот материал для статей Быковича и других.

Гитлеризм наступал не только на хозяйственную жизнь, но и на психику населения. Это была лаборатория, в которой изготовлялся яд. Этот яд не прошел бесследно. Этот антисемитизм отравил население, не то чтобы все принимали всю лживость, но вбирали в себя это печатное слово.

Разрушение зданий города Симферополя, взрывы, пожары начались задолго.

В январе 1942 года, когда начались советские десанты, которые проходили главным образом в конце декабря, положение в немецкой среде было настолько напряженным, что местное немецкое командование сидело на чемоданах. Если бы командование Советской армией несколько энергичнее сделало бы бросок в Крым, он был бы освобожден. В Симферополе были готовы к бегству числа около 7 января, но дали срок, пока напряженное состояние разрядилось. Немцы из-под Ленинграда подбросили подкрепление. Если бы этот бросок в Крым со стороны нашего командования был бы энергичнее, то Крым был бы освобожден значительно раньше.

Второй раз, когда наши войска подошли к Перекопу, после этого начались пожары, уничтожение зданий, но особенно энергично они начали действовать перед падением Крыма, и, наконец, совершенно исключительно, что произошло в Симферополе 12 апреля [1944 года], когда горело около четырехсот крупнейших зданий. Весь горизонт представлял сплошное море огня, горели архивы. В разных частях города горели здания-склады, и в довершение всего вечером по городу начали развезать автоматчики и бросать бомбы в жилые здания. Чувствовалось, что они в какой-то лихорадке.

13 апреля были партизаны, которые дали небольшой, в течение одного часа, бой.

В районе Архивного моста партизаны сделали заслон, а вечером 13 числа я вышел в первый раз из своего 28-месячного заточения. Прошел по городу, встретил нескольких знакомых русских, которые встречали меня со слезами, объятиями, пожатиями, а 14-го я пошел на свою старую квартиру.

Настроение встретил хорошее. Русские люди обнимали, плакали, удивлялись, встречали поцелуями и объятиями. В своей квартире я застал татарскую семью. Немцы взломали квартиру, уничтожили часть книг, то, что было на столах, стульях, растаскали, часть книг была продана в комиссионном магазине, а часть, та, что была в шкафах, сохранилась. Они вначале в моей квартире устроили для небольшой группы людей казино. Казино существовало шесть месяцев. Все имущество было вывезено жилотделом, а книги сданы в центральную библиотеку. Сейчас я получаю их обратно. На моих книгах есть значки. В центральной библиотеке подбирают книги для пединститута, парткабинета и выбирают мои, откладывают в сторону, а вообще моя библиотека состояла из двух тысяч томов – это труд сорока лет работы, ценность всей моей жизни. Очень много книг погибло, часть рукописей, коллекция планов города Симферополя, которые я собирал продолжительное время. Все это, к сожалению, погибло.

Рассказ бухгалтера Льва Юровского

Симферополь

Вот рассказ бухгалтера спортивного магазина в Симферополе Льва Юровского[261].

В Симферополе осталось не эвакуированных четырнадцать тысяч евреев. 10 ноября 1941 года немцы «организовали» еврейскую общину. Одного почтенного старца Бейлинсона они назначили председателем[262] и предупредили, что распоряжениям общины все евреи обязаны подчиняться.

При помощи правления общины немцы выкачивали все, что им хотелось. Комендант города заказывал, а община была обязана поставлять точно к сроку – мебель, одежду, золото, ковры...

Был такой случай: какой-то генерал «заказал» пару калош, но община не успела получить к сроку нужного номера. За это престарелый председатель получил пощечину.

Когда через общину уже больше ничего нельзя было получить, фашисты начали грабить собственноручно.

Через общину немцы распорядились, чтобы все зарегистрировались на бирже труда. Велели надеть нарукавные повязки с «могендовидом» и посылали на самые тяжкие работы: копать землю, таскать камни... Подгоняли плетью. Я не зарегистрировался и не надел повязки, так как хотел уйти из города.

Однажды все же я пошел на работу. Мы обивали грузовики фанерой, другие перетаскивали груды заступов. Мы тогда еще не знали, для чего все эти приготовления. Потом в этих грузовиках возили людей на смерть, а заступами засыпали убитых. Нам, группе работавших здесь, приказали идти домой и вернуться на следующий день с тем, однако, чтобы каждый из нас привел с собой еврея-столяра и еврея-слесаря. Это было невозможно, так как все мастера были уже выловлены... В отчаянии мы обратились к председателю общины: «Что делать?» Он махнул рукой и ответил: «Делать уже нечего». Он уже, очевидно, знал, как обстоят дела.

По дороге домой мы встречали людей с узлами и чемоданами. Это были местные старожилы – евреи, крымчаки. Их вызвали для «эвакуации» на 9 ноября[263]. Немцы наметили три сборных пункта. Все эти пункты были заняты гестаповцами. Это были лучшие многоэтажные дома в самом центре города: педагогический институт, медицинский институт и здание областного комитета партии. На следующий день, 10-го, началась, согласно приказу, «эвакуация» симферопольских евреев. Люди отобрали самые ценные свои вещи и направились к сборным пунктам. Передать эту трагическую картину невозможно. Плач, вопли! Среди бела дня тащатся тысячи людей, не зная, куда и зачем. Немцы вели себя спокойно и вежливо, не возбуждая никаких подозрений. «Эвакуируют на Украину, – говорили, – в колонии...»

11-го я с женой решил: мы тоже пойдем. Мозг не выдерживал напряжения последних дней. Будь что будет, лишь бы скорее какой-нибудь конец.

По дороге к пункту нас встретила знакомая русская женщина. Она сказала:

– Ни в коем случае не ходите туда! На смерть идете. Я встретила переодетого цыгана, который чудом ушел от расстрела.

Цыган немцы «эвакуировали» за несколько дней до того. Мы вернулись. Жена пошла прятаться в одно место, я – в другое. Я направился к другу моих родителей по фамилии Матейка. Василиса Митрофановна Матейка мне и в дальнейшем во многом помогла. Шесть суток я прожил у них, они кормили меня, прятали и информировали обо всем, что происходит в городе. 11-го, 12-го и 13-го числа расстреливали евреев. На улицах висели повешенные с табличками: «За невыполнение приказа». Это были те, кто не пришли вовремя на пункт. Я понял, что дальше подвергать риску моих друзей нельзя, и ушел из города.

За несколько дней до того моя жена получила удостоверение о том, что она крещеная. Ее таскали в гестапо, и, когда ее вели на расстрел, она сошла с ума. Только 16-го перед моим уходом из города Василиса передала мне письмо от нее. Она прощалась со мной, с жизнью... Ее вызывают в гестапо. Одна русская женщина предложила мне паспорт ее мужа, находящегося на фронте. Паспорт надо было привести в порядок. Внук Василисы, четырнадцатилетний мальчик, раздобыл тушь, и мы

исправили документ. Старик Матейка проводил меня до станции, и я пошел деревнями по направлению к Мелитополью. По дороге было несколько встреч с такими же, как я, и с немецкими патрулями, – паспорт не подводил. Таким образом, я 31-го пришел в Мелитополь. На окраине города в доме одного бухгалтера мне разрешили переночевать и встретить Новый год. Можно себе представить, каким был этот праздник для меня...

По пути мне пришлось проходить через крымские еврейские колонии. Там еще ничего не знали о том, что происходит, но предчувствовали и ужасно беспокоились. Я не решился рассказать им обо всем, что произошло в Симферополе, и что их ждет, и ушел.

В Мелитополе меня не захотели прописывать. Пошел в другое место, но и там не хотят. Что делать? Решил вернуться в Крым. Пришел в полицию за свидетельством на обратный проезд. Шеф полиции заинтересовался, для чего я ушел из Крыма. Я объяснил, что хотел устроиться на работу, но не устроился.

Как раз в те дни наш десант высадился в Керчи. Немцы были смертельно напуганы. Увидев крымчака, они меня окружили и долго осматривали. Затем отвели в отдельную комнату и стали допрашивать. Оттуда меня отвели в более высокую инстанцию, в Орткомендатуру[264].

Комендант, еще два немца и переводчица снова учинили мне допрос. Все как будто бы идет гладко. Вдруг комендант вскакивает с места, ударяет кулаком по столу и кричит: «Здесь кроется еврейская голова!» И меня посадили в камеру гестапо.

Двор гестапо обслуживали два еврейских мальчика. Тайком они приносили арестованным пищу. Однажды гестаповцы узнали об этом и так избili мальчиков, что я их узнать не мог. Тем не менее они продолжали приносить нам еду. Я был уверен, что меня расстреляют, и решил повеситься. Две тысячи рублей, которые были у меня, я хотел отдать этим мальчикам. Но они ни за что не хотели брать деньги и говорили: «Нет, вас не расстреляют...» Я потом стал верить в различные приметы. Утопающий хватается за соломинку...

Позднее я жил в деревне, в доме, принадлежавшем раньше еврею. На чердаке этого дома валялась груда бумаг, писем, документов. Однажды, когда я был в особенно угнетенном состоянии, с чердака прямо на меня упало какое-то письмо. На чердаке копошились куры. Я раскрыл письмо и прочел: «Дорогой Лейб (меня тоже зовут Лейб), не огорчайся, все уладится...» И это меня успокоило.

Тем временем меня перевели из камеры Мелитопольского гестапо в хлев с цементным полом. Сидеть на улице, на морозе было легче, чем в этом хлеву. Еды не давали. Дошло до того, что собственное дыхание стало еле теплым. Словом – конец!

Но к этому времени меня неожиданно освободили. Я могу вернуться в Крым. Я вспомнил, что у меня имеется письмо, которое Василиса Митрофановна дала мне к своей сестре, живущей в бывшем еврейском колхозе «Возрождение». Название колхоза показалось мне знаменательным, и я отправился туда.

Сестра Василисы и ее муж приняли меня хорошо, и я остался в деревне на должности колхозного конюха. Тут я узнал, что большинство живших в этой деревне евреев успели вовремя эвакуироваться, а оставшихся сорок человек немцы увезли в Джанкой.

Несколько раз контролировали мои документы, но все обошлось благополучно. Но вдруг – новая напасть: почему я не женюсь? Здесь все женятся... Стало быть, это неспроста...

Однако вскоре мне снова пришел на помощь мой добрый ангел, Василиса Митрофановна. Она

приехала в гости к своей сестре. У меня в глазах посветлело, когда я увидел старушку. Одиночество и необходимость постоянно притворяться меня угнетали. Я рассказал ей о своих делах. Она предложила сказать своей сестре по секрету, что якобы моя жена, которую я крепко люблю, ушла от меня с немцем. И по этой причине я никак успокоиться не могу. Такой «секрет», конечно, немедленно распространится по деревне, и меня оставят в покое. Так оно и было.

Между тем я познакомился со всеми колхозниками, а с учителем, корейцем Точеем, и с его женой мы подружились. Я сразу почувствовал, что я больше не одинок. Он приходил ко мне на конюшню, беседовал со мной, потом приглашал к себе. Однажды Точей сказал мне: «Я вижу, что вы человек надежный. Немцев вы ненавидите. Надо связаться с людьми».

Это был для меня счастливый день. При следующей встрече Точей сказал мне, что он имеет от одного коммуниста поручение создать вокруг себя группу, и предлагает мне помочь ему. По ночам Точей ездил в Карасан, там был радиоприемник. Мы располагали последними новостями, установили связь с партизанами. Жена Точей была прекрасным человеком: она воодушевляла нас на самые смелые предприятия против немцев. У нее был маленький ребенок, а второго она ждала со дня на день. Она говорила: «Не хочу, чтобы мои дети видели этих извергов. А если, паче чаяния, немцам удалось бы здесь задержаться недолго, я таких детей воспитаю, что им от них тошно будет!» В колхозе «Возрождение» я дождался прихода Красной Армии.

Рассказ симферопольского портного Макса Соломина

В портновской мастерской, работающей на армию, я отыскал этого оставшегося в живых симферопольского портного Соломина. Сухощавый, среднего роста, с умным морщинистым лицом, человек лет пятидесяти. В тесной и шумной мастерской не было, где присесть и побеседовать. Он повел нас во двор на узенькую железную галерею, изнутри окаймляющую этот большой многоэтажный дом. Мы прислонились к перилам, и он начал.

За четыре дня до прихода немцев в Симферополь я приехал домой из дальней поездки. Я дамский портной. Прихожу и застаю пустой дом: жена с детьми заблаговременно эвакуировались. Соседи-евреи тоже. Верчусь по пустой квартире – неудобно. Пошел к своей сестре и застал ее. Бросилась она ко мне с плачем: у нее болен ребенок, и она не может эвакуироваться.

Прихожу домой, а у меня уже немцы расположились на ночлег. Однако на рассвете они ушли.

Между тем издан приказ: всем евреям обязательно регистрироваться.

В первые же дни оккупации произошло следующее. Два немца зашли в один дом на улице Толстого к бухгалтеру Пекерману. Увидав на руках у матери грудного ребенка, один из них схватил его и сунул в печь. Мать набросилась на немца, но в это время второй пристрелил ее. Отец накинулся на бандитов, но они смяли его, вытащили во двор, перебили ему ноги и стали волочить по каменной мостовой.

Я созвал к себе человек пятьдесят знакомых и рассказал им об этом несчастье. Я предложил: пусть тысяча-другая наших людей соберется и нападет на немцев. Многие при этом погибнут, но зато несколько сот человек добудут себе оружие и смогут уйти в леса, в горы... Однако мне возразили, что население в пятнадцать-двадцать тысяч человек уничтожить невозможно. Лучшим доказательством может служить то, что немцы ведут себя прилично: не избивают на улицах, вежливы...

Но вот настал этот день. Евреев начали вывозить и убивать. День прошел, два, три... Творится что-то

страшное. Я не выхожу из дому. За уклонение от регистрации вешают на улицах. Я не иду. Но когда началась облава, я больше не мог оставаться один в доме, набрался духу и пошел, чтобы отдаться в руки палачей. Дело было днем. По дороге в гестапо меня вдруг окликают. Оборачиваюсь и вижу свою давнишнюю заказчицу Марию Ивановну. Рассказал я ей о своих делах, а она и говорит: «Сумасшествие! Самому идти в гестапо? Я и то боюсь в городе оставаться. Иду в деревню. Идемте со мной. Я запишу вас своим мужем».

При этом она указала мне человека, который может сделать мне паспорт. Короче говоря, через день мы оба ушли из Симферополя. Шли три дня, пока добрались до деревни, где старостой родственник Марии Ивановны. Она представила меня.

– Когда же это ты замуж вышла? – спрашивает староста и поглядывает на меня.

– Три года тому назад! – отвечает она.

– И он, значит, и фамилию твоего первого мужа носит?

Это, словно гром, поразило нас, об этом мы даже не подумали.

Но не успели мы выпутаться из этой неприятности, как подвернулась другая:

– Ну, ладно, – говорит староста, – это еще куда ни шло. Но как ты можешь оставаться здесь со своим мужем, когда ему стоит только слово вымолвить, чтобы каждый узнал, кто он такой... Нет, лучше уходите отсюда, я вас тут не оставлю... Однако он разрешил нам переночевать. И вот лежу я ночью и мучаюсь. Что делать? Мой еврейский акцент губит меня! Ворочаюсь, лежу, как на иголках, и вдруг приходит мне в голову... Вот это мысль! Готов сейчас же будить Марию Ивановну, утра дожидаться не могу!

Утром я рассказал ей о своем плане. Ей понравилось. Пошли мы к старосте и объявили, что я становлюсь глухонемым!

Он рассмеялся:

– А выдержишь? – спрашивает.

– Выдержу! – говорю.

И староста взял мой паспорт и вписал «глухонемой». Но оставлять нас в деревне он все же не захотел и выдал нам бумажку: такая-то со своим глухонемым мужем таким-то направляются для поисков работы туда-то.

И пустились мы в путь-дорогу в надежде на мою глухонемоту. Пришли в деревню Онуфриевку.

Ночь. У старосты необходимо получить разрешение на ночлег. Посмотрел он на мои документы и говорит:

– Дальше я вас не пушу. Мне портной нужен. У меня семья большая, всех обшить надо.

Мария Ивановна делает вид, что остаться мы никак не можем, а мне показывает знаками, о чем речь идет. А я тоже головой и руками показываю, что это невозможно. А в душе радуюсь тому, что у нас есть кров, работа! Правда, опасно то, что мы у самого старосты, что называется, у зверя в пасти. А он, между прочим, седой, заросший, как дикарь. Разрешил он нам переночевать, а наутро отказывается отпускать. Хозяйка накрыла на стол, невестка принесла материю для шитья, швейную машину, стол приготовили, а Мария Ивановна – мой язык и уши – показывает знаками, чего от меня хотят. Так мы тут и остались и принялись за работу. Обшили дом, всю большую семью, а староста нас не отпускает. Ему выгодно – денег за работу нам не платят. А я, говорят они, понятливый глухонемой, и каждый хвастает тем, что я понимаю его знаки. Проходит день, два, неделя, другая, а я

глух и нем. Вокруг меня постоянно люди, так что даже словом перекинуться с Марьей Ивановной никак не удается. Видите, у меня даже морщины возле рта? Это потому, что я все время держал рот на замке. Все время находишься среди детей, женщин... Иной раз услышишь такое, что надо быть крепче железа, чтобы не расхохотаться, или наоборот, такое, что кулаки от злости сжимаются... Но уж раз взялся – надо молчать.

Но вот случилась такая история: однажды ночью налетели на деревню наши бомбардировщики – бомбить немецкие эшелоны на станции. Я проснулся, когда все в доме уже были на ногах, разволновался и вдруг как ляпну:

– Где мои брюки?

А тут от зажигательной бомбы стало светло, как днем, и я вижу около себя старосту.

– Тьфу на тебя! – плюнула в мою сторону Мария Ивановна.

Староста стоит надо мной, смотрит растерянно и кипит от злости, а я чувствую, что погибаю.

Бомбардировка окончилась, немецкие эшелоны горят, а я даже радоваться не могу: сам у себя на шею петлю затянул.

Сидим с Марией Ивановной в комнате при свете пожара и молчим. Что тут придумаешь? Староста, конечно, прикажет нам убираться, а может, и расстреляет. Решили мы тихонько выбраться отсюда, не дожидаясь утра, и пойти куда глаза глядят. Так мы и сделали.

Когда Красная Армия нас освободила, Мария Ивановна пошла своим путем, а я – своим.

Гибель и спасение еврейских детей в Симферополе

Рассказы Люси Рабин и Мириам Павер

В чистенькой квартирке у Люси Рабин сидели мы и слушали грустную повесть о симферопольских евреях, о ее родных и друзьях, скрывавшихся на чердаке этого самого дома в течение двух месяцев после массовых уничтожений.

Мы выслушиваем ее обиду на людей, ее горькие выводы – плод трехлетних преследований. Я пытаюсь ее утешать, но слова мои ее не трогают. Из того, что она рассказывает, я извлекаю факты, эпизоды и привожу их как примеры, отрицающие ее неверие в человечность и дружбу окружающих людей. Но слишком огорчено ее молодое сердце, слишком сильно чувствует она еще одиночество, охватившее ее после того, как она потеряла свою жизнерадостную и талантливую семью. Боль, выраженная на этом красивом и благородном молодом лице, – не из тех, что проходят или залечиваются даже в том случае, когда лицу этому всего еще двадцать шесть лет.

– Кто этого не пережил, тот не может понять, – повторяет она. – Кто так одинок, как я, тот почувствует.

– Вы всем нам очень дороги! – говорят ей. – Вы не одиноки. На вас, на считанных, оставшихся в живых, народ перенес всю свою любовь, всю заботу, причитающуюся миллионам погибших. Вы у нас, как единственные дети. Сколько евреев из семнадцати тысяч осталось в Симферополе?

– Человек тринадцать-четырнадцать из семнадцати тысяч. Вот уже почти шесть месяцев, как Крым освобожден, а больше этого количества не появляется. Оставшихся мы знаем всех. Тетя Павер, служащий «Динамо» Лев Ильич Юровский, портной Марк Ефимович Соломин – он два года был глухонемым, жена инженера Пукайло, я и еще...

В комнату входит крепкая женщина средних лет. Нас знакомят: Мария Исааковна Павер. Она сразу же приносит множество новых сообщений.

– А свыше пятидесяти еврейских ребят вы забыли? – говорит она. Весь город говорит о заведующей детдомом Прус. Она спасала еврейских детей, устраивала в надежных местах[267]. Родственники или родители этих детей сейчас приходят к ней и не знают, как благодарить. Сколько раз заведующая Прус рисковала жизнью, сколько раз была она на краю гибели! Но она ухитрялась, обманывала немцев и из-под носа у них уводила малышей. Она отыскивала русских людей, на которых можно было понадеяться, что они спасут еврейского ребенка. Они приходили к ней, и она все это обеспечивала. Городской священник попросил у нее на воспитание еврейского мальчика[268]. Многие неевреи брали ребят, чтобы спасти их от немецких палачей.

В Наркомземе работал инженер Пукайло. Его жену-еврейку и дочь немцы увезли. Но им удалось вырваться, и они ночью бежали на кладбище. Неподалеку от него жил их знакомый агроном. Они пошли к нему. Агроном поместил их в погребе и прятал там вплоть до прихода Красной Армии. Пукайло был уверен, что жена и дочь его погибли. Он опустил, ходил ко всему безразличный, обросший, пришибленный и молчаливый. Когда пришла Красная Армия, он точно вновь родился. Агроном привел к нему жену и дочь – живых и здоровых.

Когда немцы расстреливали крымчаков, я с мужем и четырнадцатилетним мальчиком находилась на чердаке. Вскоре начались обыски в домах. Муж говорил: «Уходи, спасай мальчика, ты не похожа на еврейку. А я останусь здесь». К одной моей соседке-старушке пришла некая Шляхова Александра Трофимовна. Она увидела, как я пришиблена, и отдала мне свое удостоверение – совершенно незнакомая женщина. Соседка, старушка набожная, надела моему сыну крестик на шею. С этого дня его стали называть Васей. Я попрощалась с другой моей соседкой Екатериной Андреевной Столяр и с ее детьми – и мы ушли из города.

Мы шли из деревни в деревню, где дневали, там не ночевали, пока добрались до деревни Кентугай. Здесь у нас был адрес. Обменяли кое-какие вещи на продукты и кое-как стали жить. Десятки раз нас вызывали на допрос, днем и ночью только и делали, что выпутывались из подозрений, стороживших нас на каждом шагу.

Понемногу прижились. Мой «Вася» стал пастухом. Я приходила к нему в поле. Он играл на дудочке, и деревенские ребята постоянно его окружали. Он затевал с ними такие игры, в которых надо было читать молитвы и креститься, – таким образом, мы учились у ребят этой премудрости. В Кентугай эвакуировалась из Перекопа русская семья Данилиных, с которыми мы подружились. Но через несколько дней после их прибытия к ним пришли немцы и полиция. Данилиных забрали и расстреляли.

Однажды соседка пригласила меня на поминки. Было это вечером. Посреди молитвы налетели немцы с полицией и всех забрали. В суете я выскользнула и удрала. В эту ночь немцы выловили и утащили около шестидесяти семейств. Моего «Васю» тоже поймали и отвели в жандармерию. Я стою под дверьми и слышу, как избивают моего сына.

Из моего укрытия я вижу – прибыла машина, полная людей из района – из Найзана или Фундуклеи, – пожилые русские люди. Много детей. Запомнилась маленькая девочка, которую кто-то прижимал к себе. Холодно было. С машины никого не сгрузили, а из жандармерии вынесли лопаты, сложили их у шофера в кабине и велели ехать дальше. Я поняла, что это их последний путь.

Моего сына отпустили чуть живого. Надо бы его подлечить – он весь был в ранах, но мне нельзя его дома держать. Несчастье свалилось на мою голову: к хозяину, у которого мы живем, приехала его

родственница из Симферополя. Она нас знает. И мой мальчик вынужден уходить со стадом еще до того, как она встанет, и возвращаться поздно ночью, когда она уже спит. Двадцать пять лет она сюда не приезжала, а сейчас ее принесло! А я все время должна прятаться и притворяться больной, чтобы, упаси бог, на глаза ей не попадаться.

Вдруг приехала дорогая гостья: моя симферопольская соседка, Екатерина Андреевна. Уже второй раз эта женщина отправляется в путь за девяносто километров, чтобы повидаться со мной и привезти мне кое-какие вещи для обмена на продукты. Привезла она и кое-что из продовольствия, то, что она с детьми сумела сэкономить из своего скромного пайка для «тети Мани». Я узнаю, что ее старший сын ушел к партизанам в часть Ямпольского[269]. Два младших сына живут с ней. Кое-как перебиваются. Я знаю, что и до войны ей приходилось туго: муж ее давно болеет, и она единственная кормилица семьи. Я обливаюсь слезами от благодарности к ней за дружбу и внимание. «Как же, – говорю я, – вы в такое время пускаетесь в путь-дорогу, когда и сами-то еле держитесь, когда сами нуждаетесь в помощи».

Плачу, а она, на меня глядя, тоже плачет. Пробыв в деревне два-три дня, она пошла обратно. За два года, которые я прожила в Кентугае, Екатерина Андреевна приезжала ко мне четыре раза, и утешение и помощь, которую она мне оказывала, давали возможность мне с сыном поддержать нашу жизнь. Вот какие есть люди. Когда я шесть дней просидела взаперти в жандармерии, кто-то передавал для меня пищу. Я по сей день не знаю, кто была эта добрая душа.

В деревне обосновалась немецкая часть. На кухне у них работали пять пленных, совсем еще мальчишки. Наши дети с ними познакомились. С одним из них, Гришкой, мой «Вася» пришел ко мне. Парень был ужасно угнетен своей работой на кухне у немцев.

Он приходил к нам еще несколько раз, и я видела, что мой сын что-то глубоко переживает. В конце концов мальчишки поделились со мной своим планом: пятеро поварят вместе с моим «Васей» решили уйти в партизаны. Но так как уход «Васи» отсюда может повредить мне, его матери, то они придумали, чтобы «Вася» тоже поступил на работу в немецкую кухню, а потом ушел бы вместе с кухней из Кентугая и уже из другой деревни или с дороги – бежал.

Я смотрела на «Васю», на его товарищей и видела, что другого выхода нет. Так они и сделали. Через несколько дней они ушли из нашей деревни, а в дороге где-то бросили немецкую кухню и пустились в Тамань. Что случилось с моим сыном, я по сей день не знаю.

В мезонине, на дворе гестапо

Феодосия

Я мог бы рассказать о тысячах трупов расстрелянных женщин, стариков и детей, раскопанных нами в противотанковом рву, о разграбленных квартирах, о сожженных и подорванных домах. Но об этом уже писали.

Мне хочется рассказать вам о дощатом мезонине во дворе Феодосийского отделения гестапо. Я побывал в нем уже больше года тому назад, но оторванность от Москвы, загруженные тысячами хлопот боевые будни не позволяли мне до сего времени урвать время, необходимое для написания этой коротенькой корреспонденции. Да и, по совести говоря, трудно было об этом писать под свежим впечатлением.

В самых первых числах января прошлого [1942] года мне удалось попасть в только что занятую нами Феодосию. Это был первый наш освобожденный от немецких оккупантов город, в котором мне

пришлось побывать. До войны я здесь бывал не раз, и все же сейчас я должен был каждую минуту обращаться за справками, как пройти на ту или иную улицу. Было почти невозможно разобраться в этом хаосе разрушения, который был когда-то чудесным курортным городом Феодосия. От проспекта роскошных санаториев, располагавшихся на набережной, остались только обгорелые и обвалившиеся стены, а очаровательный вокзальчик, находившийся на том же проспекте, был так основательно сровнен с землей, что обнаружить его остатки мне удалось только после консультации с местным жителем.

Законное чувство любопытства привело меня наконец к трехэтажному кирпичному зданию, в котором всего несколько дней назад помещалось местное отделение гестапо. Я бродил по мрачным комнатам, в которых каждая валявшаяся на полу бумажка была как бы сгустком человеческого горя и чудовищной, разбойничьей несправедливости, каждая невинная фото графия – «вещественным доказательством», достаточным для уничтожения человеческой жизни. На дверях сохранились аккуратные карточки, на которых аккуратными готическими буквами были выписаны фамилии людей, в сравнении с которыми Джек-Потрошитель был сущим ангелом.

Осмотрев все комнаты этого департамента убийств, я выбрался на двор и по скрипучим и зыбким деревянным ступеням поднялся в мезонин с обычной в этих местах посеревшей от непогод верандой. И здесь я увидел, пожалуй, самое страшное, что мне пришлось повидать в этом проклятом учреждении.

Я увидел несколько комнат, доверху заваленных верхней одеждой: мужскими, женскими и детскими пальто, шубами, жакетами и полушубками, салопами и меховыми куртками. На каждом из них белела пришитая эмблема – шестиконечная картонная звезда «Маген-Давид». Я знал: все евреи должны были под страхом самого сурового наказания носить эту звезду как символ величайшей отверженности, как знак того, что они именно те люди, которые в «Третьей империи» [Третьем Рейхе] находятся вне закона.

Незадолго до нашего десанта был вывешен приказ на улицах Феодосии: все евреи должны явиться в установленное место для «переселения». С собой разрешалось захватить только самые необходимые вещи и двухдневный запас продовольствия. А когда евреи явились в «установленное место», с них с деловитостью палачей сняли верхнюю одежду, забрали вещи и продовольствие, а самих повели за город и перестреляли из автоматов. Но не всех. Детей не расстреляли. Детям мазали губы какой-то отравой, кажется, цианистым калием.

Мне рассказывала одна русская женщина (нет больше евреев в Феодосии), как дрожавших от холода и смертельного ужаса евреев вели по улицам города в их последний путь и как шла с застывшим от горя лицом молодая женщина и вела за руку свою пятилетнюю дочурку, которая, к счастью для нее, не понимала в чем дело. Девочка от души веселилась, скакала время от времени на одной ножке и никак не могла понять, почему ее мама не хвалит ее за исключительную ловкость и сноровку.

И вот я стал рыться в этих горах одежды.

В одном пальто старинного покроя я обнаружил четыре кусочка сахара, завернутых в бумажку, кусок хлеба, посыпанного солью, и бархатный мешочек с тфилин[271].

В кармане детского пальтишка я нашел свернутую в трубочку клеенчатую «общую тетрадь», на каждой странице которой были наклеены почтовые марки. Это была, очевидно, самая необходимая вещь, которую захватил с собой отправляющийся «для переселения» неизвестный еврейский

мальчуган.

Когда-нибудь, когда кончится война и покроются дымкой времени воспоминания о кошмаре фашизма, я пошлю этот сохраненный мною альбом на первую международную филателистическую выставку, чтобы никто и никогда не мог и не смел забывать о гитлеровских убийцах.

В женском жакете я нашел фотографии молодой женщины с черноглазым мальчиком на руках. На оборотной стороне карточки была надпись: «Нашей любимой маме и бабушке от любящих дочери и внука. Ялта. 12. IV. 1931 года».

Может быть, этот жакет принадлежал как раз бабушке нашего маленького филателиста. Во всяком случае, его пальтишко лежало рядом с ее жакетом.

В кокетливой шубке, принадлежавшей девочке лет семи, я не нашел ничего, кроме совершенно чистого, еще ни разу не использованного носового платочка. С этой шубки я снял себе на память маленькую картонную шестиконечную звездочку. Я всегда ношу ее с собой в моей полевой сумке.

А в одном старом женском салопе я разыскал написанное карандашом на вырванном из арифметической тетради в клетку заявление, которое я позволю себе привести целиком:

Господину начальнику германской полиции

от гр. Кац Марголи Израилевны,

проживающей по ул. К. Либкнехта, д. 87

Ввиду того, что у меня муж душевнобольной, ему 51 год, и мальчик 12 лет, неспособный к физическому труду, я прошу оставить нас в городе Феодосии. Ставлю Вас в известность, что наша семья трудится на табачной фабрике с 10 лет. В последнее время я служила продавщицей в буфете воды и никогда не состояла в какой-нибудь партии. Очень прошу принять во внимание и оставить нас.

Это заявление писалось наспех с пропусками букв, вкривь и вкось, в последнюю минуту перед тем, как надо было отправляться на зловещее «установленное место». Конечно, она прекрасно знала, что за переселение уготовлено для нее немецкими властями, но нужно было создать для самой себя и ее несчастной семьи какую-то жалкую иллюзию, что не все потеряно.

Я не знаю, почему заявление Марголи Кац осталось в кармане ее салопы, а не попало в руки начальника полиции. Возможно, ей приказали раздеться так неожиданно, что она не успела вспомнить о своем заявлении. А может быть, она, прибыв в «установленное место», поняла, что отныне нет у нее больше никаких надежд на спасение.

И вот я храню сейчас у себя на память альбом с марками, маленькую картонную шестиугольную звездочку и ужасающее своей безнадежностью и трагической беспомощностью заявление Марголи Кац, которая «работала продавщицей в буфете воды и никогда не состояла в какой-нибудь партии».

Девочка из Феодосии Алла-Роза Бразголь

Анна Степановна Скляренко жила со своим мужем-механиком на хуторе Сарагол, в трех километрах от Феодосии.

Она получила строгое предписание явиться в гестапо и уплатить налог за собаку.

Анна Степановна торопится в Феодосию выполнить предписание: она знает, что значит затевать историю с «ними»...

В городе на одном из перекрестков подбегает к ней плачущий ребенок – девочка. Анна Степановна взяла ее за ручку: «Что такое?» В это время подбегает какая-то женщина. Девочка прижалась к Анне

Степановне, ухватила за нее и кричит: «Эта тетя хочет отдать меня в гестапо!»

– Как это так?

Женщина рассказала, что ребенка оставила у нее мать, которую затем убили. Сейчас немцы расстреливают всех, кто скрывает у себя еврейских детей. Вот она и шла сдать ребенка в гестапо, но этот чертенок вырвался...

Анна Степановна возмутилась:

– Что же это, ничего святого больше нет! – сказала она и отчитала женщину.

А девочку она взяла за ручку и поспешно вернулась в Сарагол.

За городом, успокоившись, она остановилась и стала разглядывать ребенка. Это было изможденное, измученное существо с черными умными глазницами. Выглядела девочка года на четыре, хотя она уверяла, что ей все шесть. Разговаривала и держала себя она как взрослая.

Девочка тоже пришла в себя и рассказала, что зовут ее Розой, что бабушка ее, крымчак Абрам Бразголь, жил в Феодосии с бабушкой Стерой и с ними, то есть с ней и матерью, которую звали Ривой. Немцы всех расстреляли и вырубали дедушкин сад.

Анна Степановна обняла ребенка:

– Моих детей со мной нет, а ты без родных – будем жить вместе.

Она привела девочку к себе домой. В траншее-бомбоубежище ребенку устроили теплое местечко для ночлега, одели ее тепло, обеспечили пищей, а ночью Анна Степановна ходила к Розе спать. В сумерки муж Скляренко выводил Розу на свежий воздух... Забота о ребенке стала смыслом жизни этих одиноких людей. С Розой (которую они, неизвестно почему, называли Аллой) они беседовали, как с взрослой, рассказывали ей о двух своих сыновьях, которые находятся на фронте, изливали перед ней свою душу.

Так Роза прожила в траншее месяц. Днем света божьего не видела. Вдруг разнеслась весть: наш десант высадился в Феодосию! И действительно, вскоре в доме Скляренко разместился штаб десантников.

Началась новая жизнь. Роза-Алла перебралась из траншеи в дом. Днем она гуляла по улице, сколько хотела. Штабные командиры и красноармейцы носились с ней.

Но в это время десант решил эвакуироваться. Однако первое, что сделали наши бойцы, – они обоих Скляренко и ребенка переправили на Большую землю.

При переезде через водный рубеж случилось несчастье: немцы обстреляли их и убили Скляренко-отца.

Анна Степановна с ребенком уехала в Ташкент и там поселилась. Однажды до них дошло письмо от младшего сына с фронта. Он писал, что ранен и едет в Ташкент на лечение.

Сейчас Роза-Алла со своей второй матерью Анной Степановной в Москве у сына. Он теперь студент Художественного института. Живут они втроем очень дружно. Аллу никому отдавать не хотят, да и Алла-Роза от них никуда уходить не желает.

Уничтожение еврейских колоний в Крыму

Из актов ЧГК

Привожу несколько актов об убийствах в еврейских колониях в районе Евпатории. Жертвы в большинстве своем – дети, женщины, больные и старики. Более сильные и выносливые были вывезены в районные центры и там убиты.

Село Икор[274] (из акта):

С первого же дня оккупации Икорского сельсовета палачи начали свое кровавое дело – уничтожение мирных советских граждан, не щадя никого, ни стариков, ни грудных детей.

Все еврейское население было взято на строгий учет и переносило пытки, ожидая с минуты на минуту смерти, так как в городе к тому времени все евреи были уже убиты.

Зная, что они обречены на гибель, эти люди все же работали, а после работы их вели на расстрел.

Уничтожение евреев происходило в двух километрах от села, где расстрелянных бросали в глубокий колодец. Некоторых туда бросали живьем. Погиб тридцать один человек – старики, больные, беременные женщины и дети[275]. Комиссия подчеркивает зверства, учиненные над женой и детьми старшего лейтенанта Савченко. Эта женщина, еврейка, оставалась в Икоре еще в течение полутора месяцев после уничтожения евреев в этом селе. Она была не похожа на еврейку. Однажды село проезжала немецкая часть. Немцы расстреляли ее вместе с четырехлетней девочкой и двухнедельным мальчиком в девятиста метрах от ее дома.

Жертвой немецких злодеяний были не только евреи. После десанта в Евпатории, когда некоторым красноармейцам и матросам удалось разбрестись, спрятаться, нашлись предатели, которые их выдали. После ужасных пыток были расстреляны двадцать один человек и еще семеро лучших сынов народа. Районная комиссия удовлетворила просьбу старшего лейтенанта Савченко и поставила на площади в Икоре памятник невинно замученным советским людям и героям-десантникам.

В селе Икор мы зашли в дом Раи Фельдман, уже вернувшейся из эвакуации с Урала. В доме у Раи Фельдман чисто, прохладно, обставлено по-хозяйски, как если бы она и не уезжала отсюда. Стены выбелены, сверху тянется каемочка карниза. Пол покрашен, лежит коврик. На полке возле печи – ряд бутылей с соленьями и настойками, совсем как в лучшие довоенные времена.

Из большого ящика в сенях она достает арбузы и дыни, нарезает их и щедро угощает нас, подает свежий, пахучий деревенский хлеб.

– Почему, – говорит она, – меня не предупредили о том, что вы должны прийти, я бы зайца зажарила.

– Откуда у вас зайцы?

– Сын ловит.

Приходит сын. Это – одичавший мальчик лет десяти. Первое, что приходит в голову при виде него, – скорее восстановить взорванную немцами школу, посадить мальчика за парту!

Рая Фельдман рассказывает: уже три месяца, как она дома, она успела заработать сто трудодней. Три брата ее на фронте, один убит.

Недалеко от Перекопа, во время отступления наших частей, было убито много ее родственников. И здесь, в Икоре, остался двенадцатилетний мальчик ее брата после того, как немцы уже уничтожили всех евреев. Мальчику удалось вырваться и спрятаться, но спустя некоторое время он все же попал в руки палачей.

Здесь же в деревне находилась и ее двоюродная сестра Циля Савченко с двумя детьми. Лейтенант Савченко, ее муж, украинец, привез ее сюда как в безопасное место, но немцы добрались и до нее. После того как Красная Армия освободила Крым и лейтенант Савченко со своей частью пришел в село и узнал страшную правду о своей семье, он созвал митинг, выкопал убитых и похоронил их. Памятник им поставили в самом центре села.

Когда раскопали яму, в которой немцы зарыли Цилю Савченко, народ увидал: убитая мать стояла на

колених и прижимала детей лицом к себе. Она заслоняла их своим пальто, чтобы они не видели убивавших их палачей.

В «Колхознике» (акт):

В колхозе «Колхозник», деревня Алчан Багайского сельсовета Евпаторийского района, немцы истребили три еврейские семьи, среди них: двух стариков, троих детей в возрасте от трех до одиннадцати лет и троих взрослых. Всего восемь человек.

Колхоз имени Молотова, Добрушинский сельсовет (акт):

[...] декабря 1941 года в деревне показались машины, они остановились возле дома старосты и постояли два часа. Затем прибыли еще две машины с жандармами и еще один автомобиль.

Тут же оцепили все село и начали собирать евреев, которые разбежались. Автомобиль нагонял их, и немцы пристреливали их на месте. Покончив с этим, немцы уехали, оставив в деревне нескольких жандармов, которые с помощью полицаев всю ночь производили обыски и убивали. Двадцать один человек прятался в степи, в яме, которую они сами вырыли. Прожили они там несколько месяцев, приходя в село за хлебом. Староста со своими помощниками забрались в укрытие, чтобы выследить людей, приходящих за хлебом в дом колхозницы Бережук. Пришедших они изловили и заперли в канцелярию под охраной полицаев. Утром староста вызвал румын. Румыны избили узников до полусмерти и выпытали, где прячутся их семьи. Затем они пошли туда с подводой, привезли всех в село Багай, где их всех замучили насмерть. Это произошло в феврале 1942 года.

Список евреев, расстрелянных немцами в колхозе им. Молотова Добрушинского сельсовета Евпаторийского района:

1. Рейзберг Нахман – 45 лет
2. Рейзберг Хая – 40 лет, его жена
3. Рейзберг Фира – 17 лет, дочь
4. Рейзберг Таня – 10 лет, дочь
5. Рейзберг – 7 лет, сын
6. Фрумсон Лейб – 50 лет
7. Фрумсон Башева – 49 лет, его жена
8. Фрумсон Хана – 27 лет, дочь
9. Поляков – 3 года, сын дочери
10. Фрумсон Калман – 20 лет, сын
11. Перкус Давид – 50 лет
12. Кесельман Эстер – 55 лет
13. Кесельман Шева – 25 лет, дочь
14. Кесельман Башева – 33 года, дочь
15. Поляков Мейер – 60 лет
16. Полякова – 55 лет, его жена
17. Полякова Зина – 18 лет, дочь
18. Поляков Пиня – 20 лет, сын
19. Поляков Яша – 37 лет, сын
20. Поляков Лева – 15 лет, сын Яши
21. Поляков Давид – 6 лет, сын Яши

22. Поляков – 1 год, сын Яши
23. Гончар Дина – 60 лет
24. Гончар Фрейда – 20 лет, дочь
25. Зарина Сата – 22 года
26. Трояновский Абрам – 57 лет
27. Трояновская Сосл – 53 года, его жена
28. Полякова Соня – 30 лет
29. Поляков – 12 лет, ее сын
30. Поляков – 8 лет, ее сын
31. Черкасская – 45 лет
32. Черкасская Лия – 19 лет, ее дочь, убита в городе
33. Черкасский – 15 лет, сын
34. Черкасский – 12 лет, сын
35. Трояновская Маня – 16 лет
36. Рейзберг Гриша – 5 лет
37. Поляков Давид – 17 лет
38. Полякова Циля – 25 лет
39. Штурко Люся – 3 года
40. Пуритсон Борис – 48 лет
41. Коимон Яков – 52 года
42. Вичинский Давид – 30 лет
43. Вичинская Маня – 30 лет
44. Вичинский Изя – 6 лет
45. Вичинская – 4 года

Колхоз имени Калинина (акт):

Мы, свидетели, в составе комиссии, Иван Кныш, Ефим Постный, Наталия Пасечник, составили настоящий акт в том, что в декабре 1941 года немцы приехали на машинах к старосте нашего села. Староста приказал собрать всех евреев в школе. Из школы их повели ко рву и расстреляли.

Список расстрелянных в колхозе им. Калинина:

1. Зейгер Рувим – 60 лет
2. Зейгер Софья – 50 лет, его жена
3. Лифшиц Самуил – 55 лет
4. Лифшиц Хая – 46 лет, его жена
5. Лифшиц Михаил – 10 лет, сын
6. Лифшиц Туля – 16 лет, сын
7. Герчиков Бениамин – 50 лет
8. Герчикова Вера – 50 лет, его жена
9. Ракита Феодосия – 40 лет
10. Ракита Яков – 18 лет
11. Ракита Тула – 12 лет
12. Ракита Хана – 4 года

13. Ракита Любовь – 6 лет
14. Сегал Наум – 70 лет
15. Сегал – 65 лет, его жена
16. Сегал Симон – 38 лет, его сын
17. Сегал Ольга – 35 лет, невестка
18. Сегал Анна – 14 лет, жена Симона (?)
19. Шмелькин Хаим – 23 года

Нейдорф (акт):

16 декабря 1941 года в наше село Нейдорф[276] Евпаторийского района часов в двенадцать дня прибыла на двух автомашинах группа немцев из Евпатории. Они заняли оба края села. С помощью старосты и полиции немцы выгнали из домов еврейские семьи и, погрузив их на машины, отвезли за четыреста метров от села, выстроили их возле старого окопа и расстреляли из автоматов.

Расстреляно было десять семейств – сорок один человек, из них десять стариков и тринадцать детей.

Литва

Правда о терроре против евреев в Литве во время немецкой оккупации 1941 года

Обращение к народам мира. Из дневника доктора В. Куторги

Пусть весь мир узнает о страшном терроре, который немцы проводили по отношению к евреям! Мы просим вас опубликовать весь этот материал во всей свободной прессе мира, чтобы таким образом узнали обо всем все свободолюбивые народы земного шара. Мы просим, чтобы главы и вожди всех свободных стран предприняли шаги к широкому оповещению всей мировой общественности об этих злодеяниях и принудили таким образом сумасбродных главарей Германии прекратить эти преступления; надо показать всему миру их настоящий облик и привлечь их к ответственности за зверские деяния, направленные к уничтожению всего еврейского народа. Мы просим сделать все возможное для того, чтобы весь мир, в особенности немецкий народ, был осведомлен об этих преступлениях. Предпринимайте все возможное, чтобы положить конец этим подлостям.

Настоящий документ, касающийся массового убийства приблизительно ста тысяч человек[278], исключительно потому, что они еврейского происхождения, документ, трактующий о неопишуемых насилиях над ними, представляет собой страшнейшее обвинение против национал-социализма и показывает всему миру истинный облик и методы строителей «Новой Европы». Мы тут рассказываем о неслыханных происшествиях, которые хотя и могут показаться неправдоподобными и фантастическими, но мы категорически утверждаем, что все приведенные описания основаны на жестокой действительности и все приведенные факты всем в Литве известны. Эти кровавые преступления против человечества и Бога должны войти в историю как чудовищное безумие, противоречащее всяким понятиям о культуре и гуманности. Еще раз просим сделать все, что только возможно и мыслимо, чтобы широко распространить все приведенные здесь сведения и таким образом помочь тем, для которых помощь является еще не запоздалой.

Все свободные страны морально обязаны ясно и открыто потребовать от Германии выдачи всех евреев из захваченных территорий. Я сознаю всю трудность такого требования, но это является единственной возможностью спасения миллионов человеческих жизней. Мы требуем решительных действий: ежедневно гибнут тысячи людей.

22 июня [1941 года]. Начало войны. Под вечер многие ковенские евреи покидают город – по

железной дороге, подводами, колясками и велосипедами, лошадьми и пешком, вместе с уезжающими коммунистами и членами семей красноармейцев, – направляясь к востоку, на Вильнюс и Двинск. Всю ночь покидали города тысячи людей, проводившие здесь всю свою жизнь и предки которых жили на этой земле многие столетия. Бежали с ручным багажом, сколько возможно было захватить с собой, и с детьми – к границам Советского Союза.

23 июня. С раннего утра один за другим отходили поезда (всего около десяти) с двадцатью – тридцатью пятью открытыми платформами и товарными вагонами, переполненными еврейскими беженцами, в сторону Вильнюса. Массы евреев спешат на станцию с наспех упакованным багажом. Сцены отчаяния, плач детей (эвакуируются некоторые сиротские дома), вопли умалишенных. Около семи тысяч человек уезжают из Каунаса поездами. Последний поезд, направляющийся к границе СССР, уже не перешел ее: линия Ковно – Вильнюс подверглась бомбежке и разрушению. Причем часть пассажиров были убиты. Когда открылись все тюрьмы, на свободу вышли всякие политические заключенные. В порыве злобы против советской власти они объединились с разными темными личностями, которые были заранее снабжены оружием тайными немецкими агентами и шпионами. И тут-то возникли так называемые партизаны, которые с остервенением бросались на каждого запоздавшего красноармейца. И в тот же вечер банды эти начали терроризировать евреев. Действительно, евреи принимали деятельное участие в партийной, советской и административно-хозяйственной работе, и темные массы, недовольные советской властью, получили возможность отомстить безоружному еврейскому населению. Кроме того, тайная немецкая пропаганда основательно использовала возбужденное настроение местного населения, возникшее вследствие вывоза двадцати пяти тысяч литовских граждан во внутренние районы Советского Союза, имевшего место с 14 по 21 июня[279].

«Партизаны» эти врывались в еврейские квартиры, убивали мужчин, женщин и детей и грабили имущество убитых. Из этих-то «партизанских» элементов сформирован был впоследствии батальон, одетый в прежнюю литовскую военную форму сметоновских времен[280]. Батальон этот под немецким руководством зарекомендовал себя своей изощренной жестокостью при добровольном выполнении экзекуций над еврейскими массами в провинциальных городах, и в награду за их усердие этим бандитам разрешено было забирать себе одежду убитых, а подчас даже и драгоценности своих жертв.

Сцены экзекуций над евреями немцы аккуратно фильмовали, стараясь при этом, чтобы на фотоленку не попал ни один немец из руководителей и со участников этих убийств. Таким образом, немцы предусмотрительно заготавливали для будущих историков фальсифицированный материал, который выставил бы литовский народ ответственным за все мерзости, творившиеся в Литве с приходом немцев. Всю ночь на 24 июня непрерывно продолжались эти дикие оргии убийств и грабежей. Умерщвлялись целые семьи. Синагоги и школы были разграблены. Террор был в полном разгаре.

24 июня. Преследуемых и гонимых евреев массами препровождают в тюрьмы по обвинению в том, что они стреляли в «партизан» и в немецкие войска, которые под вечер того же дня заняли город. Тюрьмы наполнялись вновь. Было много случаев, когда «партизаны» врывались в еврейские дома, терроризировали их обитателей или уводили всех в тюрьму (ул. Канта: уведены муж, жена, двое детей) и затем грабили их дома, квартиры.

С момента вступления немцев во многие провинциальные города евреи частично, а иногда и полностью уничтожались (например, Зарасай – две тысячи, Кретинга, Жежмаряй, Жосляй, Балтишкис – три тысячи человек)[281].

25 июня. Охота за отдельными евреями продолжается. Нападают на стариков – мужчин и женщин. Больных евреев подводами везут в тюрьмы. Детей и женщин с грудными младенцами на руках «партизаны» гонят, бьют и толкают ногами. Евреи не решаются выходить из своих квартир, так как на улицах их тотчас же арестовывают и отправляют в тюрьму или составляют из них рабочие группы и посылают на самые грязные и тяжелые работы, как например, погребение трупов убитых, рытье ям, уборка мусора, дохлых животных и т. п.

26 июня. Масса случаев самоубийства среди арестованных евреев. Газета *Į laisvę* («К свободе» – какой цинизм) ведет отчаянную травлю против евреев, воскрешая известную инсинуацию, будто евреи агитировали за порабощение Германии.

28 июня. На проспекте Витаутаса в открытом дворе гаражей «Летукиса» в четыре часа пополудни литовские «партизаны» и немецкие солдаты собрали около сорока человек евреев и, облив их водой из пожарных рукавов, избili затем несчастных палками до смерти[282]. Сцена эта произошла в присутствии многих немецких офицеров и большой массы народу, состоявшей из мужчин, женщин и детей, которые с жадностью наблюдали ужасающую картину. Никто не попытался вмешаться; жертвы (как уверяли, коммунисты) после двухчасовых мучений скончались у всех на глазах; затем наконец были убраны трупы.

30 июня. На 7-м форту (старого центрального архива) уничтожили около пяти тысяч евреев (большой частью из интеллигенции), которые были пойманы за последние несколько дней. Это массовое убийство было произведено пулеметами. Палачами тут были литовцы, поставленные для этой цели немцами. Евреев принудили раздеться и лечь на землю, затем пулеметами они были истреблены. Большие кучи трупов смешались с еще живыми не скончавшимися жертвами. Муки и ужасы несчастных неопишутся. Говорили тогда, что это расплачивались с евреями за убийство немецкого офицера, будто бы произведенное каким-то евреем. «Сто евреев за одного немца». Весьма сомнительно, имел ли вообще место такой случай; во всяком случае, это был только предлог для исполнения немецкого плана уничтожить всех евреев оккупированной Литвы.

5 июля. В частной жизни евреев третировали на каждом шагу. По своим продовольственным карточкам они получали продукты гораздо позже и в меньшей норме, чем прочее население. Евреев делили на группы и гнали на тяжелые физические работы. Квартиры их часто занимали немецкие солдаты. Радиоприемники и велосипеды у евреев были конфискованы.

10 июля. Комендант г. Каунаса извещает особым приказом, что евреи, оставившие почему-либо свою квартиру, теряют всякое право возвращения в нее. Все евреи обязаны носить на груди знак желтого цвета, изображающий «Щит Давида» (позже они обязаны были носить такой же знак на спине); до 15 августа евреи должны были переселиться в гетто – предместье Вилиямполе (на правом берегу реки Нерис)[283], состоящее из старых деревянных домов, без водопровода и канализации. 1 августа. Подводы с еврейским имуществом тянутся в направлении гетто. Большую часть своего имущества евреи оставили в прежних квартирах. Ведь на одного человека приходится только два кв. метра жилплощади. Немецкие солдаты и литовские «партизаны» часто врываются в новые квартиры евреев в гетто и берут себе все, что им угодно.

Гетто-концлагеря вводятся также в других литовских городах. Из маленьких местечек евреев переводили в гетто крупнейших городов. В то же время группы евреев, а также целые семьи истребляются. Семьи, оставшиеся без отцов, голодают. Продовольственные нормы для евреев сильно сокращаются. Ежедневно целыми часами им приходится простаивать в длинных очередях перед специально для них назначенными магазинами, чтобы получить свои 200 граммов хлеба. 15 августа. Гетто-концлагерь закрывается и огораживается забором из колючей проволоки. Выходить из гетто евреям разрешается только группами на работу. Незадолго до этого им было запрещено ходить по тротуарам. Группы эти всегда ходят в сопровождении немецких солдат, полицейских или литовских часовых. Эти вот господа убивают евреев массами, когда только им заблагорассудится. Чтобы раздобыть себе, например, часы или другие ценности, они заходили в гетто и, прогуливаясь по квартирам, забирали вообще все, что попадет под руку ценного. А посмеет кто-нибудь возразить хоть одним словом – смерть ему на месте. Между 15 и 20 августа 1941 года таким образом были убиты десять человек. По целым дням терроризированное и напуганное население гетто стоит в длинных очередях у продовольственных магазинов. Норма состоит из 200 граммов хлеба в день и 250 граммов муки, 150 граммов крупы и 50 граммов соли на целую неделю. Жиров и мяса даже помину нет. Зелень и картофель работающие в бригадах в городе приносят с собой, возвращаясь с работы.

Комендантом Каунасского гетто состоит немец Козловски, а помощниками его – Вель и Краузе. Оберначальником над евреями в Каунасе является Иордан, грозный и жестокий «судья». Он однажды на глазах у всех застрелил на базаре еврея, который, несмотря на запрещение, закупил зелень. Все количество закупленной несчастным зелени (всего были четыре крестьянских подводы) он «великодушно» разделил частично между присутствующими при этом зрителями, а остальное отослал в больницы. После каждого такого убийства он уверял евреев, что эта экзекуция является наконец последней, а бедные верили его словам, как утопающий верит в соломинку.

18 августа. Немцы заявили, что им нужны пятьсот человек, получше одетых и знающих немецкий язык. Стали набирать это количество из кругов интеллигенции, конечно. Немцы этих людей забрали, увели, но обратно никто из них уже не вернулся. Стало ясно, что всех расстреляли. Это была первая большая экзекуция («акция») в Каунасском гетто.

25 августа. Издан приказ, по которому евреи должны отдать все деньги так, чтобы каждый оставил себе не более ста рублей, всякие электрические приборы и посуду, все драгоценности, серебро и золото. Немецкая полиция вместе с «партизанами» неоднократно обыскивали и обшаривали каждую еврейскую квартиру и при этом застрелили двадцать человек, у которых нашли спрятанные вещи. При этих обысках забирали у евреев все, что можно было.

1 сентября. Началось массовое истребление евреев в провинции членами литовских партизанских отрядов под руководством и контролем немцев. Согласно выработанному схематическому плану, «акция» идет от одного города к другому. Евреев принуждали самих копать себе могилы. Затем они должны были привезти своих больных и детей и снять всю верхнюю одежду. После этого их партиями расстреливали. Оставшиеся в живых должны были хоронить трупы своих близких, жен, детей, а затем расстреливали и их. Все это происходило среди бела дня, часто на глазах тысяч зрителей. Описать ужас этих сцен совершенно невозможно, как невозможно найти пример подобных злодеяний в истории последних тысяч лет (столетий). В некоторых местах требовали еврейских

инженеров, заявляли, что они нужны для работ по водоснабжению. Когда выкапывались колодцы, этих инженеров расстреливали, бросали в колодцы и зарывали (Мариамполь). Причем каждый раз заботились о химикалиях (хлорат кальция) для обливания трупов. Легко раненных докалывали штыками или даже хоронили еще живыми; точно так же поступали с маленькими детьми. Зачастую «партизаны» убивали детей просто лопатами. Так это продолжалось в течение всего сентября во всех малых городах Литвы: Мариамполе, Вилкавишкис, Румшишкес, Жежмаряй, Ареогала, Кедайняй (три тысячи человек)[284], Симнас, Алитус, Вилькия (пятьсот человек), Запишкис (сто пятьдесят человек).

Крестьяне были очень напуганы. Интеллигенция, адвокаты и католическая церковь пытались вмешаться, но немцы оставались неумолимыми. Они отказались от всяких разговоров и объяснений на эту тему. Многие полуевреи и евреи католического вероисповедания и протестантской церкви также были убиты.

Во многих случаях немцы фильмовали эти массовые «акции». Причем немцы весьма заботливо старались, чтобы в фокус киноаппарата попадали исключительно литовские палачи.

Конфисковывались еврейские дома, а все добро из этих домов делилось в виде вознаграждения между убийцами.

А в газетах обо всем этом ни слова. Немецкий режим не мог раскрывать этих страшных тайн перед своим народом. Многие немецкие солдаты недвусмысленно высказывались против этих кровавых ужасающих убийств.

15 сентября. Описать все начавшиеся жестокости совершенно невозможно. «Партизаны» требовали, чтобы до конца сентября все евреи во всех провинциальных городках и местечках были уничтожены. Они остались только в Каунасе, Вильнюсе, Шауляе и Шумелишкисе.

14 сентября. Пять тысяч евреев в г. Каунасе получили ремесленные свидетельства (в том числе семеро врачей). Они были организованы в бригады и работали в различных местах города. За свою работу они или совсем не получали зарплаты, или получали ее очень нерегулярно. Эти люди верили, что ремесленные свидетельства спасут их от смерти. Но, как позже и выяснилось, надежды эти были тщетными. Всеми делами гетто ведал совет старейшин. Главой Каунасского гетто был известный врач доктор Элькес[285]. За внутренним порядком следила еврейская полиция. В гетто была больница с хирургическим и инфекционным отделениями, но врачи принуждены были производить хирургические операции в самых примитивных условиях, без необходимых приготовлений и медикаментов.

16 сентября. Иордан забирает всю наличность из касс геттовской общины, продовольственного кооператива и заразного отделения больницы.

На 9-м форту, около двух километров к северо-западу от гетто, русские военнопленные копают ямы.

17 сентября. В семь часов утра литовские патрули выгоняют из квартир всех жителей гетто к больничной площади. Стариков, женщин на последних месяцах беременности, больных усаживают на подводы. Площадь оцеплена немецкой полицией под командованием Торнбаума. Кругом стояли пулеметы. Не дано времени одеться. Многие были в ночном белье. Дети сиротского дома выгнаны на площадь. Отправка на 9-й форт, место казни, уже началась. Как вдруг появляется немецкий офицер «вермахта» из своего автомобиля, размахивая какой-то бумагой, объявляет во всеуслышание, что, благодаря военным властям (вермахту), проектируемая массовая «акция» отменена, и этим евреи

обязаны вермахту. Все это было заснято на киноплёнку и производило впечатление, что тут имела место искусная инсценировка с целью перепутать факты так, чтобы убедить кого следует, будто литовцы требовали этих казней, а немцы этому воспротивились. После этого все евреи, включая и отправленных уже на форт, были отпущены в свои дома. Евреи опять уже верили, и Иордан их в этом убеждал, что больше никаких «акций» не будет.

По времени это совпало приблизительно с началом работ евреев на аэродроме. Выходили на эти работы около тысячи двухсот мужчин и пятисот женщин ежедневно. Сначала были установлены две смены, а позже три смены. Вначале евреев доставляли на аэродром на грузовиках, но с октября месяца их стали гонять туда пешком. Работа на аэродроме шла днём и ночью непрерывно. Несшие службу часовых на аэродроме немецкие солдаты, среди которых было много недовольных нацистским режимом, относились к евреям весьма сочувственно. Полиция же и солдаты СА относились к евреям с крайней жестокостью и зверством. Почти каждую ночь обитателей гетто пугали всяческими выпадами часовые, которые частыми выстрелами старались запугать евреев, а затем врываются в их квартиры. Однажды при подобном нападении была убита ими в своей постели женщина.

Населению Каунаса было запрещено продавать что-либо евреям, даже просто давать им что-либо или разговаривать с ними. Вообще запрещено было поддерживать с евреями какие-либо отношения. Были случаи, что христиан, вопреки запрету, поддерживавших какие-либо отношения с евреями, отводили в тюрьму и затем водили такого «преступника» по улицам города с плакатом на груди с надписью «друг евреев». Было много случаев, когда евреев застреливали на месте за то, что они пытались через проволочное ограждение получить от крестьян купленные или съестные продукты (официальная норма была ведь слишком недостаточной). Многие старики и дети, не получавшие молока, умирали от истощения.

Когда евреи Каунасского гетто узнали об ужасных истреблениях евреев в провинции, они со дня на день стали ожидать подобной же участи. В ночь на 26 сентября слышна была масса выстрелов. 26 сентября. С четырех часов утра до захода солнца литовские патрули (теперь в форме старой литовской армии), а также немецкая полиция вместе с частями СА согнали всех жителей жилблоков левой стороны улицы Панерю, так называемого малого гетто, на площадь, выстроили всех в ряды и повели к 9-му форту.

Детей грузили на подводы. Говорили, что их перевозят куда-то в другое гетто. Кто не мог ходить, тех увозили на грузовиках. Около четырехсот человек были доставлены на 9-й форт и пулеметами там истреблены. Как обыкновенно, они должны были перед расстрелом снять с себя одежду, которая затем на грузовиках пересылалась на дезинфекционную станцию.

2 октября. Иордан и некоторые из его команды обыскали все гетто и нашли двенадцать человек вблизи заразного отделения больницы.

В ночь на 4 октября в районе гетто была слышна страшная стрельба. 4 октября. С трех часов ночи через виадуки, проведенные над улицей Панерю и соединяющие большое и малое гетто, было прекращено всякое движение. Немецкие и «партизанские» патрули оцепили все малое гетто и особо госпиталь для заразных больных. Евреев принудили выкопать ямы около этого госпиталя. В нем были сорок пять больных (тиф, скарлатина, туберкулез, аппендицит), доктор Давидавичус и одна медицинская сестра. Пока евреи копали ямы, немцы под командой Горнбаума выгоняли всех на

площадь. Дети (в том числе из сиротского дома сто сорок пять человек) и больные были доставлены сюда из своих квартир. Отдан был приказ разделить этих людей на десять групп. Одна из них была потом доставлена на 9-й форт. Около двенадцати часов здание заразного госпиталя было обито горючим. Доктор Давидавичус с медсестрой, пытавшиеся выйти из помещения госпиталя, были застрелены во дворе, а все сорок пять больных были сожжены живьем. Остались только обгорелые трубы заразного госпиталя. В здании госпиталя сгорели один рентгеновский аппарат и десять электрокардиографов. Свой ужасный поступок, сожжение людей живыми, немцы объясняли тем, что таким образом пресекаются заболевания страшной болезнью проказы. Наглая ложь!

На 9-й форт были отправлены и там расстреляны две тысячи человек (сто сорок пять детей из сиротского дома). Все остальные из малого гетто были переселены в большое гетто. Весь жилищный блок на левой стороне улицы Панерю остался пустым, квартиры стояли открытыми.

Всех больных хирургического отделения увели и истребили. Только семь женщин родильного отделения остались в живых.

И опять твердили, что это уже «последний раз».

16 октября. Истребили в Семелишкесе девятьсот евреев[286]. Там, в гетто, отличались своими зверствами «партизаны» и немцы, они грабили, убивали, насиловали женщин. Евреи работали ежедневно в три смены, день и ночь, на аэродроме – тысяча двести мужчин, восемьсот женщин в возрасте от семнадцати лет до пятидесяти пяти лет. Когда эти количества в какой-либо день не достигали своей прелиминарной цифры, немцы ходили по квартирам гетто и тащили мужчин и женщин с кроватей на работу.

В Вильно происходило то же самое. Там евреев также массами умерщвляли. Все живут под постоянной угрозой террора, в состоянии смертельного страха. Были случаи, когда немцы истребляли целые польские семьи за то, что держали прятавшихся у них евреев.

27 октября. В Ковенском гетто объявлено, что все евреи в количестве около двадцати восьми тысяч человек должны к шести часам следующего утра собраться со своими семьями на большой площади, где будут выстроены бригады.

28 октября. На площади евреи были оцеплены кордоном «партизан» и немцев. Иордан и Торнбаум разделили их на две группы. Евреи должны были продефилировать мимо них, и каждому было назначено – идти ему направо или налево. Направо прежде всего были поставлены все старики. Когда немцев эта работа наконец утомила, они просто разделили все количество людей на две части. Дети большей частью были помещены по другую сторону от родителей. Немцы говорили, что на ночь с 28 на 29 их отправят на другую работу. Всех «правых» (то есть поставленных по правую сторону) перевели в пустующие квартиры малого гетто и на следующее утро в пять часов их всех, около десяти тысяч человек, отправили на 9-й форт. Больных, как всегда, отвезли на подводах. Все они в тот же день были истреблены. Весь город был под страшным убийственным впечатлением от происшедшего. Интеллигенция была крайне возмущена этим. Резня произошла в крепостных ямах форта. Все прохожие видели экзекуцию и оставшуюся на земле одежду, которая была затем собрана и отправлена в дезинфекционную камеру.

Подобные поступки вопиют к небесам!

2 ноября. Гетто и остатки его населения представляют сегодня ужасный вид. Квартиры убитых, находящиеся среди квартир еще живущих, стоят открытые, разграбленные; вся домашняя утварь

сброшена в одну кучу. Бедные, бездомные, горем убитые люди движутся за колючей проволокой. Они пытаются обменять на хлеб одежду, обувь и иные предметы. «Партизаны» часто разрешают эти операции, получая за это соответствующие взятки. Много раз они запрещают такой обмен и даже убивают за это.

Душа раздирается при виде жалкого состояния, в котором находятся мужчины, женщины, дети, когда они идут по улицам гетто, отгороженные от остального мира колючей проволокой. Люди эти потеряли всякую надежду, всякое стремление к жизни. Они живут еще для того только, чтобы мир узнал об их бедствиях. Они надеются, что не все евреи всего мира так погибнут и что только их самих постигло такое проклятие. Положение безнадежное. Малые дети еврейские бегают без призора, мальчишки играют через забор проволочного ограждения со своими прежними товарищами. В глазах матерей отражается смерть. Лица этих женщин, виднеющиеся через проволочное ограждение, свидетельствуют о бессмысленности и безразличии. Улыбка их кажется нам как бы исходящей из другого мира, как бы взывающей к мировой совести.

Помогите им! Оповестите всех о настоящей правде, пусть весь мир знает об этом, все немцы.

Распространите все это по Африке и по Северной и Южной Америке.

Помогите, ах, помогите скорее!..

Каунас во время оккупации

Рассказы местных жителей и партизана Арона Виленчука

Мы на улицах только что освобожденного от немцев Каунаса.

К нам подходят три женщины, жительницы Каунаса. По-русски, с сильным литовским акцентом, они говорят:

– Долго мы ждали прихода Красной Армии и дождались. Спасибо!

[...] Жители города рассказывают о грабежах, убийствах. Немцы намеревались превратить Каунас в чисто немецкий город – евреев они истребили, литовцев частью насильно угнали в Германию, частью расселили в Белоруссии и даже в Смоленской области. Имущество убитых евреев и выселенных литовцев они грабили. Немцы захватили в свои руки местные предприятия, как государственные, так и частные...

Рассказы местных жителей полностью подтверждают ужасы, которые мне привелось несколько дней назад слышать из уст группы евреев партизан, вышедших из тыла противника. Большинство их были жители Каунаса. И вот что они мне рассказали.

Война захватила Каунас в первые же дни. Около тридцати тысяч евреев остались в городе, когда его захватили немцы.

Еврейам не пришлось долго ожидать своей участи. Погромы и массовые расстрелы начались уже в первые дни. Уже в конце июня 1941 года на улице Линкувос на стене одного дома прохожие могли читать надпись, сделанную кровью: «Евреи, отомстите за меня» (Идн, нэмт некомэ фар мир[288]). Это написала женщина, смертельно раненная кинжалом в грудь фашистским бандитом, ограбившим еврейскую семью...

Начались повсеместные грабежи. Немецкие оккупационные власти принимали активное участие в этих грабежах. Было вывешено объявление: «О всех замеченных случаях грабежа сообщать по такому-то телефону». Кто осмеливался действительно обратиться к этому средству, тот обычно платился жизнью. На телефонный звонок по указанному пострадавшим адресу являлись немецкие

полицейские, пострадавшего хватали и увозили, больше он не возвращался.

Через три недели после захвата Каунаса на стенах домов появилось первое объявление о евреях, подписанное известным палачом, имеющим огромный опыт массового истребления лодзинских евреев, бригаденфюрером Крамером. Постановление имело пятнадцать пунктов. Евреям запрещалось: ходить по тротуарам, ездить на автомашинах, автобусах и велосипедах, торговать в магазинах и на базарах, разговаривать с местным населением, въезжать в город и выезжать из города, посещать рестораны, театры, кино, посещать школы и университеты.

Еврей, появившийся на улице без желтого «моген-довида» на груди и на спине, подлежал расстрелу. Наконец, объявлялось, что до 15 августа все евреи обязаны переехать в Слободку, на окраину города, за Неманом.

С 16 августа 1941 года были закрыты ворота гетто. С этого момента ни один еврей не имел права появляться на улицах города. Вселение в гетто сопровождалось массовым грабежом. Людям не давали взять с собой даже носильного белья, заставляли отправляться в гетто в том, в чем они были, а часто снимали с несчастных и одежду, если она нравилась разбойникам – немецким солдатам и офицерам. В эти дни на улицах Каунаса можно было наблюдать отвратительные картины драк между немецкими бандитами, не поделившими между собой награбленного у евреев добра.

16 августа 1941 года состоялась первая «акция» над обреченными евреями. Началось с интеллигенции. Референт гебитскокомиссара[289] по еврейским делам палач Иордан объявил, что гебитскокомиссариату требуются пятьсот еврейских интеллигентов, хорошо одетых и знающих иностранные языки, якобы для работы в архивах. Гетто выделило пятьсот человек. Никто из них не вернулся. Вскоре на Каунасских фортах были обнаружены следы расстрелов этой первой группы еврейских жертв[290].

После этого на две недели настала тишина. Евреев не трогали. По указанию бывшего при буржуазном правительстве Литвы литовского посланника в Берлине каунасский врач Элькес был выделен старостой гетто. Его немцы вызывали для разрешения всяких организационных вопросов, вернее, для того, чтобы каждый раз вымогать ценности у заключенных в гетто евреев.

В середине сентября немецкие полицейские войска окружили часть гетто. По приказу палача-офицера, командовавшего этой очередной «акцией», все евреи были выгнаны на площадь. Здесь, по заранее составленным спискам, отделили всех работоспособных или имевших какую-нибудь профессию. Остальные – две тысячи человек – были отправлены на форты и здесь расстреляны. Еще через две недели таким же путем были выведены на расстрел другие три тысячи человек.

Следующая большая «акция» состоялась 27 октября 1941 года. Накануне было объявлено: «Всем собраться к шести часам утра на площади Демократов».

Стояли осенние заморозки. Дрожа от холода и страха, стали собираться на площадь приговоренные к смерти невинные люди. Шли дети, больные, старики... На площадь было приказано явиться без вещей. Как только люди оставили свои места, где находились последние остатки их имущества, начались грабежи. Это разнузданная полицейская сволочь шарילה по углам в поисках чего-нибудь, чем можно было поживиться.

Началась сортировка людей. Большие семьи отводились в одну сторону, одиночки – отдельно. Для очередной расправы было отобрано около десяти тысяч человек. Как и до сих пор, расстрелы совершались в районе фортов.

Вслед за этим в канцелярию гебитскомиссара был вызван староста гетто, доктор Элькес. Его заверили, что больше расстрелов в гетто не будет. «Теперь, – сказали ему, – гетто очищено от неблагоприятных элементов, – можете всех успокоить, чтобы занимались своими делами, больше мы вас не тронем». Одновременно от доктора Элькеса потребовали, чтобы евреи внесли деньги «на содержание аппарата по еврейским делам».

В гетто жил известный ковенский раввин Шапиро[291]. Однажды за ним пришли. Но раввина Шапиро не оказалось в живых, он умер, не выдержав тяжести режима гетто. Тогда стали разыскивать его родственников. Сын раввина Шапиро, профессор еврейской литературы, был увезен и обратно не вернулся[292].

В сентябре 1942 года стало известно, что уполномоченным по еврейским делам назначен штурмбанфюрер Геке, известный по своим зверским расправам с евреями в Риге и в Варшаве[293]. О нем иначе и не говорили, как только «рижский и варшавский палач». Этот первостепенный вешатель прибыл в Каунас с новыми полномочиями из Берлина. Он подчинялся не местным военным властям, а одному лишь Берлину.

Первым его мероприятием была новая массовая «акция». Он потребовал выставить от гетто две тысячи человек, якобы на торфоразработки. 24 октября доктор Элькес отправился к палачу для того, чтобы удостовериться, что все требуемые люди действительно будут отправлены на работу. Палач Геке принял еврейского старосту и успокоил его, заверив, что ни один человек не будет расстрелян. Однако через два дня полиция снова стала окружать гетто. К воротам подъехало пятьдесят автомашин. В несколько часов в машины были погружены 1700 человек. Требуемого количества здоровых трудоспособных мужчин для торфоразработок в гетто не хватило. Тогда две роты полицейских стали хватать подряд всех, кто попадался под руку. Таким образом были схвачены еще 1900 человек. Все эти люди были отправлены на аэродром и здесь погружены в эшелоны. При этом у них отбирали все вещи. Вся эта группа была увезена по направлению к границе. Оставшихся на аэродроме женщин и детей тут же уничтожили.

Так продолжалось до апреля 1944 года. Гетто все редело и редело. Одна из последних больших «акций» была проведена в апреле 1944 года, когда 1200 женщин с детьми были вывезены на форты и здесь зверски расстреляны.

Я говорил с одним еврейским партизаном, молодым студентом Ароном Виленчуком. Он был мобилизован в гетто среди других евреев для раскопок трупов расстрелянных. Чтобы скрыть свои преступления, палачи решили раскопать все трупы и сжечь. Легко себе представить, каково было оставшимся в живых раскапывать трупы своих близких, родных и знакомых и принимать участие в их сожжении. «Многие, – рассказывает Виленчук, – не выдержали этого позора и тут же кончали самоубийством». Сам Виленчук еще с несколькими товарищами бежал с фортов во время работы и присоединился к партизанскому отряду.

После того как Красная Армия освободила Вильно, фашисты решили ликвидировать Ковенское гетто. Семь тысяч евреев, оставшихся в гетто, были погружены в эшелоны и отправлены к немецкой границе. Разумеется, все они подверглись общей участи. Остались в живых только те, кому удалось бежать[294].

Как ни тяжелы были условия палаческого режима, в гетто все время существовали две подпольные организации: «Союз активистов» и группа самообороны. К сожалению, они были почти безоружны.

Их деятельность сводилась к организации побегов из гетто и взаимопомощи. Время от времени подпольные организации связывались с партизанами и с большими предосторожностями переправляли из гетто в партизанские отряды небольшие группы евреев.

Однажды такая группа в шестьдесят человек вышла из гетто с тем, чтобы направиться в партизанские отряды, действовавшие в Августовских лесах. Группа была снабжена оружием, которое постепенно, в течение долгого времени собиралось подпольной организацией. По пути к Августову группа была почти поголовно истреблена немецким карательным отрядом. Другая группа в сто тридцать человек благополучно добралась до Рудницкой пуши, была принята в партизанский отряд «Смерть оккупантам» и удачно действовала в составе этого отряда до прихода войск Красной Армии.

Каунасское гетто

Воспоминания Виктора Лазерсона

[296]

В это прекрасное солнечное утро, 22 июня 1941 года, которое впоследствии проклинали тысячи людей, начался этот кошмарный сон. Улицы родного города обагрились кровью. На четвертый день резни я потерял родного брата[297]. Введение отличительного знака, запрет пользоваться тротуарами и средствами передвижения последовали за погромом. От 24 июня до 15 августа обильные потоки еврейской крови пролились на 6, 7, 9 фортах. Палачи требовали новых жертв. 15 августа ворота проволочных заграждений поселка смерти Вилиямполе (гетто) закрыли за собой двадцать восемь тысяч людей.

Несколько недель спустя пришло требование собрать пятьсот молодых людей на полевые работы. Матери отпускали сыновей, надеясь, что работа спасет их. Но их приютила земля 4-го форта. Об этом узнали только в 1944 году.

За этой «акцией» последовал строгий приказ сдать все деньги, драгоценности, одежду. Молча относили люди свое имущество, надеясь, что когда они останутся голыми и босыми, то нацистские бандиты оставят их в покое.

Руководитель этого мероприятия, кровавый изверг, гауптштурмфюрер СА Йордан вывозил грузовики, нагруженные доверху золотом, серебром и другими богатствами.

Вслед за этим начались проверки, так называемые «штихпробен». Гитлеровцы ходили со сворами собак по домам, избивали, грабили остатки, перемешивали запасы пищи – соль с сахаром, с мукой и т. д. Йордан наслаждался избиением голых женщин до потери ими сознания. На моих глазах немец убил старика, у которого в книге оказался забытый червонец. Земля принимала искалеченные жертвы.

17 сентября 1941 года имела место, так сказать, генеральная репетиция. Район гетто был отрезан от города, на площадь были выведены люди, приехали грузовики. Но вдруг всех отпустили по домам. Евреи недоумевали, что за чудо спасло их.

Но скоро, 22 сентября и 4 октября, кровавый пир разыгрался по-настоящему. Был сожжен госпиталь с больными, врачами, сестрами, стали «юденрайн»[298] целые кварталы. Жители этих кварталов испустили последний вздох на 9-м форту.

...Из состава гетто выбывали все новые и новые улицы. Хожение на работу и с работы под конвоем, каторжный труд, вся сумма фашистско-садистских приемов, применяемая к арестантам гетто,

голодовка и т. д. – все это лишь незначительные аккорды в этой симфонии смерти.

28 октября нас всех выгнали на площадь посреди гетто и выставили семьями по четыре в ряд. И началась лотерея жизни. Семьи делились произвольно пополам, и «половины» отводились в противоположные стороны. К вечеру одну сторону отпустили, а десять тысяч, бывших на другой, повели на 9-й форт, где в следующую же ночь казнили. Дикая вопли и рыдания раздавались в полуопустевшем гетто.

Это мероприятие возглавил гестаповец Раука.

После таких переживаний евреи могут отдохнуть день-другой – считал Иордан. Вскоре после описанной так называемой большой акции нашли покой на 9-м форту эшелоны евреев Западной Европы. Нам приходилось грузить их вещи, наполнившие склады Иордана.

Далее, вплоть до осени 1943 года, потянулись страшные дни индивидуального террора и вывоз в лагеря.

Полицейский батальон, охранявший гетто, сменила так называемая 4-я компания NSKK[299]. Банда чернорубашечников NSKK во главе с преемником Иордана молодым садистом Видеманном взялась за нас всерьез. Они поселились в гетто, чтобы иметь возможность наблюдать за всем происходившим там. Новые унижительные законы, обязательное снятие шапок перед немцами, непосильная работа, новые издевательства наполнили этот период горе-стабилизации. По возвращении с работ устраивались проверки: людей раздевали, били, отнимали все, что они старались пронести в гетто, чтобы хоть как-нибудь прокормить и обогреть несчастную семью, – хлеб, дрова и т. д. Герои этих «гуманных» истязаний, члены NSKK Рос, Баро, Леврену были мастерами своего дела.

На этот период падает смерть Иордана, убитого на фронте. Это событие праздновалось в гетто. Вывозы на работу начались в марте 1942 года. Рижский вывоз, вывозы на каторжные работы в лагеря Ионава, Палемонас, Кайшадорис, Мариам-поле создали новые пункты истязаний, вызывали новые зверства. По окончании работ лагеря ликвидировались.

Колоссальное число жертв гестаповца Штице, референта по еврейским вопросам в гестапо, публичные повешения с «воспитательной» целью, казни за неснимание шапки, за покупку газеты в рабочее время, за непришитый знак, так называемую мишень[300], казни всего семейства за прегрешения одного члена семьи, сеансы садизма, вроде простреливания бутылок на наших головах, – вот в какой обстановке приходилось жить в этот период «стабилизации».

Еще мы питались ужасными слухами, доносившимися из Майданека, Вильнюса и других лагерей, и репликами по нашему адресу немецкой верхушки.

Мы успели за это время разузнать своих палачей. Городской комиссар Каунаса Крамер считал, что евреи не могут пользоваться дверями и заставлял работающих у него евреев ходить через окна.

Иордан считал разговор с евреем «рассеншанде»[301], генерал Высоцки[302] твердил, что при виде еврея он теряет аппетит, Розенберг, вроде сказочного змея, не переносил еврейского запаха, уездный комиссар Лентцен[303] угощал евреев бульоном из дохлой кошки.

Осенью 1943 года нас переняла банда диких мадьяров-эсэсовцев во главе с оберкровопийцей, истребившим евреев Варшавы, оберштурмбанфюрером СС Геке. Эта личность, при виде которой волосы становились дыбом, начала действовать дипломатично. Покончить с евреями была его задача. Он заставил работать всех – от тринадцати до шестидесяти пяти лет. Он увеличил нам паек,

но мы знали, что скот кормят на убой.

26 октября 1943 года произошел эстонский вывоз, который уменьшил население гетто на три тысячи человек. Ужасы этого вывоза не поддаются описанию. Началось бегство из гетто. Начальством были приняты строгие меры, усилен шпионаж. Раньше работа вне гетто давала возможность приобретать там какой-либо корм или топливо и, хоть и с риском, пронести его в гетто. Отныне и эта возможность была отнята – сношения с внешним миром были строжайше запрещены. В гетто орудовал гестаповец Киттель, приехавший после ликвидации Виленского гетто.

Унтершарфюреры СС – Пилграм, Фифингер, обершарфюреры Ридель, Пич, Ауф, гауптштурмфюреры Ринк[304], комендант центрального концлагеря Бэмихен, врач, занимавшийся медициной истребления, Вальтер и другие обер– и унтер-бандиты решили положить конец нашему существованию. В Каунасе открыли еще два лагеря принудительных работ – в Алексотасе и Шанчяй. Квадратная площадь лагеря, обнесенная двумя рядами проволочных заграждений, пулеметные башни по углам, бараки с трехэтажными нарами – вообще лагеря новой системы вместили еще 2500 людей. Разнообразие приемов садизма значительно обогатил комендант бывшего лагеря военнопленных в Алексотасе унтершарфюрер Мие, который считал, что поголовное избиение хорошо действует на его «инвентарь». Он купал евреев в болотах после дождя, стягивая по ночам с нар, и т. д.

Тем временем в гетто повеяло запахом жженных костей. Геке стирал следы. Киттель после смерти Шмица, убитого партизанами, заботился, чтобы костер на 9-м форте не погас. Восемь тысяч евреев ждали приговора.

27 марта 1944 года банды палачей окружили гетто и начали вылавливать детей, стариков и больных. Я видел, как овчарка рвала младенца от груди матери. Я видел глаза матери, у которой немец вырвал ребенка и с силой ударил его о стену грузовика. Эта картина преследует меня даже теперь, заставляя забыть, что я свободен. Я видел, как немецкий офицер, вырвав от матери ребенка, зарычал: «Вы хотели войны. Так вот вам!» Матери умоляли застрелить их, и немцы охотно делали им это одолжение. Еврейская полиция гетто, заманенная на форт под угрозой смерти, выдала убежища, где прятались матери с детьми.

И день угас, как и все другие, небо не раскрылось, и земля не покраснела. Маленькие трупки были закопаны, глаза матерей высохли...

Мы ждали новых пыток. Начались опять дни индивидуального террора. Нас считали ежедневно, бегство стало невозможным. В лагерях людей одели в синг-синговские пижамы[305], остригли и, зеброподобных, их гнали на работы. Меня отделили от родителей и выслали в лагерь Шанчяй.

Но финал приближался. 9 июля [1944 года] на работе нас поразило подозрительное движение войска, и мы поняли, что час пробил. Один фельдфебель, увидев нас, ехавших под конвоем, выпучив глаза, закричал: So was lebt noch?[306] В этой фразе был ответ на вопрос о нашей судьбе.

А дальше? Товарные вагоны, набитые людьми, в ушах фраза немецкого офицера: «Мы не отдадим вас в руки красных варваров», прыжок на полном ходу поезда через окно – перспектива увидеть «Новую Европу» не улыбалась мне.

Три недели во ржи. Сладость освобождения! Я проснулся. Я без желтой звезды, я больше не собака, не раб. Я стою посредине развалин гетто и не узнаю местности. Месть!

Уничтожение еврейских детей в Каунасе

Рассказ Марии Ильиничны Ярмовской

[307]

В Слободке за рекой Нерис немцы устроили гетто, явившееся лагерем смерти. Периодически сюда являлись палачи и уничтожали по несколько тысяч жителей... Это называлось «чисткой» гетто. Так, 17 сентября 1941 года в гетто было отобрано и расстреляно более десяти тысяч человек[308]. В августе 1943 года в Каунас приехал известный в Польше «палач в белых перчатках», некий Геке. Он только что провел «ликвидацию» Варшавского и Вильнюсского гетто. Явившись в Каунас, этот немецкий зверь прежде всего поинтересовался, много ли осталось в гетто детей. 27 октября [1943 года] немцы собрали три тысячи пятьсот женщин с детьми и согнали их к станции. Здесь детей отделили от матерей и отравили их. Дети умирали на глазах у матерей. Но часть детей еще оставались в семьях. Геке издал специальный приказ о немедленной сдаче всех детей. Было объявлено, что тех, кто уклонится от выполнения этого приказа, ждет суровое наказание. Публичной казни были подвергнуты муж и жена Целлер, не отдавшие своего ребенка палачам. Несчастных родителей избивали, сажали на раскаленную плиту, им загоняли иголки под ногти. Когда они потеряли сознание, их поднесли к виселице. Подержав некоторое время свои жертвы в петле с таким расчетом, чтобы они не задохнулись, немцы сняли их и отложили окончание казни на следующий день. На другой день отца привязали к столбу, а под ногами у него зажгли костер. Мать раздели донага и продолжали мучить.

– Так будет с каждым, кто противится нам, – провозглашал Геке в рупор.

Убийство евреев местечка Стоклишки

Рассказы Марии Яромлинской и Сарры Эпштейн

В небольшом литовском местечке Стоклишки[309] я встретил несколько еврейских женщин. Они шли, вздрагивая и озираясь на каждом шагу. Уже много дней это местечко находится в руках Красной Армии. Эти женщины своими глазами видели, как Красная Армия, сметая врага, освобождает их родную страну. Они видели, как бегут немцы, бросая по пути оружие, снаряжение, одежду, награбленное добро. И все же пережитые ими за три года ужасы оставили на их лицах такую глубокую печаль, что им не скоро удастся освободиться от нее.

Они видели, как коричневая чума уничтожала еврейские города и местечки. Эти женщины были свидетельницами расстрелов и массовых аутодафе, которые устраивали немцы в Каунасе. Вблизи форта номер девять есть место, которое евреи называли «жертвенником» (мизбеах). Маша Яромлинская была свидетельницей, как на этом месте были сожжены живьем пять еврейских почтенных каунасских семейств. Она видела своими глазами, как вооруженные автоматами палачи конвоировали по улицам Каунасского гетто несколько сот еврейских детей. Среди них были трехлетние и четырехлетние крошки. Детей силой вырывали из рук родителей. Матери бросались спасать своих крошек, тогда немцы спускали с цепей собак, те набрасывались на женщин, впивались клыками в руки, норовили вгрызться им в горло... Матери с воплями отскакивали, а несчастных детей увозили на расстрел.

У Хаи Шустер из местечка Стоклишки немцы схватили больную мать. Пять лет она пролежала без движения в постели. Вся семья, выбиваясь из сил, старалась продлить жизнь матери, облегчить ее страдания. Лучше бы она умерла от болезни, не дожив до того дня, когда эти гнусные враги человечества появились в ее доме. Ее схватили с постели и потащили, как тащат овцу на бойню.

Хая Эфрон родила ребенка. На следующий день ее схватили вместе с новорожденным, бросили в телегу и увезли в Бутриманцы[310], местечко, где совершались массовые «акции» над евреями. Другая женщина, беременная Фейга Миллер, была схвачена палачами в день, когда она должна была рожать. Ее потащили к автомобилю. Она билась и стонала, соседи-литовцы видели, как страдает невинная женщина. Один осмелился сказать: «Что вы делаете, ведь она вот-вот должна родить». Тогда немцы схватили и этого литовца и увезли вместе с евреями на казнь.

Сарра Эпштейн рассказывает, что ее мать вместе с супругами-врачами Рабинович, не желая дожидаться расстрела, приняли яд и умерли своей смертью. Было еще много случаев самоубийств, но разве можно всех запомнить, всех перечислить.

Известны сотни случаев, когда литовские крестьяне прятали у себя евреев, бежавших из гетто. Та же самая семья Эпштейн – восемь человек – в течение трех лет пряталась у тридцати литовских крестьян в разных деревнях и на хуторах. Это были совершенно чужие люди, до войны не знавшие этой еврейской семьи. В селе Ромашишки их прятал литовец Вевиорас Антоневиц, в селе Ваштатаны – Хмелевский и Гавиновский, в селе Яромлишки – Тарасевич и Милевич. Ксендз из села Высокий Двор прятал у себя виленских евреев. И до сих пор спасшиеся от гитлеровцев еврейские женщины, девушки, дети живут у литовских крестьян, как родные. Многих еврейских сирот литовцы усыновили и с двойной нежностью, принимая во внимание их трагедию, воспитывают их. Такие семьи я видел и в Троках, и в Кейданах, и в Жижморах, и в Пренах, и в Евно, и в Стоклишках, и в самом Вильно и в Каунасе.

Немецкие зверства над евреями в Литве требуют тщательного расследования. Преступники должны кровью ответить за все. Об этом уже неплохо заботится Красная Армия, которая в момент, когда пишутся эти строки, вплотную подходит к германским границам.

Сейчас в Каунасе и Вильно наступила мирная жизнь. Возвращаются единичные семьи, чудом уцелевшие от фашистского террора. Советские организации уже начали раскопки в районе ковенских фортов, где совершались массовые «акции» над евреями. Уже найдены и вскоре будут преданы гласности новые потрясающие доказательства нечеловеческих пыток и мучений, которым подвергались ни в чем не повинные еврейские люди в этих городах.

Местечко Стоклишки

Воспоминания Раши Шустера

[312]

22 июня 1941 года в наш маленький городок Стоклишки проникла печальная весть, что варварский убийца, позорящий наш народ, со своей фашистской бандой хулиганов ворвался на литовскую территорию. Как громом поразила эта печальная весть и проникла в каждое еврейское сердце от мала до велика. Чувствовал и знал каждый еврей, что Гитлер – злодей для нас. Но как-то не хотелось верить, что пришел конец нашей молодой, невинной жизни. Мы это сразу почувствовали. Наше небо жизни сразу покрылось серыми тучами. За нами погналась дикая, фашистская литовская банда хулиганов. Злодей Гитлер развязал им их звериные лапы, и дикари сразу стали царапать своими грязными когтями в наших чистых, невинных еврейских сердцах. Так долго рвали, мучили, царапали, пока наши сердца вырвали, чистую, невинную кровь разлили на всех полях и телами их посеяли. В наших местечках на каждой еврейской двери повесили записки, что здесь живут евреи, на руки надели желтые заплатки. Я же решил ни за что такие не надеть, хоть бы застрелили. Но вскоре

приказали их содрать и взамен прикрепить еврейский знак (два треугольника) – один на груди, а другой на спине. Все коммунисты, пропагандисты обязаны были не позже шести часов являться. Если же кто опоздал, он тут же был расстрелян или уведен в тюрьму. Еврейские двери и окна должны были к восьми часам быть закрыты. У кого не было ставень, вынуждены были завесить черным, и раньше шести часов утра ни один еврей не смел появляться ни на улице, ни во дворе. И чуть кто появлялся, сейчас же арестовывали. Стоит заметить один случай. Один девятилетний старик пришел в синагогу молиться и, никого там не застав, присел на колоде дожидаться других молельщиков. К нему подошел литовский бандит, стал его избивать и гнать в тюрьму. Старый, больной, почти слепой еврей по имени Шмерл-Лейб, еле передвигая ноги, шел в тюрьму, сопровождаемый хулиганом. Такие аналогичные трагедии происходили ежедневно. По ночам специально открывали стрельбу, чтобы евреи выбегали и их можно было бы расстреливать. Мы каждую ночь бегали в склеп и носили нашу нервнобольную мать, болевшую пять лет, по имени Хая-Рива. Но это был лишь только страх. После они принялись за практическую работу. Спустя месяц после вторжения кровожадных зверей вывели из нашего маленького местечка сорок человек самых сильных мужчин и молодых девушек. Говорили им, что их ведут на работу, но это был только предлог, и через две недели опять велели явиться в полицию. И кто туда входил, редко выпускали. Варвары стояли в полиции с ружьями, точно перед ними худшие разбойники-злодеи. И еще взяли семьдесят человек и их вывели в другое местечко в двадцати восьми километрах от нашего, и там их расстреляли. Перед смертью им приказали написать письма о том, что они живы и работают. Но это только был обман, чтобы другие не пугались и не думали сопротивляться. Тихо, как овцы, спокойно и без сопротивления шли на резню, не зная, куда их ведут.

Нас была семья из десяти человек. У меня было три сестры: одна по имени Двойра, вторая Эстер, а третья замужняя по имени Люся, моложе меня. Также у меня было два брата – один по имени Айзик, женатый, и второй по имени Зейлик, мой старший брат. Были золовки, шурин и больная мать. Мой отец пропал без вести, куда – сам не знаю. Может быть, в Россию удрал. Никаких известий я от него не имел, может быть, он еще где-нибудь живет. Из нашего дома никого не выводили в эти два раза ввиду того, что будто бы вели на работу. У нас же был небольшой участок земли, и сами его обрабатывали, а потому они нас не могли брать. Но когда стали выводить второй раз, мы начали удирать из дому и скрываться на полях. Наша больная мать одна оставалась на кровати. Ночью мы прибегали к ней. Она лежала бледная, слабая и не верила, что видит нас, как и мы считали себя счастливыми, что еще можем прибегать к ней, за которую так страдали. Целовать ее бледные худые руки и заливаться душераздирающим тихим плачем. Плакать громко нельзя было – у каждого еврейского дома ночью стояла стража из местных бандитов. Вспоминаю, когда заходил в дом, то даже стен боялся. Там царила мертвая тишина. В каждом углу было темно, и мне казалось, что несчастнее меня не может быть. Но, к сожалению, я ошибся, это были мои счастливейшие дни из дальнейшей несчастной моей жизни, когда я вынужден был скрываться.

Три недели вся наша семья так собиралась, пока в один злосчастный день узнали, что назавтра, 9 августа, ведут всех оставшихся евреев. Мы все ночью удрали из дому под большим трагическим впечатлением оставить мать в последний раз. Я хотел остаться со своей больной матерью, но мать моя рыдала, что она умрет, как только я останусь. И мы удрали, а на второй день всех вывели в ближайшее местечко Бутрцымани[313] в двенадцати километрах от нас. Возле открытых ям

поставили двенадцать тысяч евреев, их раздели. Кто не хотел раздеваться, сильно избивали, а детей живыми бросали в ямы[314]. Так уничтожили евреев в Литве, и везде так происходило, где варвары-немцы занимали. Я убежал вместе с моими двумя сестрами, а остальные отдельно. Сестры мои удрали к одному русскому, а я встретил одного знакомого, и он меня взял с собой. На следующий день ночью я пошел искать своих сестер. Иду я темной ночью, блуждаю один и вдруг слышу знакомый голос: «Рашка, это ты?» И я узнал голос моих несчастных сестер. Ходим мы вместе посреди поля в душераздирающем плаче, не зная, куда деваться. И мы уходим в ближайшую русскую холодно-грязную баню.

Там мы просидели три недели, и один крестьянин приносил нам еду. Звали его Яскутелис Винчас, который меня после взял к себе на месяц, и я лежал на чердаке. Сестры мои неделю подряд прятались у соседа в разбитом амбаре, терпя холод и голод. Это было в сентябре. Сосед этого не знал, и время от времени они приходили ко мне ночью, чтоб погреться. Так было до последней ночи. Под утро они зашли к крестьянину, и пока дочери их накормили, отец успел сбегать за полицией, и их там же расстреляли. Я при этом лежал на чердаке, слышал выстрелы, которые прострелили юные сердца моих сестер и полили поля их чистой, невинной кровью. Я лежу тихо, весь застыл, не чувствуя, живу или нет. Когда крестьянин поднимается и зовет меня, то кажется, будто я просыпаюсь. Он мне объявляет, что больше держать меня не может, и ночью меня отводит в деревню. Там тоже не принимают, и я вынужден вернуться обратно. Брат мой спрятан недалеко отсюда, и я иду к нему. Передаю ему печальную весть о сестрах и остаюсь с ним на неделю. После этого меня опять выгоняют, ухожу к другому крестьянину, где живу только день. Лежу я в амбаре, и вдруг зовут меня в дом. Сажу я у окна и слышу ужасный лай собаки, смотрю и вижу страшную картину: полицейский стоит во дворе с ружьем в руке, а у окна другой ходит. Не знаю, как вырваться от этих разбойников, и когда они уходят искать меня в амбар, выскакиваю из окна, на четвереньках перелезаю через дорогу и захожу в лес. Первый раз в лесу, выхожу на дорогу, но не знаю, куда идти. В лицо больно бьет холодный, осенний ветер и мелкий снежок. Я вспоминаю, что где-то возле леса жила одна знакомая русская женщина Маланья Грибой. Нахожу маленькую черногрязную хатку, стучу в окно, и меня впускают. Там я прожил два с половиной месяца и в январе узнал, что брат мой Айзик расстрелян. Здесь меня тоже выгоняют, ибо полиция опять будет искать евреев. Это было в январе 1942 года. Морозы в сорок градусов, высокие снега покрыли поля, деваться некуда, и я ухожу на еврейское кладбище. Лежу день, и на кладбище приходит полиция меня искать. Крестьяне меня видели, и я слышу, их спрашивают. Тогда я обернулся спиной и думаю, пусть стреляют, чтоб не видеть злодеев. Случайно они меня не нашли. На следующий день я опять ушел в лес, где прожил неделю зимою на снегу. Ясно, если крестьяне узнают обо мне, надо оттуда удирать. Ноги распухли, еле хожу, руки тоже страшно опухли, из всех пальцев появились как бы полосы из ледяных сосулек. Из леса опять ухожу на кладбище, лежу там два дня без хлеба и чувствую, не в силах больше терпеть голода и холода. Поднимаюсь ночью, жуткий мороз, даже собака не лает, а лежит в своей будке. А я одинокий, голодный, хожу один, не знаю, откуда ветер, и мороз ударяет в лицо, и я падаю. Возвращаюсь на кладбище и сажусь в уголок, где вчера застрелили двух евреев. Я подкладываю [...] и сажусь в еврейскую кровь, кровь, потому что там было заслонено от ветра. Я сижу третий день, а ночью хожу по полям, еле вытаскивая ноги из снега. Прихожу к крестьянину, он дает мне хлеба, но погреться не разрешает и гонит. Ухожу к соседней крестьянке, где остаюсь на день, а

вечером является полиция, извещенная крестьянами. Я спрыгиваю с крыши и удираю в поле. Возвращаясь обратно к крестьянам, откуда полиция ушла, я нахожу там русского, который соглашается меня взять к себе на день. Ложусь в сани, он покрывает меня сеном и везет к себе. По дороге он говорит мне, что у него жить я все равно не смогу. С трудом его упрашиваю, и он меня везет домой. Но страшно стало от всего, что я там увидел.

Разрушенный, задымленный домик, все внутри белое от снега, полуразрушенная печь без трубы и всюду очень грязно. Я залезаю на печь и немного согреваюсь. Остался у него и прожил два с половиной года. Бедный крестьянин по имени Яскутелис Юозас живет один, пахарь, сорока пяти лет. Он покупал хлеб и давал мне кушать. И когда я его спрашивал, почему он это делает и жертвует своей жизнью, ведь если бы полиция меня поймала у него, то нас бы вместе расстреляли, и он мне ответил, потому что ты невинен. Когда бывали немецкие комиссии, то он меня всюду водил, по чужим амбарам рыл ямы и меня прятал. Уводил меня в лес, где я находился по неделе и больше. Были случаи, когда немецкие шпионы говорили ему, что знают, что я у него, и я тогда вынужден был валяться всюду. Летом лежать под знойным солнцем и ногтями выкапывать землю, чтобы на себя класть. Лежал я по два-три дня без пищи. Я брал с собой хлеб и воду, которую сразу выпивал, а хлеба не мог после проглотить. Так я прожил у этого крестьянина два с половиной года. А 14 июля 1944 года пришла к нам Красная Армия и нас освободила.

Главное я забыл. Из Стоклишек остался я один[315]. Всех моих братьев и сестер расстреляли.

Что происходило в Тельшяе со всем еврейским населением Жмуды

Рассказы местных жителей Неси Миселевич, Векслер и Яжгур

[316]

Неся Миселевич:

Когда вспыхнула война, я была в Таурогене[317]. Я бежала в Росейняй (Россиены). В Росейняй уже свирепствовали немцы и местные фашисты. Они арестовали мужчин и женщин, выгоняли на работы. Во время работы женщины подвергались всяким унижениям. Арестованных мужчин сначала высылали на принудительные работы в леса; там над ними издевались и их мучили.

15 июля [1941 года] я выехала из Росейняй в Плунге (Плунгяны). В Плунге уже не было евреев, их уже ликвидировали 7–9 июля[318]. Я поехала в местечко Лауково[319]. В Лауково я переночевала одну ночь. Утром наш дом был окружен белыми местными бандитами[320]. Они вошли в дом, якобы для обыска, а на самом деле грабили все то, что нашли ценным. После этого они всех евреев вогнали в синагогу, почти одних женщин и детей, ибо мужчины были уже неделю назад вывезены в Германию на принудительные работы (от некоторых – братьев Каганов, мельников из Лаукуво, и Смелянского из Смаленинкеш – мы в Шавлях получали письма из Германии, сначала из Лауксергенского лагеря, потом из лагерей Силезии за печатью Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, Berlin[321]. – Л. Е.) Мне в синагоге рассказали, что немцы по ночам нападали на еврейских жителей и грабили все ценное. Мужчин они мучили. Раввина они били, обрили ему половину бороды, женщинам угрожали, что всех расстреляют. Двух молодых девочек и мальчика, комсомольцев, они вывели на еврейское кладбище, заставили вырыть яму и застрелили. В синагоге было тесно. Не давали вносить пищу, не позволяли выходить на двор. Каждый раз в синагогу врывались бандиты, издевались над заключенными и угрожали всех расстрелять.

Потом немцы стали распространять слухи, что всех вывезут в Люблин или в полигон.

23 июля, когда лило как из ведра, к синагоге подъехали грузовые машины, и немцы вогнали в них часть заключенных. На следующий день, 24-го, была вывезена другая часть, среди них и я. Нас спустили на большой площади, где стояли большие конюшни без полов и с двойными нарами. В конюшнях и на нарах было очень грязно. Но позже прибывшие получили еще худшие квартиры в сколоченных из тонких досок с большими дырами сараях или в чуланах без стен. Это было в Вишвянах[322] около Тельшяй. Жизнь была там ужасная. Кормили нас 150 граммами хлеба. Выходить покупать съестные припасы не позволяли. Кто выходил, попадал в руки охраны и был бит самым жестоким образом. Особой жестокостью отличались комендант лагеря Платакис, Александровичус, братья Анзилевичус. Грязь и вши еще более увеличивали мучения людей. По ночам бандиты врываются в лагерь, вытаскивали молодых женщин и издевались над ними. Во избежание этих ночных нападений сами женщины устроили ночные дежурства, и дежурные женщины не впускали ночью даже охранников. Тогда прекратились ночные скандалы. При въезде в лагерь все были ограблены охраной. Что рассказали мне женщины о происходившем в лагерях Рейняй и Вишвяняй? В лагерях Вишвяняй, где я сама была, и вблизи находившемся лагере Геруляй жили только женщины и дети. Мужчин уже не было. Их истребили в лагере Рейняй. О происшестввиях в Рейняй они рассказали следующее.

26 июня немцы собрали все еврейское население около города Тельшяй, около озера, выставили вокруг пулеметы и заявили: «Испробуем силу машин на вас, и пусть ваш бог вам поможет». На это ответил им раввин Тельшяй: «Вам нечего смеяться над нашим богом, ибо он тот же для нас и вас». (Он потом поплатился за ту дерзость.)

Долго держали евреев под страхом смерти и отпустили домой. 27 июня всех женщин отпустили, а мужчин задержали.

27 июня, т. е. назавтра, всех оставшихся на свободе согнали в имение известного певца Кипраса Петраускаса[323] – Рейняй. Туда перевезли и арестованных днем раньше мужчин. Вместе с лагерем Рейняй был открыт другой лагерь – Вишвяняй для евреев окрестных местечек Тельшяй.

Выселение евреев из Тельшяй и окрестных местечек произошло в течение часа, так что выселенцы имели возможность захватить с собою только самые необходимые вещи. Оставшееся в домах имущество было, конечно, разграблено.

При вступлении в лагерь все должны были под угрозой смерти сдать охране и немцам все свои драгоценности. Начались издевательства и унижения для лагерных жителей, в особенности для мужчин, которые довели последних до отчаяния. Из всех этих мучений самой памятной осталась так называемая дьявольская пляска.

Приблизительно 18 июля 1941 года в лагерь Рейняй прибыли двое гестаповцев с целым отрядом местных бандитов, вызвали некоторых мужчин и заставили их вырыть несколько больших ям, о назначении которых несчастные даже не догадались.

На следующий день гестаповцы опять вызвали всех мужчин, женщин же заперли в бараках, за исключением тех, которые как раз в этот же час собирали драгоценности у всех заключенных для передачи их палачам, окружили вооруженной охраной, и один гестаповец держал перед ними речь такого содержания: «Вы, евреи, составили заговор против всего культурного мира, вы вместе с большевиками зажгли всемирный пожар, и потому теперь настало время возмездия. Вы заплатите за причиненное вами зло». Кончив, он отдал приказ, и кольцо охраны вокруг собравшихся сжалось

крепче, и началась ужасная пытка.

Гестаповец отдал приказ, и все заключенные сомкнулись в круг. Потом он им «разъяснил» значение разных командований: «Бегать! Падать! Бегать скорым темпом, поворачиваться направо, налево» и т. д., и пошла «гимнастика». Палачи вставили всем в ноги палки, и так они должны были бегать, поворачиваться, падать, изгибаться, прыгать и т. д. За ними следовали местные фашистские бандиты и били их палками и прикладами. Который падал, был забит на месте прикладами. Многие из старых и слабых выпадали из строя и были замучены на месте. Некоторые из молодых подхватывали ослабевших и павших и брали на плечи, и бежали вместе с ними, но палачи били и тех, и других. С каждым моментом команды учащались, темпы ускорялись, так что бегавшие задыхались и уставали еще сильнее, тогда палачи их били еще крепче. С каждым моментом количество выбитых из строя увеличивалось, и оставшиеся в ряду испускали свои последние силы, а палачи их все чаще и более били и мучили.

Из барakov через широкие щели выглядывали жены, сестры и матери, ломали руки, умоляли, падали в обморок, а палачи... смеялись. Одна из женщин, захваченная в круг охраны, не выдержала и пала полумертвая, тогда другая, в руках которой еще находились собранные для палачей драгоценности, умоляла охранников выпустить ее, чтобы она могла принести воды для спасения изнемогавшей, но охранники не выпустили. «Пусть сдохнет жидовка», – сказал комендант Платакис и не выпустил. Тогда одна вырвалась насилу из барака, прорвала цепь охраны и принесла воды. Эта пляска продолжалась целых три часа. Когда только все уже изнемогли, не могли дальше держаться на ногах и были избиты и окровавлены – их выпустили...

Измученные, избитые, с лицами, искривленными от мук и побоев, мужчины вернулись домой в бараки. Без сил и пристыженные, не вымолвили ни слова, не вздыхали даже и легли прямо на нары (слова Векслер, жены директора Народного банка в Тельшяй). Тогда они лишились совершенно воли. Им было все равно, лишь бы кончилось, чем скорее.

И конец наступил очень скоро. Той же ночью (приблизительно 20–21 июля) тридцать три человека, большей частью молодые в возрасте двадцати-двадцати пяти лет, между ними один из учителей ешибота[324] раби Авнер, были вывезены из барakov и больше не вернулись. Их крики и стоны были слышны всю ночь. Как передали люди, находившиеся в бараках, близких к месту экзекуции, и как хвастали сами палачи, между ними братья Инзулевичи[325], их мучили всю ночь. Их связали и головы их опускали под воду озера и выбирали их оттуда полузадушенных, оживляли и опять окунали. Попеременно палачи били их прикладами по головам и до тех пор мучили, пока все не испустили свои души. Их тела первыми заполнили ямы...

Назавтра рано утром в бараки ворвались палачи и закричали: «Раввины и полураввины (Тельшяй был центром раввинских семинарий) пусть выйдут!» Потом вызвали по баракам всех мужчин, выстроили на площади перед баракami и группами в пятнадцать-двадцать человек выводили их в близлежащую рощицу, где были вырыты раньше ямы и откуда слышались выстрелы автоматов. Эта резня продолжалась весь вторник до четырех часов. Вдруг разыгралась буря, и палачи захотели уйти домой. Они настолько не стеснялись, что последнюю группу они отослали из ямы обратно в бараки. Те же жертвы были выбраны назавтра в среду, они уже знали и пошли на верную смерть. Был один адвокат Абрамович, которого теща и жена могли и хотели спасти, но он ничего не предпринял, говоря, что желает быть там, где будут и другие евреи.

(Я спросил опрошенных, чем можно объяснить такую пассивность со стороны жертв Рейнхайм, и те на это мне ответили, что несчастье постигло всех так неожиданно, что ничего не успели предпринять, и, помимо того, никто не вообразил, что немцы, хотя бы и гитлеровцы, способны убивать женщин и детей, и они утешались надеждой, что смертью они спасут жен и детей. В случае сопротивления или массового бегства они боялись за жизнь своих жен и детей. – Л. Е.)

Были и единичные случаи сопротивления. Когда вывели на расстрел врача из Ретово[326] доктора Закса, его жена никак не давала ему уйти самому и пошла с ним вместе со своим грудным ребенком. Палачи ее гнали обратно, но она не давалась, билась, ругала палачей самыми жестокими ругательствами. Палачам наконец надоело возиться с несчастной женщиной, и они сделали ей одолжение и застрелили ее и ребенка.

Ицхак Блох просил разрешить ему сказать перед смертью пару слов[327]. Палачи ему разрешили. Он встал и сказал: «Теперь вы проливаете нашу невинную кровь. Настанет же время, когда ваша собачья кровь обрызгает мостовую». Его прибили прикладами.

Каждую группу застреленных засыпали тонким слоем песка, и на них стреляли другую партию.

Были многие случаи, когда засыпали раненых полуживых людей. Об одном таком случае рассказывают следующее. Лейбзон из Лауково был вместе с группой других подвезен к яме, и там его заставили засыпать только что застреленных. Когда он начал засыпать, он громко расплакался, из ямы он слышал голоса своих детей, которых вывели предыдущей партией: «Отец! Не засыпай нас! Мы еще живы!..»

Эта резня продолжалась во вторник, среду и четверг. Были истреблены около пяти тысяч мужчин из Тельшай и окрестных местечек[328]. Земля над ямами все время колыхалась, ибо там было много заживо похороненных. Целую неделю после этого кровь была из ям фонтаном.

Несколько дней после этого избиения жизнь в лагере как бы замерла.

Все оставшиеся в живых женщины и даже дети потеряли интерес к жизни. Никто не выходил из лагеря за пищей, никто даже не принимал пищи из рук палачей. Перестали даже заботиться о маленьких детях. Единственное желание каждой было – вырваться как-нибудь из лагеря и украдкой подходить к тому ужасному месту, где погибли дорогие люди, и с ужасом следить за фонтаном крови, искать среди оставшегося платья и обуви какую-либо вещь от дорогого человека и чувствовать под собою колыхавшуюся землю (слова Векслер).

Через семь дней после резни все оставшиеся в живых были переведены в новый лагерь Геруляй. В Геруляй было еще грязнее, чем в Рейнхайм. Вшивость была там невозможная; вши были везде: в платьях, на стенах и даже в кустах около реки. Пища была там плохая. Работы давались непосильные – в полях и в лесу.

Ужасны были ночи. Изнеможенные женщины галлюцинировали, перед их измученным взором весь барак был полон привидений погибших. Ужас прожитого еще увеличивался издевательствами охранников, которые угрожали, стреляли. Для большего террора сами палачи распространяли слухи о скорой ликвидации нового лагеря, определяли даже сроки этой ликвидации. Говорили об отделении детей от своих матерей, о новой акции истребления. И каждый раз испуганные женщины посылали делегации в город просить помощь. Бывали у местного епископа католической церкви Стаугаутиса, у начальника уезда Романаускаса, у других хороших знакомых. Но никто не мог оказать помощь. Епископ несколько раз выступал против палачей в кафедральном костеле. Другие

выражали соболезнование, но из всего этого, конечно, ничего не вышло. Иные, как Романаускас, еще напугивали делегацию, больше спасения не было.

А слухи о ликвидации лагеря делались все упорнее. Помимо всего этого, в лагере свирепствовали разные эпидемии – тиф, дифтерит и другие. Большая часть маленьких детей погибла от них, ибо не было ни врачей, ни медикаментов, а которые дети посылались в местную больницу, тоже погибали вследствие плохого ухода. Приблизительно через семь недель после того, как лагерь был создан, к лагерю подъехали две машины, полные вооруженных бандитов, и окружили лагерь усиленной охраной. Всю ночь комендант Платакис со своими бандитами пировали. Ночью он пригласил к себе представительниц лагеря – Яжгур, Блох и Фридман и потребовал в виде откупа от назначенной «акции» последних драгоценностей лагеря. Испуганные женщины шли по баракам и собирали последние остатки от всего лагеря, говоря, что этим лагерь откупится от готовящейся резни. В два часа ночи представительницы внесли коменданту последнюю контрибуцию и застали коменданта и его сообщников в самом пьяном виде. Комендант соизволил принять принесенные деньги и драгоценности – около тридцати тысяч рублей и несколько десятков обручальных колец – и обещался пощадить лагерь.

Но рано утром бандиты ворвались в лагерь, разбудили всех и приказали выходить на площадь лагеря, говоря, что лагерь должен подготовиться к эвакуации. Посоветовали брать с собой только хорошие вещи и вынести их на площадь. И действительно, на площади стояли подводы согнанных туда крестьян. Все оделись, собрали свои последние пожитки и вышли на двор. Их сразу бандиты окружили плотно сомкнутой цепью и приказали сесть на землю. Началась сортировка: молодых женщин в возрасте до тридцати лет и девочек приблизительно ставили вправо, других, старых женщин и мальчиков без различия возраста – влево.

Сначала смущенные женщины не разобрались в значении обеих сторон, но потом, когда догадались, что стоящие слева обречены на смерть, стали толкаться вправо. Но бандиты уже не давали переходить из одного ряда в другой. Вправо было около четырехсот человек, влево – прочие тысячи. Правых отправили пешком и на подводах в гетто в Тельшяй, а левых оставили. Были случаи, когда сами бандиты хотели одну или другую перевести вправо, но сами жертвы предпочли умереть, чем оставить дорогих людей умереть одних.

Яжгур получила особую «милость» от коменданта Платакиса, и он взял под свою личную охрану ее и ее дочерей (погибли летом 1944 года в партизанах), посадив их в своей комнате. Но у той Яжгур был и сын, необыкновенно талантливый (он в 1941 году был командирован в школу живописного искусства), и он попал влево. Все ее мольбы перевести его вправо не помогли. Тогда мать добровольно пошла умереть вместе с сыном. Девушку Иоселевич один бандит хотел перевести вправо, но она требовала взять с нею и ее старую мать, от этого бандит отказался. Три раза он предлагал переходить в другую сторону, но она без матери не пошла и пошла она вместе с ней на расстрел...

Таких случаев было много.

Началась резня, женщин по пятнадцать-двадцать группами выводили из ряда в ближайшую рожицу, где были уже вырыты ямы, приказывали раздеваться и застреливали. Для маленьких детей жалели пули, их брали за ножки и ударяли головками по деревьям и бросали в яму...

Спасаясь из ямы Шлемович Мира сама видела, как один бандит взял семидневного ребенка из его

кроватки и на глазах его матери (Двейре Леви из Лауково) разбил его голову о стенки его кроватки. Но были случаи, когда матери сами просили палачей застрелить своих раздетых малолеток-дочерей на их глазах, чтобы не подвергались насилию...

Резня эта продолжалась целый день, и в ней погибли около четырех тысяч женщин и детей.

Вещи палачи разграбили, разделили между собой или продавали съезжавшимся крестьянам. Вечером по окончании этого «задания» бандиты в двух грузовиках поехали в другое местечко. По пути они вопили и забавлялись. Этому свидетельница была мадам Векслер. Она в тот день резни работала у крестьянина и по совету хозяина, который, по всей вероятности, знал, что произойдет, осталась у него. Она видела палачей, возвратившихся со своей славной «работы», и они распевали песни и веселились...

Для оставшихся в живых четырехсот женщин началась новая жизнь. Их разместили в нескольких маленьких домах. Мебели, постельного белья и подушек не было. Пришлось спать на полу.

Обитательницы гетто не получали почти никакого пайка, и им приходилось питаться милостыней.

Часть их сбежала в Шавельское гетто. Оставшиеся жили еще до Рождества 1941 года.

В рождественский день 1941 года бандиты собрали всех оставшихся в гетто и отправили на расстрел.

Малая часть сбежала, их изловили, продержали в тюрьме без пищи, воды и в холоде и, полунагих и босых, повели на расстрел. Так погибло еврейство Жмуди[329], местечек Риетово[330],

Альседай[331], Акмяне, Тельшяй и других. И остались из всей Литвы всего три гетто – в Вильнюсе (около двадцати двух тысяч), в Каунасе (около семнадцати тысяч) и в Шавлях (четыре тысячи).

Самую горькую участь имели евреи Альседай. Там их защитил альседайский ксендз и прелат. Он стал среди евреев и бандитов и сказал: «Вы через мое тело приступите к вашему кровавому делу».

Бандиты удержались. По требованию ксендза бандиты разрешили евреям эвакуироваться, взяв с собой и провизию, и вещи, и даже свои земледельческие орудия, и живой инвентарь – лошадей, коров, коз и птиц.

Но в Тельшяй их гнали на каторжные работы и наконец убили. В последний день их запрягли в подводы, полные камней, и заставили возить груз по городу. По пути бандиты били их прикладами. Некоторые пали от побоев, последние были вывезены за лагерь и расстреляны.

Последних четыреста женщин, живших в гетто, ликвидировали в Рождество 1941 года. Некоторые сбежали и попались. Их держали в тюрьме четыре-пять дней раздетыми и босыми, а потом вывели почти нагими и расстреляли.

Несколько десятков еще сплошь до сентября 1944 года жили в землянках, их открыли и уничтожили и содержателя их, литовца Бладиса, привязали к хвостам двух лошадей и разорвали на части.

Резня в местечке Утяна

Воспоминания Цодика Яковлевича Блеймана

[333]

Как единственный живой свидетель могу поделиться следующим[334].

Я приехал в Утяну 25 июля 1941 года. Мой отец раввин Яков Блейман, бывший раввин в Карасубазаре (Крым) был в последнее время раввином в Утяне. У меня там был еще шурин Эфраим Юделович со своим семейством. Во время начала войны я был в Ковне. Я решил поехать к родителям и оттуда всем вместе эвакуироваться дальше, если будет в этом надобность. Только уже не было возможности: в день моего приезда вошли немцы. Наша участь была предрешена, суждено

было погибнуть. Четверг. Первый день немецкого режима. Десятки евреев гонят на работу. Отводят к немцам и их помощникам литовским фашистам. Работа совсем ненужная, бесполезная, только бы поиздеваться над евреями: гонят их по целым дням с вениками, лопатами и другими приборами. Кушать им не дают, только отдельные группы из них выпрашивают кусок хлеба. Когда возвращаются с работы домой, положение евреев еще хуже. Отряды немцев вместе с литовскими подонками убивают и грабят имущество и добро. Такое положение продолжается беспрерывно неделю. За это время ни одно еврейское здание не остается целым. Десятки евреев убиты. Страх за убийство становится все больше и больше. Утром ждут вечера, а вечером ждут утра. В городе наступил «порядок».

Первый шаг к «порядку» – издевательства над евреями. Пришли злодеи вместе с литовскими бандитами и выбросили из всех синагог (их было три) все свитки, книги и остальные вещи. К месту выброшенных книг привели моего отца, глубокого старика, и приказали ему их рвать и сжигать. Он отказался. Тогда убийцы подожгли ему бороду, а один из них выстрелил в него.

Отца принесли в очень тяжелом состоянии. Шурина его оперировал. Операция была удачна, и он мог выздороветь. Но начинаются новые несчастья. Евреям запрещают появляться на главных улицах без проводника, и на каждом еврейском доме появляется надпись «еврей». Евреи вынуждены надевать две желтые заплаты – спереди и сзади. Неевреям запрещают всякие дела с евреями и в то же время их арестовывают без всякого для этого повода. Все синагоги превращаются в тюрьмы, и кроме этих еще есть старая вместительная, большая тюрьма. Арестовали также двух еврейских врачей с их семьями: моего шурина Юделовича и доктора Акса. Одного еврейского врача пока оставили, но после его заманили и тоже убили... Кроме большого количества арестованных взяли еще 41 заложника, среди них бывшего еврейского вице-бургермейстера[335] из Утяны Зурата и других видных граждан города. Прошло больше месяца. Все жили под тенью смерти. Террор против евреев не уменьшался, борьба за кусок хлеба стала все тяжелее и тяжелее.

14 июля 1941 года в шесть часов утра на стенах были расклеены следующие объявления: все евреи, находящиеся в городе Утяна, должны до двенадцати часов удалиться из города, кого найдут после этого времени, того расстреляют. Ходить надо по лесу, в двух верстах от города по направлению дороги, которая ведет к городу Малат. Но в семь часов вооруженные литовцы гнали из домов и тоже арестовывали много евреев. Началась ужасная тревога. Евреи хотели скорее убежать в лес. Все выглядело ужасно. Поселения из нескольких тысяч евреев[336] вынуждены были в течение часа оставить свои насиженные места, где они провели всю свою жизнь, с маленькими узелками пуститься в лес, не зная, что их там ждет недоброе.

Возле леса стояла литовская полиция с немцами и контролировала узелки. Они забирали деньги, золото, серебро и все ценные вещи. Лес был охраняем. Далеко отходить было строго воспрещено. Разложить огонь тоже не позволялось. Немного холодной воды можно было принести в сопровождении постового. Им говорили, что их продержат только три дня и за это время в городе будут огораживать гетто для евреев. Верили, что так оно и будет, но прошло больше трех дней. Положение в лесу становится все хуже и хуже: болезни увеличиваются, медицинской помощи никакой. Все находящиеся в синагогах и большой тюрьме расстреляны[337]. Часть заложников приводят в лес, чтобы этим доказать, что больше евреев убивать не будут. Все мечтали, что их наконец впустят в гетто. 1 августа 1941 года в лес пришла полиция и регистрировала всех мужчин и

женщин от семнадцати до шестидесяти лет. Думали, что это на работу. Я тоже регистрировался. После этого меня и еще десять евреев забрали на работу, а остальные остались в лесу. Нас привели на работу, мы почистили разрушенный дом и работали очень поздно. Перед вечером мимо нас повели группу евреев из лесу в количестве четыреста-пятьсот человек. Среди них молодого утянского раввина Нахмана Гиршовича и Зурата с обоими сыновьями. Вели их по направлению к тюрьме. Мы думали, что и нас поведут туда же, но отвели обратно в лес. В лесу мы нашли всех мужчин готовыми к отходу в город. Но в последний момент пришел полицейский и остальной полиции что-то шепнул. После этого всех распустили и приказали идти обратно в лес. Так прошла еще неделя. Русские по секрету рассказали, что отведенную группу расстреляли. Но не верили этим слухам и в лесу не распространяли – это очень повлияло бы на женщин, мужья которых были уведены. В четверг 7 августа на рассвете нас всех погнали на работу. Ничего особенного мы не заметили, так же, как и всегда. Я поцеловался с отцом и матерью, будучи уверен, что после работы вернусь обратно. К сожалению, это было в последний раз. Больше я не видел добродушных, глубоких глаз моего отца, не коснулся больше дрожащих рук моей матери. Я с ними простился навеки[338]. Нам сказали, что ведут на работу. Было нас триста человек, и водили нас трое постовых. Привели нас в тюрьму, тщательно обыскали, всех забрали и оставили ждать начальника. Во дворе еще были приведенные евреи из Лелига, Малата, Аникшта и из других местечек, принадлежавших утянскому округу. С ними нам было запрещено разговаривать. В полдень пришел немец из гестапо.

Нас всех расставили по четыре в ряд. Зашел начальник тюрьмы и велел раздеть верхнюю одежду, кто носил, поясняя: теперь пойдете немного поработать. Мы вышли из тюрьмы. Перед нами показалась следующая картина: группа еврейских женщин стояла по четыре в ряд, и с двух сторон стояли вооруженные шпалеры литовцев. Нас начали водить, и как только отделились от города, нас стали сильно избивать и гнать. Так нас гнали некоторое расстояние. Кто в дороге падал, того тут же застрелили, а остальных продолжали гнать и избивать. Мы просили смерти, не будучи в состоянии больше терпеть.

Вдруг они приказали мужчинам лечь лицом к земле, а женщинам пойти дальше. Мы услышали оружейные выстрелы и крики женщин. Когда закончили с женщинами – продолжалось приблизительно минут двадцать, – велели пойти мужчинам дальше. И опять те же явления: стрельба, крики и снова тишина. Тогда пришла моя очередь. Мы все были молодые, крепкие мужчины, и мы сговорились втихомолку защищаться, насколько будет возможно. Место резни представляло собой следующую картину: холмик, окруженный с трех сторон лесом, а внизу тянется болотистый ландшафт, заросший густой травой, низкими деревьями и кустами. На холмике вырыты ямы три-четыре метра глубины и до десяти метров длины. Недалеко от ям стоит литовец, одет в военном и покрыт специальной маской-пугалом. В руках он держит длинную нагайку, которой ударяет каждого, чтобы скорее прыгал в яму. В стороне от ям, налево от нас стоит немец с небольшим пулеметом, без верхней одежды, точно мясник на работе, и стреляет в евреев, которые ближе подходят к яме. Недалеко стояли некоторые немцы и литовцы, среди них бургмейстер и другие, фамилии которых мне были незнакомы. Немец с пулеметом велел нам приблизиться к яме. Мы кинулись на него, я схватил его за ноги, и он упал. Как град на нас посыпались пули со всех сторон. Я слышал стоны моих остальных трех товарищей, которые были убиты возле меня. Притворяясь

мертвым, я скатился с холмика. Благодаря высокой траве и трясине, ползая на животе, удалось добраться до ямы с водой, несколько сот метров от места казни. Я лежал целый день в воде и дышал посредством соломенной трубки до ночи. За это время я слышал, как приводили новые группы и их расстреливали[339]. Полил сильный дождь, и стало очень темно. Я был почти замерзший и решил вылезти из ямы. Ходьбой я немного согрелся и удрал в лес. Там уже никого не нашел. Не зная, куда идти, направился по дороге к Ковно. Недель шесть блуждал по лесам раздетый и голодный, пока пришел в Ковно в лагерь. Там еще нашел евреев, и опять началась жизнь в мучениях, нужде и страхе. И настал 1944 год. Красная Армия приблизилась к границам Литвы. Мы верили, что она нас освободит, и надежда нас не разочаровала.

Весною я удрал из лагеря и, валяясь в различных местах, дождался освобождения.

Убийство евреев Свенцяи

Письмо местного жителя Гурьяна И. Г. Эренбургу

[340]

Дорогой товарищ Эренбург!

Ваше письмо от 17 февраля получил и сейчас же отвечаю. Прошу извинения, что не пишу по-русски, очень тяжело. Двадцать лет жил в Польше...

Товарищ Эренбург! Вы мне задали очень трудную задачу. Очень трудно Вам описать, что мы пережили во время немецко-литовской оккупации, нервы у меня слабые, чтобы все описать. Сколько бы мне ни писать, не все опишу, что я увидел своими глазами. Решил Вам не писать. Надеюсь, что мне удастся приехать в Москву, тогда все передам лично. Тов. Эренбург, Вам, вероятно, известно, что к концу 1943 года немного евреев вывезли в Эстонию. Сейчас я был в Вильно и лично говорил с еврейской девушкой, которая спаслась от ужасного эстонского погрома. Везли на пароходах и говорили, что везут в Восточную Пруссию, но это была ложь. Живыми бросали в море, часть евреев сожгли живьем, а остальных расстреляли. Таким образом, они ликвидировали евреев в Эстонии.

Оттуда спаслось всего сорок человек. Они спаслись таким образом: они рыли туннель в сорок метров руками. Землю они держали под нарами, где спали.

Товарищ Эренбург! 9 октября 1944 года исполнилось три года погрому в Свенцянах[341]. Братская могила находится в четырнадцати километрах от Свенцяи. Мы, несколько евреев, собрались у этой могилы. Длина могилы пятьсот метров, ширина – семь метров. Как только немцы вошли в Свенцяны, в первый же день они расстреляли сорок человек. Расстрелами занимались литовские белые партизаны, потому что немцы еще не знали, кто из евреев был коммунистом.

30 июля 1941 года они расстреляли еще сто человек, среди них известный доктор Коварский, его долго мучили, его держали за ноги и голову, опустили в болото, потом его расстреляли.

После погрома нам не разрешили ходить по тротуарам, заставили носить желтый знак на груди, руками убирать уборные. Немцы, бывало, сядут на повозку и заставят евреев их везти. Меня лично заставили двадцать раз ложиться и вставать, потому что я шел по тротуару. 27 сентября 1941 года всех евреев из Свенцяи и окрестностей собрали в лагерь, находившийся в двух километрах от городка Новые Свенцяны[342]. Мы были без воды, без пищи, не было места, куда лечь, где стоять, убивали на каждом шагу. Однажды товарищ Мурашкин, парикмахер из Свенцяи, выступил с речью к евреям, предсказал, что всех убьют и чтобы приготовились к самозащите, а литовцам он сказал, что сегодня они нас убивают, но будет время, когда и их убьют, когда придет Красная Армия; тогда его

замучили до смерти.

Плач матерей и детей Вы должны были услышать в Москве, и 9 октября 1941 года всех повели к яме, каждые тридцать-сорок человек раздевали догола и расстреляли, некоторых бросили живыми в яму, детей взяли за ножки и головки и разбивали о камни, за два дня они убили семь тысяч евреев[343].

В местечке Ионишки они запрягли одного еврея в подводу. Много немцев и литовцев сели на подводу и заставили еврея таскать подводу, пока они его кнутами убили.

В поместье «Лубаны» семнадцать евреев пилили пилой, каждого в отдельности на три части. В местечке Дукнин военнопленных привязывали колючей проволокой к вагонам так, что колени касались шпал, затем пускали поезд полным ходом и, таким образом, замучили военнопленных. В Новых Свенцянах один литвин вел военнопленного на цепи, как собаку.

На сегодня хватит. В следующем письме напишу обо всем, что просится[344].

Лагерь в Коцюнишках

Письмо рабочего Ицика Юхникова

[345]

Лежу и не сплю. Вдруг слышу – стучат. Смотрю на часы – два часа ночи. «Откройте, полиция». Открываю дверь. Входят двое полицейских. Меня арестовывают и отводят в полицию. В полиции заявляют, что отсылают меня в Ригу. Меня отвели в тюрьму, где я нашел еще восемь товарищей. Недалеко от имения Коцюнишки[346] нас выгружают и гонят пешком: «Быстреей, быстреей, еще быстреей». Мы отстаем. Нас бьют по головам.

Наконец явились в имение. Первый приказ: «Если кто попытается убежать, то расстреляют всех».

Нам приказывают снять еврейский знак. И тут же второй приказ: если мы вступим в разговор с кем-нибудь из литовцев или евреев, нас расстреляют.

Нам задают работу. Не успели отработать и двух часов, слышим, кричат: «Все евреи, сюда!» Мы являемся, и тут новый приказ: «Ложиться, вставать, ложиться, бежать». Бежим до реки Нивяза[347].

Опять приказ: «В воду». Мы идем, вода по колено. Приказ идти дальше. А дальше нельзя, сразу глубина в двенадцать-пятнадцать метров. Немец видит, что мы дальше не двигаемся, и приказывает: «Ложиться!» Мы ложимся. Целый час нас продержали в воде. Вдруг крик: «Вылезать!» Мы выскакиваем из реки. «На работу!» Становимся работать, но работа не клеится – нас трясет, зуб на зуб не попадает. Дождались ночи. Нам велют идти в жилище. Получаем по сто граммов хлеба и воды. Отправляемся спать.

В 3 часа слышим пьяный голос: «Всем встать!» Встаем. «Евреи, все тут?» «Все». Немедленно следует приказ: «Ложиться всем на лавку поочередно». Я выступаю первым. Получаю тридцать розог по голому телу. И так все, один за другим. Утром являемся на работу. Издали вижу – едет машина, на машине евреи. Кричу: «Передайте привет гетто!» Немцы услышали, и тут же я получаю несколько пощечин. Меня отводят в какой-то сарай, приказывают раздеться, и я получаю тридцать розог. Из-за слабости я не в состоянии двигаться, меня снова избивают, пока не уползаю на карачках. Раз немцы являются в два часа ночи, приказывают всем встать и показать ноги – чисты ли они. Ясно, что в хлеву, где мы содержались вместе со свиньями, нельзя было иметь чистых ног. Немцы осмотрели ноги, и каждый из нас, было нас девять человек, получил по десять розог. Немцы уходят. Через полчаса являются снова и одному из ребят задают вопрос: «Хороший ли был обед?» «Jawohl[348], господин начальник, обед хороший». Нам приказывают снова ложиться на лавку, и мы

получаем по пять розог. Немцы уходят. Доходят до двери, возвращаются, и один как гаркнет: «Кто устроил саботаж моему мотоциклу?» Все молчат, никто ничего сказать не может, никто мотоцикла в глаза не видал. Получаем свежих пятнадцать розог каждый.

Проходит пара дней. Нас оставляют в покое. Наступает воскресенье. Выходим на работу. Часам к десяти является наш начальник, со зверским лицом подбегает ко мне, тащит к печи и задает какой-то вопрос из Талмуда. Не успел я ответить, как он заявляет: «В Талмуде сказано, что еврею разрешается обесчестить трехлетнюю христианскую девочку и затем убить ее». Я не знал, что ему ответить. Немец стал меня бить головой о печь, револьвером по голове, покуда я не свалился. Тогда он накинулся на другого рабочего, с силой ударил его по лицу и пробил щеку насквозь. Парень упал. Затем немец сбросил третьего рабочего с лестницы и стал его избивать. Тот вырвался из рук мучителя и стал убегать. Немцы погнались за ним и выстрелом из автомата ранили его в ногу. Парень остановился и поднял руки вверх. Немцы приблизились и нашего товарища Гирша Зайдберга застрелили. Затем они, кровожадные, приказали нам построиться по двое в ряд и дали в руки лопаты, чтобы зарыть товарища.

Все это случилось между 5 февраля и 20 апреля 1943 года.

Латвия

«Наше положение безвыходно. И все же...»

Судьба евреев Либавы по дневникам Калмана Линкимера

Дневники Калмана Линкимера[349] подробно рассказывают о гибели либавских евреев.

Уже 30 июня, т. е. через неделю после начала войны, судьба евреев в Либаве[350], по словам Линкимера, «была уже predetermined». Никогда, однако, злодеи не отваживались заявить открыто, что они ведут дело к уничтожению. Каждый раз они обманывали на другой лад: «Едете на работу», «Требуется перерегистрация», «Отправляем в лагерь»...

Но результат каждый раз бывал один и тот же, никто из увезенных не возвращался...

Глава за главой рассказывают дневники Линкимера, как немцы при помощи предателей из латышей делали свое кровавое дело. То мелкие, то более крупные группы евреев ежедневно исчезали.

Остальные все еще не верили, что их ждет та же участь. Все на что-то надеялись. Красной нитью проходит через дневники Линкимера мысль: «Извернемся, обойдемся, спасемся!» Но, конечно, и речи быть не могло о том, чтобы еврей помогал или сотрудничал с людоедами.

Отвращение, ненависть, ужас – вот что каждый еврей чувствовал по отношению к злодеям.

И если, естественно, было мало таких латышей, которые помогали или прятали у себя красноармейцев и коммунистов, то было зато предостаточно отбросов среди латышского народа, которых немцы вооружили и которые помогали немцам, чем могли. От этой черной, человеконенавистнической «айзсарговой»[351] работы латышскому народу трудно будет очиститься!

Неверно, что все либавские евреи шли на смерть, как овцы. Однако редки, к сожалению, случаи, когда в дело претворялись слова: «Око за око».

Парикмахер Бене Бранд[352] бежал от рук злодеев. Во время бегства он был подстрелен. Ему, как говорит Линкимер, «не пришлось раздеваться догола и проделывать всю церемонию у открытой могилы на площади».

Но сколько немецких и латышских кровавых зверей поплатились бы головой, если бы такие Бене

Бранды были объединены.

А отважных и смелых людей было в Либаве много. До того как остатки либавских евреев были заперты в гетто[353], ежедневно гибли здоровые молодые люди. Каждый во всех случаях думал: «Авось я спасусь». Бегали регистрироваться на рабочие биржи, радовались бумажке, которая, по сути дела, только оттягивала, отодвигала страшный конец. Сколько евреев могли бы спастись! Сколько кровавых собак могло быть уничтожено, если бы в Либаве были такие организаторы, как в Варшаве[354].

Но Либавка ничего не знала о Варшаве, и потому люди, которые в другом месте, при других условиях были бы героями, в условиях Либавы в лучшем случае умирали, как люди, а не как овцы.

Русский офицер, бежавший от немцев, скрываясь в дворах, встретил Каби. И хотя Каби, как и всякого еврея, ежедневно поджидала смерть, он офицера спрятал и поддерживал его, чем мог. Однако когда офицер все-таки попался в руки злодеев и они узнали, что Каби его скрывал, он вместе с другими евреями, жившими в том же доме, был арестован.

Евреи, у которых Каби не раз брал деньги или продукты для офицера, дрожали от страха... Но сколько Каби ни пытали, он не проронил ни слова.

Каби расстреляли. В этот день еврейские рабочие вывели из строя электромоторы и «из солидарности с Каби, мужественным и сознательным гражданином, не работали», – рассказывает Линкимер. Какой силой мог быть Каби в надлежащих условиях?

Было много случаев и подлинного героизма, бесстрашия, презрения к смерти. Тем не менее в гетто из девяти тысяч либавских евреев вошло только около восьмисот!

Останавливаться подробно на каждом случае подлинной отваги и смелости при беглом обзоре дневников Линкимера в данной рецензии невозможно. Невозможно потому, что это заняло бы десятки страниц. Трудно также говорить о работе Линкимера обычными словами, так как строки дневника – это мозг и кровь!

Каждая глава начинается у Линкимера словами: «Наша участь predetermined. Наше положение безвыходно. И все же...» – и все же строки тянутся дальше. И снова люди идут навстречу смерти. Навстречу смерти и гибели идут матери с детьми и грудными младенцами на руках.

Евреи – молодые люди, работающие в шуц-полиции, очищают автомобили от крови и оставшихся частей человеческих тел. Они чистят свои сапоги, отлично видя, во что сапоги были испачканы...

Казалось бы, как может хватить духа и терпения, чтобы записать факт кражи в лавчонке гетто?

Но у Линкимера хватает терпения. Он подробно описывает жизнь оставшихся в гетто восьмисот евреев, если это вообще можно назвать жизнью.

Среди евреев в гетто не может быть скверных людей! Вот почему община подходит так строго к факту кражи в лавчонке. Чтобы евреи воровали! У евреев же! И где? В гетто?!

Это событие занимает целую главу. Зато так же подробно описаны трудящиеся, честные люди, выполняющие самую трудную и черную работу в гетто.

Хаим Левинсон – управляющий домом[355]. Его хозяйство «обширно», он постоянно хлопочет, так как на дворе зима и водопровод замерзает. Из других домов идут к нему за водой. У Левинсона водопровод работает бесперебойно. Он по ночам не спит, разогревает трубы, чем только можно. А когда соседи застают его за починкой какого-нибудь унитаза, он шутит: «Хорошо, когда что ни делаешь, к рукам липнет...»

В дневниках немало строк подлинно народной мудрости, юмора и бодрости. Не Линкимер придумал слова старика портного Цимермана[356]. Он тоже их услышал и записал. Семидесятилетний Цимерман – замечательный мастер. Каждый раз, когда он сдает злодеям работу, они ему обещают: «Ну, скоро расстреляем тебя, как собаку. Еще только один костюм и – кончено! Больше у тебя работы не будет!»

В общине Цимерману советуют больше за работой не ходить. Но Цимерман отвечает с усмешкой: «Не испугался я их. Как бы они ни старались, а молодым им меня не расстрелять!»

Старушка Фридман не надевала заплаты[357], не сходила с тротуара при встрече с немцами. В Йом Кипур [Судный день] 1941 года она сидела дома и молилась. А айзсарги выломали у нее входную дверь и уже принялись было за внутренние двери, но старушка ни звука не проронила. Злодеи решили, что никого дома нет, и ушли. Фридман осталась в живых. «Стану я из-за них молитву прерывать, – сказала она, – не доживут они до этого!»

Эти факты, которые не остались забытыми благодаря тому, что Линкимер сумел их увидеть, запомнить и добросовестно записать, являются подлинными истоками народной мудрости, которые должны быть запечатлены навеки.

Маккабистка[358] Флейшман, бежавшая от расстрела, полуголая, окровавленная, бежала шесть километров. За ней гнались вооруженные звери, стреляя на ходу. Один из них потом признался, что никогда в жизни не видал такой храброй женщины.

Некий парень Давид[359], работавший у СД[ковца] Сабека[360], случайно увидел в лаборатории снимки страшных мест, где разбойники проводили «акции»... Он сказал об этом Линкимеру. И когда Сабек ушел, Давид пробрался к нему в комнату, заперся и воспроизвел фотографии, причем надел перчатки и обмотал тряпками ноги, чтобы нигде не осталось следов, и работал, презрев смертельную опасность. И вот фотографии у него! Теперь их надо было сохранить, чтобы они сами могли свидетельствовать, когда настанет день суда... Этот эпизод занимает в дневнике почти пять страниц. Еще десять страниц занимают описания каждой фотографии в отдельности, так как на случай, если фотографии пропадут, Линкимер хочет сохранить хотя бы точное описание каждой из них.

Понятно, что Давид, который переснял фотографии в комнате у Сабека, то есть у волка в пасти, в других условиях мог бы совершить нечто такое, отчего немецким разбойникам не поздоровилось бы...

Достойна удивления также выдержка, которую проявили женщины, занятые на самых тяжелых работах под дождем и снегом, при сильнейших морозах они таскали кирпичи, устанавливали столбы, голодные, полураздетые... Но ни одна из них ни разу не приходила с жалобами в общину. Все надеялись на чудо, на приход Красной Армии... Эта надежда придавала силы и бодрости, терпения и уверенности.

Линкимер рассказывает также, как бесчеловечно и садистски пытали военнопленных красноармейцев. Вот один эпизод: много СД-ковцев зверски избивают военнопленного красноармейца за то, что он принес мешочек с хлебом для своих голодных товарищей. На вопрос, где он взял хлеб, красноармеец каждый раз отвечает, называя другой адрес. Мерзавцы его терзают, выламывают ему руки, но он выкрикивает: «Псы, вас десятки, а я один. Но придет день, когда десятки ваших зверей будет судить один из нас!» С этими словами он падает и остается лежать смятый, затоптанный в снегу.

Пьяные, обожравшиеся, пресыщенные звери в образе человеческом выслеживали свои невинные и безоружные жертвы, чтобы пытать, унижать и лишь потом убивать по придуманному арийскими собаками способу.

За принудительную тяжкую работу не давали ни денег, ни пищи. За неделю работы Линкимер получил... ржавый наперсток. «Это подарок вашей матери, чтобы она при шитье пальцев себе не накалывала», – сказал СД-ковец. В другой раз ему подарили пару сигарет за то, что он распилил и разрубил полный сарай выкорчеванных пней...

Система оставалась неизменной: высосать у жертвы мозг из костей, а потом уничтожить.

Однако если обитатели гетто не были способны на открытое восстание, то лютую ненависть к отвратительным врагам и невиданным доселе невзгодам они хранили в сердце своем.

Мальчики жили в яме за сараем, голодные, замерзшие, измученные до предела. В гетто они из своей ямы идти не хотели. «Придет Красная Армия! Пусть Красная Армия увидит, как мы жили при “арийцах”!» – говорили ребята, когда к ним приходили из гетто.

Из девяти тысяч евреев осталось двадцать два человека![361] Остались только потому, что Красная Армия изгнала злодеев. Среди этих двадцати двух остался и Линкимер.

Мне известно, что у Линкимера имеется еще материал. Редакция «Черной книги», несомненно, свяжется с ним. Около трехсот страниц занимает материал, бывший в моем распоряжении[362].

Прочитанное производит огромное впечатление. Уничтожение младенцев, женщин, уничтожение Либавской богадельни, тысячи замученных невинных людей – все это конкретные факты. Но человеку с нормальной психикой трудно это воспринять.

Люди саботировали, слушали тайком радио[363], знали о боях у Сталинграда. Сопrotивления в Либавском гетто злодеи не встретили. В Либаве из девяти тысяч евреев осталось в живых двадцать два человека.

И многие из тех, которые убивали, ходят на свободе. Невинная кровь вопит о мщении. Рассказывайте и помните, что в великом бедствии народа повинен только фашизм!

Голос Шейны Грам

Дневник пятнадцатилетней девочки из местечка Прейли

Помимо шести еврейских душ, оставшихся в живых в местечке Прейли, Латвийской ССР, чудом сохранился один документ, изобличающий лучше всяких свидетельских показаний зверства немецких фашистов. Этот документ – маленькая записная книжка-дневничок пятнадцатилетней еврейской девушки Шейны Грам, убитой вместе со своей семьей[365] и 1500 другими евреями рукой немецких фашистов в этом маленьком городке Советской Латвии[366].

Этот дневничок был передан русской соседкой семьи Грам[367] после того, как в Прейли вместе с частями Красной Армии вошел брат убитой – боец Латвийской стрелковой дивизии[368] – Гутман Грам.

Оставшаяся в живых семья Хаги из Прейли[369] передает следующие подробности об авторе дневника Шейне Грам.

К моменту начала войны семья Грам состояла из шести человек: отца Ицика, шестидесяти лет, по профессии портного[370], его пятидесятидвухлетней жены[371], старшей дочери Фрейды, двадцати лет[372], сына Гутмана, восемнадцати лет, дочери Шейны, пятнадцати лет и сына Лейбы, двенадцати лет[373]. Из всей семьи остался в живых лишь Гутман, эвакуировавшийся в Советский Союз и

теперь находящийся в рядах Красной Армии[374].

Дочь Грама – пятнадцатилетняя Шейна, как раз накануне войны окончила шестилетку[375]. Она была духовно развитой и интеллигентной девочкой. Она прекрасно училась.

Свой дневничок Шейна Грам вела на еврейском языке, лишь надпись «Дневничок Шейны Грам» сделана на латышском языке[376].

По рассказам семьи Хаги, Шейна Грам и вся ее семья была убита 9 августа 1941 года. Ее старшая сестра Фрейда, упоминаемая в дневнике, в этот день была задержана после работы комендантом, который, натешившись ею вдоволь, уничтожил ее 16 августа. Дневник Шейны начинается в день начала войны 22 июня 1941 года[377].

22 июня. В 12 часов дня радио сообщило: «Германия объявила войну СССР. В 4 часа утра немецкие самолеты бомбили несколько русских городов».

Под вечер я уехала в Рибенишки[378] (семь километров от местечка Прейли. – Б. Г.) Все время до 12 часов ночи я сижу у радиоприемника. Передают, как охранить себя от воздушного нападения.

23 июня. Утром мы узнаем, что бомбили Двинск[379]. Я достаю подводу и возвращаюсь домой.

Объявлено осадное положение и по улице разрешается ходить только до 8 часов вечера. Мы беседуем дома до 11 часов. Ночью слышен шум многочисленных самолетов. По городу проходят танки. Стоит большой шум. Все домашние всю ночь бодрствуют.

24 июня. Встала очень рано, на улице тихо. Нет никаких известий. Учреждается кружок скорой помощи, и я немедленно записываюсь. В 4 часа состоялась первая лекция. Врач объясняет, как нужно оказывать первую помощь. После занятия мы все ожидаем автобуса. В город приходят все новые люди. Каждый рассказывает что-нибудь новое. Немцы успешно наступают. Все взволнованы. В городе люди все волнуются. Под вечер начинается дождь. Надо маскировать окна. Я ложусь в кровать одетая. В час ночи меня будит сестра. Слышен шум моторов пролетающих самолетов. Я долго прислушиваюсь к шуму, но затем засыпаю.

Среда, 25 июня. Рано утром я уже выхожу на улицу. Сведений с фронта нет.

Все ожидают автобуса. У всех конфискуются радиоприемники. Ежеминутно пролетают самолеты. Базар разгоняют. Нельзя собираться в группы. Автобус прибывает лишь под вечер. В 6 часов вечера я иду в Красный Крест. Там нас обу чают перевязкам. Из кружка выделили две смены дежурств: с 8 вечера до часа ночи и с часа ночи до 5 утра. Меня назначают во вторую смену. До двух часов ночи тихо. С двух до восхода солнца слышны заглушенные удары. Бомбят железнодорожное полотно. В 5 часов утра нас с дежурства освобождают.

Четверг, 26 июня. В городке страшное волнение. Немцы наступают. Советские автомобили снуют туда и обратно. Все укладывают вещи. Многие едут в сторону границы[380]. Мои братья с двумя товарищами направляются на велосипедах. Я достаю велосипед и с еще одной девушкой также уезжаю. Уже вечер, мы приезжаем в Рибенишки. Там мы ночуем.

Пятница, 27 июня. Мы не едем дальше. Целый день мы сидим у моей тети. Проезжают солдаты. Едут многие, бежавшие из Польши и Литвы. Вечером приходит дядя моей подруги. Она уезжает с ними. Я также еду с ними. Потом, однако, я передумала и к утру возвращаюсь к себе домой.

Четверг, 3 июля. Мы уже второй день живем с немцами[381]. На улицах никто не появляется. Через Прейли прошло огромное немецкое войско с большой амуницией.

Первый день прошел тихо. На второй день немцы взломали магазины и все расхитили. Ворвались в

синагогу, вытащили свитки Торы и растоптали их ногами. На других улицах они устраивают разные дебоши. Все время разъезжают немецкие автобусы и танки. Мы ничего не знаем о положении на фронте. Мы все переживаем много страха. У нас остановилось несколько немецких солдат. Среди них имеются и очень благородные люди. Они все время успокаивают нас, что рабочих не будут трогать. Публикуется распоряжение, что евреи и русские не имеют права вывешивать свои национальные флаги. Ходьба по улицам разрешается до 10 часов вечера, но никто не осмеливается высунуть и головы. Мы сидим только в квартире.

Каждый день новые репрессии. Посылают на работу: полоть огороды, мыть полы и т. д. Крестьянское население призывается ничего не продавать евреям. Суббота, 19 июля. Издаётся приказ, что евреи должны носить желтый отличительный знак. Он состоит из пятиконечной звезды[382] двенадцати сантиметров ширины и длины. Мужчины должны его носить на спине, груди и чуть повыше колена левой ноги. Женщины – на груди и спине. Многих арестовывают и сажают в тюрьму.

Понедельник, 21 июля. Группу в пятьдесят евреев отправляют на торфяные разработки. Каждый из них должен выработать пятнадцать стер (пять кубометров. – Б. Г.). Они работают четыре дня и потом возвращаются домой. Из нашей квартиры никого не взяли.

Четверг, 24 июля. На торфяные работы угоняется новая группа. Надоело сидеть дома, я сама хочу работать. Меня записывают вместе с сестрой. Вечером мне сообщают, что в пятницу в 5 часов утра нужно отправиться на работу.

Пятница, 25 июля. В 5 часов утра мы собираемся на базарной площади около пожарной каланчи. Делается переключка, и мы отправляемся. До торфяных разработок десять километров. В половине девятого нас уже распределяют на работу. Мы работаем группой в десять человек: восемь девушек и двое юношей. Мы заняты переворачиванием нарезанного торфа. Работа тяжелая. Каждую минуту подбегает лесник и нас подгоняет. В 7 часов вечера работа прекращается. Для ночлега нам отводится сарай (палатка). В два часа ночи нас окружает группа неизвестных, кажется, партизаны[383]. Один из них призывает выйти всем евреям, но когда никто из нас не откликается, они открывают стрельбу. Картина в сарае ужасная. Все сбежались в один угол, и каждый молит Бога. К счастью, над нами только забавлялись. После стрельбы, когда никто не отозвался, окружавшие сарай ушли. Но всю ночь мы не спали. В 5 часов утра мы снова вышли на работу.

Суббота, 26 июля. В 6 часов мы уходим на работу. На обед дается один час. После обеда от нашей группы забирают несколько человек. Нас остается семь. Мы выполняем, однако, нашу норму до трех часов дня и направляемся затем в лес, где находятся наши вещи. Через некоторое время собираются все остальные, и мы направляемся домой. Выйдя из леса, мы спохватились, что не хватает одного. Начинаем поиски, но безрезультатно. Переживая судьбу потерявшегося, мы направляемся домой. Придя домой, мы застаем его в комнате. Оказывается, он пошел другой дорогой. В городке – волнение. Забирают лошадей, и ночью несколько евреев уводят в Малту[384].

Воскресенье, 27 июля. Это кровавое воскресенье для латвийского еврейского народа.

Утро. Всем евреям Двинской улицы приказывают одеться в лучшее платье, взять с собой продукты и выйти на улицу. В домах производятся обыски. В 12 часов всех евреев загоняют в синагогу. Одну группу молодых евреев отправляют рыть могилы за кладбищем. Потом в синагогу загоняются евреи еще двух улиц.

Половина четвертого дня. Всех евреев угоняют за кладбище и там расстреливают. Всех двести пятьдесят евреев: мужчин, женщин и детей.

Это ужасно. Такого конца мы не ожидали. Горсточка оставшихся ожидает каждую минуту смерти. Понедельник, 28 июля. Кошмарный день. Мы узнаем подробности ужасного и трагического конца. Днем новая группа оставшихся евреев угоняется на торфяные работы.

Вторник, 29 июля. Рано утром они уезжают. Распространяется слух, что их тоже отправили рыть могилы. Девушек забирают для чистки улиц. Мы смотрим друг на друга и удивляемся тому, что еще живы. Каждая желает себе смерти. Положение евреев ужасное. Как долго мы будем мучиться? Ходят слухи, что под вечер опять возьмут. Мы решаем не ночевать дома. Один крестьянин разрешает нам переночевать в бане. Поздно вечером мы, поодиночке, идем спать в баню. Нас шестеро, баня маленькая. Спать могут лишь трое. Однако никто не спит. Всю ночь ужасно лают собаки. Я сижу с закрытыми глазами. Передо мной встают лица расстрелянных. Мне кажется, что они сквозь закрытые веки плачут.

Среда, 30 июля. Утром мы возвращаемся в квартиру. Комнаты не тронуты. Все было спокойно. Я валюсь на кровать и немедленно засыпаю. Каждый час новые известия. Один говорит, что будут еще брать, другой – больше не будут брать. Кому верить? Пока ужасно. Каждый сидит и ждет смерти. Мы узнаем, что остальным евреям готовится еще более ужасная смерть. Нас сожгут. Мне безразлично. Я не хочу жить, не хочу умирать. Одно лишь меня поражает: как мы все это в состоянии перенести? Мы с сестрой решаем прятаться в бане. Приносят хорошую новость. Евреев больше не будут трогать. Они довольствуются двумястами пятидесятью. Сестру берут на работу мыть полы. Я в это время спала. Сегодня мы спим дома. Восемь часов. Нельзя выходить на улицу. Погода такая изумительная. Неужели для еврейской молодежи все потеряно? Неужели никогда не наступят лучшие времена? Что творится на фронте, мы не знаем. Ходят слухи, что немцы получили крепкий удар и что их теснят обратно. Насколько это правильно, неизвестно. Ночью тихо. Я долго не засыпаю и смотрю в окно. Кругом тишина, только далеко в поле лают собаки.

Четверг, 31 июля. Сегодня тихо. Мы получаем привет из Рибенишки. Там никого не тронули. Утром отправляют на работу. Я с сестрой иду в поле. Мы там сидим до двух часов дня. Создается еврейское гетто. Три человека обходят, записывая трудоспособных. Ежедневно от евреев сорок человек должны идти на торфяные работы и подметать улицы. Каждый день новые преследования, и конца не видно. До всего мы дожили, но удастся ли нам пережить, не знаю. Еврейских девушек посылают убирать освободившиеся еврейские квартиры для тех, кто их убивал. Меня не берут. Но когда убирают квартиру моей убитой подруги Мэри Плаговой[385], которую готовят для пристава, я иду туда. Собираю ее фотоснимки и оставляю их себе[386]. Мне не верится, что мои друзья Плаговы уже мертвы...

Пятница, 1 августа. Пока все спокойно. Должны ли мы съехать с нашей улицы, мы еще не знаем. Ночью моей сестре кажется, что где-то кричат. Сегодня она спит со мной. Я открываю окно, спускаюсь через него на улицу и прислушиваюсь. Никого, однако, не видно. Кругом тишина. В половине седьмого я и моя сестра должны идти подметать улицы. В нашей группе пятнадцать человек. Мы чистим Двинскую улицу. Потом нас отправляют чистить базар. После этой работы пристав отдает распоряжение собрать группу в двести евреев. Долго мы стоим с метлами на базаре. Каждый проезжающий избегает смотреть на нас. Затем, однако, нас всех отпускают. Я прихожу

домой и ложусь спать. Поднявшись, я с сестрой иду осматривать квартиру на случай, если нас выселят. Мы решаем зайти к моей подруге Дамба. Ее отца арестовали, и неизвестно, что с ним стало. Свежая новость. Приходят и рассказывают, что те самые, которые здесь расстреливали, уезжают в Рибенишки. Хотим предупредить, но не с кем. Снова паника. Мне, однако, сердце говорит, что ничего не будет. В половине девятого мы ужинаем. Прошлой ночью мимо наших окон были слышны шаги. Я подхожу к окну. Идет немецкий солдат. Не проходит и минуты, и откуда-то появляется целая группа солдат. Мы сильно перепугались. Я все время стояла у окна и наблюдала. Солдаты прошли и сейчас же вернулись. Долго я еще сидела у окна, но глаза мои сомкнулись, и я заснула на вещах...

Суббота, 2 августа. Сейчас же с утра меня с сестрой зовут на работу. Нас шестеро девушек, и мы убираем все ту же квартиру пристава. Это снова в доме моей убитой подруги Мэри Плаговой. На сердце все так же больно и тяжело. К тому же к нам приставлен в качестве наблюдателя полицейский шпик, и это совсем плохо. До двух часов мы убираем, и когда остается повесить гардины, нас отпускают на обед. Через час мы снова должны явиться. Так проходит целый день. Поздно вечером нас встречает пристав и отпускает домой. Ночью тихо.

Воскресенье, 3 августа. Сегодня Тиш'а-бе-Ав[387]. Никогда я не говела в этот день и вообще не придерживалась постов, но как раз сегодня, через неделю после большого несчастья, после кровавого воскресенья, когда пало столько невинных жертв, я решила, конечно, тайно от властей, говеть целый день. В половине второго приходят ко мне и регистрируют на торфяные работы. Мама велит мне покушать что-нибудь, иначе я не смогу работать. Я слушаюсь ее. Потом список меняют и вместо меня посылают братишку. Уходить надо завтра в 5 часов утра. Я ухожу подметать базар. Придя с работы, я сижу дома. Ходят слухи, что немцев отбросили до границы. Так все спокойно. Перебираются в гетто. Нашей улице велют пока остаться на месте. Ночь прошла спокойно.

Понедельник, 4 августа. Сейчас же с утра угоняют подметать базар. После этого я занимаюсь различными домашними работами. Распространяется слух, что все покинувшие свои дома и переехавшие на еврейскую улицу должны будут вернуться обратно. Правда ли это, я не знаю. В час дня опять новость. Наш пристав ужасно злой человек. Он заявил трем еврейским представителям, которых он сам назначил, что если улицы не будут достаточно чисты, он их расстреляет. Тогда решают, чтобы каждый час работало по пять девушек. Пока на работу выходят три девушки, и мы подметаем всю Режицкую улицу. Там живут русские крестьяне. С фронта нет никаких известий. Потом я немножко занимаюсь. Читать нечего.

Вторник, 5 августа. Встаю поздно. Остальные домашние заняты на работе. Я немножко занимаюсь русским языком, потом поднимаюсь на чердак и складываю журналы «Идише билдер»[388]. В 4 часа я иду подметать базар. К нам приходят и сообщают, что мы должны съехать с квартиры.

Вечером приходит пристав осматривать дома. Мы должны съехать. Нашим соседям приказывают оставаться. Таким образом, мы не знаем толком, как быть. Пристав входит в нашу квартиру и осматривает мебель. Вероятно, все это и нашу квартиру также передадут кому-то другому, как это сделали у Плаговых. Мы готовы к этому. Он разрешает нам все взять с собой. Пока мы остаемся до утра.

Среда, 6 августа. Ночь прошла спокойно. Утром опять волнения. Приходит комиссия. Один велит оставаться на месте, второй – съехать. Квартиры, куда съехать, нет. Живем как бы в воздухе. Когда

кончатся наши страдания, никто не знает! Приходит еще одна комиссия и решает, что мы можем оставаться на месте. Опять хорошо. В 4 часа я уйду подметать улицы. Был базарный день, и улицы полны сором. В половине восьмого я возвращаюсь домой усталой и запыленной. Умываюсь и уже в половине девятого ложусь спать. Четверг, 7 августа. Рано утром нас зовут мыть полы у пристава в канцелярии полиции. Пристав относится к нам очень хорошо. Мы моем четверо, и нам приказывают ежедневно приходить на эту работу. Сегодня вновь ходят слухи, что опять будут или сжигать, или расстреливать евреев. Каждый приходит с новостью.

Пятница, 8 августа. Крестьяне рассказывают, что ночью пролетало много самолетов. В 7 часов мы идем мыть полы в полицию. Сегодня начальник в плохом настроении. Все время идет дождь. В 12 часов дня арестовывают трех еврейских представителей. От них требовали, чтобы они отправили на работу тридцать человек. Двадцать один человек прибыл, а девять не хватает. Комендант требует этих девяти. Иначе будет плохо. Эти девять евреев спрятались. Мы все переживаем.

Целый день идет дождь. Хотят назначить девять других евреев, но он требует только прежних. Пока представители еще находятся под арестом. Когда кончатся наши страдания, никто не знает. Я чувствую, что ко мне все ближе подвигается самое страшное...

Действительно, на этом дневничок заканчивается. На следующий день Шейна Грам со всей своей семьей была убита.

Гибель пяти тысяч евреев в г. Резекне (Режица)

Рассказ Хаима и Якова Израэлитов

В городе Режица до войны жило свыше шести тысяч евреев при общем населении в двадцать пять тысяч[390]. Город до войны сильно разросся и широко отстроился. Теперь Режицу не узнать.

Немецкие захватчики за четыре дня до вступления частей Красной Армии подожгли и взорвали свыше 70 % всех каменных домов. Центральные улицы представляют собой сплошные руины.

Из общего числа около пяти тысяч евреев, оставшихся в Режице к моменту захвата города немцами[391], сохранились и теперь в нем проживают всего лишь три еврейских души: пятилетний сын семьи К. Тагера – Мотя Тагер, пятидесятилетний Хаим Израэлит и его шестнадцатилетний племянник Яков Израэлит[392].

Маленького Тагера спасла их домашняя работница О. Варушкина. Когда убили отца и мать Тагер, она спрятала ребенка и выходила его в течение всех трех лет фашистского хозяйничанья[393].

Хаима Израэлита и его племянника Якова спасла режизская польская семья Матусевич, которая спрятала их на чердаке своего дома[394]. В течение почти трех лет они прятали Израэлитов у себя в доме, подвергая себя риску быть расстрелянными. Но, несмотря на это, они заботливо ухаживали за своими невольными узниками и ежедневно доставляли им на чердак пищу.

Первые три месяца после прихода немцев Израэлиты скитались по разным дворам и сараям в самом городе и в деревнях, подвергая себя ежечасно опасности быть кем-нибудь узнанными. Лишь потом их приютила семья Матусевич, и тогда прекратилась их бродячая жизнь.

Израэлит и его племянник рассказывают кошмарные подробности мученической гибели пятитысячной еврейской общины города Режица.

Немцы вошли в Режицу 3 июля, и уже на следующий день началась расправа с евреями. Четвертого июля по городу были расклеены афиши, в которых объявлялось, что все евреи, мужчины в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет, должны собраться на городскую базарную площадь. Туда

собралось около 1400 человек. Площадь оцепили полицейские. Все собравшиеся были отправлены в тюрьму. На другой день палачи отобрали самых здоровых мужчин и расстреляли их на дворе, где в 1940–1941 гг. находилось НКВД. Среди казненных фашистами были тридцатипятилетний Борух Векслер, тридцатилетний Митя Мантейфель. Тридцатилетний Мордух Гассель, бывший владелец аптекарского магазина, перед расстрелом отравился. Восемнадцатилетний Иосель Сильно бросился бежать, перепрыгнул через ограду и попытался переплыть реку. Но пули немецких палачей настигли его, и он пошел ко дну. Перед казнью остальных страшно мучили: с них сдирали кожу и убивали дубинами. Когда очередь дошла до зубного техника Х. Израэлит, прибыло распоряжение от немецкого командования казнь по отношению к нему задержать. Он был освобожден, но впоследствии также расстрелян.

На этом фашисты не успокоились. Ежедневно в тюрьме избивали и убивали до смерти десятки евреев. Их всех хоронили на еврейском кладбище, и хоронить их должны были сами евреи. Часто жертвой фашистской расправы бывали и те евреи, которые хоронили и ранее убитых. Так, например, когда в тюрьме от пыток умер Хаим Лоц, группа евреев вызвалась его похоронить на кладбище. Среди желающих были отец племянника Израэлиты – Ханон Израэлит, Зутерман, Баш (бежавший из Риги) и резник из Малты (фамилию рассказчик не помнит). Когда они похоронили Лоца, присутствовавшие фашисты приступили к расправе над добровольными могильщиками. Лишь после третьего выстрела в упор упал замертво Ханон Израэлит. Затем убили резника. Оставшиеся в живых Баш и Зутерман должны были снова вырыть могилу и похоронить их.

Весь июль и август прошли в кровавых бесчинствах и насилиях над евреями в тюрьме и на частных квартирах, где временно оставались жить на свободе еврейские женщины и дети. Все квартиры ежедневно обыскивались, и все ценные вещи фашисты забирали с собой.

В квартире Давида Кукля три немецких фашиста на глазах матери изнасиловали ее семнадцатилетнюю дочь Дору[395]. На следующий день она умерла.

Эстония

В лагерях Эстонии

Стенограмма беседы с Нисимом Аноликом

[397]

Меня вывезли 3 сентября 1943 года в Эстонию. Сначала мы приехали в лагерь Вайвара. Там находилось управление всеми лагерями. Лагерь Вайвара был самым главным... Он был окружен двойной колючей проволокой. На каждом краю лагеря стояли будки, где находились охранники с пулеметами. В восьми километрах находился лагерь Фификона. Место было очень болотистым, болото доходило до колен. Там стариков клали в болото совершенно голыми и избивали до смерти. Мы работали там по вырубке леса и строительству железной дороги. Питание было такое: утром кофе, днем водянистый суп и вечером 300 грамм хлеба и 25 грамм маргарина. Вскоре лагерь перешел в ведение СС, а работа производилась в организации Тодта[398]. Тодтовцы во время работы избивали. Потом были организованы так называемые переключки – «апель». Такой апель проходил три-четыре часа, а в воскресный день – до восьми часов. В воскресный день работали, а если один раз в месяц не работали, то это было еще хуже. Сразу отобрали у нас все вещи и оставили только по одной рубашке, одному полотенцу и все. Ревизии делались ежедневно. Если находили у кого-нибудь запретные вещи, то избивали. Наказание было такое: оставляли на целый день без пищи.

Привязывали без пальто к столбам на несколько часов. Были специальные скамейки, на которые укладывали наказываемого, привязывали руки и ноги. Один немец садился на шею, а другой специальной нагайкой, изготовленной из бычачьего члена и перетянутой стальной проволокой, избивал, причем наносилось по 25-50-75 ударов.

Когда выходили на работу и кто-нибудь отходил на два метра от остальной группы заключенных, то в него стреляли. Если замечали, что кто-нибудь разговаривает с человеком из мирного населения или получает от него кусок хлеба, то его также расстреливали.

Был случай, когда один из заключенных взял у товарища рубаху, чтобы вне лагеря ее продать или выменять на хлеб какому-то эстонцу. Так как это заметил немец, то у него весь хлеб забрали, а так как этому заключенному нечего было вернуть владельцу рубахи, то он бросился под поезд. Немец смеялся и говорил, что так надо всем заключенным поступить. В начале декабря началась эпидемия сыпного тифа. Немцы раз пошли нам навстречу и разрешили вместо супа нагреть воду для бани. В бане обязаны мыть женщин и мужчин вместе. После бани надо было совершенно голыми стоять десять минут на восемнадцатиградусном морозе на улице... От сыпняка и голода смертность поднялась на 40 %. Во время сыпного тифа я пролежал две недели в так называемом лагерном лазарете с температурой сорок градусов, без питания, потому что кушать хлеб не мог, а другого питания не давали, так как воды там было мало, то я мог пить чай в ограниченном количестве. Сразу после болезни меня погнали на работу, многие, конечно, с работы не возвращались. 4 февраля, когда началось наступление Красной Армии около Нарвы, все лагеря восточной Эстонии эвакуировались на Запад в лагерь Кивиоли и Эреда. Так как главная дорога была занята отступающими войсками, нам приказали идти берегом моря. Всех слабых, отстающих бросали в море.

Мужчины жили в бараках отдельно от женщин. Детей, как правило, в лагере не было. Всех детей и стариков уничтожили. Было два случая рождения детей в лагере. Их живыми на глазах матерей бросили в кочегарку. В лагере Курема немецкий врач доктор Гент позвал к себе в кабинет двадцать три старика, среди них известный варшавский гинеколог доктор Фингергут и виленский рентгенолог доктор Ивантер, велел им стать на колени, взял топор и разрубил пополам и велел нам части тела убитых бросить в огонь. При приезде в лагерь главного врача всех лагерей доктора Ботмана надо было, когда он входил в больницу и выкрикивал: Achtung, всем больным складывать руки на одеяле, кто же не успевал положить руки, то получал палкой от доктора. Всем лежащим больше недели он впрыскивал «эвипан», который должен был сразу вылечить, по его словам. Это был наркоз, от которого больной, конечно, умирал.

В Кивиоли и Эреда работали на сланцевых камнях. В Эреда был устроен второй большой лагерь для больных и слабых. Из всех лагерей привозили их туда. Там их или уничтожали, или увозили на расстрел в Ригу и даже в Вильно, но это не был транспорт. Конечно, тем, кого увозили, говорили, что их увозят в санатории.

Немцам в принципе нельзя было кланяться, но и за то, что им не кланялись, они били, а если им кланялись, то также били. Работа продолжалась от зари до ночи. В лагере большинство было из Каунаса и Вильно. Кроме того, были люди из Праги, Берлина, Гамбурга, Вены, Риги, Брюсселя и Парижа. Они жили отдельно от нас, но мы узнали о них, так как получали вещи с их надписями после их уничтожения. Все каторжники носили номера на левой стороне груди и правой стороне около колена. Кто во время работы отлучался и уходил немного дальше, тому наклеивали

специальную красную звезду на спину. Он был уже на подозрении. Одна женщина ушла из лагеря и через два дня вернулась. Ей надели две большие доски с надписью: «Ура, ура, я опять вернулась». Несмотря на этот тяжелый режим, мы получали немецкие газеты, а многие имели возможность при починке аппаратов немцам слушать радиопередачи из Москвы.

В мае месяце прибыл большой транспорт досок из местечка Клооги, и там были написаны фамилии виленских евреев. Так мы узнали о существовании большого лагеря. Так я узнал о пребывании в Клооге своего отца. В мае месяце во время переключки отсчитали двести человек, среди которых случайно оказался и я с братиком, нас отправили в лагерь Клоога. Когда я приехал в лагерь, то отца и других знакомых буквально нельзя было узнать, так они исхудали. В этом лагере было очень тяжело, хотя бытовые условия там были немного лучше, так как мы жили в доме бывшего военного городка. Не было никакой возможности общаться с местным населением и добыть таким образом какое-нибудь питание. Работы производились в самом лагере. Мы строили там укрепления из бетона, как женщины, так и мужчины. Женщины целый день таскали пятидесятикилограммовые мешки с цементом.

В июне месяце эвакуировали лагерь из средней Эстонии – Киоле и Эреда в Клоогу, которая находилась в западной части.

Во время эвакуации часть расстреляли в Эреде, часть отправили в Данциг[399], а часть прибыла в Клоогу. В августе месяце отобрали пятьсот человек, посадили в две больших автомашины и отправили в другой лагерь – Лагеды. Во время поездки немцы гуляли по нашим головам. Там мы работали на постройке укреплений. 18 сентября приехал главный комендант и сказал, что не может смотреть на плохие условия жизни, в которых мы находимся. Он решил их улучшить. Он сказал, что он нас переведет в новый лагерь, где нам дадут одеяла, вещи и хорошие квартиры. Он велел выдать нам по два килограмма хлеба, жиров, сахара и т. д. Это нас очень удивило, мы все еще ничего не понимали. Посадили нас по пятьдесят человек в автобус. В одной из этих машин уехал мой отец. Я с братом уехали последними. По дороге машина испортилась, и туда, где находился будто бы новый лагерь, мы прибыли в 8 часов 30 минут вечера. Я услышал разговор немцев о том, что уже поздно, и мы опоздали, так как лагерь переполнен, и что нас поведут в Таллин переночевать в гостинице, а оттуда отправят обратно в лагерь Клоога. Нас привезли в Таллин. Повезли в таллинскую гостиницу, которая оказалась таллинской тюрьмой. Мы там переночевали, а утром нас отвезли в Клоогу. Вместе с нами ехали еще пятьдесят немцев из специальной зондеркоманды СД. В тюрьме мы узнали, что месяцем раньше нас там проживали евреи из Парижа. После освобождения, когда я был на месте расстрела пятисот человек из Лагеды, одна эстонка рассказала мне, что месяц тому назад там тоже происходил расстрел. Очевидно, расстреляли этих парижских евреев. Когда мы приехали в Клоогу, то увидели, что все стоят на переключке по сотням, а не по местам работы, как всегда при переключках. Часть людей сидели на корточках. Из этих людей отобрали триста мужчин, как будто для выгрузки вагонов с бревнами. На кухне распорядились приготовить для отобранных мужчин хороший обед. В это время отобранные люди пошли в лес и строили там сооружение из бревен для костра. На этом сооружении их и расстреляли в первую очередь. В два часа дня взяли еще тридцать мужчин. Через пять минут мы услышали пулеметную очередь, и немцы вернулись за другими людьми. В тот момент я понимал, что там расстреливают людей, и хотел поскорее выйти к кострам, но мой младший брат сказал, что пусть его расстреляют на месте. Тогда мы спустились на нижний

этаж и легли под первую попавшуюся кровать. За нами вошло еще много людей. Потом пришли немцы, которые расстреливали всех под кроватями и на кроватях наугад.

Немного позже привезли девяносто русских женщин, среди них находился трехмесячный ребенок, их всех расстреляли в проходах между кроватями, мы оказались заваленными трупами. Так мы пролежали двое суток, а на третий вылезли и пошли на чердак, где еще находились спрятавшиеся там евреи. В окно мы увидели, что что-то горит в лесу. На пятый день – 24 сентября, мы увидели первого офицера Балтийского флота. Тогда мы вышли и пошли в том направлении, где пять дней тому назад вели наших товарищей. Мы увидели, что сгорел восьмикомнатный дом, там находились кости погибших людей. Один из товарищей спасся из этого дома. Вот что он рассказал: когда его вывели с первой партией из трехсот человек, их заставили устраивать сооружение из бревен для костров, недалеко в лесу. После этого часть людей должны были лечь на эти сооружения, а тридцать человек погнали к домику. Перед домиком ложились лицом к земле, и немцы по одному брали каждого за шиворот и вели в комнату. Когда они вошли в комнату, там было полно трупов. Его положили на эти трупы, и эсэсовец сказал: «Спокойно, мальчик, все равно осталось жить недолго». Он три раза в него выстрелил, и он упал, обливаясь кровью, но сознания не потерял. Когда немец ушел, он постарался улечься поверх трупов. В этой комнате многие женщины кричали. Многие были только ранены, раненные старались вылезти из-под трупов, но им это не удалось. Перед уходом немцы стали лить бензин в комнату, ему удалось выскочить в окно и бежать в лес, где он прожил несколько суток. Его фамилия Вахник Абрам Моисеевич.

На расстоянии трехсот метров от лагеря мы нашли еще сооруженные костры, которые совершенно не были использованы.

Три костра оказались со сгоревшей серединой, а края остались нетронутыми. Вокруг них были разбросаны вещи. Сначала укладывался слой дров, потом слой людей, они ложились, и их расстреливали в затылок. На сто метров кругом лежали трупы людей, умерших не сразу и пытавшихся бежать.

В этот день в лагере погибли три тысячи человек, а спаслись сто два человека. В лагере женщинам совершенно сбрасывали волосы, а мужчинам ото лба до затылка выбривали пятисантиметровую полосу.

Однажды из лагеря убежал один человек. В наказание за этот побег были расстреляны шестьдесят лагерников.

Одного надсмотрщика в лагере называли шестиногим, потому что он всегда ходил с собакой. Если он видел, что кто-нибудь садился отдыхать, он натравливал на того собаку, которая приводила «виновного» к нему. Он его избивал и записывал номер для передачи лагерному коменданту; лагерный комендант наказывал «преступника» пятьюдесятью ударами.

Спасение

Девятнадцать месяцев в гробу

Рассказ акушерки Софьи Борисовны Айзенштейн-Долгушевой

[400]

Софья Борисовна – маленькая, подвижная и слишком оживленная для своего возраста. Трудно поверить, что Софье Борисовне пятьдесят пять лет. Но еще труднее поверить, что эта энергичная, полная жизни старушка прожила девятнадцать месяцев в гробу, заживо похороненная... А между

тем это именно так и случилось. Только таким образом мог спасти ей жизнь ее муж Григорий Долгушев.

Софья Борисовна Айзенштейн, еврейка по национальности, а по профессии акушерка, вышла вторично замуж за Григория Долгушева. От первого мужа, еврея, у нее было трое детей: два сына и одна дочь. С Долгушевым у нее детей не было, и дети Софьи Борисовны от первого мужа стали его детьми.

Жили они неплохо и материально. Софья Борисовна славилась как хорошая акушерка, и у нее и минуты не было свободной, ее, что называется, рвали на куски, говорили, что у нее «золотые руки». Муж ее работал много лет в колбасной мастерской, а затем на ЮЗЖД[401]. Дети подросли, стали инженерами и весь заработок приносили домой. Так бы семье Долгушевых-Айзенштейн жить и поживать в довольствии и в мире, жить полной, счастливой жизнью. Но тут вспыхнула война с Гитлером, и вся жизнь этой семьи, как тысяч и тысяч других семей, сразу рушится. Дети эвакуируются вглубь страны, а Софья Борисовна осталась в Киеве. Куда ей, старушке, ехать? Не все ли равно, где помирать – рассуждает она. Тут почти весь город знает ее и ее мужа... Кто же ее тронет? За что?

Но случилось так, что в первые же дни вступления немцев в Киев к ней пришли с визитом... Дверь была заперта. Немцы сорвали замок, забрали все, что им пришлось по вкусу, и ушли. Долгушевы поняли, что дело плохо, и стали придумывать разные средства, чтобы спасти жизнь Софье Борисовне.

Когда в городе появились объявления, чтобы все евреи пошли на Лукьяновку, Софья Борисовна решила пойти туда. «Что будет со всеми евреями, то будет и со мной», – думала она. Но муж категорически воспротивился этому. «Пока я жив, и ты жить будешь», – заявил он жене. Он подыскал для жены чердак, а для вида стал готовить ее будто бы на Лукьяновку. Она оделась, взяла с собой вещи и питание на пять дней согласно приказу, попрощалась с соседями и оставила квартиру, где прожила десятки лет.

Муж пошел с ней до Львовской[402], а затем, оглянувшись, повел ее на чердак в дом № 2 по Львовской улице. Но долго оставаться там нельзя было. Вскоре ей пришлось перейти в другую квартиру, затем в третью. Одно время ей пришлось жить запакованной в матрац, но и матрацная могила оказалась ненадежной. За укрывательство евреев стали расстреливать, и хозяева предложили ей уйти. Тогда муж перевел жену в «собственную квартиру», которую готовил для нее в течение нескольких недель в глубине заднего двора по ул. Бульварно-Кудрявской недалеко от своей квартиры, чтобы можно было наведываться сюда почаще, он облюбовал потайной уголок и выстроил здесь нечто вроде блиндажа. Он поместил туда вещи, скамеечку и сухари. Жену он переделал в нищенку, и она пошла на собственные похороны в могилу. Муж шел впереди, а жена следовала за ним на некотором расстоянии. Он шел закоулками, чтобы не встретиться случайно со своими знакомыми. Когда они пришли к назначенному месту, было уже темно. Они оглянулись. Кругом ни живой души. Муж торопливо попрощался с женой, опустил ее в блиндаж и замуровал ее. Он оставил только узкую щель, которая плотно закрывалась кирпичом, для подачи пищи. Приходил муж туда в сопровождении собачки. Чепка живет и сейчас в доме Долгушевых. В сопровождении Чепы он приходил сюда. Чепка была его единственным другом, с которым он мог делиться мыслями вслух об ужасной тайне. Чепка была единственной свидетельницей его ужасных тревог и волнений, когда надо

было отправляться к жене, но Чепя была и помощницей его в этом рискованном предприятии. Долгушев разговаривал с Чепой, зная, что его слушает жена. Делясь с Чепой мыслями на несколько зашифрованном языке, он передавал свои мысли и надежды жене и этим придавал ей бодрость и мужество, которые были необходимы, чтобы выдержать эту пытку – быть заживо похороненной. Долгушева много раз просила мужа дать ей яд. Муж, конечно, и слушать не хотел об этом. Он утешал и увещевал ее, приближая сроки освобождения, и таким образом поддерживал в ней луч надежды, без чего жизнь в таких условиях была бы невозможна.

Но вот настал долгожданный момент: Красная Армия вступила в Киев 6 ноября. Долгушев подошел к жене и на привычном зашифрованном языке крикнул ей: «Соня, пришло наше солнце! Киев свободен!» Но Соня не поверила... Уже который раз муж обнадеживал ее, а потом оказывалось, что свободы все нет. Но вот муж начинает ломать блиндаж. От сильного света у Долгушевой глаза словно слепнут. Она ничего не видит, а двинуться с места не хочет: страх продолжает ее сковывать. А может быть, у нее мысли помешались от радости? Вернее всего такое предположение: у нее отнялись ноги (как потом и оказалось). Она это чувствовала, но не знала еще. Когда она после долгих уговоров решилась подняться с места, оказалось, что она не в состоянии стать на ноги. Ее внесли в квартиру на руках, а потом она долгое время ходила на костылях, пока не выздоровела. Долгое время ее продолжал преследовать страх. Успокоилась она только тогда, когда переехала на новую квартиру. Тогда муж поехал за детьми, привез их в Киев, и семья Айзенштейн-Долгушевых опять зажила счастливой жизнью. Но когда Софья Борисовна вспоминает о замогильной жизни, у нее из глаз невольно льются слезы и руки дрожат, как в первый день ее освобождения.

Спасение еврейской семьи в Ново-Златопольском районе Запорожской области

Рассказ Лии Цвилинг

Семья Цвилинг – одна из очень немногих, которые уцелели в Ново-Златопольском еврейском районе[403]. Мы прошли много еврейских сел, вернее, мест, где находились еврейские села, и всюду были свидетелями одной и той же картины. Дома сожжены – торчат одни трубы, виноградники растоптаны, на полях растет бурьян. В двух-трех километрах от пожарища видна длинная и глубокая яма, она напоминает противотанковый ров. Здесь похоронены все жители села от глубоких старцев до грудных детей. Лишь редким удалось спастись, и среди них Лия Цвилинг, жительница села Фрилинг, с тремя ее детьми.

6 февраля 1942 года она вместе со своими детьми должна была явиться на «пункт сбора», захватив с собой лопату и узелок с ценностями, – так гласил приказ коменданта.

5 февраля в цвилингский двор въехала огромная арба, груженная овощами, а через несколько секунд в дом вошел старый крестьянин из села Пришиб Никифор Череденько.

До женитьбы Моисей Цвилинг – муж Лии – жил в Пришибе. Дом, в котором он родился и вырос, стоял рядом с домом Никифора Череденько. Семья Цвилинга-отца была связана многолетней дружбой с семьей Никифора Череденько. Крепкой дружбой были связаны с малых лет и их сыновья – Моисей Цвилинг и Семен Череденько.

Не прекратилась эта дружба и в последующие годы – вплоть до войны, когда Моисей Цвилинг и Семен Череденько пошли на фронт защищать Родину.

От Пришиба до Фрилинга – сорок пять километров. Чтобы попасть к вечеру в еврейское село, Никифор Череденько выехал на рассвете. Много раз его останавливали немецкие патрули, тогда он

предъявлял удостоверение в том, что он, Череденько, везет в город овощи...

– Собирайся к нам в гости, – без лишних слов обратился старый крестьянин к Лие. – И не тяни, прошу тебя, через полчаса надо уехать!

Обессиленная горем Лия вряд ли что-нибудь соображала. Она начала было говорить о несчастье, которое ее ждет. Но тут выяснилось, что старый Череденько все это хорошо знает, – эта беда и привела его к ней в дом.

– Меня и детей, – рассказывает она мне сейчас, – Никифор завалил капустой. Всю ночь мы тряслись по ухабам, тянулись по заснеженной степи, хотя, по правде сказать, я не видела ни снега, ни земли, ни неба, – ничего, дышать мне было трудно, кругом тьма и духота. Ехали мы долго, и как ни была я потрясена, – все же успела подумать, что вряд ли мое бегство изменит мою судьбу. Никифор сказал, что мы едем в Пришиб. В Пришибе я была несколько раз и знала, что это огромное село, раз в пять больше нашего Фрилинга. Можно ли спрятаться в таком селе, да и вообще, можно ли уцелеть там, где находятся немцы? Но человек всегда надеется; смутная надежда искрилась и в моей душе...

Надежда не обманула Цвилинг. Похищение семьи было тщательно продумано Никифором Череденько и не только им одним. Бесчинства немцев глубоко задели многих крестьян Пришиба, и они твердо решили спасти знакомую семью. Был выработан подробный план спасения; кто-то достал паспорт на имя гражданки Мелитополя – Марии Чернышевой, кто-то пустил по селу слух, что к Череденько должна приехать дальняя его родственница. Все село – несколько сот человек! – знало, что настоящая фамилия Чернышевой – Цвилинг, и все село хранило эту тайну.

На следующий день комендант Фрилинга обнаружил бегство семьи. Лию и ее детей искали в близлежащих селах, по всей области были разосланы бумаги, и не раз, обходя село, комендант Пришиба заглядывал в дом Череденько, допрашивал Никифора, его жену, детей, соседей и соседок. Но каждый раз все, как один, уверяли, что лично знают Марию Чернышеву и ее детей. Женщина осталась в Пришибе, она и ее дети были спасены. [...]

Не считайте меня чужой

Письмо Ольги Супрун из Золотоноши родным мужа, Бориса Юдковского

[405]

Добрый день, Юдковские!

Получила я Ваше письмо, за которое очень благодарю, за то, что Вы ответили. Пишу я Вам письмо, получите хотя и не с радостью, но ничего не поделаешь – такие случаи трудно вспоминать.

Я выехала с детьми вместе с Краинскими, но я осталась в г. Гадяч, где мне Боря сказал, чтобы я его ожидала, дальше без него не разрешил ехать.

Это было 25 августа 1941 года. 30 августа заехал Срулик ко мне, и Боря передал, что «на днях я приеду», но после этого я ждала и не могла дожждаться. Через несколько дней я узнала, что мы уже окружены. Мне уже некуда было ехать, я вернулась домой. Когда я приехала, на другой день пришел Боря. Когда они выехали из Золотоноши[406], попали в окружение и попали в плен. Его мучили голодом, избивали, и он постарался убежать. Пришел домой, но дома жить нельзя было, приходилось ему жить в лесу. Я к нему ходила, носила еду, но долго там сидеть нельзя было, потому что уже начиналась зима. Он решил прийти домой. Придя домой, пожил месяц в хате, не выходя и ничего не зная, кроме того что я ему рассказывала – о том, что в городе уже все [евреи] отмечены и за ними следят. Нелегко было жить, каждый день расстреливали по несколько человек, заставляли копать для

себя ямы. Боря все это переживал, знал, что и ему это все суждено, только просил сберечь детей, но сберечь я не смогла. И пришел тот день, 22 ноября 1941 года. В субботу утром вся полиция стала на охране города, и начали собирать всех. Нас взяли, заперли в военкомате. В воскресенье утром вывели всех за город и начали расстреливать, но после этого я не могу знать, что было – меня оттуда забрали, потому что я была не той нации и без чувств. Остались там Боря, Ися, Женя, Гинда со своими детьми, Срулик и все остальные – больше двух тысяч людей, так что кто там был – не знаю, так как это было не в радость рассматривать, и мне было, что думать и куда смотреть. До сих пор не могу прийти в чувство. Вы просите, чтобы я написала, где я была и что делала все это время. Но мне не до работы, два года с половиной я все время болею, доходило до того, что я просила, чтобы меня расстреляли, и сейчас я не могу жить в Золотоноше – как только я приезжаю в Золотоношу, то приходят все воспоминания, и мне трудно переживать. Хата цела, но я ей не рада. Краинских хата цела, хаты все целы, лишь которые были старые, то разобрали на дрова, а все государственные здания немец сжег, так что в городе глухо и грустно, и мне вообще не с кем встречаться и некому что-нибудь рассказать и расспросить про что-нибудь, потому что при немце все на меня смотрели зверем, издевались надо мной. Но когда кто-нибудь вернется обратно, будет мне помощь, то мы им отомстим, постараемся отплатить все назад. Уже некоторые возвращаются на место жительства, о ком Вы пишете, чтобы я узнала: цела ли хата и живет ли Боярский, так что я не знаю, про кого [именно], но если Манина [хата], то цела.

А те, кто был в глаза хороший, то при немце они изменились, и сейчас их легко попросить.

Туся и Фрида, желаю вам счастья и радости в жизни, не знать того, что я узнала, ибо у меня паразиты забрали всю жизнь, чтобы они дождались увидеть все на своих детях, а после детей – на себе. Гитю Боря встречал, когда ехал домой из плена. Она шла на Лубны и дальше хотела пробраться через фронт, но она уже была раздета, избита, измучена. Шла голая и босая, но уже было холодно, обратно возвращаться не было куда и не было чего. Они с Борей разошлись, и больше про нее ничего неизвестно, так что, наверное, погибла. У нее была цель – пробраться в Баку, но так как не было известно, где она, [а] такие ужасы, как тут, [везде] происходили, то трудно [ей] было выжить. Хотелось Вам от Иси получить [письмо], но он уже никому не напишет, проклятый немец забрал его душу, не дал ему, несчастному, жить на свете.

Написала я Вам, но для Вас это не радость. Мне писать также было нерадостно, но ничего не сделаешь. Пережила я за них немало и в дальнейшем постараюсь не забывать, больше уже ничего не нужно.

Напишите, как у Вас жизнь проходит, немец бомбил или нет, про Гришу Рахковского я ничего не знаю.

В Золотоноше были расстреляны больше двух тысяч евреев, а всего двенадцать тысяч семьсот человек[407]. Некоторых уже откопали и похоронили в парке в братских могилах, но их узнать нельзя было. Писала бы дальше, но ничего не вижу, и голова не выдерживает. Но мне кажется, что никто не поверит.

Хожу их навещать, но они мне ничего не отвечают, спят себе спокойным сном.

Читайте и не волнуйтесь, я возле них пережила за всех. У меня забрали все, нет уже во что и переодеться. Итак, кончаю писать. В Золотоноше была недавно[408] и после приезда лежу больная, не выхожу никуда. Если переживу, то будет хорошо. Но, кажется, они меня дождутся скоро.

Привет вам всем от меня.

Не считайте меня совсем чужой и ненужной, какой я раньше вам казалась. Это все не из-за меня получилось, не была бы я, то была бы другая, но, кажется, Боре и Исе неплохо было жить, не хуже, чем другим. Что я за них сейчас переношу, но я ни с чем не считаюсь.

Давид и Надя

Письма Надежды Терещенко из Кировограда майору А. А. Розену

[409]

[Уважаемый Илья Григорьевич!]

Я посылаю Вам[410] письмо украинской девушки Нади Терещенко о том, как она спасла жизнь в дни немецкой оккупации на Украине моему брату – Давиду Розенфельду. [Письмо разоблачает гитлеровскую антисемитскую пропаганду, и, я думаю, оно представит для вас некоторый интерес.]

До войны брат был инженером одной авиационной части. С июля 1941 года я потерял его след, а в марте 1944 года это письмо, полученное мною из Кировограда от незнакомой девушки, узнавшей мой адрес, помогло мне напасть на его след.

Несколько дней назад я получил от нее второе письмо, в котором она сообщает о гибели брата на фронте. Прилагаю отрывок из второго письма, [которое блестяще характеризует советскую патриотку.]

Надя Терещенко работает старшим зоотехником Кировоградского райземеотдела. [Сейчас наркомзем Украины послал ее на трехмесячную практику в Узбекистан.

Вот и все Илья Григорьевич! Я журналист, работаю в газете «Фронтальная правда», в том же коллективе, где трудятся гг. Изаков, Исбах, Матусовский.]

Привет.

...Коротко расскажу Вам, Абрам Анатольевич, о Вашем брате, потому что за один раз все не напишешь. Давид был в 1941 году в лагере в Кировограде. Из лагеря его выпустили немцы только потому, что он был мало похож на еврея. Дошел он до села Б. Мамайка и дальше идти не мог: у него была дизентерия и вообще сильно он ослабел. В Б. Мамайке встретился он со своим знакомым товарищем, а с этим товарищем была знакома и я. Однажды приходит его товарищ на ферму «Заготскот», которой я ведала, и просит: «Нельзя ли устроить на работу одного товарища?» Пришедший предупредил меня, что надо относиться к нему осторожнее, заботливее, потому что он еврей.

Я приняла его на должность скотника. Впоследствии достала ему документ на имя Данила Антоновича Руденко. Позже перевела его счетоводом в контору. В 1942 году я пошла на выпас вместе со скотом. Вместе со мной пошел и Давид.

Так он работал все время на ферме. С 10 декабря 1943 года по 11 января 1944 года я его прятала в степи от облавы на мужчин, которую производили немцы перед их изгнанием из Кировограда.

Ходить можно было только от шести утра до семи вечера. А я ходила в степь после семи вечера или с трех до шести утра и носила ему пищу и воду.

Это надо было делать так, чтобы в степи каждый день поправлять маскировку ямы, где он находился. Маскировалась и сама, когда носила пищу, укрывалась белым одеялом, брала с собой еще мешок снега, чтобы разбрасывать его у ямы, которая находилась в бурьяне, в таком месте, что лучший разведчик, находясь бы здесь, не видел бы места, где прятался брат.

Вокруг ямы аккуратно насаживала полынь, снег выравнивала. Проход был в сторону и закрывался сверху полынью.

Самое страшное пережили.

С самого начала знакомства с Давидом в нашей семье, кроме меня, никто не знал, что он еврей. У меня есть очень хороший брат. Вам когда-нибудь расскажет про него Давид. Он кандидат партии, невоеннообязанный. Когда в тридцать девятом наши войска вошли в Западную Украину, ЦК ВЛКСМ послал его туда на работу. Работал он в Дрогобыче директором райпромкомбината. Я ему верю, его тоже прятала от немцев. Дважды приходили за ним команды СД, и мы давали адреса на другой район. И все-таки я не могла сказать брату, что Давид – еврей, чтобы он случайно не проговорился.

Когда нас освободили от немецких оккупантов, Давид сразу пошел на фронт...

Я прошу Вас не сообщать об этом матери и сестре. Он все время волновался, думая о матери.

Подробно об этом не пишу, может быть, когда-нибудь встретимся – расскажу. А теперь лучше не вспоминать прошлое.

Прошу Вас, не пересылайте этого письма матери, я ей напишу другое. Она и так, очевидно, много пережила. Давида считаю своим родным, близким человеком и уверена, что он так считает и меня. Нас соединило большое горе. Пока нас не освободили от гитлеровских кровопийц, мы оба не раз рисковали жизнью. Он – мой муж. Мы нигде не расписывались, но верим друг другу больше, нежели многие, кто законно женится...

Будьте здоровы, привет всем моим родным.

...Ваше письмо я получила. Данюши уже нет. Погиб он за деревней Н. Ивановка на Ровенском шляху. Полевая почта его была 44623. Официального сообщения еще нет, прибыл сюда один раненый воин, товарищ Давида. Я их обоих провожала на фронт.

Я выплакала свое горе и вот пишу Вам письмо. Теперь вот что: ради всего, что является для Вас родным и святым, прошу Вас сделать так, чтобы это сообщение не дошло ни до матери, ни до сестры. Это моя последняя просьба к Вам. Я им буду писать и сообщу, что Давид пошел на фронт и больше от него ничего не получала. Он написал мне письмо 13 марта 1944 года, а 24 марта я уже получила известие от одного бойца, что Давид погиб. Вашему брату Борису я тоже ничего не написала. Он сообщал мне, что ранен, и я не хотела нервировать его этим письмом. Из Омска от Иосифа Борисовича я получила два письма, но им тоже ничего не сообщаю. Лучше было б, чтоб вы все не знали, что Давид был спасен, постепенно вы бы забыли, а теперь новое горе свалилось на нас. Он просил тогда, чтобы я написала письма всем родным, что он жив, но я сначала не послала, а он настаивал, и я написала.

Так тяжело, так тяжело, если бы кто знал, как он переживал, как он ждал освобождения и так недолго прожил! Если будете в Кировограде, расскажу обо всем.

Если бы можно было, чтобы мать приехала ко мне, я бы за ней смотрела и ходила, как родная дочь...

Вот и все. Будьте здоровы.

Судьба

Воспоминания Ф. Крепак, жены инженера из г. Днепропетровска

[411]

Я – жена инженера П. И. Крепака, проработавшего на заводах Днепропетровска свыше двадцати лет.

Во время эвакуации мой муж был направлен в Таганрог на завод имени Андреева. Муж страдал язвой желудка, в Таганроге кровавая рвота приковала его к постели. Я не могла его оставить. 17 октября 1941 года немцы заняли Таганрог. Три дня спустя приказ: евреям носить повязки с шестиконечной звездой, из города не выходить под угрозой расстрела.

Мы решили уйти из Таганрога[412]. За городом нас остановили жандармы: «Юде?» Нам удалось пройти. Я умею шить, шила в деревнях, нас кормили. Шли по тридцать пять километров в день. Октябрь, начались дожди, ноги вязли в глине. В селе Федоровка нас тепло встретила казачья семья. Потом мы попали в немецкое село, там староста немец – родился в России; у нас забрали одежду, избили мужа, плевали ему в лицо. Мой муж – украинец, а ему пришлось испытать судьбу еврея. Прошли еще много сел, крестьяне нас предупреждали, как обходить немцев. Карань (это греческое село), целый день шел дождь; старая гречанка нас приютила, просушила одежду. По дороге к Пологам пришлось сделать большой обход: в Орехове был карательный отряд. Крестьяне были перепуганы, и приходилось ночевать под открытым небом. У сынишки начался жар, ему всего одиннадцать лет, а я тогда подумала: «Слава богу, умрет своей смертью!»

В Пологах нас приютили, дали сыну валенки. Есть на свете много хороших людей. Прошли Синельниково и добрались до Игрени. Там нас остановил немец, тщедушный, с красными глазами. Он выворачивал у проходивших мешки и забирал, что хотел. Если кто-нибудь ему не нравился, он кричал: «Юде» и убивал на месте. Нам снова повезло: мы проскользнули. В Игрени, дождавшись темноты, мы прошли к родным мужа. Меня сразу спрятали, а соседям сказали, что вернулся муж с сыном. В Игрени еще были евреи, но через три дня их увезли в колонию для душевнобольных. Я ушла на Амур, к тетке мужа, нас ласково приняли. Но несколько дней спустя стали искать евреев и там. Муж ночью перенес меня в мешке через Днепр на окраину Днепропетровска, к своим родственникам. Там я прожила зиму. Я ни с кем не встречалась, а если кто-нибудь приходил, пряталась в погребе или под кроватью. Пошли слухи, что наши приближаются. Тогда муж снова тайно перетащил меня на Амур. Потом мы пошли в Игрень.

В доме родителей мужа поселились немцы. Я жила рядом с ними, я слышала их смех, топот сапог и ждала смерти. Пришла весна, но я ее не видела. Наконец немцы выехали из дому. Я надела костюмчик сына, он мне был как раз впору, и вышла в сад, но после долгого заточения не выдержала – лишилась чувств.

Иногда муж, прикладывая ухо к земле, говорил мне, что слышит стрельбу дальнобойных пушек, тогда подымалась надежда. А в Игреньке искали спасшихся от расстрела евреев. Пришли к родителям мужа. Меня спрятали в кровать, под перину. А в другой раз – ночью постучали. Мы решили, что это немцы. Муж покрыл меня периной и сам лег на перину, сказал, что его снимут только мертвым. А выяснилось, что это пришли за медицинской помощью к сестре мужа, она врач. Начались повальные обыски. Немцы объявили, что за укрывательство евреев – смертная казнь. Тогда я решила покончить с собой. Я попросила у сестры мужа морфий, сказала ей, что это на тот случай, если попаду в руки немцев, а потом приняла яд, но приняла слишком небольшую дозу, помучилась и осталась жива.

Мать мужа отвезла меня снова в город. Надежды на спасение было мало: фронт был под Сталинградом. Тетка мужа приняла меня тепло, она очень хороший человек, кроме меня, она спасла дочку инженера Гольдштейна и еще одного еврея. Я просидела несколько месяцев на чердаке. Потом

приехал муж и увез меня на станцию Долгинцево. Там я работала – шила, считалась я полькой. Ненависть к немцам у крестьян росла, угоняли многих в Германию. Пошли слухи, что наши приближаются. И вот я действительно услышала стрельбу дальнобойных, никогда в жизни я не слышала такой прекрасной музыки! А немцы забирали мужчин, угоняли на запад. Муж вырыл под полом яму, мы выносили землю ночью. В этой яме он просидел два с половиной месяца. 22 февраля Красная Армия освободила Долгинцево. Я не могу описать, что со мной было, когда я увидела первого красноармейца!

На следующий день мы поехали в Днепропетровск. Там я узнала, что фашисты убили всех моих родных. Мой муж умер два дня спустя, он так ждал освобождения, а прожил на советской земле всего два дня. Я осталась с сынишкой.

Спасение евреев местными жителями в Староженцах Черновицкой области

Рассказы уцелевших

[413]

В Староженце Черновицкой области до войны проживало свыше трехсот еврейских семейств[414]: это были в большинстве ремесленники, рабочие и служащие местных предприятий. Захватив город, немецко-румынские фашисты принялись выселять евреев в Транснистрию, где были созданы специальные гетто.

На третьей неделе своего владычества захватчики издали приказ, предписывавший всему еврейскому населению в определенное время явиться на Вокзальную площадь, взяв с собой лишь самое необходимое. За нарушение приказа угрожала смерть.

К этому времени в Буковине накопилось много беженцев из Германии, Чехословакии, Австрии и других мест. Они знали, что означают эти «специальные гетто». Знали об этом и буковинские евреи, но выхода не было. Румынская «сигуранца» (охранка) под руководством гестаповских инструкторов оцепила еврейские кварталы и выгоняла всех жителей-евреев из квартир. Все дворники были вызваны в гестапо. Их предупредили, что если в каком-нибудь доме будет найден скрывающийся еврей, дворник будет расстрелян вместе с ним.

Евреи заполнили Вокзальную площадь. Три недели держали их здесь под открытым небом в ожидании эшелона. Полторы тысячи душ – женщин с грудными младенцами, стариков, детей валялись на сырой земле. Многие от стужи, сырости и голода умерли тут же на площади. Некоторым удалось бежать, и они ушли в лес.

Лесной сторож Степан Бурлеку и его две невестки, жившие вблизи вокзала, при содействии агронома Паскарану спасли большую группу евреев. Они скрывали их некоторое время в лесу и наконец, переодев их в крестьянскую одежду, послали на работу – в лес, в поле.

Бурлеку и Паскарану спасли учителя музыки Гехта с женой и ребенком; портного Гайзера с женой и двумя дочерьми; мастера мыловаренного завода Готлиба с малолетней дочкой (жена его умерла на Вокзальной площади); инженера Бехлера, жену которого расстреляли за попытку бежать с Вокзальной площади; учителя Финдера и его двух мальчиков, рабочих кожевенного и мыловаренного заводов – Соломона Неймана, Давида Рубингера, Моисея Рознера, Якова Зингера и Ариэля Курцмана.

Кроме всех этих, остались в живых еще отдельные еврейские семьи, осмелившиеся, невзирая на угрозы смертной казни, не явиться на Вокзальную площадь и скрывавшиеся у своих соседей-

молдаван.

Дворники Геку Лупеску, Николай Перану и Ян Бружа спасли адвоката Бислингера с семьей, директора реального училища доктора Велта, аптекаря Рибайзена и бухгалтера городского банка Кантаровича.

В тюрьме за укрывательство еврея

Свидетельство медсестры Александры Яковлевны Воловцевой. Из документов ЧГК [415]

Я, Воловцева Александра Яковлевна, медсестра 1-й инфекционной больницы, проживаю с матерью Сандул Марией Антоновной по Комсомольской улице, д. № 13.

Во время вражеской оккупации мы были арестованы 1 августа 1942 года за укрывательство у себя в квартире еврея Заксмана Александра Борисовича, бывшего секретаря комсомола Одесского трамвайного треста.

А. Заксман был обнаружен за платяным шкафом во время обыска агентом полиции 4-го района Червинским, проживающим по ул. Баранова, № 9 (где проживал и до вражеской оккупации).

На мой вопрос, заданный агенту Червинскому, что он ищет, он ответил: «У вас скрываются партизаны, оружие, приемник».

Вместо всего этого он нашел у нас еврея.

Несмотря на наши мольбы пощадить нас (мы обещали, что Заксман уйдет от нас), Червинский был неумолим, приставив к нам охрану из двух агентов, бывших с ним, пошел в полицию заявить о своем открытии, а также произвести тщательный обыск, так как он подозревал здесь вооруженную засаду.

Двое агентов, приставленных к нам, очевидно, боясь оставаться в квартире, вышли во двор.

Я этим воспользовалась и запрятала Заксмана в отверстие, сделанное высоко в наружной стене нашей квартиры, эта стена выходила в темный коридор.

Через $\frac{3}{4}$ часа к дому подъехала грузовая машина с отрядом полиции, обыскали нашу квартиру и весь дом – не найдя никого и ничего, меня и мать на машине повезли в полицию. Отвели в подвал, где сидели арестованные. Через два часа вызвали нас на допрос. Набросились на меня с кулаками и площадной руганью: «Куда жида девала? Мы тебе покажем, как жидов прятать, ты будешь там, где все жиды». Я приготовилась ко всему, ко всяким пыткам вплоть до электрического стула, на котором так любили пытать озверелые палачи, особенно евреев, которые, спасаясь от фашистской расправы, отрекались от своей нации.

Не добившись от нас, куда девался Заксман, на третий день ареста нас отправили в военно-полевой суд (Курта Марциал, Канатная, 27).

Здесь разговаривали немного легче. После допроса меня спросили, хочу ли я что-либо добавить. Я ответила: «Прошу освободить мою мать, которая не виновата, а со мной делайте, что хотите».

После переговоров на румынском языке переводчик обратился к маме: «Мы вас временно освобождаем, вот вам записка, идите сейчас по адресу, указанному в записке, там вам скажут, но помните, вы должны об этом молчать».

Меня вместе с другими арестованными под конвоем отправили в тюрьму, несмотря на то, что моя виновность в укрывательстве еврея не была доказана как моими показаниями, так и свидетельскими показаниями дворовых жильцов.

Когда мама, выйдя из военно-полевого суда, явилась по указанному адресу – Канатный пер., № 5, ее

приняла женщина, которая назвала себя адвокатом военно-полевого суда Федоровой. Федорова в свою очередь учинила маме допрос, при этом заявила, что мама должна говорить всю правду: прятали ли еврея, и куда он девался? Записав мамины показания, она сказала, что это дело обойдется в две тысячи марок, она нам поможет в этом деле.

Первую тысячу она велела принести назавтра, якобы для того, чтобы начать хлопоты по нашему делу. Вторую тысячу марок Федорова разрешила внести через неделю частями по пятьсот марок, так как мама жаловалась, что ей очень тяжело давать такие деньги и в такой короткий срок, в запасе денег нет, нужно продавать вещи. И, кроме всего, Федорова велела маме приходиться к ней через день на допрос и всякий раз этими допросами выматывала душу. Запугивала, если у нас кого-либо обнаружат, мы будем осуждены.

Через месяц, т. е. 1 сентября 1942 года, меня выпустили из тюрьмы, но Федорова меня в покое не оставляла. Велела так же, как и маме, через день или два к ней являться на допрос. Она мне заявила: «Вы еще не свободны, ваше дело должен еще разбирать генерал, от него все зависит, вас могут еще осудить, тогда мы вам также поможем, возьмем румынского адвоката». В общем, это дело нам стоило еще тысячу марок.

Не прошло и двух недель, как нас снова арестовывают, отправляют на Бебеля, 13, в жандармерию. Здесь с нами расправились по-зверски: били ногами, о стену головой, железным прутом по голове. Моя тетя Левченко Софья Антоновна принесла нам еду, ее тоже побили ногами в живот так, что она недели две в постели лежала. Через два дня нас, избитых и измученных, освободили. Через месяц снова пришли за нами из полиции, но, допросив, освободили.

Несмотря на все эти пытки и переживания нам удалось спасти Заксмана и дожидаться наших дорогих освободителей и близкой нашему сердцу советской власти.

Спасение еврейской семьи из местечка Хиславичи Смоленской области

Письмо В. М. Сориной И. Г. Эренбургу

[416]

Дорогой товарищ Илья Эренбург!

Я прочитала Вашу книгу «Война», отзыва о ней я давать не буду, скажу только, что она заставила меня вновь пережить уже раз ужасно пережитое. Об этой книге я написала своему мужу на фронт. Он мне ответил, что не только читал Вашу книгу, но и познакомился с Вами в г. Вильно, и Вы интересовались историей моего спасения. Я хочу Вам изложить эту историю, и если она будет полезной крупницей в общий вклад борьбы против фашистов, я уже буду счастлива. Если же мой материал окажется непригодным для Вас в силу всяких обстоятельств, то прошу извинения. В этом, может быть, я не буду виновата, но намерения мои самые благородные. Я не писатель, и мне трудно изложить материал так, как это нужно, однако это дело поправимое. Для этого есть особые люди, и к ним я обращаюсь. Еще прошу извинения за почерк, я не умею красиво писать, отпечатать материал нигде, в районе не осталось ни одной пишущей машинки. И последнюю мою просьбу убедительно прошу исполнить. Годен или не годен будет мой материал, а ответ, пожалуйста, дайте. Пусть это будет горькая действительность, но она лучше, чем ожидание и неизвестность. Знаю, что Вы перегружены, но ответа жду. Желаю здоровья и долгой жизни.

В моем рассказе я очень многое упустила. Все это очень трудно описать. Рассказать было бы легче. Да и вообще не все можно записать, что можно устно передать. Мне трудно описать настроение,

переживания, отклики и так далее, что было бы для Вас важно. Может, что для Вас неясно, пишите мне, я постараюсь пояснить и пополнить, может быть, Вам сможет оказать какую-нибудь помощь мой брат.

Летом 1941 года началась страшная война с людоедами. Смоленск бомбили пять-шесть раз в сутки, во всех концах пылали пожары. Город поливается огнем сверху, дни и ночи проводятся в тревоге. 28 июня остаюсь без крова и я. Дом горит. Первый удар врагом нанесен. Где найти убежище и временный покой? Вспоминается старое, захолустное местечко Захарино Хиславического района. Там живет сестра моего мужа (моя золовка) Рася Миркович. Уезжаю с детьми туда. Муж остается в Смоленске и в случае чего обещает меня увезти. Но получилось совсем не так. 10 июля я получила от мужа телеграмму, он призван в Красную Армию. Через шесть дней, то есть 16 июля, в Хиславичи уже вошли немецкие войска. Люди уходили, бежали от урагана смерти. Я с горечью на них смотрела. У меня было трое деток в возрасте от года до восьми лет и триста рублей. Уговаривала я золовку, ее мужа Моисея (у них были все взрослые: была дочь Лиза двадцати лет и мальчик пятнадцати лет) уйти, но Моисей мне сказал: «Я со своего насиженного места никуда не пойду и никого не пушу, ты можешь уходить. Не может быть такого положения, чтобы немец стрелял всех евреев без разбора». Он был богат и авторитетен в местечке. Глядя на него, никто из Захарино не тронулся в путь. Несколько раз я собиралась уходить, но мне сразу представлялась картина, как я своих малюток теряю поодиночке на каждой станции. Вот я сажусь в вагон, не успеваю посадить всех детей, поезд трогается, и на перроне остается мой ребенок. Он плачет, а поезд меня увозит. При этой мысли я теряла силу и волю и решила умереть, но умирать вместе со своими детьми. Я хорошо знала, что остаюсь на смерть, потому что я еврейка, потому что мой муж коммунист.

В Захарино немцы вступили только 1 августа, началась черная ночь. В этот же день я поняла, что значит немецкая плетка. Ко мне подошел громадный немец и потребовал: «Яйки». Я ему ответила, что яиц нет, его зверское лицо налилось кровью, и он ударил меня нагайкой. Во мне кипело негодование, но я была бессильна, я, маленькая женщина с ребенком на руках, стояла против здорового, вооруженного солдата-зверя и молчала.

Немцы отдыхали, били кур, уток, гусей, брали все, что нравилось, но население не трогали. Они только потешались. Найдут самых старых, бессильных евреев и заставят их таскать воду из колодца и здесь же ее выливают. Так продолжается потеха несколько часов, и фрицы наслаждаются. К тому же они совсем не по-человечески кричат: «Юд капут! Аллес капут!»[417] Через месяц часть ушла на фронт на Десну, и в Захарино стало тише, но это было страшное затишье перед большой грозой. Частенько приезжали немцы из Хиславичей, они тоже забавлялись, ходили по улицам и стреляли в окна, в двери, в людей, в детей, в кого попало. Так в один день они убили девушку восемнадцати лет, девочку восьми лет и двух мужчин (разговор идет о евреях). Насытившись вдоволь, довольные своей «работой», они уезжали и вновь приезжали, изобретая все новые и новые потехи. Вот они запрягли дряхлого старика в телегу, уселись два толстых немца и стали погонять, они его били нагайками, гнали вдоль местечка. Бедняга напрягал все силы, глаза налились кровью, жилы на лбу, на шее и во всем теле вздулись, казалось, вот они лопнут и брызнет кровь, но немцы любят человеческую кровь, и они его гнали в другой конец местечка. Там стояла старая ракета. «Потеха» кончилась тем, что несчастного повесили на ракете, и муки его кончились. Жить было тяжело, и умирать не хотелось. И я решила попытать счастья. У меня была няня Катя, прожила она у меня лет восемь. Она

Хиславического района; в двадцати километрах от Захарино в деревне Пыковке жили ее старенькая мать и сестра. Катя пошла к ним. Она приходила ко мне и говорила, что в трудную минуту не оставит меня, и я решила уйти к ней. Приятели мне дали «путевку в жизнь», они написали свидетельство о рождении, скрепили печатью Захаринского сельсовета, дату выдачи отодвинули на несколько лет назад (1939). Стала я Соколовой Верой, православной веры. С этим свидетельством и детьми я ушла в Пыковку к Кате.

Деревня заговорила, пошли толки и разговоры, откуда, мол, и какая. Я слушала, молчала и усердно работала. В это время убирала с поля картофель. Положение было напряженное, ездили карательные отряды, заходили в каждую избу и искали евреев и красноармейцев. Каждый раз мы боялись того, что кто-нибудь из соседей укажет на нас, и тогда смерть всем. Но деревня только толковала, но не выдавала. Шли дни, полевые работы уже давно закончились, я ждала прихода красных, но они не шли. Настала зима. К моему несчастью, брат Кати стал полицейским (он жил отдельно, был женат). Стал он у населения брать скот, шубы, шерсть. Обиженные крестьяне заговорили, что долго они его терпеть не будут и выдадут немецким властям, так как скрывают жидовку (точно не знали деревенцы, кто я, но предполагали и догадывались). Дошли до меня эти разговоры, и я решила скрыться на некоторое время. Еду в Захарино, с собой взяла двух девочек, сына Диму оставила у Кати. Это было в начале февраля 1942 года. Въехала я в местечко, все евреи были на улице с лопатами, они расчищали дорогу. Когда они меня увидели, подошли, заплакали – это были не люди, а человеческие тени. Среди них были новые люди, бежавшие из Белоруссии (Витебска, Минска, Мстиславля). Им удалось уйти из-под пули, они были свидетелями массового расстрела стариков, женщин и детей. Они рассказывали, что в Мстиславле детей совсем не стреляли, их закапывали живьем; свежий курган колыхался, и из него слышны были стоны. Над местечком витала смерть, но еще не приходила. Захаринцы ждали, но очередь до них еще не дошла. Немцы убивали по плану и с расчетом. Приезжали жандармы и их приспешники, делали обыски, насиловали девушек, искали добро, били, увозили мужчин группами неизвестно куда и для чего. Несколько недель спустя после моего приезда в Захарино ранним февральским утром появился большой карательный отряд. Евреев всех согнали в один дом и приказали им выселяться из своих домов в несколько хат, специально отведенных для них. В это время уже был создан целый обоз и грузили все из еврейских домов: перины, подушки, одежду, обувь, посуду. Грузили все, что можно было сдвинуть с места.

Я залезла на чердак своего дома и наблюдала за всем происходящим. И у меня в это время встал вопрос, как уйти и куда уйти? После того как скарб из нашего дома выгрузили и обоз пошел дальше, я заскочила в дом, схватила своих девочек и пошла. Хотелось мне попасть в деревушку, которая находилась в полутора километрах от Захарино, но я сбилась с пути. Была метель, пурга, мороз, я топла в сугробах и зашла на кладбище. Маленькую Инночку я несу на руках, а старшая Кларочка тянется за мной. Пальтишко на ней худое, рукава порваны и коротки, своими тоненькими, голыми ручонками она держит буханку хлеба. В сугробах мы топнем, я роняю своего ребенка, подхватываю его вновь и иду дальше, будто на кладбище я найду спасение. Выбились из сил, нашли пенек и сели. Смотрю на Кларочку. Крупные слезы застывают у нее на щеках, она плачет, ей холодно, руки ее посинели. Она хочет бросить хлеб, но я ей не разрешаю. Осматриваюсь, кругом смерть. Куда идти? Мелькает мысль остаться на месте и уснуть вечным сном. Слышу плач детей, подхватываюсь и иду к деревушке. Спустилась с горы и увидела маленькую баню. Как я ей обрадовалась! Зашла, мокро, но

не замерзло еще, видно, недавно топили. Посадила Кларочку, ей на руки дала Инну, а сама побежала в деревню проситься, может, кто пустит обогреть несчастных детей. Обошла изб пять, но никто не пускает, а уже надвигается вечер. Меня охватило отчаяние, я металась от избы к избе, как затравленная, но наконец нашлась женщина, у которой было четверо детей, она сжалилась надо мной и разрешила мне принести своих детей. К бане я не шла, меня несла какая-то сила. Дети согрелись и спокойно спали. Я никак не могла успокоиться, меня не покидала мысль, что делать дальше? Так прошло два дня. Печь была занавешена, и мы были скрыты от посторонних людей. Между тем золовка узнала, где я, и пришла ко мне. Она мне сказала: «Пойдем в лагерь, что Бог даст, то и будет». Я молчала. Сердце мое сжалось от боли, вспомнила я своего ребенка, которого я бросила у чужих, представилось мне, как его будут мучить, он будет звать маму, а я его бросила. Какая же я мать? И я ответила: «Умереть я успею, буду бороться за жизнь, попытаюсь спасти детей». И я решила ехать опять в Пыковку. Наняла некоего Филиппа, алкоголика на одной ноге. Была метель, мороз трещал, но мы поехали. Скоро лошадь выбилась из сил и встала. Извозчик мой проклинал все на свете и меня. Затем он стал среди поля и грубо сказал: «Слезай, жидовка, больше не повезу, замерзай здесь со своими жиденятами». Я его молила, просила, и мольбы мои, видно, запали в его душу, и мы поехали. Поздно вечером, прозябшие, мы приехали в деревню. Сестра Кати Прасковья и ее мать не ждали моего приезда и были очень недовольны. Катя молчала, она чувствовала безвыходность моего положения и жалела меня и детей. Гостем я была незваным, всем я пренебрегла и терпела. Старуха точила: «Не клади, не сиди, не ешь, не шуми». Одним словом, ей тесно. «Уходите, жида, из моей хаты». Жить стало невмоготу, нужно было опять искать, опять придумывать. Тогда я взяла свое свидетельство о рождении и пошла к старосте деревни. Это был старик шестидесяти лет, седой, но еще крепкий. Дети и взрослые звали его дядькой Ривоном (настоящее имя его Илларион). На успех я не рассчитывала, но что я теряла? Я к нему обратилась с такой речью: «Вы православный человек и не должны дать погибнуть четырём невинным душам. У меня муж еврей, сама я русская, но все документы у меня на его фамилию. Жить по этим документам мне нельзя, а поэтому я их уничтожила. Сохранилось у меня свидетельство о рождении, и вот прошу вас дать мне удостоверение личности и справку о том, что я беженка из г. Смоленска. Теперь моя жизнь в ваших руках. Вы можете меня погубить, вы можете меня спасти». Старик обещал написать, но не решался. Он боялся. Был у него сын Егор 1913 года рождения, финансовый работник. И вот как-то я к ним пришла и застала их обоих. Я повторила свою просьбу. Егор выслушал и сказал: «Надо написать». И это решило дело. У меня появилось удостоверение личности и справка о том, что я беженка. Выданы они мне были на предмет представления в школьный отдел. Эти документы дали мне возможность спрятать свое свидетельство о рождении, которое имело тот порок, что имело печать Захарина, и это могло меня выдать, ведь меня там все знали, инкогнито могли раскрыть.

Начальником школьного отдела был бывший преподаватель немецкого языка средней школы поселка Хиславичи по фамилии Ржецкий. Это был человек пятидесяти лет, высокий, стройный, по внешнему виду ему можно было дать лет сорок; он выходец из духовенства, был образован, знал языки: немецкий, английский, еврейский. До войны был репрессирован по линии НКВД. Ясно, что он ненавидел советскую власть, но смог хорошо маскироваться и имел среди населения хороший авторитет. Но когда пришли немцы, он свободно вздохнул, сразу же стал переводчиком у немецкого коменданта, а затем стал во главе школьного образования. Он открыл школы в районе и заставил

всех учителей работать. Все учителя были взяты на учет, между тем меня из хаты хозяева гнали, и я решила пойти к Ржецкому. Я его знала хорошо когда-то, и он меня знал, но я не собиралась перед ним открываться, а хотела получить квартиру и хлеб по своим новым документам. В начале марта 1942 года я пошла в Хиславичи в школьный отдел, на себя я не была похожа. Была я одета и обута в лаптях, в длинной шубе, в большом платке, повязанном так, что видны были только глаза.

Мартовское солнце светило, снег искрился, перед глазами носились круги различных форм и цветов. Был мороз, но уже пахло весной. С жизнью не хотелось расставаться, а гарантии у меня на нее не было никакой. Ржецкому я рассказала, что я учительница-беженка, что мне негде жить и что у меня нет никаких средств к существованию. При этом я ему показала свои документы, недавно полученные от старосты. Он поверил моим словам и написал мне разрешение перейти жить в школьное здание, школа была в деревне Пыковке, она стояла на пригорке несколько в стороне от деревни. Это было прекрасное новое здание, выстроенное только в 1938 году. Оно состояло из десяти комнат и большого коридора. Там же были и квартиры для учителей. Немцы там похозяйничали: они сожгли книги, карты, ценные учебные пособия. Стекла были все разбиты, остались только стены да парты. В классе и коридоре намело сугробы снега по колено. Всюду пахло запустением, но для меня она была приветливым углом. Я избрала комнату, окна забила досками, из досок смастерила нары и стол, перенесла туда своих детей и вздохнула свободнее. С переходом в школу я выиграла многое. Во-первых, я была вдали от людей и не напоминала им о своем существовании; во-вторых, я облегчила жизнь Кате и ее семье, я сняла с них ответственность за сокрытие таких «опасных людей», как я и мои дети; в-третьих, я избавилась от ежедневных и ежечасных порций брани и упреков старухи, которая способна была высосать последние силы своим ворчанием. Ко мне никто не приходил, и я редко появлялась в деревне. Мы страшно страдали от холода. Зима свирепствовала, наметала сугробы выше окон, по комнате гулял ветер, и в щели набивался снег, дров не было, обогреться негде и нечем, и дети плачут. Я их укладываю плотно друг к другу, сама ложусь рядом и стараюсь согреть их теплом своего тела. День я проводила в тревоге, боялась, чтобы кто-нибудь не заявил обо мне. Частенько поглядывала в окно, не идет ли кто. С наступлением ночи я становилась смелей. Дети засыпали. За окном метель, пурга завывает. Ветер носится по классам и коридору, стучит оторванными рамами, досками, будто целый хоровод чертей и бесов справляет свадьбу. Я не сплю, но и не боюсь, я боялась только людей, а ночью они ко мне прийти не могли, ночью я обдумываю все планы и варианты дальнейшего спасения. Под покровом ночи я была спокойна.

21 марта в школу пришел учитель из Хиславичей, я спросила у него, что нового, и он мне ответил: «Нового? Вчера постреляли всех евреев в поселке». У меня закружилась голова, в глазах стало темно, слезы подступили к горлу, я готова была разрыдаться. Учитель посмотрел на меня внимательно, и мне показалось, что он пытался что-то прочесть на моем лице. У меня мелькнула мысль, что я сейчас выдам себя своим поведением. Я заставила себя успокоиться. Беседа наша продолжалась недолго, и он ушел. Через несколько дней я пошла в Хиславичи. То, что я слышала и что я видела там, никогда не вычеркнуть из моей памяти – не забуду, и проклят пусть будет тот, кто эту кровь врагу простит! 20 марта был сильный мороз. Несчастные жили на окраине поселка над большим рвом. Гетто было огорожено забором и проволокой. Никто не имел права оттуда выходить и туда входить. Часто к лагерю подъезжали немцы и полицейские, вновь перетрясывали скарб и

искали, искали добро. Потом они добирались до молодых девушек и даже до детей. Им, извергам, не страшно было замучить близнецов-девочек на глазах у родителей, девочкам едва исполнилось по пятнадцать лет. И вот однажды они согнали всех подростков в сарай и били их плетками, били до тех пор, пока их тела покрылись красно-синими рубцами. Мужчины были все уведены и расстреляны. Оставались женщины, дети и дряхлые старики. 20 марта на рассвете полицейские по приказанию коменданта и начальника района Шаванды оцепили лагерь. Им было строго приказано из лагеря никого не выпускать, в бегущих стрелять. Они, эти изверги, стояли с оружием наготове против беззащитных женщин и детей. Другая группа полицейских пошла выгонять обреченных, им не дали одеться, их гнали в ров босых и голых. Матери несли малюток, прижимали их к груди, они громко рыдали. На снегу оставались отпечатки детских ног разных возрастов. Их гнали, толкали, наконец раздались выстрелы. Женщины обнимали своих детей и падали, дети кричали над умирающими матерями и тоже падали. Вот мать где-то потеряла своего ребенка, она совсем забыла, что ее сейчас расстреляют, она ищет его, находит, обнимает, целует, и в этот момент подскакивает полицейский, вонзает штык в ребенка и подымает в воздух, мать бросается на штык, она разделяет участь своего ребенка.

Несколько часов, и на улице и во рву уже тихо. На снегу лужи крови, всюду валяются трупы. Больных, лежавших в постели, расстреляли на месте. «Работа» закончена, все углы обысканы, не остался ли еще кто-то в живых. Затем стали подгонять подводы для увоза оставшегося скарба: перин, подушек, одежды и утвари. Лучшее отбирали себе начальники и полицейские и сразу же везли домой. Худшее, окровавленное – в склад магазина. Потом налетали кумы, сваты полицейских и в драке, скандалах разбирали оставшиеся тряпки. Трупы все валялись, их оставили для созерцания. Дней через пять свезли около тысячи трупов женщин и детей в ров и немного прикопали. Под покровом темноты единицам удалось уйти, они бежали в Захарино и принесли туда эту весть. Через полтора месяца точно так же было уничтожено около пятисот человек в местечке Захарино. В деревнях, в лесах скрывались еще некоторые евреи. Началась погоня за ними. Убийство еврея стало доходной статьей. За каждого найденного и расстрелянного полицейский получал тряпки с убитого и от коменданта несколько пачек махорки. И они работали усердно. Искали на чердаках, в банях, в погребах, находили и везли на показ коменданту, а потом в ров. Полицейский Кунделев рассказывал о своих похождениях и успехах уже перед лицом советского суда. Совершенно спокойно он говорил: Однажды мне удалось поймать двух женщин – молодую и старую. У молодой был грудной мальчик и мальчик лет десяти. Я им приказал садиться в сани, они сели, и я погнал коня прямо в ров. Десятилетний мальчик просил меня: «Дяденька, не стреляй меня, я буду тебе сапоги чистить, за конем ухаживать, корзинки плести. Дяденька, я умею хорошо корзинки плести, не убивай меня». Я молчал. Старая женщина плакала, а молодая продолжала молчать. Я остановил коня и приказал им слезть и идти, молодая поднялась и сказала: «Стреляй только сразу, ты уже научился хорошо стрелять». Они все пошли... и я их убил.

Так закончил этот рассказ убийца невинных женщин и детей. Хотелось на него наброситься и задушить, и было мерзко на него смотреть. Таковы они были все.

Захаринские родственники мои еще были живы. Они скрывались. Полицейские их очень искали. Лизу долго прятали, ее никак не могли найти. Однажды полицейские устроили обыск по всем хатам. В это время Лизу зарыли в воз с соломой и свезли на бывший колхозный скотный двор. Но здесь кто-

то донес. Бросились полицейские на скотный двор. Перепороли штыками всю солому, но до Лизы не добрались. Так ни с чем и ушли. Кроме всего этого, Лиза переживала личную трагедию, она связала свою жизнь с одним человеком, рассчитывая на то, что замужество спасет ее от смерти. Родители и сестры его жили в Захарино, он сам до войны жил в Донбассе, имел жену и ребенка. Был призван в армию, бросил оружие и пришел на родину. Его звали Матвей, он клялся, что ее не бросит. Родители Лизы молчали, они чувствовали, что этот брак их дочь не спасет. Лиза стала беременна, мать заставляет делать аборт. У какой-то тетки в самых грязных условиях делается операция. Лиза страшно страдает, истекает кровью, но она молода и остается живой, выздоравливает и предлагает Матвею уйти в партизанский отряд, но Матвей отказывается, тогда Лиза уходит неизвестно куда, а Матвей женится на дочери старосты и переходит жить в дом Лизы. Они находят спрятанное добро и спокойно живут. Через некоторое время поймали Моисея и Расю (родителей Лизы). Моисея сразу расстреляли, а Расю связали по рукам и ногам и закрыли в амбар. Полицейские хотели ее пытать, но Рася их не ждала, она развязалась, и, когда утром открыли амбар, то увидели труп, висящий на балке. Где-то еще оставался мальчик Гиля, он не ждал, пока его найдут, сам пришел к полицейским и сказал: «Ну что ж, вы убили мать и отца, убейте и меня тоже, только похороните рядом с родителями». И последнюю просьбу эти звери не хотели исполнить, они его отправили в другую деревню, и через некоторое время знакомые крестьяне нашли его труп. Он лежал совершенно голый, около валялись мозг и кости черепа, разрывная пуля попала в голову.

Дальнейшая судьба Лизы мне неизвестна, никто не знает, где она делась и что с ней. Для меня ясно одно, если бы она была жива, она пришла бы на родину.

Между тем жизнь в районе как будто бы текла своим чередом, проходила паспортизация. Многие без всякого зазрения совести меняли советские паспорта на немецкие. Другие просто не вызывали никаких сомнений и подозрений и получали паспорта легко и просто. Мне же этот вопрос было решить очень трудно. Все должны были иметь паспорта, а получить паспорт я могла при помощи старшины волости. План был мной обдуман, и я надеялась на золотые крышки от часов, которые у меня еще оставались. Это было все, что у меня осталось из всего мною нажитого за десять лет замужества. Я эти крышки «подарила» старшине волости и изложила свою просьбу. Расчет был верный. Человек не устоял против блеска благородного металла. Я получила паспорт, вернее, сам староста получил его и принес мне. В душе я часто смеялась над «бдительными» слугами рыжих фрицев. Все эти документы гарантировали больше всего жизнь мне, но в меньшей мере детям, так как они похожи на еврейских детей, особенно сын Дима. Он весь в отца – черненький, с большими темно-карими выразительными глазами, чуть утолщенной нижней губой, вьющимися волосами, разговорчивый, охотно вступает в разговор и охотно отвечает на вопросы. У него легко было узнать всю правду. Я приняла различные меры предупреждения всяких казусов. Для этого периода мною была придумана особая система воспитания и поведения. Вечером начинались «уроки». Я говорила: «Запомните, дети, мы евреи, и за это нас должны расстрелять. Если нас возьмут полицейские, то они вас будут допрашивать. Они вам будут говорить, что вы евреи, что якобы мама уже созналась. Сначала они будут вас уговаривать, а потом бить, больно бить, но вы твердите одно, что вы русские. Если же вы сознаетесь, вас всех расстреляют». Как тяжело мне было, матери, быть в роли такой «учительницы». Дети меня слушали, их лица выражали напряжение детского ума и страдания. В конце концов они засыпали, а мне на ум приходили страшные мысли. Вдруг за ними придут, что

тогда делать? Как тогда быть? Тогда я рассуждала так: «Девочки мало похожи на евреев, нужно хоть их спасти, а Диму?.. Диму отдать, отдать моего сына на расстрел, потому что он имел отца еврея! Дать санкцию на убийство своего ребенка, зато спасти двух других, объясняя, что их отец русский». При мысли этой я была близка к сумасшествию и плакала, мое сердце готово было разорваться. Я думала, а смогу ли я после этого жить? И решила, слишком велико испытание, слишком велика цена, если погибать, то всем вместе. Два с лишним года мои дети не знали, что такое смех. Старшая Кларочка (она 1934 года рождения января месяца) понимала эту трагедию, она говорила очень мало и вела себя, как взрослая, но ночью нервы ее не выдерживали. Бывало, соскочит с постели, подбежит к окну, от окна ко мне, ее глаза полны ужаса, вся трясется и говорит: «Ой, мамочка, полицейские едут на велосипедах, мамочка, спрячь меня, вот они уже подъехали к школе! Стреляют, стреляют!» Девочка не находит себе места. Я беру ее на руки, крепко держу и стараюсь привести в сознание. С трудом она приходит в себя, вся потная, бледная ложится в постель и засыпает, что ей снилось, она никогда не могла рассказать. Любопытные бабы пытались что-нибудь узнать у детей. У Кларочки в мое отсутствие спрашивали такие вопросы: «А как звали твоего братишку до войны? А как звали твоего папу в Смоленске?» Кларочка всегда находила нужный ответ. Два года дети не снимали с головы платочки, они знали, что нельзя показывать свои вьющиеся головки. При появлении чужих, подозрительных людей Дима знал свое место. Он лежал лицом к стене, «больной». Нельзя было показывать свое «подозрительное лицо». И он это хорошо знал.

В деревне свирепствовал тиф, меня звали к больным, и я оказывала им посильную помощь: ставила банки, клизмы, измеряла температуру и т. д.

Женщины звали меня к больным детям, я помогала им советами, помогала всем, чем могла.

Подозрительное и недружелюбное отношение ко мне сменилось отношением сочувственным, меня стали уважать. Обо мне говорило как о трудолюбивой, доброй и полезной женщине местное население, а их мнение было важно для меня, ибо в их руках была моя жизнь. Стоило им высказать предположение, и все было бы проиграно. Появилась у меня и приятельница, с которой мы познакомились довольно странно. Однажды пришла ко мне старушка и отрекомендовалась учительницей этой школы, в которой я находилась. Она мне сказала прямо: «Я пришла узнать, кто вы, так как о вас ходят слухи, что вы еврейка». Она меня поразила, но и понравилась своей прямоотой. На лице ее лежало добродушие и располагало к себе. Я ей ответила, что в этих слухах есть доля правды, что сама я настоящая русская (при этом показала ей свидетельство о рождении), но муж у меня был еврей. Я ей еще сказала, что доверила ей самое дорогое – жизнь детей. Она меня успокоила и через некоторое время ушла от меня (ее звали Ксенией Федоровной) в полной уверенности, что я русская, а это было важно. Впоследствии она среди населения рассеивала мнение, что я еврейка. Всем она доказывала, что сама читала мои документы. Кроме этого, Ксения Федоровна всегда мне рассказывала, какие ходят слухи обо мне, как кто ко мне относится. Слухи эти мне портили настроение, но зато я знала, как кто ко мне относится, и знала, как с ними разговаривать. Она была звеном, связывающим меня с внешним миром. Настал сентябрь-октябрь 1942 года. Пришел приказ об открытии школы. Передо мной стал вопрос: или работать, или погибнуть. Ради спасения детей я решила работать. Коллектив учителей подобрался почти из одних беженцев, молодых людей, настроенных работать спустя рукава, лишь бы скрыться от Германии и полиции. Работали по советской программе и советским учебникам. Несколько месяцев спустя из

школьного отдела пришел приказ изъять из программы и не проходить материал политического содержания, клеить в учебниках вождей. Я, Ксения Федоровна и еще две учительницы-комсомолки не выполнили приказ. К счастью, нас никто не проверил, и все прошло благополучно. Школа была открыта для видимости. В моей комнате была учительская, часто собирались после занятий учителя у меня, вместе пели свои советские песни, читали листовки. Ксения Федоровна часто ночевала у меня, вместе мы мечтали и ждали. С нетерпением ждали прихода Красной Армии. Читали мы иногда и немецкую брехню. В Смоленске выпускалась газета, по ее противоречивым сводкам мы судили об истинном положении вещей, мы научились читать между строк. Помню статью под заглавием «Шестая армия возрождается вновь», в ней писалось, что немецкая армия непобедима, но для нас стало ясно, что эта самая Шестая армия была разбита под Сталинградом. Кроме того, до нас доходили слухи, что Красная Армия одерживает крупные победы.

Время шло. Весна прошла в хозяйственных работах и мечтах. Настала осень. Красная Армия приближалась к нам. В сентябре 1943 года через все дороги шли немецкие войска, они отступали. Шла власовская армия, вместе с ней уходили немецкие приспешники, они гнали скот, везли награбленное добро. Часть солдат немецких расположились в Пыковке, они выгнали все население из хат и сами там поселились. Они бесчинствовали. Молодежь попряталась, старые и малые находились во рвах, кустах. Я из школы ушла тоже в ров. Немцы не скрывали, что они отступали. Мы знали, что через несколько дней придут наши. Боялась я одного, что наши придут, а нас не будет, нас погонят в рабство, но, к счастью, немцы не успели все население угнать. 26 сентября было заметно большое смятение среди немецких солдат. К вечеру они отобрали почти всех лошадей, коров у населения и были в полной готовности к отступлению. Из рва было очень удобно наблюдать за происходящим. Скоро загорелась школа и избы со всех концов деревни. Глянула, кругом горело. Они, мерзавцы, сделали свое дело и ушли. В час ночи я слышала последнюю команду немецкого офицера, стало тихо. Мне казалось, что земля свободно вздохнула, что воздух стал так чист и приятен, что кругом все такое торжественное, русское. В пять часов утра 27 сентября я встретила первого сапера своей родной армии. От счастья я плакала, мне казалось, что это сон, я бегала, как безумная, разговаривала с бойцами, угощала их молоком, салом, яйцами. Я стояла на дороге и любовалась русской армией, своей родной и любимой.

Я родилась вновь.

(Мне удалось найти машинистку и напечатать этот материал. Правда, машинистка довольно безграмотная. Трудно даже исправлять ошибки. Прошу ее простить и на ошибки не обращать внимания.)

Еврей-военнопленные

Глуховский лагерь

Воспоминания М. Ю. Кофмана

Накануне

[419]

7 ноября 1941 года утром мы, как обычно, проснулись, когда в окнах палаты показался голубой рассвет наступавшего дня. Нас лежало одиннадцать человек в третьей палате. Помню товарищей: Русалкин, Кравченко, Черченко-капитан, Дудаев, Гаврилов, Сбитнев, Рустаков, Семибратов, я и еще двое, фамилии коих забыл. Кое-кто вставал по своим нуждам, одни закуривали, другие потягивались,

кряхтя и охая от сна. Тов. Черченко, потягиваясь от сна и присев на кровати, обратился ко всем: «Товарищи, поздравляю вас с годовщиной Великой Октябрьской революции, желаю вам будущую годовщину встретить среди своих близких в свободной от фашистских наемников России».

Несколько ответных голосов благодарности и взаимного поздравления с пожеланиями внесли оживление в палату. Вскоре из соседней палаты вошли к нам поправившиеся и самостоятельно передвигавшиеся товарищи Рассадин Виктор Михайлович, штурман авиации, раненный в обе ноги при сбитии его самолета, лейтенант Винокуров из Горького, инженер-дорожник Попандопуло Александр из Тбилиси и доктор Кочетков, раненный в глаз. К нашей палате тяготели все развитые и советски-патриотически настроенные товарищи, причиной тому было присутствие в палате капитана Черченко, как старшего по званию, и меня, к которому большинство товарищей обращалось за разрешением различных вопросов из всех областей науки, политики и литературы. Я первый возбудил перед сестрами и прочим медперсоналом вопрос о снабжении нас какой угодно литературой и шахматами. И то, и другое, благодаря очень чуткому и горячему отношению сестер к раненым, к тому же еще военнопленным, было предоставлено. Мы попеременно занимались и чтением, и игрой в шахматы. Когда требовался отдых от игр и чтения, мы садились обсуждать все волнующие нас вопросы, связанные с войной, и больше всего тяготившее нас состояние пленения. Среди нас находились типы антисоветски настроенных людей. Отличался своими гнусными и клеветническими выпадами Гаврилов Алексей из Ворошиловограда, 1908 года рождения. Черченко и Кочетков давали внушительные отповеди и осаживали его при единогласном одобрении всей палаты. Эти перепалки продолжались несколько дней подряд после того, как мы были перевезены из сел в Кролевецкую больницу. Не находя поддержки среди остальной массы раненых, Гаврилов стих и начал поддаваться под общий тон настроения всех остальных товарищей. 8 ноября утром я первый проснулся и, встав с постели, видел в окне стоявшего во дворе немецкого солдата в каске, вооруженного и прохаживающегося у выхода больницы. Я немедленно сообщил об этом проснувшимся товарищам, ибо сразу почувствовал что-то недоброе. Из окна начали наблюдать раненые. Вошедшие сестры передали, что пришли из комендатуры немцы и будут отбирать выздоровевших и ходячих военнопленных в лагерь. Среди раненых началась паника и суетня. Вошел врач, также военнопленный, товарищ Нежебицкий Лев Николаевич из Пятигорска, и приказал всем приготовиться и быть одетыми. Через полчаса действительно показались немцы. Группа, человек пять офицеров, среди них один, свободно говоривший по-русски, в сопровождении нескольких вооруженных солдат вошли к нам в палату. Тов. Нежебицкий сопровождал их, записывал анкетные данные и определял диагноз и степень состояния раненых. В его определениях чувствовалось намерение отстоять раненых от отправки их в лагерь. За время нахождения в больнице с 15.9.[41] мы от навещавших нас граждан и крестьян знали об ужасах, свирепствующих в ближайшем от Кролевец Конотопском лагере. Женщины, посещавшие лагерь в надежде найти своих родных и близких, в ужасе передавали о виденных ими картинах гибели военнопленных от истязаний, голода и расстрелов. Я числился в списках больничной книги русским и на случай обнаружения из-за обряда обрезания, что я не христианин, я записался родом из Феодосии, дабы в случае возникновения вопроса, упираться, что отец являлся крымским татаринном, мать же происходила из итальянцев. Но ни отец, ни мать меня не воспитали, а отдали на воспитание русской женщине, в семье которой я воспитывался и вырос. В свое время, в 1921–1924 годах, я, после демобилизации из Красной Армии

по окончании Гражданской войны, работал в портовой таможне. По роду деятельности мне пришлось бывать на всех иностранных судах, где я проводил большую часть рабочего времени, вплоть до того, что в порядке надзора сопровождал эти пароходы по нашему внутричерноморскому побережью. Это дало мне возможность узнать и изучить нрав, быт и терминологию моряков. В графе «специальность» я при этом вопросе непринужденно отвечал: «Пишите – корабельный смотритель, либо лоцман, а то и просто моряк». В часы безделья, лежа на койках, каждый раненый привлекал внимание остальных рассказами о своей жизни, больше всего историями, связанными с работой до войны. Когда мне приходилось занимать товарищей разговорами, я полностью поглощал их внимание рассказами о морской жизни на кораблях и о фантастических путешествиях моих по иностранным портам. Рассказывал о Стамбуле, Марселе, Ливерпуле, где я в жизни не бывал, однако все эти истории о портах и плаваниях, знакомые мне по литературе, сослужили мне службу. Благодаря чистому выговору, чем я действительно обязан своей няне Авдотье Тимофеевне Лаухиной, которая жила с нами со дня моего рождения до моего двадцатидвухлетнего возраста, которую я же и похоронил, никто не заподозрил бы, что я по национальности еврей. Употребление в разговоре таких слов, как «давече, надьсь, енто, нынче, то бишь» и т. д., исключало всякое сомнение в моей национальности. Совокупность всех этих данных, как-то: специальность, в которой евреев почти не привыкли встречать, чистая русская речь и резко изменившаяся внешность из-за ранения и похудания, давали мне возможность скрывать свою национальность, в особенности перед простой массой. Часто я замечал остановившийся на мне чей-то долгий, продолжительный взгляд более пытливых людей, сомневающихся, стоит ли перед ними русский человек. В таких случаях я действовал, выражаясь образно, ва-банк. Я не отворачивался, чтобы скрыться, а сразу непринужденно обращался к такому лицу, упорно задавая ему вопросы с какой-либо просьбой о табаке, книге, бумаге и прочем. При этом я старался такого человека задерживать разговором, пока не убеждался, что рассеял все его сомнения. Это был, безусловно, правильный путь, ибо впоследствии я был свидетелем гибели многих евреев-военнопленных вследствие того, что они себя выдавали своей робостью при первом пытливом взгляде. В особенности много раз это имело место в Славутском лагере, где свирепствовал прозванный всем лагерем «отцом евреев» знаменитый палач Митрофанский. Но об этом дальше.

Когда доктор Нежебицкий в сопровождении немцев подошел ко мне, я заранее знал, что меня ему не удастся отстоять, ибо прошедшие осмотр до меня раненые, в равном со мной состоянии здоровья, оказались занесенными в списки подлежащих к отправке в лагерь. При внесении меня в список при вопросе «национальность» я почувствовал, что кровь ударила мне в голову, сердце учащенно забило, однако я мгновенно собрался с мыслями, напряг все свои нервы и ответил как бы небрежно: «русский». Не знаю, передалось ли мое краткое волнение по каким-то неведомым мне путям, либо во внешности моей заметно было это, но неожиданно при абсолютной тишине во всей палате ко мне обращается один из эсэсовцев на чистом русском языке: «Вы правду говорите, что вы русский?» Миг я почувствовал, что я погибаю. Еще один миг, и я стараюсь усмехнуться. С улыбающимся лицом я отвечаю: «Я не лгу, спросите товарищей». Эсэсовец, не сводя с меня глаз, произносит как бы нравоучительно: «Нехорошо, если вы обманываете». Неожиданно тов. Нежебицкий, держа в руках список и карандаш, обращается к эсэсовцу: «Он происходит от отца татарина и матери итальянки, но воспитывался у русских». В течение трех-четырех минут, пока

происходил весь этот разговор, я служил центром внимания всех присутствующих у нас в палате: немцев, раненых и персонала. Немцы любопытствовали причиной задержки на мне внимания эсэсовца, и я из ответа его им понял, что он ответил им о моем полуитальянском происхождении. Они самодовольно улыбнулись, мол, чуть ли не союзник их по оружию. Меня записали в список отправляемых в лагерь.

Комиссия пошла дальше. В соседней палате находился Абрам Маркович Бекер, еврей из Одессы, проживал с семьей из жены и двух детей по улице Свердлова, 43, ранен был в правое плечо, рука висела, как плеть. За исключением двух-трех человек, среди коих был описанный выше Гаврилов, все относились к нему с особым вниманием, именно потому, что чувствовали его обреченность. Сам он был исключительно безобидным существом. По специальности слесарь, работал в ремесленной школе, благодаря ярко выраженной внешности и акценту не скрывал свою национальность, держался всегда уединенно, ни с кем не общался, изредка обращался ко мне либо к капитану Черченко Леонтию Кузьмичу, 1902 года рождения из Мелитополя, раненному в обе ноги. Обращался он к нам с просьбой о соли, хлебе, луке, либо повлиять на парикмахера, тоже из раненых, о бритве и стрижке его, ибо тот не всех соглашался брить, а еврея тем более. Парикмахером был у нас Дунаев Давыд Яковлевич из Дагестана, парень неплохой, однако успел заразиться ядом неприязненности к еврею. Помню, как товарищ Черченко обратился к нему: «Давыд, будь же советским человеком, побрей Бекера». Дунаев отделался каким-то незначительным ответом, однако через час Бекер был побрит и пострижен. Медперсонал же, особенно в лице врачей Виктора Федоровича Зелинского, Л. Н. Нежебицкого, Варвары Никифоровны Пивоваровой, медсестер Марии Александровны и Марии Алексеевны, а также санитарки Клавы, относился в Бекеру особенно тепло и чутко. Возможно, здесь имело место чувство жалости как к человеку обреченному, казнь которого ожидалась со дня на день. В больницу дошли уже слухи об ужасах уничтожения в Киеве в течение одного дня не то сорока, не то шестидесяти тысяч евреев. В Кролевцах как-то, прогуливаясь по улицам города с товарищами Черченко и Науменко, я прочел объявления, расклеенные на заборах, в коих, за подписью начальника полиции Серединина, приказывалось всем евреям зарегистрироваться до 15 октября. На улице мне попались навстречу трое евреев с нарукавными отличиями, прохожие с любопытством, а многие с улыбками и шутливыми замечаниями провожали их по всему пути. На одном из оживленных перекрестков группа молодых подвыпивших парней в обществе двух-трех с винтовками и нарукавными знаками Р, т. е. «полицай», остановила одного проходившего еврея, с виду лет сорока пяти – сорока восьми, должно быть, портного либо сапожника, окружила его и под смех и улюлюканье принялась играть с ним в нечто вроде волейбола. Он очутился в правильно замкнутом кругу, и каждый ближайший к нему участник этой своеобразной игры старался толкнуть его всей своей силой, по прямой от себя. Несчастный еврей был страшен. Без шапки, пиджак расстегнут, руками он держался за голову, несколько раз он падал на землю, ударялся о камни. Пинками ногой его заставляли подниматься, и «игра» продолжалась.

Черченко с гримасой отвращения к этой сцене подхватил меня за руку, и мы пошли в больницу. Весь день нас мучила картина виденного. Я внешне старался не показывать своих переживаний, Черченко же каждый раз при воспоминании о виденном с ужасом передергивало, и его глубокие вздохи ясно говорили мне, как горячо переживает он наше временное унижение из-за первых неудач в войне. Он был старый армейский кадровик, начавший службу с рядового красноармейца и к началу войны

достигший звания капитана в должности начальника технического снабжения 10-й танковой дивизии. Мы с ним подружились с первых же дней, как только встретились в одной палате, во время бесед с ним к нам присоединялись товарищи, чувствовавшие, что между нами они продолжают жить советской жизнью, несмотря на то, что мы находились на оккупированной немецкими фашистами территории. Все наши беседы и разговоры в кругу ограниченных и примкнувших к нам товарищей, которым можно было довериться своими мыслями, вертелись вокруг стоявших перед нами перспектив дальнейших шагов по мере выздоровления каждого. Никто из нас не сомневался, что постигшая нас неудача – явление временное, и слова товарища Молотова: «Наше дело правое, враг будет разбит» повторялись нами при каждом разговоре. Мы все были твердо убеждены в окончательной победе над фашизмом. Конечная цель наших стремлений сводилась к переходу обратно в ряды нашей Красной Армии либо в партизанский отряд. Однако степень ранения и состояние здоровья вносили различие в сроки выполнения этого намерения.

Первыми ушли двое, легко раненные. Не помню их фамилии. Они ежедневно заходили к тов. Черченко с картами, и мы садились на его койке разбирать маршруты следования. В один из дней их не стало. Кто-то донес в полицию на них, что они связались с партизанами и ушли в лес и что из госпиталя готовится еще массовый уход. На второй или третий день в больницу явился начальник полиции Серединин (бывший до оккупации бухгалтером в каком-то учреждении), обошел все палаты и в каждой из них объявил всем раненым, а в нашей палате персонально капитану Черченко, что за отлучку из больницы раненные будут задержаны и отправлены немецкой комендатурой для предания военно-полевому суду, как за попытку перехода к партизанам. Одновременно установлен у больницы полицейский пост, которому вменено в обязанность никого из военнопленных не выпускать из больницы.

Эти меры, конечно, не могли остановить наши намерения. Через пару дней вышли товарищи Мангутов и Рассадин, однако, отойдя восемнадцать километров, они из-за открывшихся ран вынуждены были крестьянским транспортом вернуться обратно в больницу и начать лечение. Кто-то из первых ушедших и успевший попасть к партизанам связался с доктором Кочетковым. Однажды он выехал навестить больного в село Грузское в пятнадцати километрах от больницы, захватив с собой ряд медикаментов для перевязки. Посещавшие нас жители города, а также сестры и санитарки приносили нам ежедневно свежие вести из города и окрестностей. Рассказывали о взорванном партизанами мосте у Батурина, что немцы в одиночку боятся ходить, о грабежах и насилиях фашистов над населением города и сел. Репродуктор передавал по два-три раза в день об ожидаемом падении Москвы и Ленинграда и близком окончании молниеносной войны. Вот ситуация нашего состояния к 8 ноября, когда мы, проснувшись утром, обнаружили, что вся больница находится под охраной эсэсовцев. День, оказавшийся последним в жизни Кочеткова и Бекера и роковым для еще многих жизней, закончивших ее в лагере для пленных в Глухове.

Смерть Кочеткова, Бекера и неизвестного солдата

Смерть. Я привык в своей жизни все отвлеченные чувства осязать как нечто физически материальное. Жизнь, радость, любовь представлялись мне всегда каким-то светлым, солнечным, теплым днем, кругом зелено, везде улыбающиеся, довольные люди, все живет, движется, мысли спокойны, и главное, мысль производит, как бы родит, все время один и тот же продукт – сознание. Жизнь, жизнь, жизнь, без конца мозг выделяет это понятие, и все видишь вокруг себя сквозь эту

ощутимую, как бы материальную массу; солнце, тепло, свет, то, что привык чувствовать и называть это словом «жизнь».

Сегодня, 8 ноября, я этим своим шестым, не предусмотренным наукой чувством познал и ощутил смерть. С этого дня мое сознание не видело солнца, не чувствовало тепла, не знало жизни. Мог быть день, греть солнце, но я видел, ощущал мрак и холод. Что-то темное, мрачное, холодное стояло передо мной с этого утра. Позднее я так привык к этому, что заболел светобоязнью. Я полюбил – не полюбил, а спокоен, когда темно. Я с ужасом ждал наступающий день. Ночь, вечер, темнота. Какое благодарное время, меня не видят, никто за мной не придет, не начнет пристально вглядываться в меня, можно лежать и сидеть на нарах, не прикрывшись шинелью через голову, никто не подглядывает, когда я всю ночь думаю, думаю, думаю. Сколько огорчений и мук доставляет мне полоска начинающегося рассвета на востоке.

Я не спал, я это с полным сознанием повторяю! Глухов, Кролевец, Славута, Владимир-Волинский, Конотоп, Седлец, села, леса, хутора. Я не спал, я уходил в смерть, в небытие. Я видел Бекера, Кочеткова, Анатолия Павлова, массу лиц, целые вереницы евреев, стоявших перед ямой в Глухове, Славуте и Конотопе. Вот передо мной гуськом бегущие нацмены, подгоняемые палками эсэсовцев к яме для расстрела. Я вижу стариков и женщин, истязаемых в Конотопе. Три дня продолжалось избиение трехсот сорока четырех крестьян и крестьянок. На четвертый день их расстреляли у кирпичного завода. Двадцать два человека остались мертвыми от избиения на нарах. В Славуте каждые два-три дня через наш блок водят на расстрел восемь-десять человек евреев. Вот повезли в подводе безногого Каца, за ним на мотоцикле с автоматом следует абверовец для расстрела. Еще и еще картины встают в моей памяти, вижу все эти лица, я помню мельчайшие подробности их фигур, походок, белье до малейшей складки, я навеки запомнил их лица. Я их ощущаю! Ибо я был в «смерти» и я, это парадоксально, жил с ними не в жизни, а в смерти. Я чувствовал удары палок, наносимых Бекеру. Я ощущал ледяной холод раздетых до кальсон и выгнанных на мороз военнопленных евреев в Кременчугском лагере в ноябре месяце, я замерзал при рассказе о выведенных из бани в Луцке голых врачах-евреях в январе месяце и голыми же посаженных на грузовик для расстрела.

Нас, отобранных для отправки в лагерь, оказалось тринадцать человек. Среди них помню: Черченко, Дудаев, Винокуров, Мангутов, Кочетков и Бекер. Кочеткова почему-то не внесли в общий список. Нас всех перегнали в главный корпус, там сделали переключку и выгнали на двор. Подали грузовую машину. Сестры помогли нам усесться. Эсэсовцы заняли крайние места у заднего борта, и мы тронулись. Подвезли нас до комендатуры. Еще не подъезжая туда, мы издали заметили там ожидающую нас группу военнопленных, человек шестьдесят, задержанных в разное время по дорогам и собранных в комендатуре для отправки в лагерь. Нас всех ссадили с машины, пересчитали, построили по пять в хвосте этой группы. Один из немцев, бывший в больнице при отборе нас, отозвал старшего конвоира, что-то переговорил с ним, указав при этом на Бекера и Кочеткова. Какой-то немец вышел из комендатуры с листом бумаги и крикнул: «Кочетков!» Последний отозвался: «Я!», тот его поманил пальцем: «Ком ер!»[420] и, повернувшись, последовал в здание комендатуры. Кочетков шел за ним. Невдалеке от комендатуры, находившейся в здании школы, был разбит небольшой, но густо разбитый сад. Мы продолжали стоять у здания комендатуры, окруженные эсэсовцами в касках, они заправляли на себе за пояса пятнистые плащ-

палатки. Военнопленные, доставленные из больницы, были сравнительно хорошо одеты. Все были в шинелях, кирзовых сапогах, кое-кто в шапках, большинство же в пилотках. Задержанные же полицией и ожидавшая нас группа человек шестьдесят военнопленных пестрили своей разнообразной рванью, в которую они с целью маскировки во время пути переоделись по селам у крестьян. В нормальное до войны время находящаяся на них одежда служила обычно предметом для сборщиков утильсырья. Тут были рваные, стеганные на вате пиджаки, домотканые крестьянские свиты, старые овчинные полушубки с заплатами, на ногах большинство носило лыковые лапти. Прошло около часа. Многие начали согреваться, подпрыгивая на месте. Стоял небольшой мороз. Вода в лужах была покрыта стеклянкой коркой. Было около десяти часов. Невдалеке на противоположной стороне собрались женщины, ребятишки и несколько стариков. Кое-кто из военнопленных начал подавать им знаки о помощи едой. Какая-то женщина вынула из кошелки полхлеба и дала одному из ребятишек отнести его нам, однако охранявшие нас немцы окриком и щелчком затворов дали понять, что малейшая попытка общения с нами грозит смертью. Наблюдавшая за нами толпа выражала свое сочувствие знаками, многие женщины утирали платками слезы. Но ничем существенным помочь нам не могли.

Мы успели порядочно продрогнуть, когда услышали голоса и шаги выходивших из комендатуры немцев. Впереди шел офицер, за ним шли два солдата с автоматами, после них мы увидели следовавшего за ними доктора Кочеткова, подгоняемого сзади еще двумя солдатами штыками. Не все сразу узнали его. Он был в одном белье, босой, без пилотки, волос растрепан, рубашка сзади изорвана. В руках он держал свою одежду, шинель и сапоги. Немцы направились с ним к саду. Дойдя до ограды с правой стороны, офицер указал ему, где стать, знаками приказав одежду и обувь сложить в стороне на землю. Четверо солдат с винтовками и автоматами остановились шагах в пятнадцати от него. Офицер отошел в сторону. Кочетков рассеянно оглядывался по сторонам, казалось со стороны, что он о чем-то хлопочет, ищет кого-то, чувствовалось, что он озабочен чем-то посторонним, а не той опасностью, которая грозит его жизни. Раздавшийся залп застал его в мгновение это озабоченности, он даже не смотрел в сторону своих палачей, он не видел их приготовлений к стрельбе, он не слышал команды. Упал, сраженный четырьмя пулями. Голова вся оказалась размозженной. Лица уже не видно было. Какая-то темно-темно-красная масса на светлой от тонкого слоя снега земле.

Мне вспомнилось: «Я окончил Медицинскую академию, я сын крестьянина, нет нигде такого государства, где дети крестьян и рабочих могут стать врачами, инженерами, агрономами, профессорами и другими великими и знатными людьми».

Это во время одного спора с негодяем Гавриловым произнес Кочетков, пренебрегая опасностью быть услышанным кем-либо из немногочисленных, но имевшихся в больнице закоренелых врагов советского строя. Это излишнее пренебрежение к опасности быть выданным за приверженность Советской России привело его к преждевременной гибели. Он открыто высказывался против фашистов, намекал при всех и подстрекал других к скорейшему уходу из больницы, игнорируя при этом всякую осторожность и конспирацию. Его, безусловно, продал кто-то из персонала больницы, ибо из раненых никто этого не сделал бы хотя бы из чувства благодарности к нему за уход за ними, ибо в первые дни ни одного врача в больнице, кроме него, не было и, несмотря на то, что он сам был ранен осколком мины в глаз, он не покладая рук оказывал раненым помощь. Я стоял рядом с

товарищами Черченко и Винокуровым. Когда раздалась команда стрелять, Черченко отвернулся, застонал и схватил меня за здоровую руку, упершись всем туловищем на палку во второй руке. «Ох, Миша! Не могу видеть, никогда не забуду этого!» Больше никто ничего не произнес.

Стоявшая невдалеке толпа крестьян из местных жителей зашевелилась, какая-то женщина вскрикнула. Кое-кто крестился. Офицер поманил рукой из толпы двух человек, показав это количество двумя растопыренными пальцами. Из толпы вышли пожилой мужчина и подросток лет пятнадцати-шестнадцати. Немец знаками приказал им принести лопаты, выкопать яму и закопать труп Кочеткова, затем указал им на одежду, ткнул обоим пальцем в грудь, мол, после порученной им работы она принадлежит им. Оба вызвавшиеся, утвердительно качая головами в знак ясности и понятия всего требуемого от них, быстро отправились за лопатами.

Раздалась команда, пленные, окруженные конвоем из эсэсовцев, построились по пять. Старший конвойный унтер-офицер принял от офицера какие-то бумаги, затем оба взглянули в сторону нашей группы раненых, быстро переговариваясь, подошли ближе, ища кого-то взглядами. Все раненые интуитивно почувствовали, что их речь и поиски касаются Бекера. Вблизи стоявшие конвойные, слыша разговор начальства, также обратили свои взоры к нам, и внимание всех приковал Бекер. Офицер давал старшему по конвою последние приказы, глядя на Бекера, унтер-офицер, кивая головой в знак подчинения и глядя на Бекера, отвечал отрывисто: «Яволь, яволь». Последний окрик унтера, команда: «Марш», и мы, окруженные десятью эсэсовцами, двинулись окраинными улицами из города. Мы шли посреди дороги, ступая по замерзшим от колес и копыт лошадей кочкам. Кое-где мы проваливались в лужи и грязь из конской мочи и навоза, конвойные шли по сторонам, стараясь ступать по протоптанным, сухим тропинкам, держась за заборы. Когда кто-либо из пленных желал обойти лужу или грязь, он немедленно получал укол штыком в ягодицу от ближайшего конвойного. Пройдя полкилометра, я несколько раз попадал ногами в грязь и воду, зачерпнув через края ботинок ледяную жидкость.

При выходе из города мы заметили, что у последних хат стоят три крестьянских одноконных подводы с одним конвойным, ожидая нас. На одной из подвод лежал ручной пулемет. Поравнявшись с подводами, унтер-офицер остановил нас, отобрал из раненых шесть человек, хромавших и опиравшихся на палки, и рассадил на две подводы. Я с Черченко попали вместе на одну подводу. Мы двинулись непосредственно за идущей впереди нас толпой пленных, окруженных конвоем. Шествие замыкалось третьей подводой с пулеметом и находящимся при нем немце. Показалось уже поле, несколько солдат выдернули по большой, толстой жерди из последних заборов окраинного села и шли, помахивая ими в воздухе либо опираясь в пути. Бекер шел в последнем ряду идущих впереди нашей подводы, шедшей первой. Неожиданно из конвоя отстали два солдата и стали следовать непосредственно за спиной Бекера. У обоих в руках было по жерди. Один из немцев опередил его и, заглянув в лицо, спросил: «Ду бист айн юде?»[421] Я не расслышал ответа Бекера. Но второй солдат, размахнувшись палкой, опустил ее на спину Бекера. Палка ударила, очевидно, по раненому плечу, потому что Бекер подскочил, схватившись здоровой рукой за рану. Спрашивающий его немец отступил обратно и, очутившись сзади, последовал примеру первого. Еще один удар. Бекер опять подскочил. Сзади его скачок казался смешным, как бы человек пританцовывает.

Да, это был танец смерти. Немцев это смешило, палки стали сыпаться на его плечи в сопровождении какой-то песни, которую подпевал молодой, лет 21–22, эсэсовец, сопровождая каждый такт песни

ударом палки по плечу. Бекер «танцевал». Сзади уже ходило человек восемь из конвоя. Всех смешил его «танец», подпевали уже хором, слышалось голосов пять-шесть. Напрасно Бекер стремился втиснуться в ряды впереди идущих пленных. Последние, чтобы не угодить под удары палок, расступались так, что ряды за ним не смыкались, и спина продолжала служить барабаном для такта какой-то веселой песенки. «Танец» принимал причудливые формы: то он подскакивал, либо, ускоряя шаги, раскачивался из стороны в сторону, то приседал и подымался. Лица я его не видел. Не слышно было ни стоны, ни жалобы. Всех обуял ужас. Пленные глядели друг другу в лица, как бы ища ответа у другого, не виновен ли я в чем-то, не последует ли мой черед за Бекером? Хотя все отлично понимали, что служит причиной его истязания, однако отсутствие этого повода у них при виде возбуждения и страстности немцев к истязаниям не гарантировало никому безопасность.

Мы подходили к балке. Дорога шла с горы вниз, сбоку была неглубокая канава, ниже переходившая в обрыв, образовавшая нечто, подобное ущелью. Дойдя до половины горы, унтер остановил всю команду. Бекера вывели в сторону из толпы военнопленных, выбрали одного обутого в лапти и приказали снять с Бекера сапоги. Пленный быстро подошел к стоящему в стороне и окруженному немцами Бекеру, стянул с него сапоги, тут же мгновенно сбросил лапти из лыка и вдел ноги в сапоги. Один из немцев расстегнул Бекеру шинель, схватил ее за борты и стянул с его рук. Несчастный стоял босой, в брюках и сиреневой трикотажной рубашке. Я увидел черное, заросшее лицо. Никаких отдельных черт различить нельзя было, так как в глаза бросалось только одно, оно же запечатлелось у меня на всю жизнь. Два страдальческих, полных тоски и печали глаза. Такие глаза я точно видел на картинах, изображающих Иисуса Христа распятым на кресте. Точнее, не глаза, а веки. Он с такой безнадежностью опускал их и держал в такой неподвижности, что все страдания и муки его концентрировались в этих двух маленьких кусочках тела. Унтер вынул из кобуры револьвер, два конвоира повели его обратно по дороге к обрыву. Все четверо проходили мимо нас. Пленные, немцы и подвозчики-крестьяне неподвижно стояли и провожали своим взглядом последний путь Бекера. Бекер уходил из жизни. Шел он спокойно, как бы деловито, он уже не «танцевал», он ни о чем не просил своих палачей. Сознавал ли он бесполезность этого, сознавал ли он вообще что-нибудь в эти последние минуты? [...]

В немецком плену, побег и скитания по Украине

Письмо красноармейца Александра Шапиро

[422]

Утром 21 октября 1941 года при переходе реки Сула в Полтавской области я оказался в окружении и попал в плен. Немцы нас сразу отправили в степь. Там отбирали евреев и командиров. Все молчали, но немцы, проживавшие в Советском Союзе, выдавали. Вывели тридцать человек, издевательски раздели, забрали деньги, часы и всякую мелочь. Нас повели в село, избивали и заставили рыть ров, поставили на колени, кричали: «Юдише швайне»[423]. Я отказался рыть ров, потому что знал, что это для меня. Меня сильно избивали. Начали расстреливать и брали за ноги, и кидали в ров.

Я сказал переводчику, что я узбек, а жил в Азербайджане. Я был черный, весь заросший, с черной бородой и черными усами. Меня ударили палкой по голове, погнали в сарай. Подошла чужая женщина, протянула мне рваный картуз и шапку, больше у нее ничего не было. Она назвала немцев разбойниками, говорила: «За что вы их расстреливаете? Они свою землю защищают». Ее сильно избивали, и она ушла.

Кормили нас просом и каждый день избивали. Так я промучился восемнадцать дней. Пришел комендант и сказал, что нас погонят в Львов, а оттуда в Норвегию. Я обратился к ребятам, сказал, что я родился на Украине и здесь умру, и надо удирать. В эту ночь убежали сто человек, но мне с ними не удалось уйти. Нас выстроили. Мы спрятались в свинарнике, было тепло, и нас не нашли, немцы кричали: «Русс, выходи», но мы молчали. Я дошел до соседнего хутора, там сказали, что немцев нет, накормили и показали дорогу. Я решил идти к Харькову. Я проходил через оккупированные города и села, видел издевательства, насилия над нашими братьями, виселицы и дома терпимости, видел всякие грабежи. Проходил через Днепропетровск, где я родился и жил. Узнал, что мой родной брат и его семья расстреляны. 15 октября 1941 года немцы расстреляли тридцать тысяч мирных жителей моего родного города, а я был в Днепропетровске 24 октября. Я пошел дальше, был в Синельникове, повидал тайно моего двоюродного брата, его жену и детей. Их немцы ограбили, избили, но в Синельникове тогда еще не было гестапо, и поэтому двоюродный брат с семьей еще были живы. Шел через Павлоград, узнал там, что мой другой двоюродный брат убит, как и четыре тысячи жителей Павлограда. Видел и читал тупоумные объявления немцев, в которых ничего не было сказано об убийствах и грабежах. Видел, как немцы забирали пшеницу и отправляли ее на запад, и как они забирали одежду, постели, скот.

Шел я по насыпи, видел, как шли на грабеж немцы, итальянцы, румыны, венгры. Итальянцы двигались на ослax в Лозовую, с ними венгры, а на юг шли румыны. Я шел и с вилами, и с ведром, и с кнутом. Был я обросшим и походил на старика. Так я дошел до фронта и перешел фронт.

В плену (Минский лагерь)

Воспоминания красноармейца Ефима Лейнова

[424]

Наша часть попала в окружение. Это было в Черниговской области. Я побывал в четырех лагерях: в Новгород-Северске, в Гомеле, в Бобруйске и в Минске. Описать все ужасы невозможно.

Остановлюсь на последнем лагере – Минском.

Лагерь находился в Комаровке на Московском шоссе. Это был недостроенный пятиэтажный дом, в нем содержалось свыше пяти тысяч военнопленных. Когда мы прибыли – около тысячи человек, – нас поместили в сарае. Кормили баландой из подгоревшей муки, хлеба не давали. Мы разводили костер, чтобы согреться, – был октябрь. Как-то крикнули: «Баланда». Все выбежали, костра не погасили, и сарай загорелся. Нас выстроили. Комендант отсчитал сто человек, их тут же расстреляли. Все хотели идти на работу, так как жители совали нам кусок хлеба. Желаящих было слишком много. Часовые били резиновыми дубинками и стреляли. Каждый день они убивали тридцать-сорок человек. Люди начали болеть дизентерией. Когда выходили, чтобы оправиться, немцы стреляли.

Утром мы находили тела убитых.

Когда водили на работу, убивали: за то, что заговорил с кем-нибудь, или за то, что, обессилев, останавливался на минуту. От вокзала до Комаровки можно было увидеть трупы пленных.

Однажды привезли пленных из лагеря в Новгород-Северске. Из двух тысяч человек доехали триста, остальные умерли в пути. Многие умерли по приезде. Два дня мы их хоронили.

Начался тиф. Каждый день умирали около двухсот пленных. Все, кто мог еще двигаться, вывозили трупы в парк. Закопать их не могли – земля промерзла, мы их складывали кучами. С приближением весны трупы начали разлагаться. Тогда генеральный комиссар Белорусский приказал облить трупы

горючим и сжечь.

Я уцелел случайно – я не похож наружностью на еврея. Евреев в лагере раздевали догола, избивали, потом бросали в подвал, где вода была выше колен, а через три дня их оттуда вытаскивали и добивали.

В Минске осталось много евреев, стариков и женщин с детьми, которые не успели эвакуироваться. Были и убежавшие из Западной Белоруссии. Их поселили в гетто. Туда же привезли десять тысяч евреев из Гамбурга. В гетто находились люди различных профессий: профессора, ремесленники, врачи, рабочие, музыканты. Убийства сопровождалась церемонией. Обреченные копали себе могилы. Музыканты должны были играть арию из «Жидовки» и «Кол нидрей». Шли колоннами, шли старухи, матери с детьми. Немцы открывали огонь из пулеметов и автоматов. В ямы падали убитые, раненые, полуживые. После этого ямы засыпали землей. Такие убийства производились раз в неделю, обязательно по субботам.

Детей, оставших от родителей, собрали вместе. Их набралось свыше двухсот. Их брали за ноги и ударяли головой о камень или о столб.

Весь город был в ужасе и покрыт мраком от неслыханных злодеяний.

Все лето 1942 года немцы привозили в Минск евреев из Западной Европы. Их привозили якобы на работу. Они приезжали с чемоданами и саквояжами. На Могилевском шоссе, в восьми километрах от Минска находится бывший военный городок. Туда отвозили евреев из Западной Европы. Они копали ямы, а немцы, чтобы не тратить патронов, убивали их газами. Их подвозили к ямам в герметически закрытых машинах и вываливали трупы удушенных. Нас посылали туда за досками, и я заговорил с одним. Он сказал, что его привезли из Чехословакии.

В августе 1942 года мне удалось убежать.

Спасение из лагеря для военнопленных в селе Латоново Ростовской области

Рассказ уцелевшего

[425]

В этом письме я хочу рассказать о дружбе нашего многонационального народа, т. к. мне, который пробыл на территории, временно оккупированной немцами, по национальности евреем, больше, чем кому, чувствовалась взаимная выручка наших людей. Я пробыл на временно оккупированной территории год и девятнадцать дней. Буду последователен. Я находился в немецком лагере, в селе Латоново Ростовской области. Среди военнопленных, большинство которых были раненые, находились представители почти всех наций нашего Союза. Охраняющие нас немцы через переводчика немца-колонию старались разжечь национальную вражду среди пленных. Они обещали за выдачу евреев свободу или поступление в охрану. Несмотря на это, за все время пребывания моего в лагере такого случая не было. В лагере я познакомился с одним грузином – Георгием Сахношвили, который, зная, что я – еврей, подвергаясь колоссальной опасности, все время находился возле меня. Он делил свою пищу со мной, и, когда была возможность уйти в Таганрог для того, чтобы попасть в местную больницу, он почти на руках тащил меня сорок километров (я был тяжело ранен и болел сыпным тифом). В городе Таганроге, в 3-й Советской больнице, в одном из корпусов находились раненые бойцы. Жители г. Таганрога, несмотря на преследования немцев, всячески помогали раненым бойцам. В больнице я познакомился с Тамарой Зозуленко и Надей Нагорной. После моего выздоровления эти две русские девушки пошли в полевую полицию и

выписали меня из больницы как своего двоюродного брата. Они прекрасно знали, какой опасности они подвергались.

Я прожил в городе Таганроге пять месяцев, у русской гражданки Кравченко Клавдии Ивановны. Она поставила меня на ноги, залечив мои раны, и помогла мне перебраться к своим. За скрытие меня, будучи предана своими соседями, она много претерпела. Вот выписка из ее письма, полученного мною:

Когда я тебя проводила 2 сентября 1942 года за город Таганрог, то в ту же ночь был оцеплен двор наш и был вооруженный обыск и, конечно, взяли меня в полицию. Мне предъявили обвинение в укрывательстве еврея. Били, и я долго просидела в полиции. Но я все время говорила, что ты русский. У Татьяны Ивановны (старушка со двора) спрашивали, что ты – еврей, а она ответила, что на твоих крестинах она не была. Когда меня выпустили, я не знаю, на кого была похожа.

В больнице меня лечил доктор Упрямец (военнопленный). Он расстрелян немцами[426]. Зная о том, что я еврей, он достал мне документ одного умершего гражданского больного на имя Морозова. Эти все факты говорят о том, что наш народ воспитан так, что никакая немецкая агитация, чтобы посеять рознь, вражду между национальностями, не дает плодотворных всходов.

Убийство иностранных евреев на территории СССР

Они испытали это на себе

Рассказы венгерских евреев

Миклош Леви – рабочий рабочего батальона 109/13 венгерской армии[427], сдавшийся в плен на Воронежском фронте, видел все собственными глазами и на себе испытал всю меру человеческого унижения, о котором говорится в ноте союзных правительств и в сообщении Информбюро Наркоминдела.

Миклошу Леви тридцать два года. Он окончил высшую раввинскую школу в Братиславе. До 1941 года был частным преподавателем английского и немецкого языков. Потом из-за безработицы работал на фабрике кожевенных изделий в Будапеште. В марте 1942 года Миклош Леви был призван в рабочий батальон венгерской армии.

По пути в Россию он был свидетелем ужасающей бедноты и бесправия населения стран, оккупированных Германией, особенно Польши. Неопишущим издевательствам подвергается еврейское население. На станциях поезд окружали толпы совершенно изможденных женщин и детей. Они со слезами выпрашивали кусочек хлеба. Это были какие-то слабые человеческие тени. При взгляде на них с болью сжималось сердце.

На протяжении всей дороги к фронту Миклош Леви видел обуглившиеся развалины городов и сел, ужасающую нищету. Он видел множество русских женщин, детей и стариков, работающих на дорогах под надзором немецких солдат. «У этих несчастных людей такой голодный и жалкий вид, – говорит Миклош Леви, – что даже мы, всегда полуголодные, уделяли им крохи от своего ничтожного пайка хлеба».

Когда Леви шел по улицам Орла, превращенным в развалины, он как бы шел по мертвому городу, жителей почти не было видно, зато там и тут показывались пьяные немецкие солдаты и офицеры, во всю глотку распеваящие фашистские песни.

Миклош Леви сильно истощен. Он был на положении бесправной рабочей лошади. «Ведь нас, – говорит он, – евреев, вообще кормили очень плохо, а в последнее время попросту морили голодом.

Большинство были вконец истощены от голода и непосильной работы».

Во время нашего наступления Миклош Леви сдался в плен. «Русские, – говорит он, – открыли ожесточенный огонь. Венгры падали вокруг меня буквально десятками. Оставшиеся в живых бежали назад, громко ругая офицеров, пославших их на верную смерть. Воспользовавшись бегством, я пополз в сторону и спрятался в окопчике. Скоро показалось несколько красноармейцев, тогда я приподнялся, поднял руки вверх и сказал: “Не стреляйте, я еврей”. Меня не тронули, угостили табаком и хорошо покормили. За все время пребывания на фронте я первый раз так сытно и вкусно поел».

Ференц Хедвиш – рабочий 442-й особой рабочей роты, сдавшийся в плен на Воронежском фронте, был свидетелем не менее трагических картин. Ему тридцать два года, он инженер-электрик по специальности. Его рота была сформирована в мае 1942 года в городе Сигетвар в Венгрии. Третий взвод был составлен исключительно из евреев, некоторые были взяты прямо из тюрьмы. Это были члены религиозной группы иеговистов, по своим религиозным убеждениям отказавшиеся идти в фашистскую армию. Рота занималась строительством дзотов, рытьем окопов и противотанковых рвов, устройством минных полей и противотанковых заграждений.

Фашистские офицеры, соперничая друг с другом, всячески издевались над евреями. «Когда наша рота прибыла в Курск, – рассказывает Ференц Хедвиш, – жандармы устроили у нас обыск и отобрали у евреев все деньги, ценные вещи, консервы, мыло. Нас очень плохо кормили, к тому же офицеры и солдаты из охраны крали наше продовольствие. Командир роты лейтенант Тот Шандер запретил нам варить себе картошку и кукурузу, за нарушение этого распоряжения были наказаны связыванием на два часа Миллер Миклош, Кравец Карл, Бондарь Гергель, Трифон Ласло, Лунша Матиаш. Нам строго запретили говорить с русскими и просить у них продовольствие. Офицеры старались натравить на нас солдат. Я слышал, как лейтенант Тот Шандер говорил унтер-офицерам: “Бейте их как следует. Пусть они подышают, это неплохо. Чем меньше их вернется, тем лучше”. Унтер-офицеры и солдаты из охраны выполняли его указание, они били нас палками, прикладами или просто кулаками».

Ференц Хедвиш видел, как были повешены шесть человек из группы иеговистов[428] за отказ грузить боеприпасы, а некоторые расстреляны. Командир роты Талаци Шандор приказал им выбрать себе могилу и собственноручно застрелил двоих из пистолета.

Под охраной немецких солдат, с отличительными знаками на левом рукаве, как рабы, день и ночь работают евреи в так называемых рабочих батальонах. Многие из них гибнут от голода, болезней, непосильного каторжного труда и садистских побоев. Они взрываются на минах, когда гитлеровские изуверы посылают их впереди своих войск, расчищая армии путь. Все эти факты – явления одного и того же порядка, все это говорит о попытках гитлеровцев провести в жизнь свой особый план поголовного уничтожения еврейского населения на оккупированной территории Европы.

Все, кому дорога свобода и существование свободолюбивых народов, отдадут все свои силы делу борьбы с кровавыми гитлеровскими погромщиками.

Расстрел венгерских евреев в Сумах

Воспоминания студентки Татьяны Тарановой

[430]

Город Сумы. Февраль 1943 года. Суровая зима. Магьяры шли со станции Грязи. К холоду магьяры

были непривычны. Почти все были завернуты в награбленные одеяла и платки, начиная от цыганского платка и кончая детскими пеленками.

За венгерскими частями шел рабочий батальон, который принадлежал к этим частям. Рабочий батальон состоял из венгерских евреев. Первое время при мобилизации в венгерскую армию брали всех. А немцы уже отделили евреев. Евреев не обмундировали. На левой руке у них были широкие желтые повязки. Отряд использовался на самых тяжелых и грязных работах. Когда отряд пришел к нам, евреи были одеты в летней потрепанной одежде (ведь больше года они не переменили ни белья, ни одежды, ничего не стирали, а работа была тяжелая). У большинства руки и ноги почернели от обморожения. Их совсем не кормили, и каждый питался, как мог. Все они были несчастны до невозможности. Вид прибитый. Всех и всего они боялись.

Через два дня мадьяры пошли дальше, а евреев погнали на другой конец города Сумы, где их и расстреляли – около шестисот человек[431].

Один еврей заболел и находился у колхозников на сахарном заводе. Через пару дней ему стало легче, но уже не было ни мадьяр, ни евреев. Он решил обратиться к немецкому коменданту, ибо не верил, что евреев расстреляли. Комендант улыбнулся, позвал солдата с автоматом, и наивного еврея расстреляли тут же.

Об авторах

Авторы свидетельств

[432]

Адесман Израиль Борисович (1862-?) – одесский врач. Его медицинский стаж к началу оккупации Одессы составлял 56 лет.

Айзенштейн-Долгушева Софья Борисовна (1890-?) – акушерка. Жила в Киеве. Была спасена своим мужем.

Анолик Нисим (1920–1972) – до войны работал бухгалтером. Был вывезен в Клоогу вместе с младшим братом и отцом (последний погиб) из гетто Вильнюса. Освобожден Красной Армией в 1944 году. После войны жил в США, где и скончался.

Белозовская Ида Семеновна (1906–1989) – спасена мужем и его семьей вместе с сыном и сестрами. До и после войны жила в Киеве.

Блейман Цодик Яковлевич – сын раввина, бывший узник гетто Утяны и Каунаса, бежал к партизанам.

Бронфин Блюма Исааковна – портниха, узница гетто г. Хмельник (Винницкая область, Украина).

Вассерман Голда – узница гетто г. Тульчин (Винницкая область), бежала в партизанский отряд. В конце войны – студентка.

Гершензон Борис (1935-?) – узник гетто Умани.

Гитерман Феликс (Ефим) Зиновьевич (1906-?) – художник-декоратор. Жил в Киеве. Был спасен своей женой.

Глейх Сарра – чертежница из Харькова, эвакуировавшаяся после начала войны в родной Мариуполь. Бежала с места казни, была освобождена в Ростове-на-Дону в конце ноября 1941 года. Вела дневник, который послала И. Г. Эренбургу. После войны жила в Подмосковье, умерла в Москве в конце 90-х годов.

Гопштейн Евсей Ефимович (1885–1960) – экономист, библиограф, автор справочника

«Библиография библиографических указателей литературы о Крыме» (Симферополь, 1930), неопубликованных работ «Библиография периодической печати в годы революции», «Печать в Крыму в годы революции» (издания на семи языках народов Крыма), «Библиография печати в Крыму за 150 лет», «Библиография антисемитизма в Крыму» и «Библиография еврейских земледельческих колоний».

Грутман Семен Наумович – сержант Красной Армии. Уроженец Одессы.

Гурьян И. Г. – автор свидетельства о судьбе евреев Свенцяи (Швенчениса).

Зеленкова Раиса Леонидовна (1912-?) – в годы оккупации жила в с. Пятигоры Тетиевского района Киевской области, скрывалась с ребенком. После войны работала библиотекарем в Пятигорах.

Зозуля П. – уроженец г. Чуднова.

Кантарович Ольга Нисимовна (?–1984) – подпольщица, еврейка, жила (с поддельным паспортом) в оккупированной Одессе. Вместе с сестрой и братом укрывала в своей квартире в течение 820 дней девятерых евреев.

Кармаян А. М. – фронтовик, уроженец г. Медведи и Киевской области.

Котлова Эмилия Борисовна (1901-?) – учительница, бежала из оккупированного Киева с двумя детьми, скрывалась в Киевской и Житомирской областях.

Крепак Ф. – еврейка, жена инженера-украинца. Жительница Днепропетровска, откуда ей и мужу пришлось бежать.

Криворучко Семен Семенович – до войны инженер в Харькове. После своего спасения женой и дочерью служил в армии рядовым, участвовал в боях за Восточную Пруссию, был ранен.

Кругляк – учитель из г. Шпола.

Куторга Виктор (Викторас) (1920–1991) – врач-онколог, жил в Каунасе, участник антинацистского движения в Литве. Осенью 1941 года, незадолго до вступления США во Вторую мировую войну, литовская певица Винце Йонушкайте-Заунене, выступавшая в Швеции и Германии, передала текст его «Обращения» (рассказ о положении евреев в Прибалтике) в американское посольство в Берлине. Сын доктора Елены Буйвидайте-Куторгене, чей дневник за 1941–1943 годы частично опубликован в «Черной книге».

Лазерсон Виктор (1928–1980) – узник Каунасского гетто. Отец его был известным психологом и психотерапевтом, профессором Каунасского и Вильнюсского университетов. Уехал в Израиль, умер в Хайфе. См.: Лазерсон Виктор, Лазерсон-Ростовская Тамара Записки из Каунасского гетто. М: Время, 2011.

Лейнов Ефим – красноармеец, находился в лагере военнопленных в Минске. В августе 1942 года бежал.

Рекочинская (Стратиевская) Татьяна – узница гетто Одессы и Транснистрии, ее дети погибли. Муж Борис воевал.

Ройтман Хаим (1930-?) – бежал с места казни во время расстрела евреев Бердичева.

Рожецкий (Рожецкин) Лев Самойлович (Самуилович) (1927–2006) – до войны учился в Одессе в 7-м классе. Отец был расстрелян в 1938 году. Узник гетто Транснистрии. После войны закончил филфак Одесского госуниверситета, преподавал в школе, писал стихи. Автор книг «Позднее эхо» и «Круги по воде». С середины 90-х годов жил в Израиле.

Слипченко (Козман) Лидия Максимовна (1914-?) – врач, узница гетто Одессы и Транснистрии. После

войны жила в Новосибирске.

Сорина В. М. – учительница, жена фронтовика, спаслась в гетто Хиславичей Смоленской области.

Супрун Ольга – украинка, жительница г. Золотоноши, где погиб в 1941 году ее муж Борис Юдковский.

Тарабукин Л. Н., художник, и Гольдштейн Д. Р., профессор Кишиневской консерватории – супруги, очевидцы преследования евреев в г. Ессентуки.

Таранова Татьяна – студентка филологического факультета Киевского университета из г. Сумы, очевидец казни венгерских евреев.

Файнгольд Маня – узница гетто Умани, прислала свои воспоминания в ЕАК.

Фрадис-Мильнер Рахиль А. – узница лагерей и гетто Транснистрии. С 1960 года жила в Израиле.

Шендельс Евгения Иосифовна (1916–1995) – уроженка Курска, дочь известного врача, погибшего в годы оккупации. Ученый-германист, профессор, доктор наук.

Шенфельд Степан (Стефан) Якимович (Иоахимович) (1926-?) – узник Львовского гетто и Яновского лагеря. Его брат Зигмунт и мать погибли в ходе погрома. В 1943 году бежал, вступил в ряды Красной Армии.

Шустер Раша – уцелевший узник гетто г. Стоклишки (Литва).

Юхников Ицик – рабочий из Ковно, угнанный на принудительные работы в имение Waffen-SS Коцюнишки (Литва).

Ярмовская Мария Ильинична – очевидец убийства еврейских детей в Каунасе.

Авторы записей свидетельств

Балашов П. – 20 декабря 1942 года на Воронежском фронте зафиксировал свидетельства сдавшихся в плен венгерских евреев из трудовых батальонов.

Банк Семен – журналист, в годы войны корреспондент ТАСС в Белоруссии.

Вейсброд А. В. – жил в Москве, передал ЕАК рассказы узников Минского гетто.

Вербицкий А. – журналист, после освобождения Минска записывал свидетельства уцелевших узников гетто для ЕАК.

Герцбарх Борух Элиасович (1904–1952) – журналист, переводчик. В 1929 году – редактор журнала на идише «Дер гантверкер» («Ремесленник») в Риге, в 1931 году – редактор газеты на идише «Земгалер штиме» («Голос Земгале») в Елгаве. Перед войной жил в Риге, бежал в советский тыл. С августа 1942 года воевал в Латышской стрелковой дивизии, был дважды ранен (инвалид войны, демобилизован в конце 1944 года). Записал свидетельства для ЕАК в Прейли и Резекне. После войны жил в Риге, публиковался в газете Radoņļu Jaunatne («Советская молодежь»).

Головановский Савва Евсеевич (1910–1989) – украинский советский писатель, драматург, переводчик. Перевел на украинский язык произведения Байрона, Пушкина, Маяковского и Генриха Белля. Написал для «Черной книги» несколько очерков, не вошедших в основной текст.

Гоман Ш. – корреспондент ЕАК в Литве.

Грубиян (Грубиан) Матвей Михайлович (1909–1972) – советский еврейский поэт. Окончил литфак Минского пединститута. Член Союза писателей СССР с 1939 года. Его отец, сын, сестра были убиты нацистами в Белоруссии и Украине. В 1941 году ушел на фронт, в 1943 году тяжело ранен и демобилизован. Работал в ЕАК, печатался в газете «Эйникайт». В 1948 году арестован по делу ЕАК, заключен в лагерь. Освобожден и реабилитирован в 1955 году.

Ерушалми (Ерусалимский) Элиезер (1903–1962) – писатель, публицист. Автор дневника о событиях в Шауляйском гетто, который вел с 23 ноября 1941 года до лета 1944 года (частично опубликован в «Черной книге»). В 1944 году бежал к партизанам. В 1944–1945 годах сотрудничал с ЕАК и Эренбургом при подготовке ими «Черной книги». С июня 1945 года жил в Польше и Италии, с 1949 года – в Израиле, где опубликовал две книги о гибели евреев Литвы и истории Шауляйского гетто.

Дэвис Р. А. – канадский журналист и публицист. В 1941–1945 годах работал в Советском Союзе. В 1944 году выпустил книгу «Канада и Россия. Друзья и соседи» (Davies R. A. Canada and Russia. Friends and neighbours. Toronto, 1944).

Железнова Мириам Соломоновна (псевдоним – Мирра Железнова) (1909–1950) – журналист, сотрудничала с ЕАК. Первой опубликовала в газете «Эйникайт» полученный из Седьмого наградного отдела ГлавПУРа список 135 евреев – Героев Советского Союза, перепечатанный европейской и американской еврейской прессой. В апреле 1950 года арестована по делу ЕАК, казнена в ноябре того же года. Реабилитирована в 1955 году. См.: Железнова-Бергельсон Н. Л. Мою маму убили в середине XX века / Московское Бюро по правам человека. М.: Academia, 2009.

Идин А. – журналист, после освобождения Минска записывал свидетельства уцелевших узников гетто для ЕАК.

И. Клавдия – партизанка, фиксировала сведения о преследовании евреев в Калининской области.

Каган Абрам Яковлевич (1901–1965) – писатель, публиковался на идише. Киевский корреспондент газеты «Эйникайт», арестован в 1949 году и осужден на 15 лет лагерей. После реабилитации в январе 1956 года вернулся в Киев, опубликовал роман «Преступление и совесть» о «деле Бейлиса».

Кацович Лазарь Абрамович (1903–1953) – уроженец Минска, писатель, драматург. Член Союза советских писателей со дня его основания. Окончил сценарный факультет ВГИК, перед войной работал на киностудии «Советская Беларусь». В начале войны оказался с женой в Москве. Их пятнадцатилетняя дочь и девятилетний сын остались в Минске и погибли в гетто. Был эвакуирован в Ташкент. В 1943–1946 годах – редактор Всесоюзного радиокомитета в Москве. Разыскивая своих детей, записал рассказы бывших узников гетто вскоре после освобождения столицы Белоруссии.

Квитко Лейб (Лев Моисеевич) (1890–1952) – поэт, писал на идише. Во время войны был членом Еврейского антифашистского комитета в СССР. Входил в состав советско-американской редакции «Черной книги». Весной 1944 года по заданию ЕАК был командирован в Крым, где записывал свидетельства о Холокосте. Был членом редколлегии газеты «Эйникайт»; в 1947–1948 годах – литературно-художественного альманаха «Гэймланд» («Родина»). После ликвидации ЕАК был арестован (1949) и расстрелян (12 августа 1952 года).

Кон Нафтали Герцевич (настоящее имя – Якуб Давидович Шерф, 1910–1971) – поэт, писал на идише. Вынужден был покинуть Румынию и поселился в Польше, арестован в 1932 году и передан СССР. В 1937 году репрессирован, четыре года провел в заключении. В годы войны публиковался в газете «Эйникайт». В 1948 году приговорен к 25 годам лагерей, реабилитирован в 1956 году. В 1959 году выехал в Польшу, где вновь был арестован. В 1964 году уехал в Израиль.

Кофман Михаил Юрьевич – участник Гражданской войны. Работал в Одессе в Морском пароходстве. В сентябре 1941 года был ранен и попал в плен, прошел несколько лагерей военнопленных на Украине, бежал. Жил в Одессе, инвалид войны, направил Эренбургу свои воспоминания для «Черной книги».

Красов А. – майор, военный юрист, информировал ЕАК о преступлениях нацистов в Минске.

Красоткин Ф. – офицер-фронтовик, информировал Литературную комиссию «Черной книги» о судьбе евреев на Украине и в Курске.

Лагин (Гинзбург) Лазарь Иосифович (1903–1979) – писатель, поэт и сценарист, автор повести-сказки «Старик Хоттабыч» (1938). Повесть вышла отдельной книгой в 1940 году, в 1957 году был снят одноименный фильм. В годы Великой Отечественной войны работал в газете Черноморского флота «Красный черноморец», участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска. Войну окончил в Румынии в составе Дунайской флотилии.

Лидин (Гомберг) Владимир Германович (1894–1979) – прозаик. В годы войны корреспондент «Известий» и армейских газет. Опубликовал сборник очерков «Зима 1941 года» (1942). Преподавал в Литературном институте им.

Горького. Основные произведения: «Мышиные будни» (1923), «Норд» (1925), «Отступник» (1927), «Могила неизвестного солдата» (1932), «Изгнание» (1947), «Все часы времени» (1972), «Отражения звезд. Рассказы 1974–1976» (1978).

Маргулис А. – журналист, после освобождения Минска записывал свидетельства уцелевших узников.

Муровский А. – корреспондент Литературной комиссии «Черной книги», подготовил для нее свидетельство о лагере военнопленных и казни евреев в г. Дебальцево.

Островский Зиновий Григорьевич – майор, корреспондент Литературной комиссии «Черной книги», подготовил для нее несколько свидетельств (Славута, Каунас, Стоклишки).

Розен (Розенфельдт) Абрам Анатольевич – уроженец Киева, майор, журналист газеты «Фронтовая правда».

Стонков (Влодавский) Дмитрий Миронович (1898–1962) – писатель. Начал публиковаться в 1919 году. В годы Великой Отечественной войны работал во фронтовой печати. В 1944 году был ранен. Сотрудничал с ЕАК и Сов информбюро. В 1949 году был арестован и приговорен к 10 годам лагерей. Освобожден в 1954 году. Произведения: «Прошедшей ночью» (1989), «Избранное» (2002), «Прошедшей ночью. Лагерные рассказы» (2007).

Цунц Михаил Зиновьевич (1912–1979) – писатель, спецкор газеты «Красная Звезда» в годы войны.

Шапиро Александр – уроженец Днепропетровска, рядовой, попал в плен в 1941 году в Полтавской области, бежал, перешел линию фронта.

Шаус Л. – журналист, автор материала о судьбе евреев в Западной Белоруссии.

Благодарности

Мы выражаем глубокую признательность:

всем, кто готовил первое издание этого сборника, в частности бывшему заместителю директора Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ) Т. Ф. Павловой, д-ру Ицхаку Араду – заместителю председателя совета «Яд ва-Шем», возглавлявшему этот мемориальный комплекс в начале 90-х годов, сотруднице архива «Яд ва-Шем» Мери Гинзбург, бывшим сотрудникам «Яд ва-Шем» – директору архива д-ру Шмуэлю Краковскому и Наталье Зейфман;

директору ГА РФ С. В. Мироненко, заместителям директора Н. В. Анискиной и Л. А. Роговой, сотрудникам архива Н. И. Владимирцеву и М. А. Елисееву;

сотрудникам «Яд ва-Шем» Алексу Зенгину и д-ру Арону Шнееру;

историкам Григорию Смирину (Латвия) и Илье Лемпертасу (Литва), директору Музея Холокоста Ларисе Воловик (Харьков), заместителю директора Института иудаики Юлии Смилянкой (Киев).
Сноски

1

Неизвестная «Черная книга» / Сост. И. Альтман и Ш. Краковский. Под ред. И. Арада и Т. Павловой. Иерусалим – Москва: Текст, 1993. Переиздана в 2005 и 2008 гг. соответственно на венгерском и английском (в США) языках. Отбор документов для издания 1993 г. произведен И. Альтманом при участии д-ра Шмуэля Краковского, возглавлявшего тогда архив «Яд ва-Шем». Текст первого издания (включая примечания) готовила к печати Наталья Зейфман при участии Мери Гинзбург («Яд ва-Шем»).

2

ГА РФ, ф. 8114, оп. 1, д. 940–967.

3

Архив «Яд ва-Шем», ф. Р. 21.

4

ГА РФ, ф. 7021, оп. 69, д. 342.

5

ГА РФ, ф. 8114, оп. 1, д. 965, лл. 68–75 (далее указываются только номера дел и листов).
Машинопись. – Илья Альтман (далее – И. А.).

6

Ныне ул. Олеся Гончара. – И. А.

7

Александр Андреевич Агеев (1910–1990), его родители и сестра Елизавета в 1996 г. удостоены израильского почетного звания «Праведник народов мира» за спасение Иды Белозовской и ее сына Игоря. Семья Агеевых спасла также двух сестер И. Белозовской Розу и Добу, упомянутых в тексте. Игорь Агеев (р. 1936) живет в Киеве. См.: Бабий Яр. Спасители и спасенные. Киев, 2005. С. 19–20. – И. А.

8

Район Киева.

9

Продолжение воспоминаний И. С. Белозовской в фонде Еврейского антифашистского комитета и в архиве И. Г. Эренбурга в «Яд ва-Шем» не обнаружено.

10

Д. 965, л. 134–134 об. Машинопись с припиской и подписью-автографом. – И. А.

11

Д. 965, лл. 39–45. Машинопись с правкой. Фамилия записавшего рассказ в документе не указана. Можно предположить, что им был А. Каган. – И. А.

12

Ныне ул. Прорезная.

13

Ныне ул. Грушевского. – И. А.

14

Район Киева. – И. А.

15

В городе было расклеено две тысячи объявлений. – И. А.

16

Об этом в объявлении не говорилось. – И. А.

17

Микола Бажан (1904–1983), писатель, в 1943–1949 гг. – зампредседателя СНК УССР. – И. А.

18

В то время – первый секретарь компартии Украины. – И. А.

19

Д. 960, лл. 138–175 об., 191–198 об. Автограф.

20

Информация о числе жертв появилась в советской прессе и могла быть доступна автору в момент написания письма. Согласно отчету айнзацгруппы С, число казненных 29–30 сентября 1941 г. составило 33771. Сведения о том, что оккупанты оповещали население о количестве убитых в Киеве евреев, недостоверны. – И. А.

21

В Житомире немцы провели первые «акции» в июле-августе 1941 г. Тогда погибло около 5 тысяч евреев. 19 сентября 1941 г. было убито еще около 5 тысяч евреев.

22

Скажите, товарищи, что будет с нами? (идиш).

23

Сфотографирована. – И. А.

24

Не подтверждается другими источниками. – И. А.

25

Туча (укр.).

26

Приказ имелся и на русском языке: «Все жидаы города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктеривской улиц (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян».

27

В 1941 г. Йом Кипур пришелся на 1 октября.

28

Баляя – металлическая емкость для купания, стирки, выварки. – И. А.

29

Правильно – ночвы: емкости, обычно деревянные, для стирки, купания детей, замеса теста. – И. А.

30

Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый (иврит).

31

Ныне ул. Владимирская. – И. А.

32

Ныне ул. Богдана Хмельницкого. – И. А.

33

Согласно немецким источникам, под Киевом попали в окружение около 650 тысяч советских солдат. – И. А.

34

Тачки или повозки для грунта. – И. А.

35

Разве она еврейка? Она человек, как надо (укр.).

36

Ой, горько мне, до чего я дожила (идиш).

37

Евреи, люди милостивые, спасите меня от смерти (идиш).

38

Пусть останется с детьми на ночь. Ничего с Гитлером не случится (укр.).

39

Наверное, еврейка? Из Киева, потому что одета в длинное пальто, а дети в шапочках, хотя говоришь, как наши женщины (укр.).

40

Областной отдел народного образования.

41

Дом (укр.).

42

Что, бабка, хромаешь? (укр.).

43

Верховного Совета (укр.).

44

Большая сумка, тюк (укр.).

45

Известка (укр.).

46

Разве еврейки такие? Она [выглядит как] обычная женщина (укр.).

47

В архиве Ильи Эренбурга в «Яд ва-Шем» хранится материал для «Черной книги», дополнительно посланный писателю Э. Б. Котловой 29 сентября 1945 г. (Р. 21.1/35, лл. 7–14): списки людей, спасавших евреев в Киеве и Житомирской области, и фамилии спасшихся. – И. А.

48

См.: ф. Р. 21.1/114. Машинопись. Рассказ использован в очерке Вас. Гроссмана, опубликованном в

«Черной книге».

49

В Чуднове погибло около двух тысяч евреев. См.: Холокост на территории СССР. Энциклопедия / Под ред. И. А. Альтмана. 2-е испр. и доп. изд. М.: РОССПЭН, 2011 (далее – Энциклопедия). С. 1081–1082. – И. А.

50

16 октября. – И. А.

51

Назад (нем.).

52

22 октября. – И. А.

53

Винокурня (укр.).

54

Дитя мое (идиш).

55

Д. 960, лл. 85–86 об., 89–90. Автограф П. Зозули.

56

Д. 960, л. 100–100 об. Автограф.

57

Украинские националисты.

58

Д. 944, лл. 61–93. Машинопись с рукописными вставками и правкой. На экземпляре машинописного текста указано: «Отредактировано А. Эфросом. Подлинник у Эренбурга» (д. 944, л. 84). В одном из документов ЕАК указаны инициалы автора – «Р. Л.» (д. 945, л. 44), а в фонде Эренбурга в «Яд ва-Шем» – полное имя и отчество: Раиса Леонидовна (Р. 21.1/223). – И. А.

59

Шестиконечная (укр.).

60

Незаконнорожденный (укр.).

61

Киевская (ныне Черкасская) область. В 1939 г. в Шполе жило 2397 евреев (16,24 % населения). Город был оккупирован с 31 июля 1941 г. по 27 января 1944 г. – И. А.

62

21 августа 1941 г. в Шполе была арестована и 22 августа расстреляна первая группа евреев-мужчин. 3 и 9 сентября 1941 г. схвачены и расстреляны 160 евреев-интеллигентов (адвокаты, врачи, учителя). В октябре 1941 г. погибло еще семеро евреев. См.: Энциклопедия... С. 1096. – И. А.

63

В начале мая 1942 г. трудоспособных евреев угнали в рабочий лагерь. Остальных (около 800 человек) украинские полицейские из 117-го шутцманшафт-батальона 13 мая 1942 г. согнали в гетто. Оккупанты называли этот квартал «Палестиной». См.: Энциклопедия... С. 1096. – И. А.

64

Д. 965, лл. 51–52. Машинопись с правкой.

65

Д. 965, лл. 135–147. Автограф.

66

В 1939 г. в Умани (Киевская, ныне Черкасская обл.) проживало 13233 еврея (29,8 % населения).

Город был оккупирован 1 августа 1941 г. В городе осталось около 15 тысяч евреев, включая беженцев. См.: Энциклопедия... С. 1004. – И. А.

67

22–23 сентября 1941 г. погибло 1412 евреев. См.: Энциклопедия... С. 1004–1005. – И. А.

68

8 октября 1941 г. были схвачены и расстреляны 5,4 тысячи уманских евреев и 600 евреев-военнопленных. См.: Энциклопедия... С. 1005. – И. А.

69

Все равно (польск.).

70

Приветливо (укр.).

71

Д. 966, лл. 27–28. Машинопись.

72

Гетто было организовано 1 октября 1941 г. в районе Раковки. См.: Энциклопедия... С. 1005. – И. А.

73

Уроженцы Умани Раиса Ларжевская и двое ее братьев, Николай и Леонид, до войны учились вместе с Раисой Дудник в Днепропетровском университете. Приехав на каникулы в родной город, они оказались в оккупации. Вместе со старшим братом Иваном (работал бухгалтером и в 1944 г. погиб в партизанском отряде) они спасли сестер Дудник. Удостоены звания «Праведник народов мира» в 1996 г. – И. А.

74

См. выше.

75

Хая (Валентина) Дудник уцелела. После войны жила в Новосибирской области. – И. А.

76

Д. 958, лл. 1–3. Машинопись с припиской М. Железновой.

77

Д. 960, лл. 79–82 об. Автограф.

78

В Хмельнике, райцентре в Винницкой области, накануне оккупации проживало около 4 тысяч евреев. Осенью 1941 г. в город были вселены евреи из окрестностей, а также депортированные румынами из Бессарабии и Буковины в Винницкую область. На рассвете 9 января 1942 г. эсэсовцы, полицейские (местные и прибывшие из Литина) окружили гетто и стали сгонять евреев к Угриновскому мосту. Здесь оккупанты отделили семьи специалистов, а остальных узников (5,8 тысячи человек) казнили за

городом. См.: Энциклопедия... С. 1033. – И. А.

79

16 января 1942 г. погибло 1240 евреев. После этого в гетто собрали всех евреев города, в т. ч. скрывшихся либо спрятавшихся в момент казни. Специалистам были выданы «аусвайсы» белого цвета, остальным – синего. См.: Энциклопедия... С. 1033. – И. А.

80

Хмельник был освобожден 9–10 марта 1944 г.

81

Это письмо в архиве Эренбурга не обнаружено: имеется лишь краткое письмо Б. И. Бронфин ее московской родственнице, переданное в ЕАК. – И. А.

82

Д. 959, лл. 194–196. Машинопись. Пер. с идиша.

83

В гетто Тульчина находилось около 3300 евреев. См.: Энциклопедия... С. 990. – И. А.

84

Работающим выдавали 180 г. хлеба в день. См.: Энциклопедия... С. 990. – И. А.

85

Иностранцев евреев, кроме румынских, в гетто не было.

86

Д. 958, лл. 241–246. Машинопись с авторской правкой. Семен Семенович Криворучко отправил краткую версию воспоминаний в письме И. Г. Эренбургу от 29 марта 1945 г. (д. 960, лл. 62–63). Автор сообщал, что служит в армии рядовым, участвовал в боях за Восточную Пруссию, был ранен, лечился в Москве, откуда и направил письмо. Спасители Криворучко – жена-врач и приемная дочь-медсестра – работали в это время в госпитале в Венгрии. – И. А.

87

Д-ру мед. наук Е. З. Гурвичу шел 71 год. См.: Энциклопедия... С. 1028. – И. А.

88

27 декабря 1941 г. См.: Энциклопедия... С. 1028. – И. А.

89

В Дробицком Яру погибло около 9 тысяч евреев. См.: Энциклопедия... С. 1028. – И. А.

90

В письме И. Г. Эренбургу автор сообщал: «Моя жена и приемная дочь в течение девяти месяцев, рискуя жизнью, скрывали меня, делились со мной последним куском хлеба в условиях ужасного голода» (д. 960, л. 63). – И. А.

91

До войны окончила институт. Жена военнослужащего. Сведений о ее судьбе в фонде ЕАК нет. – И. А.

92

В фонде ЕАК (д. 941, лл. 11–15) хранится машинописная копия без указания автора, которая должна была в «Черной книге» стать первой частью очерка о Харькове. Но в окончательный текст вошел лишь очерк И. Г. Эренбурга «Что я пережила в Харькове». – И. А.

Д. 953, лл. 38–42. Машинопись. Очерк открывался вводным текстом В. Г. Лидина: «На главной улице города Харькова стоит великолепный, облицованный гранитными глыбами дом, ныне в нем горит электричество, действует водопровод, поет радио; матери вывозят в колясочках детей на прогулку. Я был в этом доме, когда отступающие немцы вели по городу артиллерийский огонь; когда в мрачном запустении – без стекол в окнах, частично разрушенный бомбой, без света и канализации – дом этот еще хранил страницы человеческих трагедий, произошедших в нем во время пребывания немцев в Харькове. Сотни людей вымирали в его огромных квартирах. Сотни людей жили в этом доме, как в Дантовом аду, встречая смерти как избавительницу от непомерных страданий. Немцы убивали в чудовищных своих лагерях, вроде Майданека: это было прямое убийство. Убивали десятки тысяч людей они медленной смертью, исподволь, день за днем, изобретая и совершенствуя самые мучительные и изощренные способы убийства». – И. А.

94

Харьковский тракторный завод.

95

Харьковский электромеханический завод.

96

Д. 961, лл. 24–29. Машинопись.

97

Ворошиловградской (ныне Луганской) области.

98

Д. 953, лл. 318–320. Машинопись с правкой и подписью А. Иванова. Над текстом фамилия А. Муровского, под текстом – его же адрес, записанный рукой А. Иванова, который редактировал текст.

99

В тексте ошибочно: одиннадцать.

100

Д. 950, л. 281–281 об. Машинопись с правкой переводчика.

101

Д. 961, лл. 65–90. Машинопись. Сокращенный вариант дневника за 8–23 октября см.: д. 944, лл. 44–54 (с ред. правкой). Сарра Глейх – чертежница из Харькова (в тексте, а также в воспоминаниях И. Г. Эренбурга она ошибочно названа студенткой), эвакуировавшаяся после начала войны в Мариуполь. Подлинник своего дневника («розовая школьная тетрадь») автор направила в годы войны Эренбургу (Эренбург И. Г. Собр. соч. В 9 тт. Т. 9. М., 1967. С. 413–414). После войны С. Глейх жила в Подмосковье. Умерла в Москве в конце 90-х гг. Сокращенный текст дневника (записи с 8 по 23 октября 1941 г.) опубликован в «Черной книге». Сверено с оригиналом и машинописной копией в архиве Эренбурга (Р. 21.1/63, лл. 1–45; автограф – лл. 1–27), восстановленные фрагменты – в квадратных скобках. – И. А.

102

Дмитрий Кириллович Арихбаев, по национальности грек, был женат на еврейке Нине Суцкиной, безуспешно пытался спасти жену и сына. В гестапо он не работал. – И. А.

103

Светлая ночь (идиш).

104

Д. 961, лл. 30–36. Машинопись.

105

Д. 960, лл. 38–49. Машинопись. Письмо Л. П. Скупник – автограф (д. 969, лл. 38–39 об.). В архиве Эренбурга в «Яд ва-Шем» хранится подлинник свидетельства Л. М. Слипченко (Р. 21.1/30).

Материалы частично использованы в «Черной книге». – И. А.

106

Передовые отряды оккупантов вошли в Одессу 16 октября 1941 г. Части румынской 10-й пехотной дивизии сразу же начали «чистку», что в первую очередь предусматривало арест евреев. В первые же сутки оккупации было убито около 8 тысяч человек, большинство – евреи. См.: Энциклопедия... С. 672. – И. А.

107

Этот приказ появился после взрыва здания НКВД.

108

Было взорвано здание, где оккупанты разместили военную комендатуру. Погибло 66 румынских офицеров, включая коменданта города, и несколько немецких. См.: Энциклопедия... С. 672.

Поскольку приказ оккупационных властей о репрессиях датирован 23 октября, этот день указан во всех публикуемых свидетельствах. – И. А.

109

В артиллерийские склады на Люстдорфской дороге сгоняли евреев, находившихся в тюрьме и захваченных во время облав. Здесь же нашли свою гибель 700 евреев призывного возраста, объявленных «военнопленными», и беженцы – бессарабские и буковинские евреи. См.:

Энциклопедия... С. 672. – И. А.

110

Жид, с дороги (рум.).

111

Был главврачом больницы гетто. Расстрелян 18 марта 1942 г. немцами-колонистами из с. Рейхштат в с. Веселый Хутор (возле Мостового) вместе с доктором Л. П. Бланком. – И. А.

112

22 октября. – И. А.

113

См. также прим. на с. 114. – И. А.

114

Д. 959, лл. 1–8; д. 956, лл. 165–167. Машинопись. Рукопись И. Б. Адесмана хранится в «Яд ваШем», как и его письма (Р. 21.1/12). Воспоминания использованы и частично опубликованы в «Черной книге». – И. А.

115

Одесса была освобождена 10 апреля 1944 г. – И. А.

116

Это дата, когда переселение должно было завершиться. Приказ был отдан ранее. – И. А.

117

В пороховых складах в октябре 1941 г. были сожжены несколько тысяч евреев. См.: Энциклопедия... С. 672–673. – И. А.

118

См. также прим. на с. 116, 123. – И. А.

119

В 1939 г. в Одессе проживало 200 962 еврея (33,26 % населения). Накануне оккупации здесь находилось 80–90 тысяч (по другим данным – 100–120 тысяч) евреев (в том числе не менее 20 тысяч беженцев). См.: Энциклопедия... С. 672. – И. А.

120

Д. 964, лл. 52–57. Машинопись. Рассказ А. Я. Моргулис частично использован в «Черной книге».

121

Д. 964, лл. 7–9. Машинопись. См. также фонд И. Г. Эренбурга (Р. 21.1/170). – И. А.

122

Село в Доманевском р-не Одесской обл. (ныне Николаевская обл.). Осенью 1941 г. румынские оккупанты пригнали в село 15–16 тысяч евреев из Бессарабии и 20–25 тысяч евреев из Одессы и уезда Голта (всего 35–40 тысяч человек). Их разместили под открытым небом или в свинарниках в полукилометре от села. Расстреливали людей в овраге у р. Южный Буг. В течение 12 дней (21–23 и 28–30 декабря 1941 г., а также 4–9 января 1942 г.) были убиты почти все евреи. 2–3 тысячи человек умерли от голода, холода и болезней. В январе-феврале 1942 г. трупы были сожжены. Согласно материалам ЧГК, в Богдановке погибло около 52 тысяч человек и сожжено в двух бараках около 2 тысяч. Согласно обвинительному заключению по делу 38 румынских военных преступников (процесс прошел в Бухаресте в мае 1945 г.), в Богдановке 4–5 тысяч больных евреев сожгли в двух конюшнях, а 43 тысячи – расстреляли. По немецким данным, в овраге у с. Богдановка находилось (январь 1942 г.) около 35 тысяч трупов. – И. А.

123

Д. 964, лл. 21–39. Машинопись. См. также фонд И. Г. Эренбурга (Р. 21.1/177). Текст использован и частично опубликован в «Черной книге». – И. А.

124

Брат автора Анатолий Рожецкий (1935–2000). После войны работал в Одессе главным режиссером Дома народного творчества. – И. А.

125

В январе-феврале 1942 г. на железнодорожную станцию Березовка прибывали эшелоны с евреями из Одессы. Со станции их пешком гнали в сторону Южного Буга и по дороге убивали. Всего в окрестностях этого города погибло 5511 евреев. Некоторых, в т. ч. детей, сжигали заживо. Замерзших во время транспортировки из Одессы в неотопливаемых вагонах (по данным ЧГК – 1058) похоронили у станции. См.: Энциклопедия... С. 85. – И. А.

126

Доманевка – поселок (ныне Николаевская обл.). С 1 сентября 1941 г. – территория румынской Транснистрии. Вскоре в поселке был организован концлагерь. В январе 1942 г. в Доманевку

депортировали несколько тысяч одесских евреев, в июне 1942 г. – еще несколько сотен. Депортированных в основном разместили в здании клуба, синагоге и в двух полуразрушенных конюшнях на окраине Доманевки. В декабре 1941 г. на месте нынешнего стадиона были расстреляны около 600 евреев. Расстрелы шли и в январе-феврале 1942 г. Многие узники умерли от тифа и дизентерии. В Доманевке за время оккупации погибло 20 тысяч евреев, в т. ч. 18 тысяч в январе-феврале 1942 г. См.: Энциклопедия... С. 278. – И. А.

127

Данные значительно завышены. – И. А.

128

Село в Доманевском р-не Одесской обл. (ныне Николаевская обл.). Здесь находился один из самых страшных лагерей, куда направляли евреев из Одесской обл. и Бессарабии. На отправку сюда из гетто Транснистрии смотрели «как на высшую меру наказания». В апреле 1942 г. – марте 1944 г. здесь находился рабочий лагерь для евреев, переведенных из Доманевки. Всего через лагерь прошло около 3 тысяч евреев из Одессы, а также Бессарабии. См.: Энциклопедия... С. 18. – И. А.

129

Д. 940, лл. 72–77. Машинописная заверенная копия. Подлинник хранится в фонде ЧГК (ГА РФ, ф. 7021, оп. 69, д. 342, лл. 70–71, 74–75).

130

Взводный (рум.).

131

Отчет Одесскому областному комитету ВКП(б). См.: д. 965, лл. 148–151 об. Машинопись, письмо-автограф.

132

Ольга Нисимовна и Елена Нисимовна Кантарович. Ольга умерла в Одессе в 1984 г., Елена – в 1981 г. – И. А.

133

Румынская тайная полиция.

134

Люся Ефимовна Калика (р. 1923) написала об этом в воспоминаниях: Калика Люся 820 дней в подземелье. Скопус (Израиль), 2007. В 1992 г. врач Л. Калика-Штрах переехала в Израиль. – И. А.

135

То есть у здания тюрьмы.

136

Румынские охранники.

137

Письмо приложено к экземпляру отчета, посланному Кантарович в ЕАК. Письмо того же содержания было отправлено ею Эренбургу (Р. 21.1/90, лл. 1–6) с сопроводительным письмом-автографом (Р. 21.1/90, лл. 1–3). – И. А.

138

Д. 960, лл. 16–30. Машинопись с правкой. Воспоминания 6 апреля 1945 г. были посланы И. Г. Эренбургу из Львова майором Д. Б. Быстрым с биографическими сведениями об авторе и его

отце (д. 960, л. 15). Степан Якимович Шенфельд попал в лагерь в 16 лет. Его брат Зигмунт и мать погибли во время погрома в Львове. В 1943 г. бежал, вступил в Красную Армию. Воспоминания написаны осенью 1943 г. К ним приложено письмо отца. – И. А.

139

Охранники-украинцы. – И. А.

140

Очистками (укр.).

141

Яким (Иоахим) Зеликович Шенфельд, бывший бухгалтер Львовского гетто, скрылся из Львова, жил и работал по подложным документам в Запорожье, в поисках сына ездил во Львов и Варшаву в начале 1944 г. После освобождения Запорожья органы НКВД рассматривали вопрос об его заброске в Варшаву как агента. Дал подробные сведения о юденрате Львовского гетто. В 1945 г. работал в Киевском тресте «Консервоовощеплод», был репрессирован, эмигрировал в Польшу а оттуда в Канаду. Умер в Торонто в возрасте 101 года. См.: Schoenfeld Joachim Jews in the Lwow Ghetto, the Janowski Concentration camp, and as Deportees in Siberia. Foreword by Simon Wiesenthal. Horoken, 1984; Альтман И. А. Жертвы ненависти. М. 2002. – И. А.

142

Д. 960, лл. 6–9. Машинопись. Семен Наумович Грутман сообщал Эренбургу, что он родом из Одессы, жил по адресу: ул. Мечникова, д. 100, кв. 24. Там оккупанты убили его бабушку. Перед войной переехал в Ковель, где работал завучем в еврейской школе. В этом городе погибли его мать и теща. – И. А.

143

Гетто в Ковеле ликвидировано 19 августа 1942 г.: на еврейском кладбище расстреляли более 5 тысяч евреев и 150 цыган. Расстрелы шли несколько дней. Жертв сгоняли в большую синагогу и оттуда группами вывозили на казнь. Именно тогда сделаны надписи (около 95). Полный текст см. в «Книге памяти евреев Ковеля», изданной (на иврите) в Тель-Авиве в 1957 г. (см.: Энциклопедия... С. 487–498). – И. А.

144

Так в тексте. – И. А.

145

Невинная кровь евреев да прольется на всех немцев. Изверги, изверги! Разрази их гром (искаж. польск.).

146

Речь идет об известном письме англичанки Гибб к Эренбургу, которое было опубликовано вместе с его ответом в газете «Красная Звезда» 15 ноября 1944 г. (леди Гибб выступила защитницей немцев, настаивая на их «прощении»). Письма возмущенных фронтовиков составили книгу «Русские отвечают леди Гибб: Илья Эренбург и его читатели», вышедшую в 1945 г. в Лондоне. – И. А.

147

Д. 963, лл. 100–102. Машинописная копия. На нем. языке опубликовано в газ. «Свободная Германия» (Freies Deutschland).

148

30 сентября 1942 г. в ходе т. наз. второй транспортной «акции» были схвачены и депортированы в лагерь смерти Белжец 750 евреев. В октябре и 8–9 ноября были схвачены и вывезены более 2 тысяч человек. Всего в 1942 г. в Белжец в результате четырех «акций» попало 5,5–6 тысяч евреев. К 13 января 1943 г. в Тернополе (в гетто и в рабочем лагере) оставалось 5246 евреев. 18–20 июня 1943 г. гетто было ликвидировано. 23 июня 1943 г. Тернополь был объявлен «свободным от евреев». См.: Энциклопедия... С. 978–979. – И. А.

149

Белорусский фронт.

150

Очевидно, речь идет о СД.

151

Еврейская полиция гетто.

152

Д. 963, лл. 95–96. Машинопись с правкой.

153

Ныне Хмельницкая обл. В 1939 г. в Славуте жили 5102 еврея (33,68 % населения). Оккупирован немцами 7 июля 1941 г. – И. А.

154

Освобожден 15 января 1944 г. партизанами. – И. А.

155

18 августа 1941 г. служащие 2-й роты 45-го резервного полицейского батальона полка «Юг» расстреляли 322 еврея, 30 августа – 911 евреев. 2 марта 1942 г. в Славуте было организовано гетто, в которое согнали евреев из Берездова, Красностава, Аннополя. Всего в гетто оказалось около 5 тысяч человек. 25 июня 1942 г. гетто было ликвидировано после расстрела большинства евреев СД при содействии немецкой жандармерии и украинской полиции. В сентябре 1942 г. в городе были расстреляны и еврей-специалисты с семьями. См.: Энциклопедия... С. 908. – И. А.

156

Д. 960, лл. 362–364 об. Автограф. Первое письмо Р. А. Фрадис-Мильнер направила И. Г. Эренбургу в 1944 г. В нем она сообщила биографические сведения о себе и своей семье (АЯВ, Р. 21.1/137; там же хранится переработанный текст этого письма с названием «Мать Шуры» и подписью «Р. Мильнер»; машинопись). Письма Р. Фрадис-Мильнер частично использованы в «Черной книге». – И. А.

157

Ныне г. Единець, Республика Молдова. До 1940 г. – в составе Румынии. В 1930 г. в Единцах жили 5349 евреев (90,3 % населения). См.: Энциклопедия... С. 295. – И. А.

158

Румынские военные расстреляли 700 евреев. Их похоронили на еврейском кладбище. 15 августа 1941 г. на северо-западной окраине города был организован концлагерь, куда сгоняли евреев со всей Северной Буковины. Так, сюда переселили почти половину евреев из Сокирян. Большинство узников Единецкого лагеря составляли евреи Черновицкой обл. (Старожинец, Вэсэуць, Вижница, Лужень и др.), небольшое число оставшихся в живых евреев Единцов, Липкан, Бричан. Осенью 1941 г. здесь находились уже 15 тыс. евреев. См.: Энциклопедия... С. 296. – И. А.

159

В первые дни пригнанных в Единец евреев держали в конюшнях и в поле, огороженных колючей проволокой, затем двум с половиной тысячам узников отвели улицу на окраине местечка. Там стояло лишь 26 полуразрушенных домов. См.: Энциклопедия... С. 296. – И. А.

160

11 октября 1941 г. оставшихся еще в живых евреев двумя партиями погнали в Транснистрию. Большинство погибло в пути. Лишь за одну ночь 15 ноября возле с. Кодру умерло 860 депортированных. См.: Энциклопедия... С. 296. – И. А.

161

Начальник немецкой полиции и концлагерей в том районе.

162

Украинская вспомогательная полиция.

163

В 1942–1943 гг. в с. Заруденцы Немировского р-на Винницкой обл. находился еврейский рабочий лагерь, где погибло около 300 евреев. См.: Энциклопедия... С. 327. – И. А.

164

Продолжение письма не обнаружено.

165

Михаил Гричаник, житель Минска, работал во время оккупации на швейной фабрике. Его семья – восемь человек – была убита нацистами. Как портному немцы временно сохранили ему жизнь. Гричаник бежал к партизанам. Во время одной из боевых операций отморозил ноги, был доставлен на самолете в тыл и там составил свои записки.

166

Одной из первых мер немецких военных властей стала организация 29 июня – 1 июля 1941 г. «лагеря гражданских пленных» на Сторожевской улице. Позже лагерь был переведен в Дрозды, в 5 километрах от Минска. В этот лагерь было собрано все мужское население города, еврейское и нееврейское, в возрасте 18–45 лет. Официальной целью был объявлен поиск скрывшихся красноармейцев. Интернированные располагались под открытым небом, немцы не снабжали их продовольствием. Многие умерли в лагере или были убиты охраной. См.: Энциклопедия... С. 591–592. – И. А.

167

15–17 июля 1941 г. немцы отделили от узников 1050 евреев «интеллигентных» профессий и расстреляли их. См.: Энциклопедия... С. 592. – И. А.

168

Юденрат (нем. еврейский совет) организовывался по приказу оккупационных властей. В его обязанности входило исполнение приказов, касающихся евреев.

169

Приказ от 7 июля 1941 г. обязал евреев в возрасте от 10 лет носить белую повязку на правом рукаве или прикрепить на одежду желтую заплату диаметром 10 сантиметров. 13 июля евреев обязали носить желтые нашивки на одежде – на левой стороне груди и на спине. – И. А.

170

Исполнителем была зондеркоманда 1b айнцагруппы А под командованием Эриха Эрлингера. Ее жертвами стали жители ул. Республиканская, Островского, Немига и Хлебная. Тех евреев, которые не были убиты на месте, немцы на грузовиках увезли в Тучинку под Минском и расстреляли. По разным оценкам, в тот день было убито от 6624 до 15 тысяч человек. См.: Энциклопедия... С. 592–594. – И. А.

171

Погром произошел на ул. Замковая, Подзамковая, Санитарная и Зеленая. Погибло 5–7 тысяч евреев. См.: Энциклопедия... С. 592–594. – И. А.

172

Евреи, быстро по домам (нем.).

173

Речь идет о евреях, привезенных из Германии, Австрии, Чехословакии и других стран в Минск, где для них было устроено отдельное гетто.

174

Д. 961, лл. 85–87, 100–116. Машинопись.

175

Цифры завышены. В Минске оставалось от 55 до 60 тысяч евреев. – И. А.

176

Первый транспорт из Гамбурга прибыл в Минское гетто 11 ноября 1941 года. Иностранцы евреи размещались отдельно. С ноября 1941 г. по октябрь 1942 г. в Минск депортировали более 25 тысяч евреев рейха. Часть поместили в особое (нем. зондер) гетто на территории Минского, остальных казнили в Малом Тростянце сразу же после прибытия. – И. А.

177

Утром 2 марта, когда колонны рабочих покинули гетто, туда вошли каратели. Поскольку необходимое число жертв эсэсовцы набрать не смогли, они дождались возвращения бригад с работы и присоединили к жертвам часть рабочих. Собранных евреев погнали на вокзал и отвезли в Койданов (Дзержинск). Тех, кто отказался пойти, расстреляли на месте. В Койданове все вывезенные были расстреляны. Сами немцы (СС) оценили число убитых в тот день в 3412 человека, мемуаристы упоминают о 5–7 тысячах. – И. А.

178

Грузовые машины с герметически закрытыми кузовами, куда подавались выхлопные газы от двигателя.

179

Д. 958, лл. 187–191. Машинопись с правкой и подписью-автографом А. Красова.

180

Николай Александрович Прилежаев (1877–1944), советский химик-органик, член-корреспондент АН СССР (1933), академик АН БССР (1940). Профессор Белорусского университета (с 1924). – И. А.

181

Корреспондент газеты ЕАК «Эйникайт». – И. А.

182

Очевидно, ошибка. Имеются в виду евреи из других немецких городов.

- 183
Д. 961, лл. 337–337 об. Машинопись.
- 184
Цифра занижена. – И. А.
- 185
Д. 958, л. 15–15 об. Машинопись.
- 186
Д. 959, лл. 197–199. Машинопись с правкой. – И. А.
- 187
Д. 963, лл. 59–68. Машинопись. Текст на идише – там же, машинопись, лл. 75–81.
- 188
Гетто включало 40 улиц, численность узников здесь завышена. – И. А.
- 189
Имеется в виду юденрат.
- 190
Цифра завышена. – И. А.
- 191
Вероятно, имеется в виду «акция» 2 марта 1942 г. Число жертв завышено. – И. А.
- 192
8 марта – Международный женский день.
- 193
23 апреля погибло 500 евреев. – И. А.
- 194
Профессор С. М. Афонский до войны работал на кафедре психиатрии Белорусского государственного медицинского института. – И. А.
- 195
Евгений Владимирович Клумов (подпольный псевдоним Самарин) (1878–1944) – Герой Советского Союза (1965, посмертно), профессор. В период оккупации Минска работал заведующим гинекологическим отделением 3-й Минской клинической больницы. Вел большую работу по обеспечению партизан и подпольщиков медикаментами и оборудованием, оказывал медпомощь партизанам и населению. Выдавая ложные справки о болезнях, спасал многих от отправки в Германию. В октябре 1943 г. вместе с женой был арестован. Отказался работать на гитлеровцев и 10 февраля 1944 г. погиб в лагере Тростянец. – И. А.
- 196
Информация не соответствует действительности. – И. А.
- 197
В этот день «акция» не проводилась. – И. А.
- 198
Минское гетто было ликвидировано 23 октября 1943 г. – И. А.
- 199
Д. 955, лл. 64–72. Автограф. Пометка в конце текста: «Очень ценный материал».

200

Эта деревня (ныне в Дзержинском р-не Минской обл.) была сожжена 30 июня 1943 г. за помощь партизанам. Сгорело 398 домов, погибло 144 человек. – И. А.

201

Тувия Бельский (1906–1986) в 1941 г. организовал вместе с братьями Асаэлем и Зусем семейный еврейский партизанский отряд им. М. И. Калинина в составе Лидской зоны Барановичской обл. Действовал с июля 1941 г. по 16 июля 1944 г. Это был первый и самый многочисленный еврейский партизанский отряд на территории Белоруссии. В 2008 г. американский кинорежиссер Эдвард Цвик снял фильм «Вызов» (Defiance) об отряде Бельских. – И. А.

202

Константин Козловский спас около полутысячи узников из гетто Новогрудка. Звание «Праведник народов мира» ему было присвоено в 1993 г. – И. А.

203

Д. 958, лл. 203–208. Машинопись. Пер. с идиша. Лазарь Абрамович Кацович (1903–1953) вскоре после освобождения столицы Белоруссии записал рассказы уцелевших узников гетто. См.: Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства (БГАМЛИ), ф. 196, оп. 1, ед. хр. 52, лл. 1–10. – И. А.

204

Д. 960, лл. 292–298. Автограф. Здесь опущено начало письма. – И. А.

205

Гирш (Григорий) Израилевич Добин (1905–2001) – еврейский писатель. С 1932 г. работал в Биробиджане, был репрессирован. Накануне войны – собкор газеты «Октябрь» (на идише) в Белостоке. Бежал из Минского гетто. Воевал в партизанском отряде. С 1992 г. жил в Израиле. – И. А.

206

Д. 940, лл. 105–106. Машинописная заверенная копия.

207

В начале 1942 г. в городе оставалось 239 евреев. Все они были убиты в 1943 г. См.: Энциклопедия... С. 945. – И. А.

208

Д. 961, лл. 328–328 об. Машинопись с правкой.

209

«Акция» было больше. До 4 сентября 1941 г. айнзацкоманда 7в уничтожила в Слуцке 115 человек, большинство которых – евреи. Вероятно, первая массовая казнь евреев Слуцка (500 жертв) состоялась в начале октября 1941 г. Наиболее крупную «акцию» нацисты провели 27–28 октября (погибло около 5 тысяч человек). Узников т. наз. полевого гетто (более 2 тысяч) казнили в марте 1942 г. 8–9 февраля 1943 г. было расстреляно более 3 тысяч узников. Последних обитателей гетто, предположительно 2 тысячи человек, убили в ур. Мохарты у дер. Висея. См.: Энциклопедия... С. 913. – И. А.

210

Д. 961, л. 332. Машинопись.

211

В 1939 г. там проживало 1272 еврея (17,6 % населения). – И. А.

212

В этот день немецкие каратели при участии местных полицейских убили 624 узника гетто. См.: Энциклопедия... С. 1058. – И. А.

213

Д. 959, л. 100–100 об. Машинопись с правкой.

214

Дора Рувимовна Каган (см. предыдущее свидетельство).

215

См. выше.

216

Д. 961, л. 330. Машинопись.

217

Число казненных составило от 900 до 1300 человек. См.: Энциклопедия... С. 624–625. – И. А.

218

Д. 966, л. 282–282 об. Машинопись с правкой.

219

Народный дом – культурно-просветительское учреждение. – И. А.

220

Погибло 253 еврея. См.: Энциклопедия... С. 625. – И. А.

221

Д. 955, л. 9–9 об. Машинопись.

222

Число жертв составило около 4 тысяч. См.: Энциклопедия... С. 611–612. – И. А.

223

Д. 961, л. 329–329 об. Машинопись.

224

В двух гетто города оказалось около 25 тысяч евреев. – И. А.

225

Евреев из Гродно депортировали также в Аушвиц (Освенцим). – И. А.

226

4–5 марта 1942 г. было расстреляно 2007 человек, а согласно свидетельским показаниям и выводам ЧГК – от 3,4 до 4 тысяч человек. – И. А.

227

«Акция» проводилась с 22 сентября по 2 октября 1942 г. Погибло 3–6 тысяч человек. – И. А.

228

Расстрел производился, как и раньше, в поле между деревнями Узноги, Грабовец и Глинище. Число погибших составило от 3 до 7 тысяч человек. – И. А.

229

К началу оккупации в городе оказались 7,2–7,5 тысячи евреев. – И. А.

230

Первая «акция» состоялась в августе 1941 г. Группу из 45 человек вывели за город, приказали вырыть себе могилу и в ней расстреляли. Второй погром (300 жертв) произошел 1 декабря 1941 г. В октябре 1942 г. были расстреляны 220 (по другим данным – 100) нетрудоспособных узников гетто – стариков, женщин и детей. В январе 1943 г. полиция согнала 400 евреев в сарай и сожгла их. 2 мая 1943 г. расстреляли, по данным ЧГК, около тысячи человек. Согласно протоколу допроса унтершарфюрера СС Франца Гесса, члена зондеркоманды, «акция» проходила в середине июля 1942 г., погибло около 2 тысяч человек. – И. А.

231

Д. 955, лл. 107–108. Машинопись. Пер. с идиша.

232

Дер. Любавичи находится в Руднянском р-не Смоленской обл. РФ (ранее РСФСР). – И. А.

233

Рудня – город, районный центр. Евреев казнили на окраине Любавичей, у скотобойни. 4 ноября 1941 г. погибли 483 узника гетто. – И. А.

234

Рудня была освобождена частями Калининского фронта. – И. А.

235

Эта информация не подтверждается другими источниками. – И. А.

236

Д. 961, л. 331–331 об. Машинопись.

237

Д. 950, л. 293. Машинопись с правкой.

238

Автор назвал ее «единственной оставшейся в живых, единственной в Курской области» еврейкой (д. 950, л. 284). – И. А.

239

О спасении баптистами еврейской семьи в Курской области см.: Праведники России. 1941–1945. М.: Русское слово, 2011. – И. А.

240

Д. 950, лл. 284–286. Машинопись с правкой.

241

Д. 955, л. 114–114 об. Машинопись.

242

Осип Борисович Шендельс, главврач туберкулезного санатория в Курске, отказался бросить больных. – И. А.

243

И. С. Гильман, с 1934 г. заведующий городским кожно-венерологическим диспансером. – И. А.

244

Д. 959, л. 102–102 об. Машинопись с правкой.

245

Д. 963, лл. 111–112. Машинопись. В примечании сказано: «Автор записей – подруга известной

партизанки Лизы Чайкиной» (Героя Советского Союза).

246

Ныне Тверская область.

247

Письмо художника Л. Н. Тарабукина и его жены, профессора Кишиневской консерватории, еврейки Д. Р. Гольдштейн, посланное из г. Ессентуки, куда они эвакуировались из Кишинева, писателю Ю. А. Калугину в Ташкент.

248

Пинхас Коткин. – И. А.

249

Председателем комитета стал скрипач Бейлинсон. См. прим. к следующему документу. – И. А.

250

Наум Исидорович Балабан (1889–1942), профессор, заслуженный врач РСФСР (1941), директор Симферопольской психиатрической больницы «Балабановка». Служил врачом в действующей армии во время Первой мировой войны, в Гражданской – в РККА. В оккупации помогал подпольщикам, спасал больных. Погиб в Симферополе в марте 1942 г. Среди научных работ – исследование, посвященное воздействию на психику крымчан Ялтинского землетрясения 1927 г., которое было опубликовано в Германии, а также монография «Патология личности Льва Толстого». – И. А.

251

Народный комиссариат коммунального хозяйства.

252

Управление народно-хозяйственного учета.

253

В 1939 г. в Симферополе жил 22791 еврей (16 % населения), в Симферопольском р-не – 728 евреев (1,8 % населения). – И. А.

254

Крымское ханство существовало до 1783 г.

255

Районный исполнительный комитет.

256

Подушечка.

257

Николай Николаевич Клепинин (1869–1936) – почвовед, краевед, художник, фотограф, основатель полевой опытной станции в Крыму. В 1932 г. опубликовал карту почв Крыма, в 1935 г. – монографию «Почвы Крыма». – И. А.

258

В Бухаресте евреев не расстреливали. В конце июня 1941 г. был погром в Яссах, погибло 13 тысяч евреев. – И. А.

259

Монах Иллиодор, основавший в Волынской губернии отделение организации «Союз русского народа», с 1906 г. редактировал «Почаевский листок», издаваемый с 1887 г. Почаевской лаврой.

Издание публиковало антисемитские материалы. – И. А.

260

Д. 961, лл. 48–64; д. 959, лл. 160–175. Машинопись. Д. 952, лл. 76–92 – расшифровка стенограммы, в т. ч. рукописная, с автографом Л. Сейфуллиной. Сокращенный и измененный вариант стенограммы использован в «Черной книге». – И. А.

261

Лев Ильич Юровский, работал в магазине «Динамо». – И. А.

262

Скрипач в кинотеатре «Большевик». – И. А.

263

В оригинале ошибка: должно быть – «декабря».

264

Местная комендатура немецкой армии.

265

Д. 950, лл. 196–201. Машинопись. На 1-й стр. помета В. Гроссмана: «Малоинтересно» (л. 196). Лл. 202–205 об. – рукописный вариант. – И. А.

266

Д. 950, лл. 205–208. Машинопись. Лл. 213–217 – автограф.

267

В пос. Мамак под Симферополем (ныне пос. Строгановка) заведующая детдомом Мария Станиславовна Прусс и персонал спасли более двенадцати еврейских детей, обеспечив их поддельными документами и «легендами». – И. А.

268

Православный священник о. Викентий Никипорчик укрывал еврейских детей, за что был заключен в концлагерь СД. – И. А.

269

Пинхус Рувимович (Петр Романович) Ямпольский (1907–1981), секретарь Крымского ОК ВКП(б), уполномоченный обкома в партизанских отрядах Крыма, начальник Центральной оперативной группы (25 ноября 1943 г. – 29 января 1944 г.), командир Северного соединения (29 января 1944 г. – 20 апреля 1944 г.). – И. А.

270

Д. 941, лл. 31–35. Машинопись.

271

Тфилин (филактерии) – предмет религиозного культа, две черные кожаные коробочки, внутри которых цитаты из Библии на пергаменте.

272

Д. 953, лл. 9–12. Машинопись с правкой. На последнем листе – автограф автора и дата. – И. А.

273

Д. 950, лл. 222–223. Автограф.

274

Ныне с. Ромашкино Сакского р-на. – И. А.

- 275
Были казнены 36 евреев. – И. А.
- 276
Верно – Найдорф. Ныне с. Шишкино Сакского р-на. – И. А.
- 277
Д. 950, лл. 224–230. Машинопись. – И. А.
- 278
К осени 1941 г. – Илья Лемпертас (далее – И. Л.).
- 279
Литовские историки называют цифру – 17,5 тысячи. – И. Л.
- 280
Антанас Сметона – президент Литвы в 1919–1920, 1926–1940 гг.
- 281
Данные завышены. Так, в Кретинге погибло около 700 евреев, в Жежмаряй – около 900. В гор. Зарасай 26 августа 1941 г. айнзацкоманда 3 расстреляла одного литовца-коммуниста, одну русскую-коммунистку и 2567 евреев (большинство – женщины и дети). – И. А., И. Л.
- 282
Это произошло в ночь с 25 на 26 июня. Считается, что тогда погибло около 60 евреев. – И. А., И. Л.
- 283
Известно также под названием Слободка.
- 284
28 августа 1941 г. в Кедайняе были расстреляны 2076 евреев. – И. Л.
- 285
Эльханан Элькес (1879–1944) – известный каунасский врач, который после долгих уговоров согласился (4 августа 1941 г.) возглавить Совет старейшин. Д-р Элькес пытался спасти евреев, поддерживал подпольную организацию гетто. Погиб в концлагере Ландсберг. – И. Л.
- 286
6 октября 1941 г. в Семелишкесе были расстреляны 962 еврея (213 мужчин, 359 женщин, 390 детей). – И. Л.
- 287
Д. 958, лл. 143–165. Машинопись с правкой. По-видимому, «Обращение» основано на материалах дневника Елены Буйвидайте-Куторгене, в котором В. Куторга неоднократно упоминается. Сведений о публикации обращения на Западе не обнаружено.
- 288
Идиш.
- 289
Областной комиссар (нем.).
- 290
Массовые убийства имели место уже в первые дни оккупации.
- 291
Раби Авраам Дов-Бер Кахане-Шапиро (1870–1943) – один из духовных лидеров литовского

еврейства, главный раввин Каунаса (с 1913 г.), председатель Совета раввинов Литвы. Начало Второй мировой войны застало р. Кахане-Шапиро в Швейцарии, где он перенес тяжелейшую операцию. Друзья и близкие уговаривали его не возвращаться в Литву, но он ответил: «Капитан оставляет тонущий корабль последним, а не первым! В этот час беды мое место – с моей общиной». Несмотря на то, что вновь обострившаяся болезнь приковала р. Кахане-Шапиро к постели, он и в этих условиях оставался духовным руководителем евреев гетто. – И. Л.

292

Хаим Нахман Шапиро (1895–1943) – литературовед, публицист и педагог. С 1925 г. начал преподавать семитские языки в Университете Каунаса. В 1931 г. занял пост профессора. Один из ведущих деятелей сионизма в Литве, делегат нескольких сионистских конгрессов. В Каунасском гетто работал над изданием «История современной еврейской литературы», которое было рассчитано на 12 томов (первый вышел в Тель-Авиве в 1939 г., второй пропал в гетто). Расстрелян вместе с женой и сыном 8 декабря 1943 г. – И. Л.

293

Вильгельм Геке (1898–1944) – оберштурмбанфюрер СС. С июля 1942 г. служил в концлагере Маутхаузен, в октябре 1942 г. возглавил концлагерь в Варшаве, с сентября 1943 г. – комендант Каунасского гетто, перешедшего в ведение СС. В июле 1944 г. откомандирован в распоряжение высшего руководителя СС и полиции Адриатического побережья для участия в антипартизанских операциях. Убит партизанами. – И. Л.

294

Несколько сотен депортированных в концлагерь остались в живых. – И. А.

295

Д. 963, лл. 103–108. Машинопись с правкой.

296

Д. 953, лл. 3–8. Машинопись с правкой.

297

Семнадцатилетний Рудольф, талантливый шахматист, в один из первых дней оккупации ушел за аттестатом зрелости и не вернулся домой. – И. А.

298

Свободны от евреев (нем.).

299

Национал-социалистический механизированный корпус, германская полувоенная организация.

300

Имеется в виду желтая шестиконечная нашивка на одежде еврея. – И. Л.

301

Расовое оскорбление (нем.).

302

Люциан Высоцки (1899–1964) – один из высших чинов оккупационного режима в Прибалтике, бригаденфюрер СС, генерал-майор полиции, организатор нацистского террора в Литве. С 11 августа 1941 г. до 2 июля 1943 г. был начальником Каунасской штаб-квартиры СС и литовской полиции. После войны жил в Дуйсбурге (ФРГ). – И. Л.

- 303
Арнольд Лентцен (1902–1956) – оберфюрер СА, гебитскомиссар Каунасского округа. – И. Л.
- 304
Карл Ринк, заместитель В. Геке. Был женат на еврейке. До начала Второй мировой войны отправил в Палестину дочь (умерла в 2006 г. в кибуце Кфар-Гилади). Во время войны К. Ринк помогал евреям, в частности, спас Михаэля Столовицкого. – И. Л.
- 305
Синг-Синг – тюрьма в Нью-Йорке. – И. А.
- 306
Это еще живо? (нем.)
- 307
Д. 953, л. 109–109 об. Машинопись.
- 308
Так называемая Большая акция 28 октября 1941 г. – И. Л.
- 309
Дер. Стаклишкес Пренайского р-на Каунасского уезда.
- 310
Бутримонис – местечко в Алитусском р-не Литвы. – И. А.
- 311
Д. 963, лл. 97–99. Машинопись с правкой.
- 312
Д. 955, лл. 56–63. Рукопись.
- 313
Бутримонис. – И. А.
- 314
9 сентября 1941 г. отряд оперативной команды 3 совместно с литовскими полицейскими расстрелял 740 евреев (67 мужчин, 370 женщин и 303 ребенка) из местечек Бутримонис, Стаклишкес и Пуня, причем немцы расстреляли мужчин, а литовцы – женщин и детей. Расстрел был произведен у деревни Клиджионис под Бутримонисом. – И. А., И. Л.
- 315
Ср. с предыдущим свидетельством.
- 316
Жемайтии. Регион на северо-западе Литвы. – И. Л.
- 317
Таураге. – И. Л.
- 318
Все оставшиеся в оккупации евреи Плунге (более 1500 человек) были расстреляны 15–16 июля 1941 г. в 4 километрах от города у дер. Кайшеняй. Это была одна из первых массовых казней евреев на оккупированной территории СССР. См.: Энциклопедия... С. 975. – И. А.
- 319
Лаукува, местечко в Таурагском р-не. – И. Л.

320

Литовские коллаборационисты, носившие белые ленты на рукавах.

321

Объединение евреев немецкого рейха, Берлин (нем.).

322

Дер. Вешвенай. – И. Л.

323

Кипрас Ионович (Киприан Иванович) Петраускас (сценический псевдоним Пиотровский; 1885–1968) – артист оперы, вокальный педагог и общественный деятель. Народный артист СССР (1950). – И. А.

324

Еврейское религиозное училище. – И. А.

325

Выше в тексте – Анзилевичусы. – И. А.

326

Ретакас. – И. Л.

327

Раввин Тельшья Авраам-Ицхак Блох был руководителем еврейского комитета лагеря. – И. А.

328

В ночь с 14 на 15 июля 1941 г. из лагеря были забраны и там же расстреляны еще 24 еврея, а 15 июля в роще были расстреляны все остальные еврей-мужчины. 22 июля женщин и детей перевели в лагерь Геруляй в 9 километрах восточнее города, где большинство их вскоре казнили. Всего погибло более 1500 евреев из Тельшья и окрестностей. См.: Энциклопедия... С. 975–976. – И. А.

329

Жемайтии. – И. Л.

330

Риетакас. – И. Л.

331

Асельджяй. – И. Л.

332

Д. 960, лл. 101–125. Автограф.

333

Д. 959, лл. 141–144 об. Рукописный перевод с идиша. – И. А.

334

Нескольким десяткам евреев удалось выжить. В детском приюте костела (им ведал местный ксендз Пятрас Рауда, которому помогали монахини Иозапа Кибелайте, Стефания Ейгелите) укрывался бежавший из Каунаса с матерью мальчик Александрас Шиндерис. Монахини в 1997 г. были награждены израильскими медалями «Праведник народов мира», а П. Рауда в 2003 г. (посмертно) – Крестом за спасение погибающих (Литовская Республика). – И. А.

335

Заместитель бургомистра. – И. Л.

- 336
В лагере находилось около 2 тысяч узников. – И. А.
- 337
Первый массовый расстрел утянских евреев был проведен 31 июля 1941 г. В этот день погибли 235 мужчин и 16 женщин. – И. А.
- 338
7 августа погибли 483 мужчин и 87 женщин. – И. А.
- 339
29 августа 1941 г. расстреливали не только взрослых мужчин и женщин, но и детей и стариков. Всего во время Холокоста в Утяне погибло не менее 4,6 тысячи евреев. – И. А.
- 340
Д. 960, лл. 318–319. Машинопись.
- 341
Свенчонис. – И. Л.
- 342
Новый Свенчонис. – И. Л.
- 343
Жертвами казней 7–8 октября 1941 г. стали около 3,5 тысячи евреев. В живых тогда оставили– И. А. 550 узников. Они погибли позднее (некоторых перевели в гетто Вильнюса и убили в Понарах).
- 344
Другие письма этого автора в фондах ЕАК и И. Г. Эренбурга не обнаружены.
- 345
Д. 944, лл. 196–198. Машинопись. Перевод с идиша. На первом листе документа справа указано, что Ицик Юхников – рабочий из Ковно (Каунаса), угнанный на принудительные работы в имение Waffen-SS Коцюнишки.
- 346
Кацюнишкас – деревня и имение в Каунасском р-не. – И. Л.
- 347
Невежис. – И. Л.
- 348
Так точно (нем.).
- 349
Калман Хононович Линкимер (1913–1988) – школьный учитель. Спасен Робертом Седолсом в Лиепаяе. Текст дневников Линкимера в коллекции документов «Черная книга» не обнаружен. Сохранились лишь фотографии Линкимера и его друзей, сделанные в тайном убежище в подвале жилого дома, устроенном для них Седолсом. Полный текст дневника впервые опубликован отдельным изданием (в переводе на английский язык): Linkemer K. Nineteen month in a cellar: How 11 Jews eluded Hitler's henchmen: A diary, 1944–1945. Riga, 2008. – Григорий Смирин (далее – Г. С.).
- 350
Лиепая. – Г. С.
- 351

Айзсарги (от латыш. aizsargs – защитник) – военизированная националистическая организация в Латвии, созданная в марте 1919 г. К июню 1940 г. численность ее членов достигла примерно 68 тысяч. Была ликвидирована советской властью в июле 1940 г., некоторые члены организации были репрессированы. Во время германской оккупации бывшие айзсарги явились одним из основных резервов коллаборационистов. – Г. С.

352

В оригинале – Брант. Бенъямин Бранд (1881–1942) погиб в Лиепаве. – Г. С.

353

Гетто было организовано в 1942 г. и насчитывало 814 узников. От голода и болезней умерли 102 человека, 54 были расстреляны. В октябре 1943 г. оставшихся узников перевели в концлагерь Кайзервальд в Риге. См.: Латвия под игом нацизма: Сб. арх. док. М., 2006. С. 128. – Г. С.

354

Речь о восстании в Варшавском гетто, начавшемся 19 апреля 1943 г. Узнав о нем, узник Лиепайского гетто Давид Зивцон (см. ниже) решил, что необходимо организовать сопротивление. Он поделился соображениями с главой юденрата д-ром Израэлитом, однако тот его не поддержал: в гетто Лиепавы было мало мужчин, а женщины, старики и дети не могли противостоять нацистам. – Г. С.

355

Судьба Хаима Левинсона (1920-?) неизвестна. – Г. С.

356

Арон Цимерман (1881 – ок. 1943) – портной. Возможно, погиб в концлагере Кайзервальд. – Г. С.

357

Желтый квадрат 10 × 10 см, который, согласно распоряжению немецкого командования от 5 июля 1941 г., должны были носить лиепайские евреи. – Г. С.

358

Член еврейского спортивного общества «Маккаби».

359

Давид Филиппович Зивцон (1914–1983) – радио- и электротехник, узник Лиепайского гетто. Спасен Р. Седолсом. Выполняя работу электрика в квартире немецкого офицера, Зивцон обнаружил негативы фотографий, сделанных на месте расстрела лиепайских евреев в дюнах Шкеде в декабре 1941 г. Он выкрал негативы и с помощью друга-фотографа Майера Штайна, который был на принудительных работах в том же здании СД, напечатал несколько фотографий, а затем вернул негативы на место. Сделанные фотографии (их 11) были запаяны в железную коробку и спрятаны в конюшне за зданием СД. После войны они были опубликованы и обошли весь мир. См.: Бергер Э., Эйдус З. Где ты был, человек? / Книга спасения. Авт. – сост. Л. Коваль. Юрмала, 1993. Т. 2. С. 238–260. В 1945 г. Зивцон дал подробные показания советским следственным органам о преступлениях нацистов и их пособников в Лиепаве. См.: Латвия под игом нацизма: Сб. арх. док. М., 2006. С. 161–169. – Г. С.

360

В некоторых других источниках – Собек. – Г. С.

361

По данным последней предвоенной переписи населения (1935), в Лиепаве насчитывалось 7379 евреев

(12,9 % населения). По крайней мере 5 тысяч из них были убиты в 1941 г. (крупнейшая «акция» – 15–17 декабря 1941 г. в дюнах Шкеде, где, по немецким данным, был убит 2731 еврей). – Г. С.

362

По информации И. Ивановой, ее отец Д. Зивцон и К. Линкимер ездили в Москву к И. Г. Эренбургу (с ним был близко знаком двоюродный брат Зивциона Михаил Карштедт) с предложением опубликовать дневник К. Линкимера. – Г. С.

363

В укрытии у Р. Седолса Д. Зивцон собрал радиоприемник, который слушали скрывавшиеся там узники. Это зафиксировано на сохранившихся фотоснимках. – Г. С.

364

Д. 961, лл. 1–6. Машинопись с правкой.

365

Шейна Грам (1925–1941) родилась в Прейли, училась в Прейльской еврейской основной школе, активно участвовала в работе местной молодежной сионистской организации «Ха-шомер ха-цаир». Анализу ее дневника посвящены следующие статьи: Богоявленская С. Дневник Шейны Грам – исторический и человеческий документ / Евреи в меняющемся мире: Материалы 3-й Междунар. конф., Рига, 25–27 октября 1999 г. Рига, 2000. С. 430–436; Волкович Б. О дневнике Шейны Грам / Волкович Б., Олехнович Д., Рочко И. и др. Холокост в Латгалии. Даугавпилс, 2003. С. 65–68. – Г. С.

366

Цифра неточна. По данным переписи 1935 г., в Прейли жили 847 евреев (51 % населения). Более 800 из них были убиты нацистами и их пособниками. 250 евреев Прейли погибли 27 июля 1941 г. Остальных, в том числе Шейну Грамм, расстреляли 9 августа 1941 г. – Г. С.

367

Соседка Ивановская передала дневник Ш. Грам ее брату 8 августа 1944 г. Дата освобождения Прейли – 27 июля 1944 г. – Г. С.

368

В оригинале – Латвийской стрелковой дивизии. – Г. С.

369

История спасения семьи Хаги описана одним из ее членов. См.: 1000 дней – борьба за жизнь: Вспоминает Мордух Хаги / Зильберман Д. И Ты это видел. 3-е изд., испр. и доп. М., 2012. С. 41–52. – Г. С.

370

Ицик Грам (1877–1941) – портной. Убит в Прейли. – Г. С.

371

Сара Грам (урожд. Зангвиль, 1882–1941) – домохозяйка. Убита в Прейли. – Г. С.

372

Фрейда Грам (1917–1941) – продавщица в магазине тканей. Убита в Прейли. – Г. С.

373

В действительности – Аба Грам (1926–1941), школьник. В период нацистской оккупации летом 1941 г. был отправлен на торфоразработки. Убит. – Г. С.

374

Гутман Грам (1920–1944) – рабочий льнозавода. С началом войны бежал в советский тыл вместе со своей возлюбленной – учительницей Идой Ципук (р. 1918), которая в 1942 г. родила от него сына. С 1942 г. воевал в Латышской стрелковой дивизии, участвовал в освобождении Латвии и погиб 28 августа 1944 г. в районе Мадоны. Похоронен на воинском Братском кладбище (в городском парке). – Г. С.

375

До войны основная школа Латвии была шестилетней. Шейна училась в еврейской школе. – Г. С.

376

Дневник написан на идише в записной книжке 10 × 15 см, в коричневом коленкоровом переплете, на клетчатой бумаге. На первой странице надпись: Šeinās Gram dienasgrāmata («Дневник Шейны Грам»). – Г. С.

377

Гутман Грам предоставил дневник Б. Герцбаху, после чего послал оригинал Иде Ципук, находившейся в эвакуации в Мордовии. После гибели Гутмана она переслала дневник сводным братьям Шейны (детям Ицика Грама от первого брака), которые еще до войны эмигрировали в Южную Африку. Именно там была сделана единственная известная фотокопия дневника (без первых страниц). Южноафриканские родственники оригинал не сохранили. Таким образом, полный текст дневника Шейны Грам известен благодаря русскому переводу Б. Герцбаха. – Г. С.

378

Историческое название пос. Риебини в Латвии. – Г. С.

379

Историческое название гор. Даугавпилс в Латвии. – Г. С.

380

Имеется в виду «старая граница» с СССР. – Г. С.

381

Германские войска оккупировали Прейли 28 июня 1941 г. – Г. С.

382

В Прейли для обозначения евреев (как и в Калуге) нацисты использовали желтую пятиконечную, а не шестиконечную звезду. См.: Мелер М. Места нашей памяти: Еврейские общины Латвии, уничтоженные в Холокосте. Рига, 2010. С. 297. – Г. С.

383

Так называемые «национальные партизаны» – террористические и диверсионные группы пронацистского подполья, активизировавшиеся с нападением Германии на Советский Союз. Были созданы под контролем германских спецслужб для восстания в тылу Красной Армии. В Латвии насчитывалось до двадцати таких групп. Они нападали на отступавших красноармейцев и расправлялись с пытавшимися эвакуироваться в советский тыл мирными жителями или передавали их гитлеровцам. – Г. С.

384

Малта – поселок в тогдашнем Резекненском уезде Латвии, примерно в 25 км от Прейли. – Г. С.

385

Марианна Плагова (1927–1941) – школьница. Погибла в Прейли. – Г. С.

386

Школьная фотография Шейны Грам и Мэри Плаговой хранилась у И. Г. Эренбурга и была передана им в ЕАК. В фонде ЕАК эта фотография не обнаружена. – И. А.

387

9-е число месяца ав по еврейскому календарю – день траура и поста в память о разрушении Первого и Второго храма в Иерусалиме. – Г. С.

388

Идише билдер» («Еврейские картинки») – иллюстрированный журнал на идише, выходивший в Риге в 1937–1939 гг. Подписи к иллюстрациям давались также на польском, немецком, иногда английском языках. Издание прекратилось 26 сентября 1939 г. – Г. С.

389

Д. 966, лл. 8–24, 26. Машинопись с правкой. Подлинный текст дневника в коллекции «Черная книга» отсутствует. На основе дневника Ш. Грам и предисловия Б. Герцбаха один из авторов «Черной книги», писательница В. Герасимова, подготовила очерк «Голос Шейны», не вошедший в окончательную редакцию книги. Текст дневника в очерке дан с сокращениями и изменениями (д. 962, лл. 10–15). – И. А.

390

В 1935 г. в городе проживали 3342 еврея (25,43 % населения). – И. А.

391

По документам уездной полиции, к 20 июня 1942 г. в городе было истреблено 3219 евреев. – И. А.

392

Хаим Израэлит (1887-?) – продавец. Яков (Янкель) Израэлит (р. 1926) – школьник. – Г. С.

393

Мордехай Тагер (р. 1939) был спасен Улитой Варушкиной (1896–1973), впоследствии удостоенной звания «Праведник народов мира». В машинописном варианте неверно указан ее инициал. – Г. С.

394

Ян Матусевич и его жена были удостоены звания «Праведник народов мира». – И. А.

395

Вероятно, Дису. – Г. С.

396

Д. 966, л. 200–200 об. Машинопись с правкой.

397

Д. 940, лл. 16–22. Машинопись с карандашной правкой. Очевидно, беседа состоялась в ЕАК, где в 1944–1946 гг. вели стенограммы бесед со свидетелями Холокоста. Воспоминания брата Н. Анолика, Беньямина, опубликованы в «Черной книге».

398

Военизированная немецкая строительная организация.

399

Лагерь Штутгоф.

400

Д. 965, лл. 36–38. Машинопись с правкой. Фамилия автора, записавшего рассказ, в документе не

указана. Можно предположить, что это А. Каган, который по заданию ЕАК фиксировал свидетельства для «Черной книги». Этот материал находится в том же деле, где хранится другое сообщение этого журналиста. – И. А.

401

Юго-Западная железная дорога.

402

Ныне ул. Артема. – И. А.

403

Ново-Златопольский еврейский район (один из трех) существовал до войны в Запорожской обл.

404

Д. 952, лл. 132–133. Машинопись.

405

Фонд И. Г. Эренбурга, 21.1/200, лл. 1 (перевод), 2–4. Автограф на укр. яз. Сокращенный и измененный перевод: д. 952, л. 139. Машинопись. Письмо адресовано Давиду Ю. Юдковскому в Баку. – И. А.

406

Город в Полтавской (ныне Черкасской) обл.

407

В Золотоноше находился лагерь советских военнопленных. – И. А.

408

Ольга Супрун жила в тот период в с. Гладковщина Гельмязовского р-на (обратный адрес на конверте). – И. А.

409

Д. 962, лл. 105–108. Машинопись. Д. 941, лл. 7–10 – экземпляр с машинописной правкой. В рукописи машинописный заголовок «Давид и Надя». Вписано чернилами «Два письма» (д. 941, л. 7). Текст предназначался для раздела «Дружба» (помета черным карандашом) «Черной книги» и начинался словами «Приводимые ниже письма получил от незнакомой...». – И. А.

410

Письмо адресовано И. Г. Эренбургу. См.: ф. Р. 21/176. – И. А.

411

Д. 950, лл. 295–297. Машинопись.

412

29 октября 1941 г. в Таганроге было убито от 1,8 (по немецким источникам) до 6 тысяч (данные ЧГК) евреев. См.: Энциклопедия... С. 961–962. – И. А.

413

Д. 950, л. 280–280 об. Машинопись. Авторское название: «В Стороженце молдаване спасли группу евреев от рук румын и немецких палачей» (д. 950, л. 280). – И. А.

414

В 1930 г. здесь насчитывалось 2482 еврея (около 75 % населения). Уже в первые два дня оккупации погибло 200–250 (по другим данным – 400) евреев. К 10 июля 1941 г. в город согнали около 2,5 тысячи евреев из окрестных сел. Летом 1941 г. 1,1 тысячи евреев из Стороженца были

депортированы в Сокиряны. В сентябре 1941 г. в Стороженце находилось 1320 евреев. Их угнали в Транснистрию, где большинство их погибло. – И. А.

415

Д. 940, лл. 261–263. Машинописная заверенная копия. Подлинный текст хранится в фонде ЧГК (ГА РФ, ф. 7021, оп. 69, д. 342, лл. 94–95).

416

Д. 960, лл. 228–232 об. Машинопись.

417

Евреям конец! Всем конец! (нем.)

418

Датировано по почтовому штемпелю (д. 960, л. 228). – И. А.

419

Д. 960, лл. 92–97 об. Автограф. Воспоминания 20 января 1945 года были из Одессы направлены автором Илье Эренбургу с сопроводительным текстом: «Учтите, что я пишу одной левой рукой. В условиях мерцающей коптилки и в комнате с температурой 3–4 градуса ниже нуля» (д. 960, л. 98). –

И. А.

420

Иди сюда (нем.).

421

Ты еврей? (нем.)

422

Д. 955, лл. 109–110. Машинопись. Автограф – см. архив И. Г. Эренбурга (Р. 21.1/185). – И. А.

423

Еврейская свинья (нем.).

424

Д. 956, лл. 184–185. Машинопись.

425

Д. 956, лл. 176–177. Машинопись. Письмо без подписи и без имени корреспондента.

426

Врач Яков Упрямец был расстрелян в Таганроге в мае 1942 г. за фальсификацию диагнозов с целью спасения советских пленнх от лагеря и от отправки молодежи в Германию. – И. А.

427

Подразделения в составе венгерской армии, состоявшие из безоружных евреев. Они занимались принудительным трудом и разминированием минных полей. – И. А.

428

«Свидетели Иеговы» отказывались брать в руки оружие. – И. А.

429

Д. 959, лл. 92–93. Машинопись с правкой и подписью-автографом П. Балашова.

430

Д. 965, л. 50. Машинопись с рукописной правкой. Т. Таранова была студенткой третьего курса филологического факультета Киевского университета.

431

В конце февраля или начале марта 1943 г. зондеркоманда 4а расстреляла в городе 250 венгерских евреев. В отчете офицера абвера 2-й полевой армии от 3 апреля 1943 г. об этих событиях говорится так: «Командование 2-й венгерской армии пожаловалось на расстрелы евреев, которые были членами рабочих батальонов. Расстрелы были произведены СД (отчет о деятельности от 9 марта 1943 г.)».

См.: Энциклопедия... С. 957. – И. А.

432

Указаны при отсутствии автора записи их свидетельства. Не включены показания, собранные ЧГК и полученные в ходе допросов немецких военнопленных. – И. А.